



МИТИН ЖУРНАЛ
KOLONNA PUBLICATIONS

ББК 84.4 США.

СЕРИЯ
Crème de la Crème
ЯВЛЯЕТСЯ
СОВМЕСТНЫМ ПРОЕКТОМ ИЗДАТЕЛЬСТВ
Kolonna Publications и Митин Журнал

Пол Боулз

ДОМ ПАУКА

THE SPIDER'S HOUSE

Copyright © Paul Bowles, 1955

All rights reserved

Издательство благодарит The Wylie Agency и агентство «Синописис» за помощь в приобретении прав на эту книгу.

В оформлении обложки использована фотография Черри Наттинг «Бахир Аттар и марокканские музыканты на съемках фильма 'Под покровом небес'».

©В. Симонов, перевод, 2006

©Митин Журнал, 2006

©Kolonna Publications, 2006

ISBN 5-98144-089-9

Редактор: Дмитрий Волчек
Обложка: Виктория Горбунова
Руководство изданием: Дмитрий Боченков
Макетирование: Елена Антонова

KOLONNA Publications (ООО «Колонна паблицейшнз»),
а/я 24048, Тверь, 170024, Россия. e-mail: kolonna@kolonna.org
www.mitin.com/kolonna

Пол Боулз

ДОМ ПАУКА

Перевод Владимира Симонова

ПРЕДИСЛОВИЕ

Я хотел написать роман в декорациях традиционной повседневной жизни Феса, поскольку это был средневековый город, функционирующий в двадцатом веке. Начни я хоть годом раньше, это была бы совершенно другая книга. Я собирался описать Фес, каким он был в момент, когда я писал, но, едва я взялся за роман, начали происходить события, игнорировать которые было невозможно. Вскоре я понял, что придется писать не о традиционной жизни в Фесе, а о ее распаде.

Почти два десятилетия я ждал конца французского правления в Марокко. Бесхитростно я воображал, что после обретения независимости воскреснет старый уклад и страна в значительной степени вернется к тому, что было до появления французов. Отвращение, которое массы испытывали ко всему европейскому, казалось, гарантировало подобный исход. Но мне не приходило в голову, что Марокко, в первую очередь, оставалось средневековым государством потому, что сами французы, а вовсе не марокканцы, хотели этого.

Националисты не были заинтересованы в избавлении Марокко от всех признаков европейской цивилизации и восстановлении доколониальных порядков; напротив, они собирались сделать страну более «европейской», чем это удалось французам. Когда Франция больше не смогла вести машину государства, она покинула ее, не выключив мотор. Марокканцы сели в нее и поехали в прежнем направлении, только с еще большей скоростью.

Я запутался в противоречиях, не в состоянии принять какую-либо точку зрения. Предмет моего описания распался у меня на глазах с каждым часом, и мне оставалось описывать процесс безжалостного передела.

Беллетристике неизменно следует чураться политических умозаключений. Даже когда я понял, что моя книга следует направлению, которое несомненно приведет ее в область, где невозможно не затронуть политику, я все равно воображал, что с определенной сноровкой смогу избежать контакта. Но в ситуациях, где все находится под великим эмоциональным давлением, равнодушие немислимо; в такие времена любые точки зрения истолковываются как политические. Быть аполитичным – все равно, что занять политическую позицию, но ту, которая никому не угождает.

Таким образом, нравится мне это или нет, закончив роман, я понял, что написал «политическую» книгу, которая не одобряет нравы и французов, и марокканцев. Намного позже Аллаль Эль-Фасси¹, «отец марокканского национализма», прочитал ее и одобрил. Даже с таким запозданием, это было приятно.

В каждом романе, вероятно, заложен его собственный рабочий режим. «Под покровом небес» и «Пусть падет» я писал во время путешествий, когда было настроение и подходящая обстановка. «Дом паука», напротив, изначально требовал жесткого расписания. Я начал писать его в Танжере летом 1954-го года, заводя будильник на 6 утра каждый день. В среднем, мне удавалось написать две страницы в день. С приходом зимы я отправился в Шри-Ланку. Там я следовал тому же ритуалу: в 6 утра мне приносили чай, и я садился за работу, по-прежнему соблюдая свою квоту – две страницы в день. К середине марта, несмотря на мои поездки в отдаленные храмы и ночные наблюдения за демоническими плясками, книга была написана и отправлена из Велигамы в издательство «Рэндом Хаус».

¹ Аллаль Эль-Фасси (1906-1974) – лидер националистической партии Истикляль (Независимость), основанной в 1943 г. *(Здесь и далее примечания переводчика.)*

Это не автобиографическая и не документальная история, и не roman à clef¹. Только декорации соответствуют действительности, все прочее – вымысел. В центре действия – старый отель Палэ-Жамай, до реконструкции. Я назвал его «Меринид-Палас», потому что по дороге к нему нужно миновать гробницы королей из династии Меринидов². Теперь действительно есть «Отель-де-Меринид»: он построен в 60-х на скале у гробниц.

Город никуда не делся. Это уже не интеллектуальный и культурный центр Северной Африки: просто еще один город, погрязший в неразрешимых проблемах Третьего мира. Не все опустошения, причиненные нашим безжалостным веком, осязаемы. Неуловимые формы разрушения, затрагивающие лишь человеческий дух, внушают большой ужас.

*Пол Боулз,
декабрь 1981*

¹ Роман, в котором в котором под вымышленными именами выведены подлинные лица. (*фр.*)

² Берберская династия, правившая в Марокко в 1269-1465.

*Те, которые взяли себе помимо Аллаха
помощников, подобны пауку, который
устроил себе дом, а ведь слабейший
из домов, конечно, дом паука,
если бы они знали!*

Коран

ПРОЛОГ

Стенхэм покинул дом Си Джафара около полуночи. «Я вполне могу добраться и сам», – притворной улыбкой он постарался смягчить смысл своего отказа, опасаясь, что он прозвучит не в меру раздраженно и резко, хотя, посылая с ним провожатого, Си Джафар, в конце концов, всего лишь исполнял обязанности хозяина.

«Нет-нет, я действительно доберусь сам». Дело было в том, что Стенхэму хотелось проделать обратный путь одному, даже если в городе выключат все фонари. Ужин слишком затянулся, и он понимал, что в какой-то момент рискует свернуть не в ту сторону и заблудиться, но сопроводжай его кто-нибудь из местных, долгий путь оказался бы продолжением вечера в гостиной Си Джафара.

Так или иначе, час был уже слишком поздний. Все мужчины-домочадцы собрались у двери, даже толпились на сырой улице, настаивая на том, чтобы кто-нибудь отправился сопроводжать Стенхэма. Ритуал прощания всегда был длительным и церемонным – так, словно человек отправлялся на край света, а вовсе не на другой конец медины, и это доставляло Стенхэму удовольствие: он полагал, что именно такой и должна быть жизнь средневекового города. Однако раньше ему ни разу так настойчиво не навязывали спутника, который бы его опекал, и Стенхэм чувствовал, что не может найти этому объяснения.

Мужская фигура быстро двигалась перед ним в темноте. «И где они только нашли такого?» – подумал Стенхэм,

вспоминая облик высокого бородатого бербера в лохматой горской одежде, которого он впервые увидел в тускло освещенном дворике Си Джафара. Потом ему припомнились беспокойные перешептывания, доносившиеся из дальнего угла гостиной часа полтора назад. Всякий раз, когда эти семейные споры вспыхивали в присутствии Стенхэма, Си Джафар прилагал максимум усилий, чтобы отвлечь его внимание, принимаясь за какую-нибудь долгую историю. Как правило, история эта начиналась довольно-таки многообещающе, глаза Си Джафара лучились улыбкой за двумя парами очков, но было очевидно, что внимание его целиком и полностью приковано к голосам, доносящимся из угла. Понемногу, по мере того как шепот стихал, паузы между словами росли, взгляд Си Джафара начинал блуждать, а застывшая на губах улыбка становилась бессмысленной. Конца истории Стенхэму так никогда и не доводилось услышать. «Ага!» – вдруг торжествуя восклицал рассказчик без малейшего на то повода. После чего, хлопнув в ладоши, просил подать нюхательного табаку, оранжада или сандаловых щепок для жаровни, еще больше лучась довольством, а иногда даже озорно хлопал Стенхэма по колену. Подобная комедия разыгралась сегодня вечером около половины одиннадцатого. Мысленно возвращаясь к этому эпизоду, Стенхэм решил, что на сей раз причиной послужило внезапное решение послать вместе с ним человека, который мог бы проводить его до гостиницы. Теперь он вспомнил, что сразу же после того, как споры утихли, старший сын Си Джафара, Абдельгиф, исчез куда-то примерно на полчаса; скорее всего, именно он и нанял провожатого.

Человек сидел на корточках у темного входа во дворик, когда они выходили. Стенхэм смутился, так как знал, что Си Джафар отнюдь не богат, и, хотя такая скромная услуга не могла стоить чересчур дорого, так или иначе за нее пришлось заплатить, и Си Джафар не оставил сомнений:

– Ничего не давайте этому человеку, – сказал он по-французски. – Я уже обо всем позаботился.

– Но я могу добраться и сам, – вновь запротестовал Стенхэм. – Я знаю дорогу. Вспомните, сколько раз я возвращался один.

– Нет-нет, что вы, – вдруг вполголоса принялись уговаривать его четыре сына Си Джафара, его двоюродный брат и зять, сам же старик ласково погладил Стенхэма по руке.

– Так лучше, – сказал он и с забавной церемонностью поклонился. Возражать было бесполезно. Мужчина не отпустит его до самой гостиницы, а там препоручит заботам портье, после чего растворится в ночи, вернется в темноту, из которой возник, и Стенхэм никогда его больше не увидит.

На улицах не было ни души. Стенхэм подумал, что можно было бы пройти и более людными местами, но его спутник очевидно предпочитал пустынные улицы. Стенхэм вытащил маленький фонарик-движок и стал нажимать на ручку, направляя тусклый луч под ноги провожатому. Жужжание фонарика, похожее на стрекот насекомого, заставило проводника обернуться и удивленно взглянуть на Стенхэма.

– Свет, – сказал Стенхэм.

– Слишком шумит, – недовольно проворчал проводник.

Стенхэм улыбнулся и сунул фонарик обратно в карман. Тусклый луч погас. Как этим людям нравятся всякие игры, подумал Стенхэм. Вот этот, например, играет сейчас в гангстеров и полицейских, вечно они кого-нибудь выслеживают, либо, наоборот, сами становятся объектами слежки. «Восточная страсть все усложнять, запутанные узоры, арабески», – уверял его Мосс, однако Стенхэм не был уверен, что дело в этом. С тем же успехом это могло быть потаенное чувство вины. Он попытался было отстоять эту мысль, но Мосс поднял его на смех.

Немощные улочки шли под уклон. В городе не было ни фута ровной земли. Стенхэму приходилось идти, напрягая

икры, перенося всю тяжесть тела на пальцы ног. Вокруг стояла глубокая тишина, нарушаемая только шарканьем его подошв. Босой проводник двигался бесшумно. Время от времени, когда они выходили из крытых переходов, редкая капля дождя тяжело падала с неба, словно всего в нескольких футах над землей было натянута незримое влажное полотно. Впрочем, незримым было все: земля под ногами, стены домов, небо. Стенхэм резко нажал на ручку фонарика, и перед ним на мгновение возникла, быстро поблекнув, фигура идущего впереди человека в бурой джеллабе и его огромная тень, выросшая на балках, подпиравших крышу галереи. Проводник снова протестующе заворчал.

Стенхэм улыбнулся: непостижимые реакции мусульман забавляли его, и он всегда относился к ним снисходительно, поскольку, по его собственным словам, ни один немусульманин не постиг мусульманское сознание настолько, чтобы судить о нем безошибочно. «Они очень, очень далеки от нас, – любил повторять он. – Мы даже отдаленно не можем себе представить, что руководит ими». Говоря так, он отчасти лицемерил. На самом деле, он главным образом надеялся убедить других в существовании этого непреодолимого водораздела. Сам факт, что в таком случае он мог позволять себе намеки на верования и побуждения, управляющие людьми на той стороне, придавал ему уверенность в собственных попытках разобраться в них и некоторое чувство превосходства, которое, по его мнению, он заслужил, столько лет терпеливо снося суровую обрядовость марокканской жизни. Претендуя на знание, которым другие не обладали, он давал себе небольшую поблажку, закрепляя за собой право старшинства. Втайне он был уверен, что марокканцы – самые обычные люди, что различия по большей части состоят в ритуале и особенностях поведения и даже тонкая магическая завеса, сквозь которую марокканцы смотрят на жизнь, не придает их восприятию особой

остроты. Ему было приятно, что этот безымянный босоногий бербер ведет его самыми темными, самыми глухими закоулками; то, почему этот человек предпочитал подобную таинственность, ровно ничего не значило. Это было кошачье, ночное племя. Не случайно в Фесе почти не было собак. «Интересно, подметил ли это Мосс?» – подумал Стенхэм.

У него то и дело возникало отчетливое ощущение, что улицы и небольшие площади, по которым они проходят, прекрасно ему знакомы, но даже если это и было так, то угол, под которым они возникали, был неожиданным, и знакомые стены (если это действительно были знакомые стены) представляли до неузнаваемости искаженными в беглом, быстро меркнувшем луче света, падавшем на них. Стенхэм даже начал подумывать, уж не произошла ли на центральной станции серьезная авария: электричество было полностью отключено, иначе было бы невозможно идти так долго, не встретив ни одного зажженного фонаря. Однако он привык передвигаться по городу в темноте. Он знал его вдоль и поперек и мог бы с завязанными глазами пройти по любому маршруту. И действительно, блуждания по ночной медине во многом напоминали игру в жмурки: прежде всего, приходилось полагаться на слух. Он знал даже, какой именно звук издавал каждый из отрезков знакомого пути, когда идешь по нему ночью. Двумя основными звуковыми ориентирами были его собственные шаги и звук текущей вдоль стен воды. Шаги звучали бесконечно разнообразно в зависимости от твердости земли, ширины прохода, высоты и конфигурации стен. На аллее Лемтийин, между сырмятней и маленькой мечетью, было одно место с удивительным эхом: упругие металлические звуки вибрировали, отражаясь от стен, складываясь в мелодию пистолетной пальбы. Были места, где шаги словно поглощались тишиной, места, где они звучали громко, отдельно и компактно, мгновенно стихая, или такие – особенно когда он проходил по пустынным галереям, – где

каждый последующий шаг звучал на неуловимую долю выше, образуя плавно восходящую гамму, пока выступ стены или неожиданный туннель не разрушали складный музыкальный узор, начиная новую часть долгого ноктюрна, который малопомалу расцветал своей гармонией. То же происходило и с водой, бегущей по бесчисленным руслам в расселинах земли и камня. Редко когда показываясь на глаза, но постоянно присутствуя где-то рядом, она стремительно бежала под покатыми, уступистыми проулками, то журча, то размеренно капая, то всплескивая возле садовой ограды или вырываясь на поверхность веером брызг, наподобие фонтана, то с высоким гулким звуком стекая в невидимый резервуар, то вдруг привольно разливаясь речным притоком, с ревом несущимся по камням (так что порой холодная изморось, которую порывом ветра переносило через стену, влажной испариной оседала на лице), то, как здесь, возле пекарни, упираясь в плотину, превращалась в тихую запруду, где плавали крысы.

Слушая эти две звуковые дорожки – шум шагов и шум воды – одновременно и достаточно часто, Стенхэм полагал, что знает их наизусть. Однако теперь все изменилось, и он понял, что до сих пор знал только одну мелодическую линию, одну определенную последовательность, части которой, изъятые из привычного контекста, становились неузнаваемы. Так, например, он знал, что для того, чтобы оказаться настолько близко к главному притоку реки, они должны были пересечь улицу, ведущую от мечети Каруин к зауе Си Ахмеда Тиджани, но сейчас он никак не мог определить, когда именно это произошло. Он не узнавал ничего кругом.

Внезапно он понял, где они находятся: это была узенькая улочка, идущая по насыпи у реки, прямо под мощными стенами фундука Эль-Йихуди. Это было им совсем не по дороге, вдалеке от любого мыслимого маршрута, связывавшего дом Си Джафара с гостиницей.

– Как мы сюда попали? – спросил он возмущенно.

Ответ бербера прозвучал неожиданно резко: «Иди и помалкивай».

«Впрочем, они всегда такие», – напомнил он сам себе. Его не переставала изумлять присущая местным жителям любопытная смесь изощренной учтивости и неприкрытой грубости, и он едва не рассмеялся вслух, вспоминая, как нелепо прозвучали сказанные несколько мгновений назад слова «Rhir zid o skout». Еще несколько минут, и они обогнули фундамент Эль-Йихуди и теперь шли садом между влажными от росы банановыми пальмами; тяжелые и плотные, обмахившиеся по краям листья, стоило их задеть, окатывали потоками холодных капель. «Сегодня Си Джафар превзошел сам себя». Стенхэм решил позвонить ему завтра же и поделиться анекдотом. Zid o skout. В ближайшую пару недель это будет шутивным присловьем во время чаепитий, и все семейство сможет вволю повеселиться.

Капризы летней ночи. В воздухе ощущалась почти такая же стылость, как ранней весной. Большое пухлое облако перевалило через Джебель Залагх, нависло над городом, точно низкая кровля, и превратило его в огромную комнату, недвижимый воздух которой насквозь пропах сырой землей. Когда Стенхэм со своим спутником молча поднимались по улицам, ведущим к вершине холма, где-то над их головами ухнула сова.

Подойдя к воротам гостиницы, Стенхэм нажал кнопку звонка, проведенного к маленькой комнатухе рядом с канцелярией, где сидел портье. «Вряд ли зазвонит, – мелькнула мысль, – ведь электричество отключено». Но тут же Стенхэм вспомнил, что в гостинице собственная система электропитания. Обычно проходило не менее пяти минут, прежде чем во дворе появлялся свет, и еще две-три, прежде чем портье добирался до ворот. Сегодня свет появился мгновенно. Стенхэм вплотную приблизился к высоким воротам и заглянул в щель. Портье стоял в дальнем конце двора и с

кем-то разговаривал. «Ah, oui»¹, – донеслось до Стенхэма. Европейец во дворе гостиницы, да еще в такой час? – подумал он не без любопытства и постарался разглядеть, кто бы это мог быть. Но портье уже подходил к воротам. Как нашкодивший мальчишка, Стенхэм проворно отскочил в сторону, засунул руки в карманы и принялся как ни в чем не бывало поглядывать по сторонам. Тут он заметил, что провожатый исчез. Даже звука удаляющихся шагов не было слышно; исчез – и как не бывало. Тяжелая задвижка отъехала в сторону, и на пороге возник портье в защитного цвета накидке и белой чалме, с привычно встревоженным лицом.

– Bonsoir, M'sio Stonamm². Он изъяснялся по-французски и арабски вперемешку, и невозможно было предугадать, какой из этих языков он выберет. Приветствуя портье, Стенхэм окинул взглядом двор, пытаясь обнаружить его себе-седника. Однако двор был пуст. Две машины по-прежнему стояли на своих местах: гостиничный автофургон и старый «ситроен» – собственность управляющего, – на котором тот, впрочем, никогда не ездил.

– Быстро вы сегодня, – сказал Стенхэм.

– Oui, M'sio Stonamm³.

– Наверное, были во дворе, рядом с воротами.

– Non, m'sio⁴, – поколебавшись, ответил портье.

Стенхэм не стал донимать его дальнейшими расспросами, чтобы попусту не раздражаться. Ложь в здешних местах – не ложь, а всего лишь условный оборот, формула вежливости, долгий окольный путь, возможность учтиво выразить мысль «Не суйтесь не в свое дело».

1 Ах, да (*фр.*).

2 Добрый вечер, мусью Стонам (*искаж. фр.*).

3 Да, мусью Стонам (*искаж. фр.*).

4 Нет, мусью (*искаж. фр.*).

Ключ был в кармане, так что Стенхэм сразу поднялся в свой номер, слегка стыдясь, что взялся подглядывать. Однако стоя у себя в комнате в башне и глядя на раскинувшийся внизу невидимый город, он нашел оправдание своему излишнему любопытству. И не только явная ложь портье не давала ему покоя, гораздо больше его занимало то, что она словно складывалась в единое целое со странным поведением бербера: с совершенно ненужными блужданиями, с грубым требованием держать язык за зубами, с необъяснимым исчезновением, лишившим Стенхэма возможности вручить провожатому тридцать франков, которые он держал наготове. Но и это не все, решил Стенхэм, мысленно возвращаясь к Си Джафару. К тому, как вся семья торжественно закланала его не возвращаться в гостиницу одному. И это тоже казалось частью общего заговора. «Все они сегодня ночью с ума посходили», – удовлетворенно подумал Стенхэм. Он не желал связывать все эти странности воедино, объясняя их охватившим город напряжением. Напряжение это воцарилось с того самого дня, год тому назад, когда французы, проявив еще большее, чем обычно, легкомыслие, низложили султана, и Стенхэм знал, что оно не ослабло. Но это было уже из области политики, а политика существует только на бумаге, и, уж конечно, политические события 1954 года не имели никакой связи с таинственным средневековым городом, который он знал и любил. Было бы слишком просто установить логическую взаимосвязь между умозрительным знанием и тем, что он видел, – Стенхэму больше нравилось представлять это игрой собственного воображения.

Каждую ночь, после того как Стенхэм запирает дверь своей комнаты, портье поднимался в башню *ancien palais*¹ и один за другим выключал светильники в коридорах. Когда он спускался к себе и звуки его шагов окончательно смолкли, в баш-

¹ Старого дворца (*фр.*).

не воцарялась глубокая тишина ночи, нарушаемая, если было ветрено, разве что шелестом тополиной листвы, доносившимся из сада. Сегодня Стенхэм, как обычно, услышал медленную поступь портье, поднимавшегося по лестнице, но, вместо привычного щелчка выключателя на стене, за дверью возникла легкая заминка, а затем раздался негромкий стук. Стенхэм еще не успел раздеться, только снял галстук. Нахмурившись, он открыл дверь. Портье встретил его извиняющейся улыбкой – и, уж конечно, не потому, что его терзали угрызения совести из-за недавней лжи, отметил про себя Стенхэм, глядя на сокрушенное выражение его лица. За пять сезонов, прожитых в этой гостинице, Стенхэму ни разу не приходилось видеть иного. Смысл его, по всей видимости, сводился к тому, что даже если все в мире будет идти своим чередом, то все равно рано или поздно он состарится и умрет – этот маленький ночной портье из дворца Меринидов. На сей раз он заговорил по-арабски.

– Smatsi¹. Меня послал мусью Мосс. Он хотел бы знать, не сможете ли вы навестить его.

– Сейчас? – недоверчиво спросил Стенхэм.

– Да, сейчас.

Портье рассмеялся, и в смехе его послышались неодобрительные нотки – впрочем, достаточно добродушные, как бы дающие понять, что и он, портье, тоже понимает, что в жизни бывает всякое.

Первой мыслью Стенхэма было: я не должен позволять Моссу подобного рода выходки. Выдержав паузу, он громко спросил:

– Где сейчас месье Мосс?

– У себя в комнате. Номер четырнадцатый.

– Номер я знаю, – сказал Стенхэм. – Вы не спуститесь к нему передать мой ответ?

¹ Послушайте (*араб.*)

– Разумеется. Сказать, что вы придете?

– Хорошо, только на минутку, – вздохнул Стенхэм.

Конечно, этого портье не передаст – просто скажет Моссу, что мусью Стонам придет, и исчезнет.

– Ouakha¹, – произнес с поклоном портье и закрыл за собой дверь. Стоя перед зеркальной дверцей шкафа, Стенхэм снова повязал галстук. Впервые Мосс отправлял к нему посылку в столь поздний час, и Стенхэм гадал, что могло заставить англичанина отступить от строгого кодекса приличий. Он взглянул на часы: двадцать минут второго. Скорее всего, Мосс начнет с цветистых извинений за то, что помешал его работе, даже если сам в это не верил: Стенхэм старательно создавал у своих знакомых впечатление, что работает от зари до зари. Это обеспечивало ему уединение; кроме того, если день выдавался непогожий, он ложился рано и дописывал лишнюю страничку романа, еще далекого от завершения. Дождь и ветер, бушевавшие в темноте за окном, обычно будоражили его, помогая преодолевать усталость. Сегодня, так или иначе, он все равно не стал бы работать: было уже слишком поздно. День в Фесе начинался задолго до зари, и Стенхэму доставляла глубокое беспокойство мысль о том, что ему не удастся уснуть до того, как ранний призыв к молитве вызовет громогласную петушиную перекличку, которая мало-помалу охватит весь город и не стихнет до самого рассвета. Если ему не удастся поймать сон, прежде чем раздастся пение муэдзинов, с надеждой уснуть придется окончательно распротиться. В это время года они начинали около половины четвертого.

Стенхэм взглянул на лежащие на столе отпечатанные страницы, поставил на них массивную фарфоровую пепельницу и повернулся, чтобы идти. Затем, еще раз подумав, переложил рукопись в ящик. Подойдя к двери, он Бросил

¹ Хорошо (*араб.*).

беглый тоскливый взгляд на кровать и, выйдя в коридор, запер дверь за собой. К ключу был прицеплен тяжелый никелированный брелок, лежавший в кармане, точно ледышка. Из узкого проема башенной лестницы тянуло сильным сквозняком. Стенхэм старался спускаться как можно тише (хотя потревожить было некого), пересек полутемный холл и вышел на террасу. Падавший из вестибюля свет растекался по влажному мозаичному полу. Редкий дождь прекратился, дул легкий ветерок. В нижнем саду стояла полная тьма; идя вдоль тонкой кованой решетки, окружавшей пруд султана, Стенхэм добрался до внутреннего двора, где порой, в погожие дни, они с Моссом обедали. Фонари над высокой дверью четырнадцатого номера не были погашены, тонкие полоски света падали сквозь щели закрытых ставен. Стенхэм постучал, спугнув какую-то зверушку – крысу или, может быть, хорька, – и она пустилась наутек, шурша травой и опавшими листьями. Мужчину, который открыл дверь и, отступив в сторону, застыл, пропуская Стенхэма, он никогда раньше не видел.

Мосс стоял посреди комнаты, прямо под большой люстрой, и нервно поглаживал усы, глаза глядели испуганно. Единственное чувство, в котором Стенхэм сейчас отдавал себе отчет, было искреннее желание оставаться там, где он был несколько секунд назад – в темноте, за дверьми номера.

– Добрый вечер, – обратился он к Моссу небрежно добродушным тоном, не обращая внимания на стоявшего рядом мужчину. Но напряженное выражение не покидало лицо Мосса.

– Будьте так любезны, Джон, проходите, – сухо произнес он. – Я должен вам кое-что сообщить.

*Я поняла, что мир – это огромная
пустота, которая зиждется на пустоте...
Вот почему они назвали меня учителем
мудрости. Увы! Ведомо ли хоть кому-нибудь,
что такое мудрость?*

Песнь совы. «Тысяча и одна ночь»

КНИГА ПЕРВАЯ УЧИТЕЛЬ МУДРОСТИ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Весеннее солнце пригревало сад. Скоро оно скроется за высокими зарослями тростника, окаймлявшими шоссе, потому что было уже за полдень. Амар лежал под старым фиговым деревом, невидимый в высокой траве, все еще влажной от ночной росы. Он сравнивал свою жизнь с тем, как жили его друзья, и думал о том, что уж его-то жизнь точно самая незавидная. Он знал, что это греховные мысли: человеку не дозволено рассуждать подобным образом, и Амар никогда не высказал бы вслух неутешительный вывод, к которому пришел, даже несмотря на то, что он облекся в слова у него в уме.

Окружавшие его деревья, кустарник, трава и небо у него над головой – все в мире пребывало на своем надлежащем месте. Однако с того момента, как он испытал великое разочарование в своей короткой судьбе, ко всему примешался горький вкус неудовлетворенности. Мир был прекрасен со всеми своими живыми тварями, рыщущими по земле и парящими в поднебесье, с цветами и плодами, которыми Аллах великодушно одарил человека, но в глубине души Амар чувствовал, что на самом деле все это принадлежит ему, что только он один имеет на все это право. Именно те, другие люди всегда делали его жизнь несчастливой. Лениво привалившись к стволу дерева, он осторожно обрывал один за другим лепестки розы,

которую сорвал полчаса назад в саду. Времени на то, чтобы решить, что делать дальше, у него уже почти не осталось.

Если он собирался бежать, то надо было делать это как можно скорее. Но Амар уже понял, что Аллах не собирается открыть, что ему суждено. Ему предстояло самому узнать об этом, совершая то, что было предначертано. Все будет идти своим чередом. Когда длинные тени побегут по земле, он встанет и выйдет на шоссе, потому что сумерки приманивают злых духов, таящихся в деревьях. А когда он окажется на дороге, у него уже не будет иного выбора, кроме как идти домой. Ничего не оставалось: он вернется домой, и отец снова избьет его. И вовсе не страх перед болью удерживал Амара от того, чтобы пойти прямо сейчас и все поскорее кончилось. Сама по себе боль была ничто, пустяк, она могла даже доставить радость, если ему удастся выдержать порку, ни разу не вскрикнув, потому что его враждебное молчание в каком-то смысле означало победу над отцом. После этого Амару всегда казалось, что он стал сильнее и лучше готов к очередному испытанию. Но внутри все равно оставался горький осадок, нечто, заставлявшее его чувствовать себя еще более покинутым и одиноким. Так что вовсе не боязнь боли и не страх одиночества удерживали его в саду, невыносимой была мысль о том, что он ни в чем не виноват, а его унизят, обойдясь как с виновным. Больше всего его пугало собственное бессилие перед лицом несправедливости.

Теплый ветерок, дувший над холмами и долинами со стороны Джебель Залагха, прокрался между стеблями тростника в сад и всколыхнул гладкие плоские листья над головой Амара. Порыв его ласково, словно заигрывая, коснулся затылка юноши, и быстрая дрожь пробежала по всему его телу. Сжав зубами лепесток розы, он растер его во влажную кашицу. Амар знал, что кроме него здесь никого нет и вряд ли кто сюда заглянет. Сторож видел, как он прошел, и ничего не сказал. В некоторых садах попадались и такие, которые гоняли

ребятню, мальчишки знали их всех. Этот сад считался «хорошим», потому что сторож никому и слова не говорил, разве что прикрикнет на собаку, чтобы не лаяла на чужих. Сейчас старик спустился в нижнюю часть владения, к реке. Если не считать грохота грузовиков, проезжавших по шоссе и невидимых из-за тростника, в этом уголке сада царила полная тишина. Поскольку Амару даже представить было жутковато, что может твориться в таком месте, когда стемнеет, он поскорее сунул ноги в сандалии, встал, встряхнул и внимательно оглядел свою джеллабу, потому что она принадлежала его брату и он терпеть не мог носить ее; наконец, перекинув ее через плечо, проскользнул в ту же щель в густых зарослях тростника, через которую забрался сюда.

На дороге солнце припекало, и ветер дул сильнее. Амар прошел мимо двух мальчуганов: длинными бамбуковыми палками они оббивали ветви шелковицы, а парень постарше собирал еще незрелые ягоды и складывал их в капюшон своей джеллабы. Вся троица была настолько увлечена своим делом, что даже не заметила Амара. Впереди дорога круто сворачивала. И там, вддали, по ту сторону долины лежал Джебель Залагх. Он всегда казался Амару похожим на царя в пышном облачении, восседающего на престоле. Несколько раз в разговоре с приятелями Амар употребил это сравнение, но никто не понял его. Даже не взглянув на гору, они говорили: «Ну, ты чокнутый!» или «Вечно ты придумываешь», или попросту поднимали его на смех. «Они считают, что так хорошо знают мир, что на него можно уже больше и не смотреть», – думал в таких случаях Амар. И это на самом деле было так: большинство его друзей раз и навсегда решали про себя, что такое мир, что такое жизнь и уже не удосуживались хотя бы раз оглянуться вокруг, чтобы проверить, правы они или нет. А происходило так потому, что они ходили в школу, кое-кто даже успел ее закончить, умели писать и даже разбирать написанное, что куда более трудно. Некоторые из них знали наизусть Коран,

хотя, само собой, едва понимали его смысл, потому что это самое-самое трудное, доступное только великим мира сего. А понять его целиком вообще никому не под силу.

«В школе учат тому, как понимать мир, и если ты это усвоил, то раз и навсегда», – говорил Амару отец.

«Но допустим, что мир изменится, – подумал тогда Амар. – Чего будут стоить твои знания?» Однако он постарался, чтобы отец не догадался о его мыслях. Он никогда сам не заговаривал со стариком – только если тот к нему обращался. Нрав у Си Дрисса был суровый, и он хотел, чтобы сыновья относились к нему точно с таким же почтением, какое он сам оказывал своему отцу лет шестьдесят назад. Лучше было держать свое мнение при себе, если у тебя его не спрашивали. Несмотря на то, что жизнь в доме могла быть легче и проще, будь его родитель благодуще, Амар гордился уважаемым положением отца. Самые богатые, самые важные люди квартала сами приходили к нему, целовали край его одежды и хранили молчание, пока он говорил. Так уж было predetermined, чтобы Амару достался строгий отец, и ничего тут не поделаешь, оставалось только благодарить Аллаха. И все же он знал, что если когда-нибудь захочет бросить отцу серьезный вызов, старик поймет, что сын прав, и пойдет на мировую. Амар обнаружил это, когда отец впервые отправил его в школу. С первого же дня она так не понравилась мальчику, что он вернулся домой и заявил, что никогда больше туда не вернется, на что старик только вздохнул и призвал Аллаха в свидетели того, что самолично отвел ребенка в школу на попечение *ааллема* и что теперь не отвечает за дальнейшее. На следующий день он разбудил Амара на заре и сказал ему: «Если не хочешь учиться – работай». И отвел его на принадлежавшую дяде Амара фабрику одеял в Аттарине – работать на ткацком станке. Это было не так тяжело, как в школе, потому что Амару не приходилось сидеть неподвижно, однако и здесь он не надолго задержался: не дольше, чем в дюжине остальных мест, где ему

приходилось с тех пор работать. Через пару недель он отправлялся подыскивать себе занятие поувлекательнее, мало заботясь о том, что почти никогда не получает платы за труд. Жизнь дома свелась к непрестанной борьбе против того, чтобы его отправили на какую-нибудь новую работу, которую придумывал для него отец.

Так и случилось, что Амар, единственный из всех своих приятелей, так и не выучился писать и читать то, что пишут другие. Правда он ничуть об этом не сожалел. Если бы его семья не принадлежала к роду Чорфа, потомкам самого Пророка, жизнь Амара наверняка сложилась бы проще. Отец с такой яростной настойчивостью не заставлял бы его изучать законы их веры, не вел бы бесконечные разговоры о необходимости строжайшего повиновения. Но старик решил, что если уж сыну суждено быть неграмотным (само по себе это не являлось серьезным недостатком), пусть хоть будет сведущ в нравственных установлениях ислама.

Шли годы, и Амар обзавелся новыми друзьями подстать себе – мальчиками из самых бедных семей, где вопрос о школе вообще никогда не вставал. Когда ему теперь случалось встречаться с прежними друзьями и разговаривать с ними, они казались ему похожими на старичков, и ему становилось скучно; когда же новые приятели, ни минуты не сидевшие на месте, играли и дрались друг с другом так, словно на кону стояла их жизнь, Амару это казалось вполне понятным.

Огромное значение в жизни Амара имело то, что у него была своя тайна. Тайну эту даже не было нужды скрывать, потому что все равно никто бы ее не обнаружил. Но Амар знал о ней и жил ею. Тайна заключалась в том, что он совершенно не похож на прочих людей и обладает силами, неподвластными никому. Уверенность в этом давала ему ощущение, что он владеет сокровищем, надежно скрытым от глаз мира, а это, в свою очередь, значило куда больше, чем просто иметь *баракку*. Многие из рода Чорфа располагали подобной властью. Если

кто-нибудь вдруг заболел, впадал в беспамятство или в него вселялся чужеродный дух, даже Амар часто мог исцелить его, коснувшись больного рукой и пробормотав над ним молитву. В его семье дар *бафаки* был очень силен, настолько, что хотя бы один человек из каждого поколения становился целителем. И дед его, и отец занимались только одним: принимали у себя дома непрерывный поток людей, приходивших за исцелением. Поэтому не было ничего удивительного в том, что на сей раз дар достался Амару. Но это было не совсем то, что он имел в виду, твердя про себя, что отличается от прочих. Конечно, он всегда знал о своей тайне, но прежде она не так уж много для него значила. Теперь, когда ему исполнилось пятнадцать и он стал взрослым, тайна день ото дня приобретала все большую важность. Он обнаружил, что сотню раз на дню в голову ему приходят мысли, которые вряд ли посещают обычных людей, но тут же сообразил, что если хочет рассказать о них кому-нибудь – а ему действительно хотелось, – то это следует делать шутивно, чтобы не вызвать подозрения. И все же однажды, в порыве восхищения, он забылся и воскликнул: «Взгляните на Джебель Залагх! У Султана на плече облако!» «Совсем чокнулся», – ответили приятели, но ему было все равно. В следующий раз он постарается не забыть и об их мире и скажет что-нибудь насчет конкретных вещей, которые их интересуют. Тогда они рассмеются, и он будет счастлив.

Сегодня облаков вокруг Джебель Залагха не было видно. Крохотные оливковые деревца на его вершине четко рисовались на фоне огромного, равномерно синего неба, и в тысячах ущелий и лощин, избороздивших его голые склоны, уже появились глубокие вечерние тени. Узкая ниточка дороги вилась вниз, у подножия округлого холма, крохотные фигурки в белом медленно, очень медленно поднимались по ней. Какое-то время Амар стоял, глядя на них: то были сельские жители, возвращавшиеся в свои деревни. На мгновение ему страстно захотелось перестать быть самим собой, стать одним из них – человеком, живущим простой, безвестной жизнью.

Веретено фантазии понемногу раскручивалось. Если бы он, Амар, был *джибли*, деревенским, то при его уме – а он знал, что умен, – он скоро скопил бы больше денег, чем кто бы то ни было в его *кабиле*. Он скупал бы все новые и новые земли, нанимал бы все больше работников, а когда французы попытались бы купить у него его земли, он отказал бы им, какие бы богатства они ему ни сулили. Тогда крестьяне стали бы уважать его, имя его приобретало бы все большую известность, разносясь по округе, и люди приходили бы к нему как к *коади* за помощью и советом, которые он великодушно давал бы каждому. Рано или поздно настал бы день, когда к нему явился бы какой-нибудь француз с предложением сделать его *саидом*; Амар представил, как в ответ он от всей души весело рассмеялся бы и сказал: «Но я уже и так больше, чем просто *саид* для моего народа. Чего ж мне еще желать?» Сбитый с толку француз попытался бы опутать его сетью хитроумных уловок: снижением налогов, девушками из далеких племен, апельсиновой рощей, усадьбой, дарственной на доходный дом в Дар Эль-Бейде и баснословными суммами денег, но он все так же весело смеялся бы, повторяя, что ему не нужно ничего, кроме того, что у него уже есть: уважения его народа. Француз, конечно, будет удивлен и заинтригован (разве хоть один марокканец когда-нибудь заявлял подобное?) и уйдет, затаив в сердце страх, а весть о торжестве Амара быстро разнесется повсюду, достигнет даже Рхавсаи и Таунат, и люди узнают о молодом *джибли*, которого французам не удалось подкупить. Султан тайно прикажет отправить за ним, чтобы посоветоваться о делах в тех краях, которые он так хорошо знал. Амар будет держаться просто и почтительно, но не подобострастно, и султану это покажется очень странным, поначалу он даже немного рассердится, пока Амар, стараясь не быть чересчур многословным, не объяснит ему, что его отказ пасть ниц – всего лишь следствие того, что он понял, что султаны, несмотря на все свое величие, такие же люди, как и все остальные – смертные и способные ошибаться. На монарха произведет

впечатление мудрость Амара и то, что он не боится говорить такие вещи, и он предложит Амару остаться при дворе. Мало-помалу слухи о нем распространятся повсюду, и султан станет ценить его даже больше, чем самого Эль-Мохри¹. А потом настанет трудная минута, когда султан не сможет принять решение сам. Амар же будет наготове. Без колебаний он встанет у кормила власти и возьмет все под свой контроль. В этот момент могут возникнуть определенные трудности. Он разрешит их так, как всегда решали свои проблемы все великие люди: полагаясь исключительно на самого себя. Он представил, как с печалью на лице подписывает указ о казни султана: это должно свершиться во имя народа. И потом, в конце концов, султан был всего лишь Алауит из Тафилалета² – то есть, попросту говоря, узурпатор. И всем это было известно. В Марокко были люди, которые имели куда больше оснований править, включая любого из членов семьи самого Амара, ибо они принадлежали к роду Дриссов – потомков первой династии³, единственных правомочных престолонаследников.

Фигурки людей вдали медленно поднимались по склону холма. Возможно, им придется идти всю ночь, и они доберутся домой только после восхода солнца. Амар неплохо знал крестьянскую жизнь, он долгое время прожил в усадьбе отца в Хериб-Джераде, потом ее пришлось продать, но и после этого они каждый год ездили туда собирать причитающуюся семье долю урожая. Что касается Амара, то смешанное с любопытством презрение, которое горожане испытывают к сельским жителям, было у него окрашено чувством уважения. Если

1 Мохаммед Эль-Мохри был главным визирем султана Мохаммеда V.

2 Династия Алауитов правила в Марокко с XVII века, когда первый Алауитский правитель, Мулай Рашид, объединил страну. Тафилалет – оазис на юге Марокко – родина клана филяли, к которому принадлежат правители-Алауиты.

3 Идрисс I основал первую династию Шарифов, покорив берберские племена на севере Марокко. Его сын, Идрисс II, сделал Фес столицей в 808 г.

горожанин, задолго до того как приступить к делу, начинал повсюду трезвонить о своих намерениях, то крестьянин без лишних слов просто делал то, что нужно.

По-прежнему не сходя с места, окидывая взглядом огромное пространство голой залитой солнцем земли, следя за карабкающимися по склону фигурками, Амар не переставал обдумывать свое злосчастное положение. Если бы только его старший брат, идя по переулку Мулая Абдаллаха, в какой-то роковой момент случайно не обернулся, то он, Амар, мог бы сейчас купаться в реке, или играть в футбол за воротами Баб Фтех, или попросту спокойно сидеть на крыше дома, наигрывая на дудочке, и не испытывал бы гнетущего чувства страха. Но Мустафа обернулся и увидел его в этом запретном месте среди нарумяненных женщин. А на следующий день, подойдя к Амару, потребовал у него двадцать риалов. Денег у Амара не было, и ему неоткуда было их взять. Он пообещал Мустафе, что будет выплачивать ему эту сумму понемногу, как только удастся раздобыть хоть что-то, однако Мустафа, столь же смысленный, сколь и безжалостный, был себе на уме, и будущее его не интересовало. Он не собирался ничего говорить про Амара, об этом не могло быть и речи. Отец больше разгневадается на предателя, чем на его жертву. Сегодня утром Мустафа сказал Амару: «Ну что, достал деньги?», а когда Амар отрицательно покачал головой, добавил: «На заходе солнца я буду в кафе Хамади. Принеси деньги или берегись отца, когда вернешься домой».

Денег Амар не достал, и в кафе Хамади – выслушивать новые угрозы – он тоже не пойдет. Он сейчас же вернется домой и примет побои, чтобы они поскорее стали частью прошлого, а не будущего. Услышав за собой предупреждающий звонок велосипеда, он обернулся и увидел знакомого паренька. Парень остановился, и Амар пристроился на раме впереди него. Они ехали по дороге, петляющей по залитой солнцем долине, и Джебель Залагх был виден то справа, то слева.

– Тормоза в порядке? – спросил Амар. У него мелькнула мысль, что, пожалуй, было бы приятнее грохнуть в канаву или скатиться с холма, чем в целостности и сохранности добратся до ворот своего квартала. Может быть, по выходе из больницы его ожидало бы прощение.

– Тормоза отличные, – ответил паренек. – А ты что, боишься?

Амар презрительно рассмеялся. Они переехали через мост, и дорога пошла ровнее. Парень приналег на педали. Когда дорога стала подниматься от реки к повороту на Тазу, он уже почти выбился из сил. Амар соскочил с рамы, попрощался и, чтобы срезать путь, пошел через гранатовую рощу. У него самого никогда не было велосипеда, сын обнищавшего *фжиха*¹ и надеяться на такое не мог. Деньги шли только к тем, кто занимался куплей-продажей. Сыновья лавочников могли покупать себе велосипеды, Амару же оставалось время от времени брать велосипед напрокат, потому что люди, которых отец лечил святыми словами молитв и заклинаниями, расплачивались с ним медяками, а когда заходил человек побогаче, готовый щедро оплатить лечение, Си Дрисс проявлял железную волю и неизменно отказывался от вознаграждения.

«Когда Аллах посылает тебе деньги, – не раз повторял отец, – ты не должен тратить их на велосипеды и прочие назарейские штучки. Купи себе хлеба насущного и возблагодари Его за то, что Он тебе его дал». «*Hamdoul'lah*»², – отвечал Амар.

Пройдя через ворота Баб Фтех, он несколько минут наблюдал, как люди в кафе играют в карты. Затем поплелся домой. Впустившая его мать значительно взглянула на него, и тут же он заметил стоявшего у колодца отца. Мустафы нигде не было видно.

1 Святой человек, целитель (*араб.*).

2 Слава Аллаху! (*араб.*)

ГЛАВА ВТОРАЯ

– Иди наверх, – сказал отец и первый ступил на узкую лестницу с провалившимися ступенями. Войдя в меньшую из двух комнат, он включил свет. – Садись на циновку, –скомандовал он, указывая в угол. Амар повиновался. Все внутри у него дрожало, он не смог бы вымолвить ни слова, скованный волнением и ужасом, мало того, он не понимал даже, что именно – непреодолимую ненависть или всепоглощающую любовь – испытывает он к этому старику, который, подобно башне, грозно возвышался над ним и глаза которого пылали яростью и гневом. Отец принялся медленно размазывать длинную чалму, пока не показался бритый череп. Одновременно он заговорил.

– На сей раз ты совершил непростительный грех, – произнес он, не спуская с Амара страшных глаз. Остроконечная седая борода выглядела странно без дополнявшей ее чалмы. – Только ад ожидает такого мальчишку, как ты. Все деньги в доме – все, что было для того, чтобы купить хлеба твоему отцу и твоим родным. Сними джеллабу. – Амар снял одежду, старик вырвал ее у него из рук, попутно заглянув в капюшон. – Сними шаровары. – Амар расстегнул ремень – штаны упали на пол – и одной рукой прикрыл свою наготу. Отец обшарил карманы, не найдя ничего, кроме сломанного перочинного ножа, который Амар всегда носил с собой.

– Давай сюда деньги! Все! – выкрикнул старик.

Амар промолчал.

– Где они? Где они? – С каждым словом голос становился все пронзительнее. Стоя неподвижно, Амар глядел отцу в глаза, в полуоткрытый рот. Ему хотелось столько всего сказать, но сказать было нечего. Ему показалось, что весь он обратился в камень.

С поразительной для его лет силой старик швырнул Амара на циновку и, выдернув из брюк ремень, принялся

хлестать его пряжкой. Чтобы защитить лицо и голову, Амар перевернулся на живот и прикрыл руками затылок. Тяжелые удары обрушивались на его пальцы, плечи, спину, ягодицы, икры.

– Я убью тебя! – завопил отец. – Лучше тебе умереть!

Надеюсь, он действительно убьет меня, подумал Амар. Казалось, удары падают на него откуда-то издалека. И словно какой-то голос нашептывал ему: «Это боль», – и Амар соглашался, но не верил. Старик умолк, вкладывая все свои силы в удары. За свистом ремня и звуком впивавшейся в его тело пряжки Амар слышал, как кот на террасе призывно орет «Рао... рао...рао...», где-то кричат дети и по радио передают старую пластинку Фарид аль-Атраша. До него доносился запах *тахина*, который его мать готовила внизу, во дворе: корица и лук. Удары не прекращались. Внезапно Амар почувствовал, что должен немедленно перевести дыхание: он ни разу не вздохнул с того момента, как его свалили на циновку. Он глубоко вздохнул, и его тут же вырвало. Амар поднял голову, постарался пошевелиться, но боль вновь ткнула его лицом в циновку. Ритмичные удары продолжали сыпаться на него – с большей или меньшей силой, он не мог бы сказать. Лицо его размазывало рвоту по циновке, а перед внутренним взором возникло видение. Амару казалось, что он бежит по бульвару Поймиро в Виль Нувель, сжимая в руках саблю. Всякий раз, когда он пробегал мимо какого-нибудь магазина, стекло витрины мелко дребезжало. Француженки пронзительно вопили, мужчины стояли, застыв. Амар сыпал удары направо и налево, снося одну голову за другой, и яркая кровь фонтаном била из перерубленных шей. Яростное упоение обдавало его горячей волной. Вдруг он заметил, что все женщины – голые. Ловкими взмахами своей сабли снизу вверх он вспарывал им животы, ударами сверху вниз – отсекал груди. Ни одна не должна была уцелеть.

Порка прекратилась. Отец вышел из комнаты. По радио по-прежнему звучала та же песня, и до Амара донесся разговор родителей внизу. Он лежал, не двигаясь. На какое-то мгновение ему показалось, что он действительно умер. Потом он услышал, как в комнату вошла мать. «Ouildi, ouildi»¹, – сказала она, и ладони ее нежно прикоснулись к его спине, втирая в кожу масло. Пока наказание длилось, Амар ни разу не вскрикнул, но теперь рыдания душили его. Чтобы отстраниться, он представил, как отец из-за плеча матери глядит на него. Уловка сработала, и он затих, отдавшись во власть сильным ласковым рукам.

Еще целых два дня Амар отходил. Пока он лежал в своей комнатке на чердаке, несколько раз заходила мать, чтобы смазать ему маслом рубцы. Голова у него раскальвалась, знобило, мучила боль, и есть он ничего не мог, кроме похлебки и горячего чая, которые время от времени приносила мать. На третий день он впервые сел и немного поиграл на своем *лифахе* – дудочке из тростника, которую смастерил сам. В этот же день мать выпустила из клетки любимца Амара, ручного петуха Дики-бу-Бнара, и великолепная птица с напыщенным самодовольным видом бродила по комнате, царапая когтями пол и одобритительно прислушиваясь к напевам Амаровой дудочки. Однако на закате третьего дня, когда Дики-бу-Бнара вновь загнали в клетку и муэдзины закончили возглашать *магреб*, Амар услышал шаги отца на лестнице, ведущей на крышу. Он быстро отвернулся к стене, притворяясь спящим. Отец вошел в комнату со словами:

– Ya ouildi! Ya Amar!²

Амар не шевельнулся, но сердце учащенно билось, и дышать было тяжело. Он почувствовал, как отец присел на край циновки у него в ногах.

1 Сынок, сынок (*араб.*).

2 Сын мой! Мой Амар! (*араб.*)

– Амар!

Амар развернулся, потер глаза.

– Я пришел поговорить с тобой. Но прежде я хочу убедиться, что ты не затаил на меня злобы. Ты очень огорчил меня своим поступком. Твоя мать, брат и сестра последние дни сидят голодные. Но это еще полбеды. Не об этом я пришел говорить с тобой. Выслушай меня. Не удержишь ли ты в сердце своем злобы на меня?

Амар приподнялся и сел.

– Нет, отец, – спокойно ответил он.

Старик немного помолчал. Из клетки неожиданно донеслось кукареканье Дики-бу-Бнара.

– Я хочу, чтобы ты понял. *Bel haq, fel louwil...* Во-первых, ты должен знать, что я понимаю тебя. Неужели ты думаешь, что если я стар, то уже ничего не знаю о мире, о том, как все в нем переменялось?

Амар пробормотал что-то невнятное, но отец, не слушая его, продолжал.

– Я знаю, ты так думаешь. Все мальчики думают так. Весь мир теперь так изменился. Все вокруг – новое, другое. И все плохо. Мы страдаем сильнее, чем когда-либо прежде. И нам заповедано страдать. Но все это ничто. Как ветер. Ты думаешь, мне никогда не случалось бывать в Дар Дебибагхе, думаешь, я никогда не видел, как живут французы? А что, если я скажу, что бывал там, и не раз? Что, если я скажу, что тоже видел их кафе и магазины, ходил по их улицам, ездил в их автобусах?

Амар удивился. Он и подумать не мог, что после того, как много лет назад появились французские солдаты, отец хоть раз покидал пределы медины, не считая поездок в деревню или в меллах¹, где он покупал снадобья, которые можно было приобрести только у торговцев-евреев. Сколько он себя

¹ Меллах – еврейский квартал в арабском городе.

помнил, распорядок жизни отца всегда был неизменен: пять раз в день он ходил в мечеть, а по пути в нее или обратно ненадолго заглядывал в лавку к кому-нибудь из друзей. Ничего другого в его жизни не было, если не считать заботы о тех, кто к нему обращался. Поэтому странно было слышать от него, что он тоже бывал во французском городе. Амар даже усомнился: если отец действительно бывал там, то почему ни разу не упомянул об этом до сих пор?

– Хочу, чтобы ты знал, что я бывал там много раз. Я видел, как мерзостно и постыдно их христианство. Оно никогда не сможет заменить нам нашу веру. Клянусь, французы даже хуже евреев. Аллахом клянусь, что они еще подлее и коварнее безбожных евреев меллаха! И если я так говорю о них, то вовсе не потому, что мне нашептали это люди вроде Си Каддура¹, или этого негодяя Абдельгифа, или еще какие-нибудь *ваттанинь*². Может быть, они говорят и правду, но побуждает их к этому ложь, потому что это – *politique*. Знаешь ли ты, что такое *politique*? По-французски это значит – ложь. *Kdoub! Politique!* Когда француз говорит тебе: наша *politique*, то знай, что он хочет сказать: наша ложь. И когда мусульмане, Друзья Независимости, говорят тебе: наша *politique*, то знай, что они хотят сказать: наша ложь. Любая ложь – грех. Так что же более противно Аллаху: ложь в устах назереяна, не способного отличить истинную веру от ложной, или ложь в устах мусульманина, знающего истинную веру?

Амар начал понимать, к чему весь этот разговор. Отец хочет предупредить его против друзей, с которыми он гонял в футбол или ходил в кино, про которых было известно, что они состоят в Истиклале. Отец боялся, что Амара могут посадить в тюрьму, как Абдаллаха Тази и его двоюродного брата, который как-то вечером крикнул в кафе «Ренессанс»:

1 Си Каддур – религиозный лидер и драматург, выходец из Алжира Каддур Бен Габрит (1873-1954).

2 Патриоты (*араб.*).

«A bas les Français!»¹ Как же он ошибался, не без горечи подумал Амар. Даже малейшего шанса, что такое случится, не было. Это было совершенно исключено, потому что Амар не говорил по-французски и не умел читать и писать. Он ничего не знал, не умел даже расписаться по-арабски. Скорей бы отец замолчал и спустился вниз, думал Амар.

– Ты понимаешь, о чем я говорю?

– Понимаю, – ответил Амар, пальцами ног теребя простыню. Он чувствовал себя лучше, ему хотелось выйти из дома и прогулять, но он знал, что, стоит лишь встать, и выходить расхочется. Сквозь железную решетку окна он видел плоские крыши в дальнем конце города и кусок темнеющего неба над ними.

– Куда хуже, когда лжет мусульманин, – заключил отец. – А кто из всех мусульман совершает величайший грех, когда лжет или становится вором? Шариф. Благодарение Аллаху, ты тоже из их числа...

– Hamdoul'lah... – послушно, но с чувством пробормотал Амар. – Благодарение Аллаху.

– Да что там Hamdoul'lah, Hamdoul'lah! Нет! Ты должен стать мужчиной, стать Шарифом. Шариф живет во имя своего народа. Для меня лучше бы ты умер, чем вырос и стал таким отребьем, как те, с кем ты шляешься по улицам. Лучше бы ты умер! Ясно? – старик кричал все громче. – Не останется мусульман, если молодые Шарифы перестанут повиноваться законам Аллаха.

Отец продолжал в том же духе, Амар понимал и молча соглашался, но не мог удержаться от мысли: «Он не знает, каков мир сегодня». Сознание, что его собственное восприятие мира настолько отлично от восприятия отца, словно ограждало его невидимой стеной. Когда отец уходил из дому, на уме у него была только мечеть, Коран и компания таких

¹ Долой француз! (фр.)

же стариков, как он. Это был незыблемый мир закона, начертанного слова, неизменной благодати, но мир ссохшийся и сморщенный. Когда же Амар ступал за порог дома, перед ним выжидающе раскидывался огромный мир, живая, таинственная земля, которая принадлежала ему, как никому другому, и где могло произойти все, что угодно. Аромат утреннего ветерка, веющего в оливковых рощах, шум речных вод, перекатывающихся через скалистые пороги, стремительно бегущих по своим руслам в самом сердце города, подвижная тень листвы на белой дорожной пыли, служившая ему укрытием в полдень, – все несло Амару особую весть, предназначенную только ему и уж точно не его отцу. Мир, в котором жил старик, представлялся Амару чем-то вроде картинок из газет, контрабандой доставлявшихся из Египта: блеклых, расплывчатых, бессмысленных, если не рассматривать их как дополнение к печатному тексту.

Он слушал слова отца с растущим нетерпением. Тот несколько раз упоминал о долге Амара как потомка Пророка. К кому смогут обратиться люди в трудную минуту, как не к Чорфа? Каждый Шариф должен быть предводителем. С этим Амар не мог не согласиться, но чувствовал, что в нарисованную отцом картину закралась ошибка. Род Чорфа был предводителем, но предводителем, который мог привести своих последователей только к поражению, но об этом Амар никогда никому не решился бы сказать. Старик словно уловил шевельнувшееся в сыне чувство – только чувство, а не продуманную мысль, – он ненадолго замолчал, а потом вновь заговорил, но уже гораздо тише и печальнее.

– Я совершил великий грех, – сказал он. – Аллах тому судья. Я бил тебя чуть ли не каждый день, силком тащил в школу, чтобы ты выучился писать. Теперь ты уже ничему не научишься. Слишком поздно. Так и останешься на всю жизнь неучем. И это моя вина.

Амар был поражен: отец никогда не говорил с ним так.

– Нет, – неуверенно ответил он. – Это моя вина.

В полутьме Амар увидел, как отец протянул к нему руки. Старик обхватил руками его голову и, нагнувшись, легко коснулся губами лба мальчика. Потом отстранился, несколько раз молча покачал головой, встал и, ни слова не говоря, вышел из комнаты.

Немного погодя появился Мустафа, он стоял на пороге, морща лоб, и было ясно, что отец послал его справиться о здоровье Амара. В первое мгновение, увидев его, Амар захотел было сказать что-нибудь обидное, затем его охватило какое-то непонятное спокойствие, и он произнес самым добродушным тоном:

– Ah, khai, chkhbarek?¹ Мы уже несколько дней не виделись. Как дела?

Казалось, Мустафа удивился; невыразительно пробормотав приветствие, он повернулся и стал спускаться по лестнице. Амар лежал, улыбаясь, впервые он почувствовал, что одержал победу, о которой и мечтать не мог. Мустафа был его старшим братом, он родился первым, и двадцать шесть овец было принесено в жертву в тот день – за двух заплатил отец, тогда как в день появления Амара на свет Си Дрисс купил только одну. Правда, еще одну овцу принес в дар друг семьи, но та в счет не шла. Правдой было и то, что Мустафа родился среди холмов Хериб Джерада, и двадцать четыре овцы были подарком крестьян, бывших вне себя от радости оттого, что среди них родился Шариф, тогда как Амар появился на свет в центре города, и радовалась только его семья, но это даже не приходило ему в голову, когда он принялся размышлять о своих ошибках. Теперь ему казалась очень важной растерянность Мустафы: тот, конечно, не ожидал, что отец пошлет его наверх узнать о том, как чувствует себя Амар, и он даже представить себе не мог, что найдет брата в

¹ А, брат, как поживаешь? (араб.)

приподнятом настроении. Амар знал своего брата: Мустафе не будет покоя, пока он не найдет разгадки этого маленького чуда. У Амара же не было ни малейшего желания, чтобы это произошло. На самом деле, он и сам не понимал, как в глубине души относится к Мустафе, разве что ощущал, что в очень далеком, неразличимом будущем победа останется за ним, а брата ожидает полный крах.

И вдруг в памяти его всплыл случай, о котором так часто рассказывала мать. Давным-давно, когда ее отец лежал на смертном одре в той самой комнате, где сейчас жил Амар, и вся семья собралась попрощаться с ним, старик велел, чтобы к нему подвели Мустафу и он мог бы благословить первенца. Но Мустафа был угрюмым и упрямым ребенком, с плачем он спрятался под материнскую юбку, и никакими уговорами невозможно было заставить его подойти к постели, на которой лежал старик. Возникла неловкость, которую чудом помог разрешить Амар: по совершенно необъяснимой причине он проковылял через всю комнату и поцеловал умирающему руку. Старик немедля благословил Амара вместо Мустафы; не удовольствовавшись этим, он изрек пророческие слова о том, что малыш вырастет гораздо более достойным человеком, чем его брат. Несколько минут спустя он испустил дух. История эта всегда производила сильнейшее впечатление на Амара, однако поскольку он был вполне уверен, что никто из родителей никогда не рассказывал ее Мустафе, она не могла служить достаточным утешением за двадцать шесть овец. Но теперь, когда Амар снова вспомнил о ней, она приобрела в его глазах важность, которую он не придавал ей раньше. Что могли значить двадцать шесть или даже сотня овец по сравнению с волшебной властью благословения, прямо возложенного на него Аллахом через сердце и уста деда? В темноте Амар пробормотал короткую молитву об усопшем и еще более краткую – в благодарность за ниспосланную ему благую судьбу.

В тот вечер в похлебке, которую принесла ему мать, он нашел миндаль и нут. Амару страстно захотелось узнать, положила ли их мать в похлебку, которую готовила для остальной семьи, или же они были куплены специально и только для него, но так и не осмелился спросить. На мгновение ему представилось, как мать со смехом бежит по лестнице, крича: «Хозяин, Амар думает, что мы специально купили миндаль для него, а другие его не едят!» Тогда сестра и Мустафа будут просто покатываться со смеху.

– Какая вкусная похлебка, – заметил он.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

На следующее утро он уже чувствовал себя прекрасно. Встав пораньше, он вышел на крышу поглядеть на раскинувшийся кругом город. Над долиной стоял туман. Несколько высоких минаретов пронзали серую пелену, словно зеленые, указующие вверх персты, по обе стороны виднелись холмы и протянувшиеся по их склонам ряды крохотных оливковых деревьев. Но чаша, в которой лежал центр города, еще до краев полнилась неподвижным ночным туманом. Амар стоял так какое-то время, оглядываясь, позволяя прохладному утреннему ветерку овеивать его лицо и грудь, а затем произнес несколько слов молитвы, повернувшись в сторону Баб Фтеха. За воротами, возле кладбища расстился пустырь, где он играл в футбол, за ним – поселок с хижинами из тростника, между которыми всегда бродило множество коз, следом – засеянные пшеницей поля, плавно спускавшиеся к реке, еще дальше – саманные деревушки, окруженные нависшими со всех сторон глиняными утесами. А совсем вдалеке лежала изрезанная глинистыми оврагами земля; по этим оврагам весной, после дождей мчались бурные потоки, порой неся в мутных водах утонувшую овцу или даже корову.

Здесь не было вообще никакой зелени – одна лишь глина с глубокими промоинами и причудливыми башенками, выточенными дождем. Вдалеке высились горы, где жили берберы, а еще дальше лежала пустыня и другие земли, названия которых знали только немногие, а уж за ними, разумеется, в самом центре земли сияла вечным неземным светом Мекка. Сколько часов провел Амар, разглядывая яркие хромолитографии, украшавшие стены цирюлен! На некоторых были изображены исторические битвы между мусульманами и демонами; на других – прекрасные крылатые кони с женскими головами и грудью – именно на этих животных обычно путешествовали важные люди, прежде чем

предпочли аэропланы; третьи представляли Адама и Еву – первых мусульман в мире – или Иерусалим, великий священный город, где христиане и евреи каждый день убивали мусульман и, расчленив их тела, раскладывали части по жестяным банкам и отправляли это мясо на кораблях в дальние страны; но среди них всегда была одна картинка, самая красивая, изображавшая Мекку с окружавшими ее и возвышавшимися над ней остроконечными утесами и скалами, длинными рядами высоких домов с бесчисленными террасами и балконами, с аркадами, светильниками и огромными голубями и, наконец, в центре – огромный камень, закрытый черным холстом, такой несказанной красоты, что многие теряли сознание, а некоторые и вовсе умирали, взглянув на него. Часто ночами Амар стоял тут, опершись о балюстраду и изо всех сил вглядываясь в усеянное звездами черное ночное небо, и пытался вообразить, что видит слабый отблеск сияния, струящегося ввысь из священного ковчега.

Обычно до террасы, со стороны рынка в Сиди Али бу Ралем, доносились пронзительные голоса и барабанная дробь. Сегодня из-за тумана были слышны звуки только из ближних кварталов. Амар вернулся в комнату, улегся, задрал ноги и уперев их в стену, и стал наигрывать на своей дудочке; это не была какая-то определенная мелодия – просто несвязная череда звуков с долгими паузами – музыка, выражавшая настроение, охватившее Амара этим прохладным туманным утром. Через некоторое время он одним прыжком вскочил на ноги и надел единственную европейскую одежду, которая у него была: старые военные брюки, толстый шерстяной свитер, а пару сандалий, которые купил в меллахе, взял под мышку, чтобы надеть, когда доберется до центра города, где ему не будет грозить нападение врагов из его квартала. Проще драться босиком, не стесненным никакой обувью. Приятель подарил ему кожаный ремешок, и в особо торжественных случаях Амар носил его на запястье, делая вид, будто у него есть настоящие часы.

На этот раз после недолгого раздумья Амар решил не брать его, аккуратно причесался, глядя в висевшее на стене карманное зеркальце, и на цыпочках спустился по лестнице во двор. Заметив его, мать крикнула:

– Иди завтракать! Как можно уходить на голодный желудок?

Амар был страшно голоден, но, сам не зная почему, хотел как можно скорее выбраться из дома, ни с кем не разговаривая, – так, чтобы охватившее его настроение не прошло. Однако теперь было поздно. Амару пришлось присесть к столу, съесть приправленную корицей овсянку и выпить козьего молока, которое принесла ему младшая сестра. Она сидела на корточках у двери и краешком глаза поглядывала на Амара. На лбу и висках у нее застыла стекавшая струйками хна, и руки были кирпично-красные от краски. Она была уже достаточно взрослой, на выданье, и два раза ей уже делали предложение, однако Си Дрисс не желал и слышать об этом, отчасти потому, что хотел, чтобы дочь еще пожила дома (она казалось ему еще совсем маленькой), отчасти же потому, что ни одно из предложений не подкреплялось солидными основаниями, чтобы их можно было рассматривать всерьез. Мать Амара во всем держала сторону мужа, ей казалось, что чем дольше откладывать замужество дочери, тем более счастливым оно будет. Сыновья доставляли мало радости, так как их почти не бывало дома; наскоро проглотив завтрак, они исчезали, а когда вырастут, вообще неизвестно, будут ли они хотя бы приходить ночевать. Другое дело дочь, которой не разрешалось выходить из дома одной, даже чтобы купить килограмм сахара в соседней лавке; на нее в случае нужды всегда можно было рассчитывать. Как бы там ни было, год от года Халима становилась все прелестней: казалось, глаза ее делаются все больше, а волосы – гуще и шелковистей.

Поев, Амар встал и вышел во двор. Там он немного посидел, играя со своей любимой парочкой голубей и следя за матерью в надежде, что та поднимется вверх и можно будет

ускользнуть из дома незамеченным. Наконец, он решил больше не мешкать.

– Похоже, дождь собирается, – крикнула ему мать, когда он был уже в дверях.

– Не будет никакого дождя, – ответил Амар. – B'slemaḥ¹.

Он знал, что мать готова уцепиться за любой предлог, лишь бы разговорами подольше удержать его дома. Обернувшись, он улыбнулся ей и прикрыл за собой дверь. Три раза свернуть, и вот уже улица. Но тут он столкнулся с отцом. Амар остановился, чтобы поцеловать старику руку, но тот быстро спрятал ее.

– Как спалось, мой мальчик? – спросил он. После того, как они обменялись приветствиями, Си Дрисс пристально взглянул на сына. – Я хочу с тобой поговорить, – произнес он.

– Naam, sidi².

– Куда ты собрался?

– Просто прогуляться, – ответил Амар, у которого действительно не было никакой определенной цели.

– Не такая сейчас жизнь, чтобы просто гулять. Ты уже больше не мальчик, а взрослый мужчина. Подумай над этим хорошенько и возвращайся домой к обеду, а потом мы вместе пойдем к Абдеррахману Рабати.

Амар кивнул и пошел дальше. Но радость от утренней прогулки испарилась. Рабати был крупным громкоголосым мужчиной, который частенько подыскивал ребятам из их квартала работу во французском Вилль Нувель, и Амар слышал бесконечные рассказы о том, что работа тяжелая, французы постоянно сердиты и недовольны и под любым предлогом не платят в конце недели, а, в довершение всего, сам Рабати регулярно собирал небольшую мзду с мальчиков за то, что нашел им работу. Кроме того Амар знал по-французски только «bon jour m'sieu», «entrez» и «fermez la porte»³ – выражения,

1 До свидания (*араб.*).

2 Да, господин (*араб.*).

3 «Добрый день, месье», «Входите», «Закройте дверь» (*фр.*).

которым из лучших побуждений научил его приятель, а было общеизвестно, что с ребятами, которые не понимают французского, обходятся еще хуже и они становятся предметом насмешек не только со стороны французов, но и со стороны тех ребят, которым повезло выучить французский.

Амар свернул на главную улицу квартала, кивнул продавцу мяты и с несчастным видом огляделся, не уверенный даже в том, что еще хочет гулять. Слова отца точно напитали ядом утренний пейзаж. Выход был только один: немедленно найти какую-нибудь работу, чтобы, вернувшись к обеду, сказать: «Отец, я уже работаю».

Амар свернул налево и стал подниматься по пыльному склону холма мимо огромного резного фасада старой мечети, мимо бетонного здания, с которым было связано так много радостных воспоминаний детства, – кинотеатра, на стенах которого висели глянцевые фотографии мужчин с револьверами. Он снова повернул налево, оказавшись на узкой улочке, где было тесно от осликов, стоявших в ожидании хозяев, и мужчин, толкавших тачки; дальше улочка круто ныряла вниз, скрываясь между домами. Наконец, он вышел на большой пустырь, на котором то тут, то там высились круглые башенки. Зрелище напоминало охваченную пожаром деревню: облака черной копоти поднимались из земляных дымоходов. Мальчишки в лохмотьях бегали туда-сюда, охаживая зеленые ветви, которые они запихивали в дверцы печей. Дым волнами колыбался низко над землей, словно не желая подниматься к небу. В дальнем углу, пристроенные к высокой городской стене, печи тянулись в два ряда, один над другим. Лестница вела на огромную плоскую крышу, и Амар взобрался на верх, чтобы оглядеть всю картину. Неподалеку от него, в дверях небольшой хибарки сидел на корточках бородатый мужчина.

– Не найдется ли у вас для меня какой работы? – повернувшись к нему, спросил Амар.

Мужчина уставился на него взглядом, не выражавшим ни малейшего интереса. Потом спросил:

– Ты кто?

– Сын Си Дрисса, *фжиха*, – ответил Амар.

Взгляд мужчины стал жестче.

– Зачем ты врешь? – спросил он. – Ты – сын Си Дрисса, *фжиха*? Ты?

Он отвернулся и сплюнул.

Амар почувствовал, что застигнут врасплох. Он посмотрел вниз, на свои босые ступни, поджал большие пальцы и подумал, что ему, пожалуй, следовало бы надеть сандалии, прежде чем подниматься вверх.

– А что тут такого? – спросил он, наконец, воинственно. – Какая разница, как меня зовут? Я всего лишь спросил, нет ли у вас работы?

– С глиной обращаться умеешь? – задал вопрос бородач.

– Я могу за пять минут научиться чему угодно.

Мужчина рассмеялся, погладил бороду и медленно поднялся.

– Пошли, – сказал он и провел Амара к другой хибарке, располагавшейся чуть дальше на крыше. Внутри, в полутьме Амар увидел мальчика, сидевшего на корточках рядом с большим чаном с водой и энергично теревшего одну руку о другую. – Заходи, – сказал мужчина. Они остановились, глядя на мальчика, по-прежнему не поднимавшего головы. – Три изо всех сил, – сказал мужчина Амару, – и если найдешь даже малюсенький камушек, выбрось его и три дальше, пока глина не станет, как шелк.

– Понятно, – сказал Амар. Казалось, трудно было придумать работу проще. Он подождал, пока они снова не вышли наружу, и спросил:

– Сколько?

– Десять риалов в день.

Это была вполне приличная плата.

– С обедом, – добавил Амар, так, словно это само собой разумелось.

Мужчина выкатил глаза.

– Ты что, рехнулся? – воскликнул он. (Амар продолжал пристально на него глядеть.) – Если хочешь работать, ступай внутрь и начинай. А так я и без тебя обойдусь. Просто хотел сделать доброе дело.

Какую бы работу ни делал Амар, даже самую простую, когда таскал воду в сырмятню или подавал портным длинные нити, которые шли на отделку джеллабы, она полностью завораживала его: любое занятие доставляло ему острое наслаждение, которого он никогда не испытывал, если у него оставалось время подумать о том, кто он такой на самом деле. Смешивая воду с глиной, он растирал, промывал ее, удаляя посторонние частички. Ближе к полудню вернулся хозяин и, посмотрев на работу Амара, высоко поднял брови от удивления. Потом наклонился и проверил качество замеса, глубоко погружая в него пальцы, пробуя на ощупь.

– Хорошо, – сказал он. – Иди домой, перекуси.

Амар поднял на него глаза.

– Я еще не проголодался.

– Тогда пошли со мной.

Пройдя через всю крышу, они спустились вниз и пересекли полосу голой земли, где были свалены огромные охапки веток. Здесь в земле опять шли ступеньки. Резкий запах сырой глины становился мягче, оттого что к нему примешивался сладковатый мускусный дух, исходивший от фиговых деревьев, растущих внизу вдоль реки, стремительно и беззвучно несшей свои воды. В скале, там, где кончались ступени, виднелась дверь. Мужчина отодвинул засов, и они вошли.

– Ну-ка поглядим, справишься ли ты с *мамиллом*.

Амар опустился на пол, поудобнее устроился на сиденье, приходившемся на уровне башмаков хозяина, и стал ногой крутить большое деревянное колесо. Это требовало определенной силы и сноровки, но было не сложнее игры в футбол.

– Знаешь, как это работает? – спросил мужчина, указывая на колесо поменьше, которое крутилось возле левой руки Амара.

Бросив немного глины на вращающийся диск, он присел рядом. Несколько прикосновений рук, и спрыснутая водой бесформенная масса скоро приобрела форму блюда.

– Просто продолжай крутить колесо, – сказал мужчина, явно ожидая, что Амар устанет и остановится. – А этим я займусь.

Но Амар понимал, что механизм устроен так, что с ним вполне может управляться один человек, действуя одновременно руками и ногами. Прошло немного времени, и бородач поднялся на ноги.

– Лучше тебе сбегать домой, перекусить, – сказал он.

– Я хочу сделать кувшин, – ответил Амар.

Мужчина рассмеялся.

– Этому не так-то просто научиться.

– Я могу сделать его прямо сейчас.

Ни слова не говоря, мужчина снял с круга блюдо, которое уже начал было делать, отступил в сторону и, сложив руки на груди, удивленно посмотрел на Амара.

– Zid. Давай, вылепи кувшин, – сказал он. – Посмотрим, что у тебя получится.

Глина и вода были справа от Амара, вращающееся колесо находилось слева. Через дверной проем в комнатушку попадал скудный свет, так что все тонкости работы хозяина Амар не разглядел, однако он изо всех сил старался в точности повторять все его движения, не забывая вращать босой ступней большое колесо. Не торопясь, он вылепил кувшинчик, заботясь прежде всего о том, чтобы очертания его были приятны для глаза. Мужчина был поражен.

– Тебе, небось, уже не раз приходилось делать такую работу, – сказал он наконец. – Что же ты сразу не сказал? Я всегда готов платить десять риалов и кормить хорошего работника, который смыслит в нашем деле.

– Да благословит вас Аллах, учитель, – сказал Амар. – Я очень проголодался.

Даже если он не вернется домой к обеду, отца успокоят хорошие вести, с которыми он явится к ужину.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Богатый купец по имени Эль-Йазами, который жил в их квартале и однажды отправил свою сестру лечиться к Си Дриссу, уезжал сегодня в полдень в Рисани. Его слуги уже отнесли на автовокзал за воротами Баб эль-Гиса семь громадных сундуков, которые взвесили и закрепили на крыше автобуса, а из дома всё продолжали тащить на вокзал бесконечные корзины и бесформенные тюки и свертки. Эль-Йазами совершал ежегодное паломничество к усыпальнице своего святого покровителя в Тафилалете, откуда он всегда возвращался, разбогатев на несколько тысяч риалов; ведь, как всякий добрый фесец, он умел сочетать дела с набожностью и знал, какие именно товары следует везти на юг, чтобы продать их там с наибольшей выгодой. И, пока он стоял, наблюдая за тем, как рабочие грузят его товары на крышу большого синего автобуса, ему пришла в голову мысль, что с полтысячи среднего размера кувшинов могут составить прибыльное добавление к его грузу. Даже если двадцать процентов уйдет на бой, подсчитывал он в уме, выручка все равно составит около ста пятидесяти процентов, а значит, дело того стоит. И вот, в сопровождении одного из сыновей он направился к Баб Фтеху, чтобы успеть совершить покупку. Когда вдали показался окутанный дымом глинобитный город, он послал сына посмотреть, какая посуда продается по одну сторону дороги, сам же отправился обследовать другую. Такую большую партию товара не всегда можно было приобрести за столь короткое время. Первым, с кем столкнулся сын Эль-Йазами, был Амар, только что выбравшийся из своей сырой мастерской в тень фиговых деревьев – глотнуть свежего воздуха и тайком выкурить сигарету. Амар знал парня в лицо, хотя друзьями они никогда не были. После обмена приветствиями молодой Йазами сообщил, что ему нужно.

– Мы продадим вам столько кувшинов, сколько вам понадобится, – не раздумывая, ответил Амар.

– Но нам они нужны прямо сейчас, – сказал Эль-Йазами.

– Само собой.

Амар понятия не имел, где можно достать такую уйму кувшинов, но главное было, что именно он первым сообщит о грандиозном заказе своему нанимателю, и тот наверняка в долгу не останется.

Бородач недоверчиво взглянул на Амара.

– Пятьсот?! – вскрикнул он. – Да кому столько нужно?

На самом деле он знал, что сможет раздобыть требуемое количество у своих соседей-гончаров; больше всего его интересовало, действительно ли это серьезное предложение или выдумка Амара.

– Вот этому, – и Амар ткнул пальцем в сторону молодого Йазами, который с беспечным видом сидел на нижней ступеньке лестницы. Гончар поглядел на него с разочарованием. Юноша не был похож на человека, способного купить хотя бы один кувшин.

– Сын греха... – начал мужчина низким, задыхающимся голосом. Амар подбежал к мальчишке и схватил его за руку.

– Получишь завтра пятьдесят риалов, если купишь здесь, – прошептал он.

– Не знаю... дело в том, что отец... – и парень показал в сторону, где Йазами-старший приглядывался к кувшинам на другой стороне оживленной улицы.

– Веди его сюда сейчас же, а завтра придешь за своими пятьюдесятью риалами.

Конечно, не было никакой гарантии, что гончар заплатит Амару хоть что-нибудь, если сделка состоится, но Амар решил, что в таком случае он просто уйдет от него. Мир был слишком велик, полон великолепных возможностей, чтобы тратить время попусту с неблагодарными учителями.

Парень перебежал на другую сторону дороги и начал оживленно говорить с отцом. Амар заметил, что он указывает в

сторону их мастерской. Гончар уже снова сидел на корточках перед дверью.

– Ступай работать, – позвал он Амара.

Тот замер в нерешительности. Потом, решив рискнуть, перебежал через дорогу и мигом вернулся с молодым Йазами и его отцом. Гончар выпрямился. Когда вся троица приблизилась, он услышал, как осанистый, внушительного вида господин говорит Амару: «Помню, помню тебя еще совсем крохой, когда ты пешком под стол ходил. Не забудь передать от меня привет Си Дриссу. Да хранит его Аллах».

Сделку заключили без промедления, и хозяин послал Амара набрать мальчишек, которые помогли бы отнести корзины с кувшинами к воротам Баб эль-Гиса. Когда последняя партия была отправлена, гончар спустился в темную комнатушку, где сидел Амар.

– Zduq, – сказал он, удивленно на него глядя, – так, значит, ты и вправду сын Си Дрисса, *фкиха*?

– Да. Я ведь вам уже говорил, – ответил Амар с легкой насмешкой, скрытой напускным удивлением.

– А я-то тебе не поверил. Ты уж прости, – гончар задумчиво почесал бороду.

– Аллах простит, – ответил Амар, беспечно рассмеявшись. И, не поднимая головы, погрузился в работу, делая вид, что полностью поглощен своими манипуляциями, и гадая, предложит ли ему хозяин какую-нибудь награду. Но, так как тот ничего больше не сказал на эту тему и завел разговор о количестве глины, которая им понадобится, Амар понял, что необходимо срочно что-то предпринять. Выскочив из углубления в полу, он схватил руку хозяина и поцеловал рукав его джеллабы. Хозяин отдернул руку.

– Нет, нет, Шариф!.. – протестующе воскликнул он.

– Всего лишь ученик искусного гончара, – напомнил Амар.

– Нет, нет...

– Пока я только *металлем*, – продолжал Амар, – но я могу пророчествовать. Отныне и впредь вам во всем будет

сопутствовать удача. Это подсказывает мне мой дар. Аллах в Своей бесконечной мудрости наделил меня знанием, – при этих словах Амара гончар отступил на шаг, глядя на него широко раскрытыми глазами. – И я скажу вам правду, даже если сейчас вы занесли руку, чтобы ударить меня, – на лице гончара появилось изумленное выражение, и он уже собирался было возразить, но Амар не дал ему этого сделать. – Аллах всемогущ и знает, что творится у меня в душе. Поэтому как я могу утаить это от вас? Он знает, что сейчас мой отец лежит дома больной и у него нет денег даже чтобы купить горшочек пахты, от которой ему может стать легче. Он знает, что вы великодушны, и поэтому Он и послал вам сегодня богатого покупателя, чтобы вы могли проявить свое великодушие.

Теперь гончар глядел на него со смешанным выражением удивления и подозрительности. Амар решил, что надо без обиняков переходить к делу.

– Получив плату за пять дней вперед, я уйду отсюда сегодня самым счастливым человеком на свете.

– Допустим, – ответил гончар, – а потом мне придется нанять полицейского, чтобы он разыскал тебя и приволок обратно? Откуда мне знать, что ты вернешься? А может, ты уже будешь в Дар Дебагхе таскать кожи к реке, стараясь провести тамошних людей так же, как провел меня? Амар ни минуты не сомневался, что хозяин даст ему денег, поэтому без лишних слов снова уселся в свою ямку, готовясь взяться за работу. Разогнав колесо, он поднял голову и сказал:

– Простите меня, господин.

Гончар застыл как изваяние. Наконец произнес почти жалобно:

– Откуда мне знать, что ты завтра вернешься?

– Да, господин, – сказал Амар. – Разве хоть один человек от начала мира мог сказать, что случится завтра? Человек живет сегодняшним днем. И я прошу, чтобы сегодня ты открыл свое сердце добру. Завтра принадлежит Аллаху, иншалла, –

произнес он с чувством, – я приду завтра и буду ходить сюда каждый день. Иншалла!

Гончар сунул руку в карман *чукфы* и вынул деньги.

– Это на пахту для твоего отца, – сказал он. – Пусть скорее поправляется.

Дорога к дому не лежала через пустырь у подножия кладбища напротив Баб Фтеха, однако Амар специально решил заглянуть сюда, когда закончил работу, в слабой надежде, что молодой Йазами окажется среди примерно двух дюжин мальчишек, гоняющих здесь в футбол. Йазами не было, но Амару попался мальчишка из школы, который уверял, что знает, где он, и вместе с Амаром они пустились на поиски по влажным улицам Эль-Мокфии, которые привели их на другой берег реки в маленькое кафе, которое Амар прежде никогда не видел. Йазами в компании своих сверстников играл в шашки. При виде Амара лицо его вытянулось: Амар мог объявиться так скоро только затем, чтобы сказать ему, что денег он не достал. После настойчивых попыток угостить Амара кокаколой, от которых тот вежливо отказался – это было слишком дорогое кафе, со столиками и стульями вместо обычных циновок, и Амар никому не хотел быть обязанным, – Эль-Йазами взял его за руку и вывел наружу, где, стоя в темноте под высоким платаном, они могли поговорить.

Основная цель Амара состояла в том, чтобы отвлечь внимание Йазами от своего места работы: появившись парень там, гончар сразу бы что-то заподозрил. Теперь приходилось ломать голову: как мог он оказаться настолько глуп, чтобы назначить встречу именно там?

– Ты лучше завтра не приходи, – сказал он и добавил: – Он дал мне только двадцать пять риалов. В темноте он сунул монеты в руку Эль-Йазами. Тот вернулся к дверям кафе, чтобы пересчитать их в тусклом свете, падавшем изнутри. Это был приятный сюрприз, потому что он уже ни на что не рассчитывал.

– Значит, я должен тебе еще двадцать пять, – сказал Амар, – и я их отдам, как только раздобуду. Но постарайся придумать еще какой-нибудь заказ, ладно? Тем скорее получишь остальное.

Эль-Йазами это показалось вполне разумным, и он пообещал сделать все от него зависящее. После чего они расстались, причем каждый был не без оснований доволен исходом встречи.

Удивительно, но в ближайшие дни Эль-Йазами приложил немало усилий, чтобы найти покупателей хозяину Амара, и усилия эти оказались далеко не тщетными. И действительно, сделки были настолько успешными, что как-то под вечер к концу недели гончар зашел в маленькую мастерскую Амара. Прежде чем заговорить, он немного постоял, глядя на Амара. Когда же заговорил, в голосе его послышались удовлетворенные нотки и некоторое удивление.

– Господин, – сказал он. (Амар про себя улыбнулся: никогда прежде гончар так не обращался к нему.) – С тех пор, как ты здесь, Аллах благоволит мне, дела идут на лад – так, как мне и не снилось.

– Hamdoul'lah, – ответил Амар.

– Тебе нравится работа?

– Да, хозяин.

– Надеюсь, ты останешься у меня, – сказал гончар. Ему стоило труда продолжать, но он сделал над собой усилие. В конце концов, подумал он про себя, конечно же, это Аллах послал ему парня, ведь сначала он не поверил, что перед ним – Шариф, да еще обладающий даром *бафака*, и он не мог припомнить, что заставило его держаться с мальчишкой дружелюбно. Если тут не обошлось без вмешательства Аллаха, гончар чувствовал себя надежней и ему легче было проявить великодушие. – Думаю, я удвою тебе плату.

– Если такова воля Аллаха, – ответил Амар, – я буду очень, очень рад.

Гончар достал из кармана перстенок и протянул его Амару.

– Надень его, – сказал он. – Пусть это будет тебе небольшим подарком. Никто не может сказать, что Саид не отблагодарил Аллаха за Его милость.

– Спасибо вам большое, – ответил Амар, примеривая перстень то на один, то на другой палец. – Единственное, я хотел бы знать, с какого времени плата будет считаться удвоенной. Начиная с сегодня или с того дня, как я поступил к вам на работу?

Гончар воззрился на него и уже готов был сказать какую-то резкость, но решил, что не стоит, и только пожал плечами.

– Если хочешь, можем считать с самого начала, – сказал он; лично ему Амар не нравился, но он решил держать его у себя, насколько это будет возможно. Это было не только из-за божественной благодати, которая, казалось, воплощалась в мальчишке, но и благодаря удачной торговле в последнее время. Хотя факты эти можно было рассматривать как две стороны одной монеты, гончар предпочитал думать о них по раздельности: этим он еще больше угодит Аллаху.

– Если вам это не нравится... – начал Амар.

– Конечно, нравится, конечно, – запротестовал гончар.

– Когда-нибудь, если вы вдруг останетесь без выручки, я буду работать на вас бесплатно и вдвое усерднее – так, чтобы Аллах снова явил Свою милость и послал нам денег.

Гончар поблагодарил Амара за его великодушие и повернулся, чтобы идти.

– Шесть дней по двадцать риалов, – думал между тем Амар. – Он дал мне пятьдесят. Значит, должен еще семьдесят. И двадцать пять – Йазами... *бель хак*, это еще не все... Но почему он не платит, а все только болтает?

И Амар решил получить деньги сегодня же.

– Учитель! – крикнул он, когда гончар был уже в дверях. Тот с удивлением посмотрел на него. Теперь Амару надо было действовать без оглядки. Конечно, это было неслыханно, однако он собирался попросить хозяина посидеть с ним вечером в

каком-нибудь кафе. Слова, которые он произнес, удивили его самого едва ли не больше, чем того, к кому были обращены.

– Ладно, – сказал гончар.

Закончив работу, они вместе отправились в кафе неподалеку от Баб Сиди бу Джиды; позади был разбит небольшой сад, через который протекал один из бесчисленных речных протоков. По берегам росли плакучие ивы и молодые сливовые деревья; единственная маленькая лампочка, подведенная к увитой виноградом решетке, пряталась в листве. Цинновка, на которой устроились хозяин с учеником, была всего в нескольких сантиметрах от быстро бегущей воды.

Амар с важным видом приказал подать чай; ему с трудом удавалось скрывать распиравшие его гордость и удовольствие. Ему подумалось, что он был бы еще более счастлив, если бы перед ним не маячила проблема – найти нужную зацепку в разговоре, которая дала бы ему возможность с полным основанием потребовать денег, и перед ним мелькнул соблазн отказаться на этот раз от своей затеи и просто приятно расслабиться. Однако Амар тут же напомнил себе, что пригласил хозяина в кафе только затем, чтобы получить жалованье и, вздохнув, решил поскорее покончить с делом.

Гончар рассказал Амару о двух своих сыновьях, о препирательствах с соседом, которые едва не переросли в кровную вражду, и, наконец, о мечте всей своей жизни – совершить хадж, паломничество в Мекку. Амар разволновался, глаза его блеснули.

– Отправиться туда с благословения Аллаха и умереть счастливым, – прошептал он с блаженной улыбкой на губах. Затем откинулся назад и, закрыв глаза, выдохнул: – Аллах!

– Но только не в этом году, – значительно произнес гончар.

– Может, через год удастся скопить денег, иншалла.

Гончар фыркнул. Потом, наклонившись вперед, шепнул на ухо Амару:

– Здесь можно. Никто тебя не слышит.

Амар не понял, но улыбнулся и оглядел маленький, тускло освещенный сад. Каким умиротворенным казалось здесь все: вечерний ветерок колыхал листочки винограда, вившегося возле лампочки, по желтой циновке скользили тени. На миг Амару удалось отогнать мысли о деньгах. Время от времени темная поверхность воды покрывалась рябью и раздавался всплеск, словно какая-то рыбешка выпрыгнула и снова скрылась. В минуты подобного умиротворения, говорил отец, человеку приоткрывается рай – так, чтобы он потом всей душой стремился к нему, терпеливо снося тяготы земного пути. Амар чувствовал себя как никогда уютно и счастливо. Скоро им принесут горячий мятный чай, и он попросил, чтобы в каждую чашку положили по веточке вербены. А когда у него появятся деньги, он присмотрит себе пару настоящих европейских ботинок и продаст свои еврейские сандалии...

– Нет, нет, только не в этом году, – решительно повторил гончар, и в глазах его неожиданно мелькнул злобный огонек. – Пусть это племя сгниет в аду.

Амар удивленно поглядел на него. Разумеется, речь могла идти только о французах, однако он не помнил, чтобы гончар хоть раз упоминал о них, пусть даже намеком. Не успел он подумать этого, как заметил, что гончар смотрит на него с растущим подозрением.

– Ты знаешь, кто такой Ибн Сауд¹? – вдруг спросил он. – Приходилось слышать?

– Конечно, – ответил Амар, неприятно уязвленный тоном своего собеседника. – Это султан Хеджаза².

1 Ибн Сауд (1880-1953) – основатель и первый король Саудовской Аравии.

2 В 1924-м году Ибн Сауд покорил своего соперника Гайсана ибн-Али и присоединил Хеджаз к территориям, которые в 1932-м году стали Саудовской Аравией. Хеджаз – район, где находятся священные города Мекка и Медина, – провозгласил независимость от Турции в 1916 г.

– Нуwa hada¹, – сказал гончар, – но вижу, ты маловато знаешь о том, что творится в мире. Протри глаза, парень. Великие дела совершаются ныне. У Ибн Сауда есть своя голова на плечах. В этом году ни один *хаджи* из Марокко не добрался до Мекки. Всем удавалось доехать только до Джидды, а затем приходилось поворачивать обратно.

– Вот бедняги, – ответил Амар, моментально проникшись состраданием к несчастным паломникам.

– Бедняги? – воскликнул гончар. – Ослы! Сидели бы себе дома. Разве это подходящий год, чтобы ехать в Мекку, когда это грязное отродье, которое они нам навязали, по-прежнему сидит на троне султана²? Клянусь, будь моя воля, я бы приказал запереть двери всех мечетей в стране до тех пор, пока нам не вернут нашего султана. А если не захотят, сам знаешь, что будет.

И действительно, Амар знал. Гончар имел в виду джихад – поголовное истребление неверных. Он сидел молча, ошеломленный тем, что в гончаре вдруг проснулась такая кровожадность. И, уж конечно, он не мог не знать о том, что французы посадили в его стране на трон подставного монарха. Амару казалось, что об этом знает весь мир. Он осуждал это надругательство, как и все вокруг, но никогда всерьез о нем не задумывался. Замена Бен Арафа на Сиди Мохаммеда ничего не значила для Амара: он еще ни разу не встречал человека с твердыми политическими убеждениями. Сколько Амар себя помнил, отец его всегда полыхал гневом против неверных и злых дел, которые французы творят в Марокко, и это новое злодеяние – похищение султана, заключение его на острове посреди моря и подмена едва живым стариком, который был

¹ Он самый (*араб.*).

² 20 августа 1953-го года султан Мохаммед V был арестован французами и отправлен в ссылку на Мадагаскар. На троне его сменил двоюродный брат – Мулай бен Арафа, престарелый и непопулярный монарх.

все равно что слепоглухонемой, – оказалось всего лишь последним пунктом в долгом перечне французских преступлений.

Однако теперь он впервые понял, что существуют люди, которые смотрят на происходящее отнюдь не мимоходом, для которых это не только потоки пустословия по поводу чего-то далекого и расплывчатого; он видел, как символическое возмущение становится личной обидой, неодобрение оборачивается гневом. Гончар сидел, впившись горящим взглядом в Амара, бледная тень лозы скользила по его морщинистому лбу. Из зарослей тростника на другом берегу протоки внезапно донесся печальный бессмысленный крик совы, и Амар мгновенно почувствовал присутствие в воздухе чего-то такого, что было там все время, но что он никогда не пытался распознать и объяснить. Это было в нем самом, и одновременно он был частью этого целого, как и сидящий напротив него человек; оно нашептывало им, что время быстрое, что мир, в котором они живут, близится к концу, за которым зияет лишь бездонная тьма. Это было предупреждение о неизбежном поражении и гибели, и оно всегда было с ними и в них, такое же неосознанное и одновременно реальное, как и окружавшая их ночь. Амар достал из кармана две помятых сигареты и протянул одну гончару.

– Ах, мусульмане, мусульмане, – вздохнул он. – Кто знает, что их ждет?

– Кто знает? – повторил гончар, закуривая.

Кауаджи принес им чай, пили молча. Ветер усилился, неся с собой прохладные ароматы гор. Только после того, как они вышли на улицу и распрощались, Амар вспомнил, что забыл попросить у хозяина деньги. Он пожал плечами и отправился домой, где его ждали ужинать.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Молодая весна, набирая ход, приближалась к лету, ночной воздух стал суше, дни – длиннее, солнце поднималось выше. И наряду с бесчисленными мельчайшими приметами, возвещавшими о плавной смене времен года, в воздухе появилось еще что-то, неосоздаваемое и все же явственное. Быть может, не предупреди Амара гончар, он так и продолжал бы не обращать на это внимания, теперь же он просто не мог понять, как мог не замечать происходящего вокруг. Пожалуй, можно было сказать, что это было рассеяно в воздухе среди пылинок и вместе с ними въедалось в поры стен – настолько оно слилось со светом и дыханием огромного города, рассыпанного среди холмов. Оно чувствовалось и в удивленных глазах человека, которого хлопали по плечу на улице, и в молчании, воцарявшемся в кафе при появлении незнакомца, и во встревоженных взглядах, которыми молниеносно обменивались члены семьи, усевшиеся вечером за *тахином* и застывшие, позабыв о еде, когда раздавался неожиданный стук в дверь. Люди стали реже выходить из дому, вечерами извилистые улицы медины были пустынные, а по пятницам, когда тысячи людей в праздничных одеждах собирались в Дженаан Эс-Себире – прежде мужчины ходили, держась за руки, или шумными группами бродили среди фонтанов и по переброшенным через протоки мосткам, а женщины ряды сидели на ступенях или на скамейках в специально отведенной им бамбуковой роще, – теперь можно было увидеть только несколько одиноко сторбившихся, неряшливых и растрепанных курильщиков кифа, уставившихся перед собой бессмысленным взором, в то время как уличные сорванцы поднимали тучи пыли, пиная скатанный из связанных бечевкой тряпок футбольный мяч.

Странно было наблюдать за тем, как город медленно увядает, чахнет, подобно обреченному растению. Каждый день

казалось, что дальше так продолжаться не может, что отклонение от нормальной жизни достигло максимальной точки, что вот-вот должен начаться новый расцвет, но каждый день люди с изумлением замечали, что поворота к лучшему не предвидится.

Само собой разумеется, они ожидали возвращения своего султана и в большинстве своем верили политической партии, которая поклялась вернуть его на трон. К тому же интриги и таинственность никогда не пугали их: жители Феса славились как самые умные и самые хитрые мусульмане в Марокко. Но затевать интриги в традиционном вкусе было одно, а оказаться в западне между дьявольски жестокой французской тайной колониальной полицией и безжалостным Истиклалом – нечто совсем другое. Они не привыкли жить в столь напряженной *ambiance*¹ подозрительности и страха, которую их политики, учитывая сложившееся положение дел, навязывали им как естественную и обыденную.

Постепенно ткань жизни становилась все более злоедей. Все могло в любую минуту оказаться не тем, за что себя выдает, все казалось подозрительным – особенно все хорошее, приятное. Если человек улыбнулся, будь с ним начеку: наверняка *чхам*, французский осведомитель. Если кто-нибудь появлялся на улице с *удам*² в руках, это означало неуважение к низложенному султану. Если человек прилюдно закурил сигарету, он явно способствовал укреплению французского владычества и рисковал быть избитым или получить нож в спину в каком-нибудь темном углу. Тысячи учащихся медресе Каруин и колледжа Мулая Идрисса дошли даже до того, что объявили национальный траур на неограниченный срок, и ходили по улицам, как тени, обмениваясь при встрече едва слышными приветствиями.

1 Атмосфера (*фр.*).

2 Струнный музыкальный инструмент, наподобие лютни (*араб.*).

Амару было нелегко принять все эти неожиданные перемены. Почему на рыночной площади в Сиди Али бу Ралеме, через которую он любил проходить, возвращаясь домой с работы, не слышна больше барабанная дробь и звуки дудок? Он прекрасно понимал, что французов необходимо вышвырнуть из страны, но ему представлялось, что это должно произойти торжественно: тысячи всадников, сверкая на солнце лезвиями сабель и призывая на помощь в святом деле Аллаха, скачут по бульвару Мулая Юсуфа к французскому Виль Нувель. Султан получит военную поддержку Германии или Америки и вновь взойдет победителем на свой трон в Рабате. Трудно было уловить связь между блистательной войной за освобождение и всеми этими перешептываниями и нахмуренными лицами. Долгое время он размышлял, стоит ли обсудить свои сомнения с гончаром. Теперь он очень неплохо зарабатывал и был в прекрасных отношениях со своим наставником. С той самой ночи, несколько недель назад, когда они сидели в кафе, Амар не пытался идти на дальнейшее сближение, отчасти потому, что не был уверен, действительно ли ему нравится Саид. Кроме того, ему казалось, что во всем дурном, что происходит в городе, есть вина и его учителя, и не мог удержаться от чувства, что если бы не познакомился с ним, его жизнь сейчас была бы иной.

Наконец, он все-таки решил поговорить с Саидом, но в то же время для верности скрыть свой подлинный интерес каким-нибудь посторонним предлогом.

Как-то днем они с Саидом заперлись наверху, чтобы выкурить по сигарете. (Курить теперь осмеливались только в строжайшей тайне, потому что решение Истиклала уничтожить монополию французского правительства на табачные изделия предусматривало не только поджоги складов и магазинов, торговавших ими, но и ужесточение партийной кампании против курения. Самой распространенной карой, ожидавшей застигнутого врасплох курильщика, был удар бритвой по лицу.)

Запертый в тесном пространстве наедине с учителем, разделяя с ним острое удовольствие от опасности, которую могло навлечь их запретное занятие, Амар решился на разговор.

– Вы слышали, поговаривают, что Истиклал продан французам? – спросил он как можно более небрежным тоном.

Гончар поперхнулся дымом.

– Что?! – воскликнул он.

Амар быстро нашелся.

– Мне говорили, что Резидент, тот, который у них за главного, предлагал большим людям в Истиклале сто миллионов франков, чтобы замять все это дело. Но мне кажется, они не возьмут, а вы как думаете?

– Что? – снова прорычал Саид. Наблюдая за его реакцией, Амар почувствовал дрожь возбуждения. Казалось, до сих пор он видел гончара спящим, а теперь тот впервые проснулся.

– Кто сказал тебе такое? – завопил Саид. Лицо его так казалось, что Амар, слегка обеспокоенный, решил придать своему рассказу оттенок неправдоподобия.

– Один знакомый парень.

– Кто? – настаивал Саид.

– Да так, один придурок *дерри*¹ из колледжа Мулая Идриса. Мы зовем его Мото. Я и имени-то его настоящего не знаю.

– Ты еще кому-нибудь это рассказывал? – гончар так впился в Амара горящим взглядом, что тому стало не по себе.

– Нет, – ответил он.

– Считай, что тебе повезло. Это все французы выдумали. А дружку твоему заплатили, чтобы он болтал про это направо и налево. Может статься, его скоро убьют.

На лице Амара было написано неподдельное недоверие. Саид отшвырнул сигарету и положил руки на плечи юноши.

– Ты ничего не знаешь, – заявил он. – Ты сам – *дерри*, да и только. Но гляди, будь осторожнее и поменьше болтай языком

¹ Мальчишка (*араб.*).

об Истиклале, о французах и вообще о политике, не то найдут нас обоих в реке. Они об этом позаботятся. Fhemti?¹ – Он быстро провел указательным пальцем поперек горла, потом потрепал Амара по плечу.

– Ты что решил, тут люди в игры играют? Не понял, что это самая настоящая война? Почему, ты думаешь, они на той неделе убили Хамиду, ну того толстяка, *мокхазни*?² Просто так, для забавы? И еще тридцать одного человека в Фесе за один только месяц? Что, никогда не слышал? Это что тебе, игры? Война, мой мальчик, самая настоящая война, запомни. Война! И если не веришь Истиклалу, то хотя бы держи рот на замке и не повторяй разные выдумки за всякими *чкама*. – На минуту он умолк и недоверчиво взглянул на Амара. – Я думал, ты посмышленей. Что ж ты все в облаках витаешь?

Амар, привыкший к более вежливому и уважительному отношению хозяина, вернулся в мастерскую, чувствуя себя обиженным и оскорбленным. Ему показалось, что гончар хочет изменить его, сделать не таким, каким он был всегда; его раздражение было тем же, что и в тот вечер, когда они сидели в кафе, но теперь к нему добавилась обида. Гончар пробудил в Амаре чувство вины. Неужели он действительно все это время витал в облаках? Конечно, нет – как и все, он жил в гуще событий, только чересчур сосредоточенный на своих маленьких детских радостях, не замечая, что происходит кругом. Он знал, что организованные Истиклалом взрывы случались в Касабланке едва ли не каждый день в последние полгода, но Касабланка – это так далеко. Он так же слышал о беспорядках и убийствах в Марракеше, но они занимали Амара не больше, чем происходящее в Египте или Тунисе. Когда же первые трупы мусульманских полицейских и *мокхазни* были обнаружены в его городе, он не увидел в этом никакой связи с событиями в других местах.

1 Понял? (*араб.*)

2 Солдат (*араб.*).

Фес был Фесом, но слово это могло обозначать и все Марокко в целом; и Амар, и его приятели употребляли эти слова попеременно. Поскольку преступления всегда совершались по личным мотивам, Амар автоматически приписывал каждое новое убийство новой вражде, новой ненависти. Но теперь он с изумлением обнаружил, что гончар был совершенно прав. Любой человек, тело которого находили на заре в каком-нибудь переулке, возле городских стен или в реке под мостом Ресиф, безусловно либо сотрудничал с французами, либо по неосторожности совершал что-то такое, что вызвало гнев Истиклала. А это доказывало силу Истиклала и не совсем совпадало с тем, как воспринимал его Амар, и тем, какой эта организация хотела выставить себя сама: оборонительной организацией самоотверженных мучеников, бросающих вызов безжалостным французам, дабы вселить надежду в сердца страдающих соотечественников.

Тут крылось какое-то противоречие, но Амар чувствовал, что оно было лишь малой частью куда большего и куда более таинственного противоречия, суть которого он не мог сейчас постичь. Если бы они убивали французов, он бы понял и бесспорно поддержал их, но мусульмане, убивающие мусульман – с этим он не мог согласиться. И не было никого, с кем он мог бы поговорить об этом: отец наверняка повторил бы то, что уже говорил тысячу раз: политика – ложь и все, кто впутываются в нее – *джибфа*, негодяи. Но французы непрестанно вели политику, направленную против мусульман, так разве мусульмане не имели права создать организацию, которая бы их защищала? Амар знал, что отец сказал бы «нет», что все в руках Аллаха, и так оно и должно быть, да и сам Амар знал, что, в конце концов, это правда, но в то же время – как мог молодой человек просто сидеть сложа руки и ждать, пока свершится божественная справедливость? Это значило бы требовать невозможного.

С того момента, как эта новая мысль взбудоражила его, работа уже больше не приносила прежнего удовольствия. Чтобы испытывать привычную радость, сознание его должно было быть полностью поглощено работой, а это было теперь невозможно. Амар чувствовал, что попросту тянет время, насильно заставляя его течь, заполняя часы бессмысленными движениями. Впервые он сознательно ощутил, что такое ход времени, подобное сознание может возникнуть, только если мысли человека не отражают напрямую того, что в данный момент происходит вокруг. И впервые он не смог заснуть ночью и лежал, уставившись в темноту, снова и снова пытаясь разрешить вставшую перед ним проблему, но тщетно. Случалось, что он не мог заснуть до трех, когда поднимался отец, чтобы идти в мечеть, совершать омовения и молиться, и только когда отец уходил и в доме снова воцарялась тишина, Амар мгновенно впадал в сонное забытие.

В одну из таких ночей, когда отец закрыл за собой дверь и дважды повернул ключ в замке, Амар встал и потихоньку вышел на террасу. Мустафа стоял там в темноте, облокотившись на перила и глядя на безмолвный город. Амар недовольно заворчал, ему не понравилось, что брат вторгся в то, что он считал своей ночной вотчиной. Мустафа проворчал что-то в ответ.

– Ah, khai, 'ch andek? – спросил Амар. – Что, тоже не спится?

Мустафа признался, что тоже не может уснуть. Виду него был жалкий.

Амар и помыслить не мог о том, чтобы довериться Мустафе, но все же с нелепой, отчаянной надеждой в голосе спросил:

– Но почему?

Мустафа сплюнул через перила и ответил лишь, когда услышал, как плевок шлепнулся о землю.

– В *мотту* пусто. Не на что купить кифа.

– Кифа? – Амару частенько случалось курить с приятелями, но трубка кифа значила для него куда меньше, чем сигарета.

– Я всегда выкуриваю на ночь несколько трубок.

Раньше Амар такого за братом не замечал. Когда им приходилось спать в одной комнате, ни о каком гашише и речи не было, и Мустафа спал очень крепко.

– Ouallah¹? Неужели тебе никак без этого не заснуть? Неужели сначала обязательно надо покурить?

Но на этом порыв доверительности у Мустафы иссяк, он снова стал самим собой.

– Ладно, а ты-то что здесь делаешь? – хрипло произнес он. – А ну, марш в постель.

Амар нехотя повиновался, теперь пища для размышлений у него прибавилось.

¹ Ты серьезно? (*араб.*)

*Ты говоришь мне, что едешь в Фес.
Но если ты говоришь, что едешь в Фес,
это значит, что ты не едешь туда.
И все же мне случилось узнать,
что ты едешь в Фес.
Зачем же ты солгал мне, своему другу?*

Марокканская поговорка

КНИГА ВТОРАЯ ГРЕХОВ БОЛЬШЕ НЕТ

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Рамадан – месяц тягучих, бесконечных дней без еды, питья и сигарет – промелькнул незаметно. Вечера, бывшие прежде сплошным праздником, когда медина сияла огнями, лавки не закрывались до зари, когда улицы были запружены молодежью и взрослыми мужчинами, радостно гулявшими по городу, пока не наступало время очередной трапезы, на сей раз были безрадостными и унылыми. Правда, райты¹, как и прежде, звучали с минаретов, по-прежнему слышалась барабанная дробь, а бараньи рога гудели, призывая сонный люд вкусить вечерней пищи, но они уже не доставляли удовольствия тем, кто прислушивался к ним. Пропало само ощущение Рамадана – гордости, проистекавшей от умения подчинить себя суровой дисциплине, знаменующей победу духа над плотью. Люди соблюдали пост автоматически, пассивно, позабыли обычные шутки о том, что одежда вдруг стала всем великовата, не считали дней, оставшихся до пира, которым завершится тяжкое испытание. Поговаривали даже, что

¹ Музыкальный инструмент, похожий на гобой. В статье «Музыка Северной Африки» (1942) Боулз писал: «Это идеальный инструмент для игры на улице, гобой с таким резким звуком, что его слышно далеко в округе, и в то же время он предназначен для нежнейших мелодий».

многие члены Истиклала не соблюдают Рамадан, нагло, среди бела дня рассиживая в ресторанах Виль Нувель, но, по общему мнению, это была французская пропаганда. Затем пошел гулять слух о том, что не будет Аид-эс-Сегира – праздника, знаменующего конец поста. Слух набирал силу, пока не стал достаточно весомым, чтобы считаться установленным фактом. И действительно, когда этот день настал, вместо улиц, полнящихся людьми в новых одеждах – поскольку в этот день в отличие от всех прочих дней в году каждый должен был надеть как можно больше новых вещей – ранние прохожие увидели сотни уважаемых горожан, облаченных в самые поношенные костюмы и джеллабы; многим же из тех, кто не поверил слухам, пришлось закоулками поспешить домой, чтобы переодеться, прежде чем вновь появиться на людях. Новая одежда мгновенно превращалась в лохмотья – для этого хватало нескольких умелых взмахов бритвой, но больших потасовок не было. Так, бесславно, месяц Рамадан уступил дорогу следующему месяцу – Шавваль.

Солнце палило нещадно. Амар поднимался на рассвете, работал до полудня, а потом, растянувшись на циновке, брошенной на пол его пещерки, спал на протяжении всех невыносимо знойных послеполуденных часов, а когда день начинал клониться к вечеру, вставал и, перекусив, вновь принимался за работу и трудился дотемна. Потом вяло, безо всякого желания брел домой по бездыханным улицам, останавливался, прислушиваясь к крикам из соседних кварталов, гулу толпы, свидетельствующему, что напряжение обретает форму. Этот странный импульс – на мгновение замереть и прислушаться – был знаком каждому, потому что все были убеждены, что напряженность не может длиться бесконечно. Со дня на день что-то должно было случиться – в этом никто не сомневался. Каким именно образом придет передышка, оставалось только гадать. И, лежа по ночам на крыше под звездным небом – спать в комнате было невозможно из-за жары, –

Амар напрягал слух, воображая, что слышит доносящийся со стороны улиц Эд Дух или Талаа слабый звук множества голосов. Но ему так и не удавалось расслышать что-нибудь, кроме тишины, временами нарушаемой то кукареканьем всполошившегося спросонья петуха, то похожими на детский плач кошачьими криками, то ревом мотора грузовика, спускавшегося по дороге на Тазу к реке.

И вот однажды ранним утром, едва ступив из комнаты на крышу, Амар понял, что сегодня работать ему не придется. Мысль о том, чтобы что-то сделать, что-то предпринять, переполняла его возбуждением. Казалось, вот уже целую вечность он каждый день ходит в городок глинобитных хибарок, здоровается с хозяином, берет у него ключи, спускается в свою сырую пещерку, где его ждет *мамил*, садится на привычное место и начинает вращать колесо. Один день походил на другой как две капли воды, ничего не менялось, и даже сам процесс превращения глины в кувшины и блюда больше не интересовал его. Все это окончательно обесмыслилось, даже деньги, половину которых он регулярно отдавал отцу, а часть откладывал, пряча в завязанный узлом носовой платок, который повсюду носил с собой. Каждый день он развязывал платок и пересчитывал содержимое, иногда кое-что добавляя и раздумывая над тем, что можно купить на сбережения. Пока на пару настоящих взрослых ботинок не хватало, но это потому, что были у него и другие расходы.

Амару хотелось есть, но в доме все было тихо. Отец, вернувшись из мечети, снова лег, остальные еще спали. Амар быстро оделся и вышел на улицу. Голуби негромко ворковали, расхаживая по насесту возле колодца. Воздух на улице благоухал, точно в первые дни творения. Большинство лавок было закрыто, а в тех, что успели открыться, застоялись ночные тени. Амар купил большую круглую лепешку, полдюжины бананов, кулек фиников и пошел по берегу, не спеша и без особой цели. Все рыбные лавки уже торговали, и сильный,

целебный запах свежей рыбы висел в воздухе. Мало-помалу на улицах стал появляться народ. Амар добрел до новых домов Эль-Мокфии: за оградами в кронах деревьев пели птицы. Он вышел из города через ворота Баб Джедид и по мостику перешел на другой берег. Пыльная дорога тянулась между стенами кольшущегося тростника. Дойдя до магистрали, он остановился, не зная, в какую сторону направиться. В этот момент где-то совсем рядом тихий голос позвал: «Амар!» Обернувшись, Амар узнал Мохаммеда Лалами – юношу чуть выше ростом и, возможно, на пару лет старше. Он выходил из прибрежных зарослей, с влажных волос капала вода. Молодые люди обменялись приветствиями.

– Ну, как вода? – спросил Амар.

– Неважная. Слишком мелко. Особо не поплаваешь. Разве что умыться. – Мохаммед потряс головой, как собака, и, откинув волосы, пригладил их, отжимая воду.

– Может, поедем на Айн-Малку поплавать? – предложил Амар. Отношения с Мохаммедом у него были хорошие, но они не виделись уже несколько месяцев, и Амару было любопытно, что у его приятеля на уме.

– Ай-ай-ай! – воскликнул Мохаммед. – И как же мы туда доберемся?

– Можно взять велосипеды в Виль Нувель.

– Ха! Теперь их дают бесплатно?

– Ana n'khalleslik¹, – быстро произнес Амар. – Это я беру на себя. Я тут скопил немного.

Мохаммед сделал вид, что смущен, но протестовать не стал, и они пустились в путь. Городской автобус до Виль Нувель подошел со стороны ворот Баб Фтех, они сели в него и, держась за поручни на задней площадке, стали перекидываться шутками с одноногим мужчиной в военной куртке, заявившим, что он – ветеран войны.

¹ Я заплачу (араб.).

– Какой такой войны? – переспросил Амар сурово, потому что рядом был Мохаммед.

– Войны, – ответил мужчина значительно. – Ты что, никогда не слышал о войне?

– Слышал, и не об одной. О войне с немцами, с испанцами, с краснокожими, о войне в Индокитае и о войне Абд эль-Крима¹.

– Про это ничего не знаю, – нетерпеливо ответил мужчина. – Я просто был на войне.

Мохаммед рассмеялся.

– Похоже, он говорит о войне в квартале Мулая Абдаллаха. По ошибке зашел не в тот бордель, и кто-то застукал его не с той девчонкой. Так говоришь, тебе только ногу отрезали? Ну, ты счастливчик, доложу я тебе.

Все трое рассмеялись.

В Виль Нувель француз, дававший велосипеды напрокат, преувеличенно долго и внимательно разглядывал cartes d'identite² молодых людей, прежде чем позволил им уехать.

– Сукин сын, – пробормотал Мохаммед сквозь стиснутые зубы, когда они катили по Авеню-де-Франс под платанами, – ведь не хотел нам давать. Видел француз, который подошел, пока мы ждали? У него даже удостоверения не спросил.

– Может, это был его знакомый, – ответил Амар.

Представлялась неплохая возможность завести разговор о том, что его действительно интересовало, но Амару не хотелось: было еще слишком рано, и он был слишком счастлив.

Стоило выехать за город, где уже не было спасительной тени, и они сразу поняли, как мучительно палит солнце. От этого им еще больше захотелось поскорее добраться до Айн-Малки. Они ехали по равнине. Покрытая трещинами

1 Восстание рифских племен под командованием Абд эль-Крима против испанских и французских войск началось в 1919 году и завершилось в 1926-м, когда мятежники были разгромлены.

2 Удостоверения личности (*фр.*).

земля, участки выжженной стерни медленно проплывали мимо. По обе стороны прямой длинной дороги протянулись узкие канавы, по которым бежала вода. Пару раз приятели останавливались, чтобы напиться, умыть лицо холодной водой, побрызгать на грудь.

– Может, по кусочку хлеба? – спросил Амар, голова у него кружилась от голода. Но Мохаммед уже успел позавтракать, есть ему не хотелось, и Амар решил дожидаться, пока они не доберутся до места.

За несколько километров до Айн-Малки дорога углубилась в эвкалиптовую рощу и начала петлять, спускаясь к озеру. Мохаммед держался впереди, и Амар, разглядывая сзади его шею и ноги, думал о том, кому из них двоих удалось бы взять верх, случись им подраться. Мохаммед съехал на обочину, уступая Амару место, чтобы тот мог поравняться с ним, но Амар, нажав на ручной тормоз, остался сзади. Он решил, что, хотя Мохаммед и выше, он не такой сильный и ловкий и, пожалуй, его можно одолеть. Однажды он видел фильм про дзюдо, и с тех пор ему нравилось воображать, как в нужный момент он использует против своего соперника какой-нибудь прием. Мгновенное движение запястья – и человек уже валяется у твоих ног. Отпустив тормоза, Амар дал велосипеду разогнаться и быстро настиг Мохаммеда.

– Тут посвежее, верно? – сказал он.

Они словно плавно спускались по краю гигантской воронки. Неровная земля под деревьями была устлана толстым бурым ковром длинных опавших листьев, скопившихся за многие годы; от постоянной смены тени и просочившихся сквозь листву лучей стало сумрачно. Тишину рощи нарушало только похрустывание колес по мелкой щебенке.

Скатившись вниз, оба слезли с велосипедов, потому что земля сделалась слишком рыхлой. Сквозь ветви впереди уже видна была недвижная гладь маленького озера.

– Райское местечко, – удовлетворенно произнес Мохаммед.

Кругом не было ни души. Мохаммед прислонил велосипед к дереву и, прежде чем Амар подросел, скинул рубашку и шаровары. Нижнего белья на нем не было.

– Ты что, так и собираешься купаться? – удивленно спросил Амар. Начав работать у гончара, он купил две пары хлопчатобумажных трусов: одна из них была сейчас под брюками.

Мохаммед подпрыгивал, переминался с ноги на ногу, горя желанием поскорее залезть в воду. В ответ на слова Амара он только рассмеялся.

– Так и собираюсь.

– А вдруг кто-нибудь придет? Какая-нибудь женщина или француз?

Мохаммеда это явно не очень заботило.

– Ну так принесешь мне брюки.

Предложение показалось Амару не слишком практичным, но другого выхода не было: придется Мохаммеду купаться нагишом. Они вместе вбежали в ледяную воду, поднимая фонтан брызг, пока вода не дошла им до плеч. Тогда они стали плавать взад и вперед, изо всех сил размахивая руками и ногами, чтобы согреться. Утомившись, они забрались на невысокую бетонную плотину, построенную на другом конце озера, и растянулись на солнцепеке, выбрав сухое место над водосливом. Лежа там и переворачиваясь с боку на бок, они рассказывали друг другу смешные истории и дружно хохотали; наконец, солнце настолько раскалило их тела, что темный подводный мир вновь показался самым желанным местом на свете. Следуя молчаливому уговору, они решили бороться за право прыгнуть в воду вторым. Впрочем, скоро борьба прекратилась, так как приятели одновременно сообразили, что риск поскользнуться и свалиться на камни за плотиной слишком велик. Поднявшись на ноги и переведя дыхание, они разом, как по сигналу, нырнули в воду. Амар вдруг почувствовал, что страшно проголодался. Барахтаясь, пуская пузыри,

захлебываясь, он крикнул Мохаммеду, что пора перекусить. К берегу они плыли наперегонки.

Амар, первым выбравшийся на глинистый берег, скользнул под низкие ветви ив, где стоял его велосипед, и проворно отвязал привязанный к багажнику сверток. Забравшись на камень, они устроились на солнце и принялись за еду. Вдруг со своего возвышения они заметили на другом берегу мальчика, который, пристроившись между камней, старательно стирал свою одежду и раскладывал на солнце. Заслонив ладонью глаза от солнца, Мохаммед внимательно посмотрел на него.

– *Джибли*, – объявил он. Амара не интересовало, откуда паренек – городской или из деревни, – поэтому он продолжал жадно жевать финики и хлеб, глядя на невысокие, оцетинившиеся кактусами холмы, окружавшие озеро, и посматривая в небо, где показался ястреб: медленно всплыв в поле его зрения, птица раскинула крылья и заскользила над землей, пока не скрылась за ломаной линией горизонта.

– Где ты сейчас работаешь? – спросил Мохаммед.

Амар рассказал ему свою историю.

– Сколько платят?

Амар назвал цифру, вдвое уменьшив ее.

– Вот это да! Хороший *мааллем*?

Амар пожал плечами. Это движение и выражение его лица означали примерно следующее: «Что хорошего может быть в наше время?» Мохаммед понял и спорить не стал. Сам он, как слышал Амар, работал приказчиком и посыльным в одной из лавок отца. Амар откинулся на камне, лежать было очень удобно, и он хотел провести несколько минут на солнце, наслаждаясь сытостью. Но непоседа Мохаммед крутился возле него, болтая без умолку; Амар пожалел, что не поехал один.

– Вчера ночью случился еще один большой пожар рядом с Рас эль-Ма, – сказал Мохаммед. – Восемнадцать гектаров выгорело.

– К концу лета в Марокко вообще не останется пшеницы, – заметил Амар.

– Похоже, что так.
– Из чего же будем печь хлеб зимой?
– Придется без хлеба посидеть, – спокойно произнес Мохаммед.

– Что же тогда есть?
– Пусть французы об этом думают. Попросят прислать из Франции.

– Может быть, – ответил Амар. Сам он не очень-то был в этом уверен.

– А не попросят, так еще лучше. Беда разразится скорее, если люди будут голодные.

Мохаммеду было легко так рассуждать: самому-то голодать не придется. Отец его был кушцом и, наверное, имел дома запас муки, масла и нуга, чтобы в случае чего продержаться пару лет. Зажиточные фесцы и богатеи всегда хранили огромные запасы продовольствия на крайний случай. Готовиться к осаде было одной из городских традиций: такие ситуации возникали не раз даже после французской оккупации.

– Так велит Истиклал? – спросил Амар.

– Что? – рассеянно переспросил Мохаммед, внимательно глядя на деревенского паренька, который закончил стирку и, присев на корточки, ждал, пока высохнет его одежда.

– Насчет того, что лучше, чтобы люди голодали?

– А ты что, сам не видишь? Если люди будут жить, как прежде, с вечно набитым брюхом, все так и пойдет своим чередом. А вот когда они проголодаются и будут горевать, что-нибудь да случится.

– Кому ж охота голодать и горевать? – сказал Амар.

– Совсем ничего не соображаешь? – настойчиво спросил Мохаммед. – Или не хочешь, чтобы французы отсюда убрались?

Амару вовсе не хотелось, чтобы разговор принимал такой оборот.

– Пусть эти собаки горят в аду, – сказал он.

Вот в чем была беда Истиклала и вообще всей политики: о людях говорят так, словно это не настоящие люди: вещи, цифры, животные – что угодно, только не люди.

– Ты был на этой неделе в Зекак-эр-Румане? – спросил Мохаммед.

– Нет.

– Когда случайно окажешься, погляди на крыши. На некоторых домах камни тоннами лежат. Ай-яй-яй. Сам увидишь. Похоже на стены, но они не скреплены: бери и кидай.

Амар почувствовал, как сердце его учащенно забилось.

– Ouallah?

– Поезжай и посмотри, – сказал Мохаммед.

Амар помолчал, потом сказал:

– Большие дела скоро начнутся, да?

– B'd dгаа¹. Еще какая, – беспечно ответил Мохаммед.

Внезапно Амар вспомнил, что ему рассказывали о семье Лалами. Узнав о том, что старший брат Мохаммеда – член Истиклала, отец выгнал его из дому, и тому пришлось бежать в Касабланку, где его схватила полиция. Теперь он сидел в тюрьме, ожидая суда вместе с еще двадцатью юношами, задержанными за участие в террористической деятельности, прежде всего за провоз ящиков с ручными гранатами из Испанского Марокко. В глазах многих он даже стал героем, поскольку ходили слухи, что французские газеты писали, будто он и еще один фесец проявили особую жестокость, совершив несколько убийств. Тогда, значит, Мохаммед знал куда больше, чем говорил, а он, Амар, даже не мог спросить его, что правда, а что ложь в истории с его братом: правила этикета воспрещали подобные расспросы.

– А что ты собираешься делать, когда это наконец начнется? – спросил он наконец.

– А что ты будешь делать? – парировал Мохаммед.

¹ Будет стычка. (араб.)

– Ана¹? Не знаю.

Мохаммед посмотрел на него с сожалением и улыбнулся. Глядя на эту улыбку, Амар почувствовал, как в нем поднимается волна неприязни.

– Хорошо, я тебе скажу, что я собираюсь делать, – решительно произнес Мохаммед. – Я собираюсь делать то, что мне прикажут.

Хотел Амар того или нет, но это произвело на него впечатление.

– Значит, ты...

– Нигде я не состою, – прервал его Мохаммед. – Но когда придет тот самый день, каждый будет подчиняться приказам. *Majabekfina*².

Амар постарался не думать о сцене, которая могла бы последовать, решись он высказать мысль, вертевшуюся у него на кончике языка: «Даже богатеи, вроде твоего отца?» Произнести такое было бы серьезным оскорблением, даже в шутку. Затем, как и подобает истинному мусульманину, он на миг задумался о прелестях военной дисциплины. Ничто и никто, размышлял он, не может сравниться с государством, которое честно насаждает законы Ислама огнем и мечом. Быть может, Истиклал, добившись победы, вернет эту славную эру? Но, если партия стремилась к этому, отчего ж не говорила ни слова в своей пропаганде? Пока у власти стоял настоящий султан, партия толковала о богатых и бедных, сетовала, что не может издавать свою газету так, как ей того хотелось бы, и намеками критиковала монарха за мелкие просчеты или за всякие мелочи, которые он не сделал. Но с того самого дня как французы убрали султана, партия твердила исключительно о том, что его нужно вернуть. Однако если бы он вернулся, все опять стало бы как прежде, а подобное положение дел вряд ли устроило бы Истиклал.

1 Я? (*араб.*)

2 Обо мне не беспокойся. (*араб.*)

– Yah, Мохаммед, – поинтересовался Амар. – Почему партия снова хочет видеть Сиди Мохаммеда Хамиса на троне?

Мохаммед недоверчиво взглянул на него и сплюнул в воду.

– Enta m'douagh¹, – с презрением произнес он. – Султан никогда не вернется, да и партии это не очень-то нужно.

– Но...

– Партия не виновата в том, что люди в Марокко – *хемир*, ослы. Если тебе это не понятно, можешь жевать жвачку, как и все.

Мохаммед лежал, откинув голову на камни, прикрыв глаза; казалось, он очень доволен собой. Амар почувствовал, как что-то резко кольнуло в сердце. К счастью, подумал он, Мохаммед не видит выражения его лица – вряд ли оно ему понравится. Отчасти его гнев был обусловлен личными причинами, но куда больше его задело то, что Мохаммед неожиданно открыл ему глаза на родину, позволившую горстке свиней-назареев заявиться и править его соотечественниками. Вместо дружеского согласия, кругом царили подозрительность, враждебность, мелкие свары. Всегда было так, и всегда так и будет. Со вздохом он встал и выпрямился.

Мохаммед сел и поглядел на другой берег. Крестьянский парнишка бродил среди камней, на которых была разложена его одежда, и ощупывал ее, проверяя, высохла ли она. Мохаммед, не отрываясь, следил за ним, глаза его сузились. Наконец он взглянул на Амара.

– Давай-ка сплаваем туда и позабудемся, – предложил он и, поскольку Амар не отвечал, добавил: – Сначала ты его поддержишь, а потом я.

– Я лучше твою мать поддержи, – ответил Амар, вложив в эти слова всю накопившуюся ненависть, они словно сами сорвались у него с губ.

Мохаммед вскочил.

¹ Ты спятил (*араб.*).

– Kifach?!¹ – крикнул он. – Что ты сказал?

Глаза его вращались, как у безумного.

Теперь Амар глядел на него спокойно, в упор, хотя в сердце впила тысяча игл и дышал он быстро.

– Я сказал, что подержу твою мать, если ты поддержишь для меня свою сестру.

Мохаммед не верил своим ушам. И даже после того, как Амар повторил свои слова, так, что сомневаться не приходилось, он словно оцепенел. Нельзя было даже хорошенько замахнуться: они стояли слишком близко, почти вплотную. Поэтому Мохаммеду осталось только отступить, и он тут же потерял равновесие и упал на мелководье у самых камней. Амар прыгнул вслед за ним, всем существом ощущая, как завис в воздухе в тот момент, когда Мохаммед уже коснулся воды. Миг спустя он уже сидел верхом на своем приземлившемся на спину противнике, едва скрытым водой. Мохаммед рычал что-то нечленораздельное и пускал пузыри, стараясь приподнять голову. В этом месте было мелко, и он ударился головой о камни. Амар встал, Мохаммед поднялся на четвереньки, он был весь в грязи и все так же подвывал. Затем с диким криком он бросился на Амара, и оба вновь оказались в воде. На сей раз под водой, прижатая к дну, оказалась голова Амара. Галька, жесткие скользкие листья, гнилые щепки крутились перед глазами; мир превратился в хаотичную смесь воды и воздуха, тьмы и света. Он чувствовал, как Мохаммед всей тяжестью навалился на него, стараясь прижать к дну локтями, коленями и одной рукой вцепившись ему в горло. На миг расслабившись, Амар рванулся изо всех сил, и Мохаммеду пришлось ослабить хватку. Дважды Амар со всей силы ударил Мохаммеда в живот кулаком, и ему удалось приподнять голову над водой и глотнуть воздуха. Высвободив ногу, он хорошенько двинул коленом, чувствуя, как

¹ Что? (*араб.*)

оно попало во что-то мягкое. Секунду спустя, оба уже стояли на ногах, нацелившись на лицо противника: глаза, нос, губы. Теперь все дело было в том, кто окажется более упрямым. Кулак Амара угодил точно в левый глаз Мохаммеда.

– Сын гонорреи! – взвыл Мохаммед.

В следующий миг Амару показалось, что он налетел головой на каменную стену. Острая боль вспыхнула под самой переносицей. Амар отскочил, чувствуя, как кровь стекает по подбородку, у него перехватило дыхание, и, собрав как можно больше смешанной с кровью слюны, он плюнул Мохаммеду в лицо. Плевок угодил в верхнюю губу. Затем он боднул Мохаммеда в живот, что заставило того отшатнуться, и сразу же нанес еще один, гораздо более расчетливый удар макушкой. Мохаммед рухнул в прибрежную глину. Амар снова вскочил на него и нанес несколько увесистых ударов по лицу. Поначалу Мохаммед изо всех сил пытался встать, потом сопротивление его ослабло, он обмяк и только стонал. Но Амар уже не мог остановиться. Кровь из разбитого носа, стекавшая по его груди, капала на лицо и грудь Мохаммеда.

Окончательно убедившись, что Мохаммед не притворяется, чтобы вновь неожиданно напасть на него, Амар, пошатываясь, поднялся на ноги и изо всех сил ударил его по голове пяткой. Он часто дышал, чтобы остановить кровь, текущую из носа; потом ему пришло в голову, что, пожалуй, лучше будет умыться.

Зайдя поглубже в воду, он торопливо ополоснулся, постоянно оглядываясь, чтобы удостовериться, что Мохаммед по-прежнему лежит недвижно. Холодная вода, похоже, приостановила кровотечение, и Амар продолжал пригоршнями плескать ее в лицо, втягивать носом. Возвращаясь к берегу, он остановился и встал на колени рядом с Мохаммедом. Сейчас, когда лицо его врага расслабилось и смуглая кожа с нежным пушком проглядывала среди пятен крови и грязи, он не вызывал ненависти. Но какая же разница должна была

быть между теперешним видом Мохаммеда и тем, что творилось у него внутри! Это было загадка. Амар собирался ударить его головой о землю, но теперь в этом не было нужды, потому что настоящий Мохаммед куда-то исчез и перед Амаром лежал голый незнакомец. Амар поднялся наверх и оделся. Ни разу не оглянувшись, он вывел велосипед на дорогу, сел и укатил. Когда подъем стал слишком крутым, пришлось слезть и идти пешком.

Эвкалиптовая роща казалась еще тише, чем прежде. Когда Амар уже почти выбрался на длинную прямую дорогу через равнину, ему показалось, что он слышит голос, зовущий его снизу. Трудно было сказать наверняка, да и зачем бы Мохаммеду звать его? Амар застыл на месте и прислушался. Нет, определенно из рощи доносились крики, но очень слабые, едва слышные. Звуки, долетавшие до Амара, были искажены эхом. И все же Амар мог бы поклясться, что зовут именно его, хотя было невысказано, чтобы Мохаммед решился на такое. А может, и нет, вдруг у него не было денег, и страх перед французом из велосипедного магазина перевешивал чувство стыда, мешавшее позвать Амара? В любом случае, Амар не собирался ждать и выяснять, в чем дело. Чувствуя себя несправедным и несчастным, он снова влез на велосипед и под палящим солнцем покатил к городу.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Как и у большинства мальчишек и молодых людей, родившихся в Фесе после того, как французы выстроили всего в нескольких километрах от городских стен свой город – соперник Феса, у Амара не было привычки ходить в мечеть и молиться. Для всех, кроме богатеев, жизнь превратилась в нечто неупорядоченное, лишенное устоев; многие теперь бросали свои семьи и уезжали в другие города на заработки или шли в армию, где еда была гарантирована. Поскольку молиться нерегулярно – более тяжкий грех, чем не молиться вовсе, они попросту отказались от мысли жить, как старшее поколение, положившись на то, что Аллах в Своей всеобъемлющей мудрости поймет их и простит. Но зачастую Амара охватывала неуверенность: вдруг французы, подобно чуме или голоду, были испытанием крепости мусульманской веры, и Аллах пристально следит за душой каждого человека – насколько искренне тот придерживается своей веры? В таком случае, думал Амар, как, должно быть, Он гневается, видя, как извратились стези Его народа. Были минуты, когда он чувствовал, что лишился благодати Аллаха; так было и сейчас, когда он мчался мимо пересохших полей, а огромный солнечный диск изливал на него потоки нестерпимого зноя.

Амар понимал, что Мохаммед виноват, но только в том, в чем сам был не властен – в том, что он был Мохаммедом, в то время как он, Амар, мог корить себя за желание, чтобы Мохаммед был не таким, каким ему предназначено быть. Он знал, что лишь один Аллах может изменить человека, и все же ему было не отделаться от досады из-за того, что Мохаммед мог, но не стал его другом – другом, которого он так искал, которому мог бы довериться, который понимал бы его.

Маячивший впереди, за скрытой от глаз мединой, Джебель Залагх с этой точки выглядел не так впечатляюще – одна из многих вершин горного кряжа, протянувшегося на

горизонте. К тому же сегодня в пелене жаркого марева он был мертвенно-серым, точно огромное пепелище. Арабский город, разумеется, не был виден: он лежал в широкой впадине за плато; такое положение делало его климат зимой теплее, так как Фес был надежно укрыт от ледяных ветров, веющих над равниной, а летом – прохладнее, поскольку безжалостные солнечные лучи не могли опалить его так нещадно. К тому же и река, растекшаяся бесчисленными протоками по ложбине, на склонах которой была выстроена мекка, делала воздух прохладнее. Жители с гордостью говорили друг с другом и с приезжими о невыносимом климате Виль Нувель: французы построили свой город на открытой равнине, и теперь он был беззащитен перед бросавшейся из крайности в крайность взбалмошной марокканской погодой. Амар никак не мог уразуметь, как кто-нибудь, даже французы, мог быть настолько глупым, чтобы выбросить уйму денег на постройку такого большого города на заведомо никудышной земле. Он бывал там зимой и хорошо помнил порывы холодного, пронизывающего до костей ветра, метавшегося по широким улицам; Амар ни минуты не сомневался, что нигде во всем мире самый воздух не был столь неприветлив и неприспособлен для жизни человеческих существ. «Гиблое место», – всегда повторял он, возвращаясь в мекку из Виль Нувель. А летом, хотя французы посадили на всех своих авеню деревья, воздух был застойным и удушливым, и в конце каждой улицы маячила все та же мертвая равнина, пропеченная безжалостным солнцем.

Вдали Амар различал белые крапинки – новые доходные дома, напоминавшие пятна птичьего помета на бескрайней равнине. «Все это может рухнуть, навсегда исчезнуть за одну ночь», – думал Амар, стараясь придать себе уверенности. Заповедано, что дела нечестивцев обречены. Но когда наступит срок? Ему хотелось увидеть рвущиеся к небу языки пламени, услышать вопли жертв, он жаждал бродить среди пылающих развалин, ликуя оттого, что зло наказано как в

этом, так и в ином мире, что истина и справедливость отныне и впредь торжествуют на земле.

В этот час люди предпочитали не выходить из домов, и Амар не встретил ни одной живой души с тех пор, как уехал от Айн-Малки. Могло показаться, что люди покинули Землю, оставив ее насекомым, воспевавшим жару с однотонным пронзительным скрежетом, разносившимся во все стороны и не смолкавшим ни на минуту.

Кровь снова потекла из носа, не так сильно, как раньше, но все же капля падала каждый раз после того, как Амар три-четыре раза нажимал на педали. Гулко и больно стучало в висках. Амар остановился, встал на колени у тянувшейся вдоль обочины канавки и сполоснул лицо. Вода была холодной, этот холод показался ему упоительным. Набрав побольше воздуха, он наклонился и погрузил голову в воду; от стремительного течения задрожали щеки. Умывшись, Амар поднялся освеженный и расслабленный. Ему захотелось немножко передохнуть. Он пытался разглядеть на равнине хоть какое-то деревце, но не было ни одного, и пришлось продолжить путь. Через несколько километров он увидел впереди слева зеленое пятно. Оно было похоже на небольшой фруктовый сад, и через поле к нему вела тропинка. Доехав до нее, Амар свернул. Тропинка была ухабистой, ехать по ней было нелегко, но Амару все же удалось медленно продвигаться вперед, не слезая с велосипеда. Если бы пришлось идти пешком, то затея бы себя не оправдала. Сад оказался больше и расположен дальше от дороги, чем он предполагал. Он лежал в низине, так что с шоссе Амар видел лишь верхушки деревьев: чем ближе он подъезжал, тем выше они становились. Такая пышная растительность означала, что поблизости бьют подземные ключи. «Оливы, груши, гранаты, айва, лимоны...» – бормотал он себе под нос, входя в сад.

В этот миг до него донесся звук приближающегося мотоцикла. До этого ему и в голову не приходило, что в саду может

стоять дом, что в доме могут жить люди, теперь же, разом сообразив, он почувствовал себя неуютно, особенно при мысли, что обитателями дома, скорей всего, могут оказаться французы, а тогда они либо поколотят его, либо пристрелят, либо отведут в полицию: последнее предположение казалось самым пугающим. Скверно, очень скверно было оказаться застигнутым во французском поместье, тем более сейчас, когда за несколько недель сотни *domaines*¹ подверглись налетам Истиклала, поджигавшего посевы.

Соскочив с седла, Амар поднял велосипед и, держа его на весу, побежал, неловко натыкаясь на стволы деревьев и высматривая место, где бы спрятаться. Но сад оказался ухоженным, все кусты были выкорчеваны, и Амар понял, что план его нелеп: ему пришлось бы отбежать очень далеко от тропинки, чтобы остаться незамеченным, если мотоциклист, проезжая мимо, бросит взгляд в его сторону. Гуденье мотоциклетного мотора раздавалось совсем рядом, очень громко. Амар повернулся, положил велосипед на землю и медленно побрел назад. Мотоцикл вынырнул из-за поворота, когда Амар уже почти дошел до тропинки. Водитель, пухлый человечек в мотоциклетных очках и кепке с козырьком, то и дело неловко подпрыгивал в седле, машину бросало из одной старой колеи в другую, из-под колес вылетали комья земли размером с булыжник. Приближаясь, он в упор глядел на Амара, потом остановился, какое-то мгновение подержал мотор на холостом ходу и выключил. Неожиданно настала удивительная тишина; впрочем, тут же выяснилось, что она обманчива: цикады, не умолкая, пели в ветвях.

– *Msalkheir*², – произнес мужчина, бережно снимая кепку, потом очки и не сводя глаз с Амара. – Куда идешь и откуда?

– Просто гуляю, – ответил Амар. – Хотел под деревом полежать.

1 Поместье, усадьба (*фр.*).

2 Добрый день (*араб.*).

Он решил, что мужчина – мусульманин (не потому, что тот говорил по-арабски, некоторые французы тоже свободно владели языком, но по тому, как он держался и как говорил), и это настолько успокоило его, что он, сам не отдавая себе отчета, говорил чистую правду.

– Прогуливаешься с велосипедом? – мужчина рассмеялся, нельзя сказать, чтобы недружелюбно, однако по его смеху можно было понять, что он не верит ни единому слову Амара.

– Да, – ответил Амар. Тут из носа у него упала капля крови, и он подумал, что вся рубашка, должно быть, в красных пятнах.

– В чем дело? – спросил мужчина. – Что у тебя с лицом? Упал с велосипеда?

Теперь врать уже поздно, удрученно подумал Амар.

– Нет, подрался. С приятелем, – быстро добавил он, чтобы мужчина не заподозрил, что он мог подраться с кем-нибудь из работников или сторожей.

Мужчина снова рассмеялся. Он был круглолицый, с большими ласковыми глазами и намечающейся лысиной.

– Подрался? А где ж приятель? Валяется мертвый в моем саду?

Во взгляде мужчины Амар не мог различить ничего, кроме добродушной веселой заинтересованности.

– На Айн-Малке.

– Извини, но, похоже, ты рехнулся. Ты соображаешь, в какой стороне Айн-Малка?

Мужчина нахмурился.

Амар шмыгнул носом, чтобы удержать готовую сорваться каплю.

– Я в вашем саду ничего не трогал, – произнес он сокрушенно. – Если хотите, чтобы я убрался, скажите – и я уйду.

Лицо мужчины болезненно сморщилось.

– La, khoua, la¹, – ласково сказал он, словно успокаивая норовистую лошадь. – Какая глупость. Ничего подобного. – Он

¹ Нет, братец, нет (*араб.*).

завел мотор. «Уезжает», – подумал Амар с надеждой. Но тут же сердце у него упало, как только он увидел, что мужчина, не отрывая ногу от земли, сделал разворот и снова остановился.

– Садись на велосипед, – крикнул он, стараясь перекричать шум мотора. Амар повиновался. – И поезжай впереди!

Он махнул рукой, и Амар послушно покатил вглубь сада, слыша позади пофыркивания медленно едущего мотоцикла.

Так они и ехали. Амару даже не было нужды оборачиваться, потому что мотоциклист строго выдерживал дистанцию. Амар чувствовал себя отвратно. О бегстве и думать было нечего: это явно невозможно. Амар был напуган, никогда прежде он не встречал мусульманина, намерения которого было бы так же трудно угадать, как если бы он был назареем.

Дорога неожиданно свернула вправо, и Амар увидел старый дом посреди лужайки. К дверям вела дорожка, обсаженная неподстриженными, привольно разросшимися розовыми кустами. Для сельской местности дом выглядел огромным: нижняя часть стены, без окон, была метров десять высотой. Трещины зигзагами протянулись по всему фасаду, в них успела прижиться всякая растительность, но все высохло, кроме одного скрюченного фигового деревца, серый ствол которого жирной змеей тянулся по стене. Рев мотора позади стих, и Амар, по-прежнему нервничая, решил оглянуться. Спрыгнув с мотоцикла, мужчина поставил машину на упор. Он перехватил взгляд Амара, и на лице его мелькнула усмешка.

– Вот и приехали, – сказал он. – Дверь открыта. Заходи, не стесняйся.

Однако Амар дошел только до двери и остановился, поджидая хозяина, который, приблизившись, нетерпеливо подтолкнул его вперед. За дверью начиналась длинная лестница, они поднялись на крытую галерею, с трех сторон окружавшую большой внутренний двор. Перила местами обрушились, а часть огромных балок над головой опасно просела. В воздухе гудело множество ос.

– Теперь сюда, – мужчина ласково подтолкнул Амара к двери, ведущей в длинную комнату, свет в которую попадал через протянувшиеся под крышей галереи оконца. В дальнем конце на разложенных по всей длине подушках сидели трое юношей, все года на два-три старше Амара. Мужчина подвел Амара к ним, и он пожал каждому руку, отметив про себя, что делают они это на европейский манер, не утруждая себя тем, чтобы поднести пальцы к губам после рукопожатия. Да и одеты они были точь-в-точь как французы, даже сидела одежда на них как-то по-французски. Один из мальчиков читал, двое других разговаривали, причем один тер рукав своей куртки тряпкой, смоченной в бензине, однако все трое тут же вежливо отложили свои занятия и выжидающе обернулись к Амару, опустившемуся на подушки.

Усевшись на высокий пуф, мужчина протянул руку, указывая на Амара, как если бы тот был редким зверем, которого он подобрал по пути.

– Поглядите-ка на него! – воскликнул он. – Только было я собрался в город повидаться с Лахсеном, который сейчас поджидает меня в «Ренессансе», как вдруг мне попадается в саду эта газель. Не на дороге, понимаете, а на проезде от мельницы.

– Какой мельницы? – прервал его Амар. Струйка крови наконец добралась до его губы.

– После чего он сообщает мне, – невозмутимо продолжал мужчина, – что возвращается с Айн-Малки. – Юноша, читавший книгу, рассмеялся. – Правда, у него был велосипед, – поспешил заверить мужчину, – так что это вполне вероятно. Но что с ним случилось? Вы только поглядите. Он не слишком-то разговорчивый. Только и сказал, что подрался с приятелем.

Молодые люди не заставили себя упрашивать и стали разглядывать Амара, при этом очень осторожно, не проявляя ни малейшей фамильярности. Чтобы избежать их любопытства, которое, хотя и было дружеским и учтивым, все же смущало его, Амар, стараясь сохранять беспечный вид, начал осматривать

необычную комнату. Он никогда не видел ничего подобного. По его понятиям, в комнате царил страшный беспорядок, и этим она разительно отличалась от выметенных, выскобленных до идеальной чистоты комнат его собственного дома, хотя в то же время он бы не решился с полной уверенностью назвать ее грязной. На полу повсюду были разбросаны высокие покосившиеся кипы книг и журналов, лежали пухлые кожаные пуфы, выглядевшие так, словно их намеренно расшвыряли в беспорядке, вместо того, чтобы, как полагается, аккуратно составить в ряд. На трех сгрудившихся посередине кофейных столиках стояли большие корзины с персиками, воздух был густо пропитан их ароматом. На стенах, где должны были бы висеть большие фотографии родственников в золоченых рамках – поскольку дом, хоть и старый, очевидно принадлежал богачу, – не было и намека на картины или вообще какие-нибудь украшения, не считая огромной карты Марокко в пастельных тонах; Амар видел такую, когда однажды заглянул в окно Бюро гражданского контроля. И везде, куда бы он ни посмотрел, стояли пепельницы, доверху полные окурков и пепла, которым, впрочем, был усыпан и весь пол. Амар решил, что это типично французская комната и хозяин хочет, чтобы его принимали за француза.

– Ну же, это не трибунал, – сказал мужчина, улыбаясь Амару. – Тем не менее, факт остается фактом: я поймал тебя в своих владениях и хотел бы знать, что ты там делал. По-твоему, я не прав?

Амар никогда не слышал, чтобы кто-нибудь так говорил на его родном языке: мужчина пользовался всеми расхожими местными выражениями, но, в то же время, насыщал свои фразы словами, доказывавшими, что ему был ведом и настоящий арабский язык – язык мечетей, медресе, имамов и ааллемов. Умение, с каким он смешивал оба эти языка, придавало его речи какое-то новое непринужденное звучание, приятное для слуха.

– Нет, – ответил Амар. – Я вам правду сказал.

Он чувствовал себя неловко, сознавая, что его речь звучит безнадежно грубо, почти как уличный жаргон.

– Быть может, ты не все мне рассказал? Zid. Так продолжай. Мы хотим выслушать твою историю от начала до конца. Хочешь что-нибудь выпить?

Амара действительно мучила жажда, и он ответил: «Да». Один из молодых людей проворно вскочил на ноги и, пройдя в другой конец комнаты, вернулся, неся бутылку с высоким горлом и несколько малюсеньких стаканчиков. Амар взглянул на бутылку с подозрением. Юноша перехватил его взгляд и сказал: «Это шартрез», – после чего плеснул немного в рюмку Амара. Потом налил и остальным. Это было не совсем то, чего хотелось Амару, но, потягивая напиток, он продолжал свое повествование о случившемся за день. Когда он дошел до драки, мужчина остановил его.

– Essbar¹, – сказал он. – Так из-за чего вы подрались?

Амар хотел ответить: «Не знаю», потому что он действительно не знал, как выразить словами истинную причину, по которой ему неудержимо захотелось оскорбить Мохаммеда. Конечно, все произошло вовсе не из-за того, что предложил ему Мохаммед; в предложении его не было ничего необычного, так же как не было бы ничего странного, если бы Амар согласился. Дело, скорее, было в самодовольной уверенности Мохаммеда в собственной правоте – просто он был один из тех людей, которым так и хочется набить морду. Однако Амар понимал, что вряд ли может рассчитывать на то, что слушатели поймут его, если, конечно, не вдаваться в долгие отступления, которые неизбежно приведут к политике, а политические споры в подобной обстановке были немыслимы, даже если бы Амар хватило знаний, чтобы вести их. Он даже не знал, кому принадлежат

¹ Погоди (*араб.*).

симпатии окружающих, вполне могло оказаться, что все они за французов.

– Не люблю я его, – сказал Амар. – Он из тех, которым хорошая взбучка не повредит.

– Понимаю, – серьезно сказал мужчина, выразительно взглянув на юношей, словно предупреждая их, чтобы они не смеялись. – Итак, ты задал ему взбучку. Zid.

Амар немного расслабился, он чувствовал, что мужчина верит ему, это внутренне раскрепостило его и позволило припомнить драку до мельчайших подробностей, которые он добросовестно пересказал. Теперь мужчина уже не скрывал, что рассказ его забавляет – Амар видел это по глазам, – хотя по-прежнему продолжал сидеть с важным и торжественным видом, пока Амар не дошел до того места, когда он услышал, что по саду едет мотоцикл, попытался скрыться за деревьями, но вернулся обратно и был застигнут у самой дороги. Тут мужчина наклонился и со смехом хлопнул его по плечу.

– Отлично, отлично, – сказал он. – Полагаю, нам всем следует принять твой рассказ на веру. Теперь мне нужно ненадолго отлучиться в город, но я скоро вернусь. А ты оставайся – дом в твоём распоряжении. Если что-нибудь понадобится, просто спроси.

Он поднялся, Амар машинально тоже вскочил на ноги. Он прекрасно расслышал предложение хозяина и вполне понял его, но счел простой учтивостью. Кроме того, ему хотелось поскорее уехать: и сам дом, и его хозяин, и юноши – все это было как-то не до конца понятно, похоже на сон и внушало тревогу. Он поднял голову и с тоской взглянул на синее небо, видневшееся за оконцами под крышей.

– Сядь, – сказал мужчина. Это был уже почти приказ, и Амар повиновался. Мужчина, легко ступая, прошел к двери и исчез. Мгновение спустя взревел мотор, звук стал постепенно удаляться.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Точно это было частью некоего ритуала, все сидели совершенно неподвижно, пока гудение мотора окончательно не стихло, так что уже ничего нельзя было расслышать, даже если вслушиваться очень внимательно. Потом молодой человек с книгой повернулся к Амару и сказал:

– Поешь персиков. Тут их столько растет...

Амар провел рукой по лицу.

– Очень пить хочется. – Взглянув на руку, он увидел запекающуюся и свежую кровь, и день внезапно показался ему бесконечным. – Мне надо ехать, – нерешительно сказал он.

Все трое сразу же принялись вежливо его отговаривать. Амар понял, что они не дадут ему уехать, даже если для этого придется применить силу.

– Мне домой надо, – повторил он. – У меня нос...

Юноша, угощавший его персиками, встал и взглянул на него сверху вниз.

– Послушай, – сказал он. – Ты приляг, а я о тебе позабочусь. – Подойдя к дверям, он крикнул: – Эй, Махмуд! – Почти мгновенно на пороге возник пожилой мужчина, в не совсем свежей белой гандуре; юноша вышел на галерею, и они о чем-то быстро переговорили. Вернувшись, он встал на колени перед Амаром и начал снимать с него сандалии. Амар, смущенный, отвел его руки и сам скинул обувь.

– А теперь ложись, – скомандовал молодой человек, указывая на место, где он только что сидел. Двое других наблюдали за тем, как он помогает Амару устраиваться поудобнее, подкладывая подушки ему под голову, несмотря на слабые протесты Амара, которому было стыдно, что вокруг него подняли такой шум. Но лежать было приятно. Он очень устал. Все молчали, пока не вошел слуга с подносом и поставил его рядом с подушками, на которых лежал Амар. Приподнявшись на локте, Амар выпил холодной воды. На стакане яркой красной краской были изображены аисты.

– Может, я навещу вашего отца как-нибудь в другой раз, – начал Амар. Он был уверен, что мужчина – не отец всем троим, но ему прежде хотелось услышать, что скажут в ответ сами молодые люди. На мгновение воцарилась тишина: было ясно, что юноши сомневаются, что именно ответить.

– Мулай Али вернется очень скоро, – ответил юноша, заботившийся об Амаре, он явно решил выступать от лица остальных. – Ложись. Я смажу тебе лицо *филфилем*. – Амар перевернулся на спину. – Закрой глаза покрепче.

Этот совет был явно излишним, так как Амару вовсе не хотелось, чтобы жгучий красный перец попал ему в глаза. Осторожными движениями юноша размазал притирание по лбу и переносице Амара.

– Надо тебе сходить к врачу, – сказал он, когда процедура была окончена. – Похоже, у тебя нос сломан.

«Mektoub»¹, подумал Амар, внутренне поеживаясь. У него не было ни малейшего желания идти к врачу, он твердо решил отложить деньги на ботинки.

Молодой человек опустился на подушки рядом с остальными двумя, которые, как чувствовал Амар, сидели, не спуская с него глаз. В комнате было очень тихо, тишину время от времени нарушал только шелест перевернутой журнальной страницы или чье-нибудь негромкое покашливание. Амар слышал несмолкающий гул ос на галерее, порой петух кукарекал где-то там, в залитом солнцем дворе. Он лежал, очень крепко зажмурившись, но постепенно мускулы лица расслабились, и он чуть было не уснул. Этого ни в коем случае нельзя было допускать здесь, в этом доме, под посторонними взглядами, – подобная мысль приводила Амара в ужас. Он решил говорить, все равно о чем, лишь бы не уснуть. Было важно, просто необходимо сказать хоть что-нибудь. Ему казалось, что он сидит и ведет долгую, серьезную беседу с тремя юношами, а они

¹ Судьба (*араб.*).

слушают и соглашаются. Издалека донесся раскат грома. Неожиданно кто-то кашлянул, и Амар понял, что вовсе не сидит, а значит, вполне вероятно, успел уснуть.

– Скажите, – громко произнес он. – Неужели Мулай Али и правда думает, что я забрался сюда, чтобы поджечь дом?

Неожиданно все трое юношей рассмеялись.

– Об этом ты лучше сам у него спроси, – ответил тот, что ухаживал за Амаром. – Откуда мне знать, что он подумал? Погоди, он вернется с минуты на минуту.

– Вы все живете в Фесе?

Было совершенно не важно, что эти трое подумают о его глупых вопросах, – только бы удержаться и не заснуть.

– Они – да. А я живу в Мекнесе.

– Так вы здесь гостите?

– Sa'a, sa'a, иногда я приезжаю погостить на несколько дней. Мулай Али – мой большой друг. От него я узнал больше, чем от любого *ааллема*.

Двое остальных пробормотали что-то в знак согласия.

Амару подобное заявление показалось довольно странным.

– Чему же он вас учит?

– Всему! – ответил юноша даже с некоторой горячностью.

– Я хочу сесть, – сказал Амар. – Не мог бы ты стереть *фил-фил*, пожалуйста?

– Нет, нет. Лежи спокойно. Мулай Али скоро вернется. Мне хочется, чтобы он видел, что я позаботился о тебе.

Амар взбодрился настолько, что уже больше не боялся уснуть. И снова гром раскатился где-то далеко, на другом краю земли. Амар лежал не шевелясь. Очень скоро послышалось тихое гудение мотоциклетного мотора. Амар представил, как мотоцикл сворачивает с шоссе на тропинку, въезжает в сад, катит среди деревьев и наконец с ревом тормозит перед домом. На лестнице послышались голоса, и Мулай Али вошел в комнату вместе с другим мужчиной; у незнакомца был необычайно звучный, низкий голос.

– Это Лахсен, – сказал Мулай Али. Все трое юношей приветствовали незнакомца. – Ага! Я вижу, наш друг заснул! Чем это ты намазал ему лицо, *филфилем*?

– Я не сплю, – откликнулся Амар. Ему вовсе не хотелось быть втянутым в разговор, но, с другой стороны, было ясно, что он не может лежать просто так, молча.

– Пусть лучше сядет, – сказал Мулай Али. Юноша из Мекнеса приподнял голову Амара и принялся ножом соскребать засохшую мазь с его лба и бровей. Счистив ее, он протер пораненные места влажным лоскутком. Между тем Лахсен вел с Мулаем Али, казалось, совершенно бессмысленный разговор.

– Таких?

– Да, девять.

– Что ж, у меня найдется.

– Мне показалось, ты сказал – одиннадцать.

– Нет, я не о том!

– Ах, да.

– Таких – пять.

– Ouakha¹.

– Послушай, именно про них я тебе и говорил. Сам видишь – ни в чем нельзя быть уверенным.

– Я уверен.

– Это невозможно. Поверь моему слову.

– Ладно, оставим вопрос открытым.

– Добавь еще шесть, и делай, что хочешь.

– А как насчет?..

– погоди, мы еще к этому вернемся. Возьми персик. Лучшие персики во всем Саисе.

Решив, что веки его успели высохнуть, Амар приподнялся и сел, открыв глаза.

– А, вот и он! – воскликнул Мулай Али. – Kif enta? Теперь получше?

¹ Ладно (*араб.*).

Посреди комнаты стоял высокий мужчина в мягком сером *тарбуше* и, нагнувшись, чтобы не закапать одежду, ел персик. Наконец, он выпрямился, достал носовой платок, вытер руки и рот. Затем, по просьбе Мулая Али, подошел к Амару и приветствовал его. Зрачок и радужка его левого глаза были совсем белыми, млечно-белыми, как мрамор. Амар сразу же догадался, что он не принадлежит к тому же кругу, что трое юношей и хозяин дома. Было ясно, что и образование у него не то: речь его мало чем отличалась от речи Амара. Станный этот Лахсен, – думал Амар. Он даже представить себе не мог, зачем это Мулай Али вдруг помчался в Виль Нувель, чтобы встретиться с ним.

– Оставим деловые разговоры на потом, – значительно заметил Мулай Али, – а пока попросим Махмуда приготовить нам чай. – Он подошел к двери и позвал слугу.

Упоминание о чае встревожило Амара, это значило, что он не сможет уйти, пока не выпьет по крайней мере три чашки с хозяином. Беспокойно повернувшись на подушках, он взглянул на Лахсена, ковырявшего в носу. Его тарбуш – единственный предмет мусульманской одежды во всей комнате – выглядел неуместно среди этой обстановки, и к тому же нелепо торчал на вытянутой голове. Такого рода шляпу можно увидеть, пожалуй, на пожилom, несколько эксцентричном зажиточном господине, выводящим своих внуков на прогулку по пятницам.

– Присаживайся, – обратился Мулай Али к новому гостю. – Побеседуй с нашим другом. – И, обращаясь к одному из юношей, добавил: – Подойди сюда, Чемси. Хочу тебе кое-что показать.

Лахсен улыбнулся Амару и опустился на подушки.

– Слышал, ты ездил сегодня купаться на Айн-Малку, – сказал он. – Ну, как вода? Еще холодная?

– Холоднющая.

– А в Сиди Хараземе давно не бывал?

– Давно. Я работаю, а это слишком далеко.
– Да, далековато, – он помолчал, потом спросил: – Ты работаешь в Виль Нувель?
– Нет, у Баб Фтеха.
– Вот как, а я живу неподалеку.
Амар не мог припомнить, чтобы хоть раз видел Лахсена, но на всякий случай неопределенно протянул: «А-а...»
– Ты когда-нибудь был в Дар эль-Бейде?² – спросил Лахсен.
Амар ответил, что нет.
– Вот где можно славно поплавать. Море, пляж. Лучше не придумаешь.
– И миллион француженок, – сказал Амар.
– Миллион, – рассмеялся Лахсен.
Потом разговор переключился на Касабланку. Амар с тоской думал о том, когда же за окном начнет смеркаться. Ему казалось, что он сидит в этой комнате взаперти уже целую неделю. Но до чая нечего было и думать о том, чтобы уйти.
– Тут сказано: dans la région de Bou Anane¹, – сказал Мулай Али. – Это тебе о чем-нибудь говорит?
Чемси нерешительно покачал головой.
– А вот Ахмеду Слауи говорит, – фыркнул Мулай Али.
– О! – воскликнул Чемси.
Мулай Али медленно склонил голову, искоса поглядывая на Чемси.
– Понимаешь, что я хочу сказать? – спросил он наконец, выдержав длительную паузу. – Используй всю статью, слово в слово, пометь «Марок-Пресс», поставь дату и добавь от себя все, что знаешь о région de Bou Anane.
– Бедный Слауи, – сказал Чемси.
– Его там сейчас может и не быть, – напомнил Мулай Али.
Вошел Махмуд, неся огромный медный поднос с серебряным чайником и чашками. Собеседники подошли к остальным,

¹ В районе Бу Анана (фр.).

и Мулай Али бросил свернутую газету, которую держал в руках, двум другим юношам. Усевшись, он начал разливать чай. Стекая в чашки, чай булькал, дымился и благоухал мятой.

– Как тебя зовут? – неожиданно спросил хозяин у Амара. Тот назвал свое имя.

– Фесец? – Мулай Али от удивления поднял брови.

– Моя семья всегда жила в Фесе, – гордо ответил Амар, чувствуя, что юноши с новым интересом принялись изучать его. Быть может, они решили, что он *беффани*, приезжий.

– Из какого *хаума*? – спросил Мулай Али, раздавая присутствующим чашки с чаем.

– Из Кеддана, под Джемаа Андалус.

– Да, да.

Амар ждал, что хозяин, прежде чем попробовать чай, скажет «Бисмилла», но тот ничего не сказал. Остальные тоже промолчали. Обычно Амар бормотал молитву себе под нос, еле слышно, но теперь, при виде подобной нерадивости, произнес ее достаточно громко. Лахсен обернулся и посмотрел на него.

Юноша, читавший газету, не спеша отложил ее и взял свою чашку. Лицо его выражало крайнее смятение.

– Бубонная чума, – сказал он. – Страшная болезнь. Человечек весь распухает.

– Еіоиа! – согласился Мулай Али, словно желая сказать «Я ведь тебе говорил».

Лахсен громко отхлебнул чай, облизнул губы и сказал:

– Лагхзауи¹!... то есть Лазраки говорит, что сейчас в Алжире все подряд этим болеют.

– Наверное, она оттуда и пришла... – начал было юноша.

– Слухи! – резко оборвал его Мулай Али, пристально глядя на Чемси. – Об Алжире мы ничего не знаем.

Чемси кивнул.

¹ Мохаммед Лагхзауи – один из лидеров партии Истиклал.

Потом разговор зашел о городах, расположенных далеко на юге. «Тоже мне, нашли о чем говорить», подумал Амар. Он прекрасно понимал, что беседа ведется вокруг какого-то главного предмета, известного всем, однако все прилагали максимум усилий, чтобы он оставался неизвестен ему, Амару. Допив третью чашку, он встал.

– Уже очень поздно, – сказал он.

– Конечно, тебе хочется поскорее уйти, – с улыбкой произнес Мулай Али. – Что ж. Но не забывай нас. Приходи как-нибудь, и мы устроим настоящий вечер, с музыкой. Теперь ты знаешь, где мы живем.

Лахсен ухмыльнулся.

– Наш друг Мулай Али играет на флейте и скрипке.

– А наш друг Лахсен, если не ошибаюсь, любит поиграть с бутылкой, – лукаво добавил Мулай Али. Юноши рассмеялись. – Особенно если это розовое «Айт Суала».

– Нет, он и правда прекрасно играет на флейте, – продолжал Лахсен. – Сыграй нам, – попросил он.

Мулай Али пожал плечами.

– Амар собирается нас покинуть. Как-нибудь в другой раз. А Чемси захватит с собой из Мекнеса свой уд.

Чемси робко запротестовал, уверяя, что играет очень плохо.

– А ты на чем играешь? – спросил Мулай Али у Амара и взял его за руку, не вставая с места.

– На *лирахе*, немного, – смущенно ответил Амар.

– Ваз! Вот и прекрасно! Сможешь подменить меня, если я устану. Всего тебе доброго. И позаботься о своих боевых ранениях. – Лицо Мулая Али стало серьезным. – И еще одно: не забирайся больше в частные владения, ты меня понимаешь? Представь себе, что вместо меня оказался бы кто-нибудь другой. Представь, что на моем месте оказался бы месье Дюран или месье Бланше. Еіоца! В таком случае ты бы не ехал сейчас домой на своем велосипеде. А вы как думаете? – Он обернулся к юношам, ища поддержки. Те улыбнулись.

– Да уж! – прочувствованно произнес Лахсен.

Амар стоял, окруженный всеми этими людьми, подыскивая слова, чтобы объяснить, что он не такой уж глупый, вовсе не ребенок и понимает, что все их разговоры имели тайный смысл, который они не захотели ему открыть. Он решил, что лучше всего будет самому напустить загадочный вид, чтобы они подумали, что он все-таки понял их, несмотря на все предосторожности, но вместе с тем не обиделся за то, что его втянули в эту, в конце концов, детскую игру.

– Благодарю вас за доверие, – торжественно обратился он к Мулаю Али.

Задуманное сработало; Амар понял это по глазам Мулая Али, хотя на лице его не дрогнул ни один мускул. Может быть, именно поэтому: казалось, на какую-то долю секунды он весь окаменел. И все остальные тоже, пусть на один миг. Пользуясь моментом, Амар решил действовать не колеблясь.

– До свидания, – сказал он, протягивая руку хозяину, потом по очереди попрощался со всеми тремя юношами и, наконец, с Лахсеном. Быстро поклонившись Мулаю Али, он повернулся и направился к двери. Похоже, никто не произнес ни звука, пока он спускался по лестнице.

Он был уверен, что не успеет отъехать от дома, как кто-нибудь его окликнет: ему не верилось, что наконец-то удалось выбраться. Он мигом вскочил на велосипед и, чувствуя огромный прилив сил, помчался по ухабистой дороге. Солнце стояло еще достаточно высоко, было не так поздно, как он думал. Лучи вызолотили сад, тени стволов черными прямыми полосами пролегли по земле. Цикады по-прежнему пронзительно пели в ветвях над его головой, но звук был приглушеннее, чем днем. Амар старался ехать как можно быстрее, чтобы поскорее добраться до шоссе. Там, казалось ему, уже можно отказаться от возвращения в загадочный дом, если Мулай Али догонит его на рычащем мотоцикле. Амар запыхался и вспотел, пока не добрался до шоссе, но теперь

ухабы и рытвины остались позади, он смог расслабиться и поехал не спеша. Столбы, отмечающие каждые сто метров, мелькали, убегая назад. Амар снова был счастлив. Правда, в глубине души все еще мелькали какие-то тени, вопросы, требующие ответа, дела, с которыми рано или поздно придется разобраться, – все это было неминуемо и никуда не исчезло, но сейчас Амар чувствовал в себе довольно сил, чтобы позабыть о них и положиться на волю случая.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Солнце, неустойчиво зависшее над горизонтом, быстро соскальзывало по краю небесной чаши к далеким очертаниям Джебель Зерхуна; темный массив горных пиков в дальнем конце равнины казался ближе, высвеченный яркими лучами светила. Где-то там, в самом сердце гор, уютно расположился священный город Мулая Идрисса, построенный руками его семьи много веков назад, еще при жизни Гарун аль-Рашида. Амар знал, как он выглядит, по открыткам – укрытый своими стенами, точно белым полотном, окруженный густыми, раскинувшимися по долинам и горным склонам оливковыми рощами. Амар, насвистывая, проехал первые небольшие фермы, разбросанные в окрестностях города. Мерзкие собачонки, которых так обожают французы, кидались на него со всех сторон с яростным лаем. Точно это были настоящие французы, Амар пытался их задавить, а, проехав, кричал: *Bon jour, monsieur!*

Дневной воздух с его знойными запахами уступал место вечерней прохладе, волнами хлынувшей с вершин. Разница между ними была примерно такая же, как между придорожным камнем и птичьей стаей в полете, или, подумал Амар, между сном и явью. «А может, я просто проспал весь день», – усмехнулся он. Такого бессвязного сна, каким был прошедший день, и нарочно не придумаешь – это уж точно. Но поскольку события дня произошли наяву, Амар был обеспокоен тем, какое значение могут они иметь в узоре его судьбы. Почему Аллаху сподобилось столкнуть его с Мохаммедом Лалами, когда тот возвращался после купанья в реке, и почему Он направил его велосипед к дому Мулая Али, скрытому в глубине фруктового сада? Поскольку ничто в мире не случайно, приходилось предположить, что его жизнь роковым образом связана с жизнями Мохаммеда и Мулая Али, а ему этого вовсе не хотелось. Быть может, удастся подобрать молитву,

которая сможет убедить Аллаха направить стези его жизни так, чтобы больше никогда не видеть никого из них, включая Лахсена и трех юношей. Вторжение чужаков в жизнь Амара всегда усложняло ее. Но почти тут же ему пришла в голову радостная мысль: возможно, Аллах наделил его тайной силой именно затем, чтобы он мог отстоять себя в этих неизбежных запутанных столкновениях с другими людьми. Научись он доверять своей силе, использовать ее при необходимости – разве это не означало бы, что он может одержать верх? Амар призадумался. Конечно же, именно к этому стремился Аллах, сотворив Амара таким, каков он есть, наделив его даром читать в людских сердцах. Таким образом, дело сводилось к тому, чтобы укрепить этот дар, сделать его абсолютно надежным, закалить, как закалил он свое тело, пока его сверстники сидели на школьных уроках; Амар достиг этого, не прибегая к сознательной дисциплине – он понятия не имел, что такое дисциплина (разве что наблюдал за тренирующимися спортсменами, и ему было их жаль); нет, он прибег к прямо противоположному методу, просто позволяя своему телу раскрепоститься, научиться владеть собой и развиваться по своей воле.

Амар ехал мимо пригородных вилл с зелеными лужайками, срезая путь к городу по маленьким улочкам. Последним зеленым участком перед въездом в город был ботанический сад. Часть его составлял питомник, окруженный изгородью из колючей проволоки, другую – участки неводеланной земли, прорезанные плотно утоптаннами тропинками. Если вам случалось спокойно прогуливаться здесь в сумерки, вы могли стать свидетелем неожиданных сцен, так как это было единственное место вблизи от города, где французские молодые люди и девушки могли хоть как-то уединиться. Амар несколько раз наткнулся на парочки: тесно обнявшись, они лежали под кустами, не замечая его или просто не обращая на него внимания. Больше всего Амара удивляло, почему они

не целуются и не занимаются любовью в борделях. Женщины явно работали проститутками, иначе бы не стали гулять с парнями. Так почему же они не оставались в борделях, а предпочитали делать свою работу под открытым небом, как животные? Потому ли, что сейчас все комнаты были заняты, или же они делали это втайне от *батроны* и оставляли все деньги себе, ничего ей не давая? А может, это просто были гнусные, порочные существа, утратившие всякий стыд, существа, чьи сердца Аллах в Своем гневе превратил в собачьи? Именно эта сторона жизни назареев поражала его сильнее всего, но все равно ему нравилось бесшумно бродить по дорожкам и громко кашлять, стоило наткнуться на какую-нибудь парочку.

У входа в сад Амар свернул и покатил по дорожке, но вскоре почва стала слишком неровной, и ему пришлось сойти с велосипеда. Как раз в этот момент над головой раздался оглушительный раскат грома – даже земля вздрогнула у него под ногами. Со страхом взглянув на небо, Амар увидел, что с южной стороны все затянуто черной завесой, а громадное облако, похожее на кулак, выпроставшийся из мрака, грозит чистому небу над ним.

Возвращаться на шоссе не имело смысла, дождь мог хлынуть в любую минуту. В воздухе уже запахло влагой. Амар снова поглядел вверх. Странное грузное облако колыхалось, точно клуб дыма. Впереди стояло несколько оранжерей, и, если поблизости не окажется французов, он сможет укрыться в одной из них. Любой мусульманин, работающий в саду, наверняка впустит его, было бы немислимо отказать человеку, прячущемуся от грозы. Амар постарался ускорить шаг, но с велосипедом это было невозможно. Наконец, он добрался до места, где в проволочной изгороди был оставлен проход. За ним виднелась табличка с двумя надписями – арабскими и французскими буквами, Амар решил, что, скорее всего, это предупреждение о том, что вход воспрещен. Но что хуже, спросил он себя, – злой француз или разгневанные духи, что

витают сейчас в воздухе? Сомневаться не приходилось. Человек может сойти с ума только оттого, что демон бури чуть коснется его, а сейчас воздух так и кишел демонами. Как только с неба упали первые капли, Амар прислонил велосипед к дереву и бросился к ближайшей оранжерее. Дверь была не заперта. Амар вошел: спертый воздух был насквозь пропитан сладковатым растительным запахом, а тусклый свет, падавший сквозь пыльные стекла, казался старым, точно уже много лет не покидал этого места. Амар прикрыл дверь и остановился рядом, глядя наружу. Недалеко, у самой дорожки из кустов торчало заднее колесо велосипеда. Амар впился в него глазами. Будет ужасно, если кто-нибудь уведет велосипед, но, когда дождь полил так, что за потоками стекавшей по стеклу воды не стало видно ничего, кроме быстро сгущавшейся тьмы, Амар решил, что ничто на свете не заставит его сейчас покинуть оранжерею.

Скоро под стеклянным сводом стало темно, как ночью. Амару казалось, что он чувствует за спиной горячее влажное дыхание притаившихся растений, но он не мог заставить себя обернуться или хотя бы оглядеться по сторонам. Гремел гром, струи воды обрушивались на тысячу хрупких стекол у него над головой. Вода уже просочилась внутрь и плескалась на полу в темноте. Амар прижался лбом к холодному стеклу и ждал. Быть может, в оранжерее уже был кто-то, когда он пришел, и сейчас этот незнакомец – вполне вероятно, француз с пистолетом – прячется среди растений? Наверное, он держит его на мушке и в любой момент может окликнуть, а когда Амар повернется или откроет дверь, чтобы убежать, – выстрелит. Все французы в Марокко мечтали убить как можно больше мусульман. Но мгновение спустя ему пришло в голову, что, похоже, Аллах сегодня осеняет и защищает его Своей благодатью. Во-первых, ему удалось одолеть Мохаммеда, во-вторых, приключение с муллой Али, начинавшееся зловеще, закончилось вполне благополучно, и вот теперь Он привел Амара в

ботанический сад, где можно укрыться от грозы. Если бы Амар и дальше ехал по шоссе, ненастье застигло бы его в дороге. Так почему не поверить в то, что благосклонность Аллаха будет простираться над ним до конца дня?

– Hamdoul'lah, – прошептал Амар.

И тут же зычный голос дождя смолк, ливень прекратился разом; было слышно только, как капли, все реже, падают с деревьев.

По-прежнему боясь оглянуться, Амар распахнул дверь и побежал по дорожке. Уже почти совсем стемнело, но колесо велосипеда было видно. Ведя велосипед, Амар быстро пересек сад и очутился на шоссе. Забравшись на мокрое седло, он торжествующе покатил к городу.

Было приятно ехать по глянцевито блестящим после дождя вечерним улицам. Огни магазинов горели вдвое ярче, отражаясь в мокрых мостовых, тротуары были переполнены французами и евреями, большей частью подростками, которые перебрасывались шутками на ходу. Это было время, когда всякий, кто мог выбраться из дому, считал своим долгом прогуливаться по бульвару Пеймиро, на небольшом пространстве в несколько кварталов между Авеню де Франс и кафе «Ренессанс». В конечном счете, на улице было прохладнее, чем в четырех стенах.

Прикинув, сколько часов он проездил, Амар понял, что за прокат ему выставят огромный счет, но все равно ему не хотелось расставаться с велосипедом; только страх, что магазин может закрыться и придется платить еще за сутки, заставил его свернуть в переулок. Хозяин магазина стоял в дверях и курил. Амар слез с велосипеда и повел его рядом. Француз подозрительно посмотрел на него, молча взял велосипед и стал тщательно осматривать. Не обнаружив поломок, он закатил велосипед внутрь, взял кусок мела и принялся подсчитывать на доске сумму, которую должен был ему Амар. Получилось даже больше, чем он ожидал. Амар так расстроился, услышав

цифру, что позабыл собственные расчеты, так что теперь обнаружить расхождение было невозможно. Конечно, француз обманывал его, и все же лучше было заплатить без спора, который мог бы привести Амару напрямик в commissariat de police¹. Из любопытства ему хотелось узнать, вернул ли Мохаммед второй велосипед и удалось ли ему расплатиться, но даже если бы Амар знал французский, было бы разумнее промолчать. Развязав носовой платок, он отсчитал деньги и передал их француз; тот глядел с бесившей Амару ухмылкой, чуть скрытой облаком дыма от сигареты, свисавшей из уголка рта. Только позже, выйдя из магазина и шагая под деревьями, Амар почувствовал, как часто бьется у него сердце, и только сейчас понял, как нестерпимо ему хотелось ударить этого француза. Он улыбнулся: по крайней мере, удалось избежать ловушки. Весь Виль Нувель был полон такими западнями. Избежав одной, ничего не стоило угодить в другую. Не случайно самым большим и впечатляющим зданием на бульваре Пеймиро было полицейское управление, перед которым всегда стояла, растянувшись почти на целый квартал, вереница джипов и патрульных машин. Вот почему лучше было держаться отсюда подальше. Заниматься своими делами в медине было относительно безопасно, но здесь, что бы ты ни делал, тебе могли неожиданно сообщить, что это запрещено, и на пару месяцев отправить на дорожные работы или в каменоломню. А уж если такое случится один раз, тем более могло произойти и во второй – ваше досье всегда работало против вас.

Ближайшая автобусная остановка была на углу напротив полицейского управления. Встав в очередь, Амар с интересом отметил про себя необычную суету перед главным входом. Люди в форме входили и выходили непрерывным потоком. И наоборот, не было заметно обычно толпившихся у дверей арабских подростков: мелких (то есть не имеющих

¹ Полицейский участок (*фр.*).

отношения к политическим делам) осведомителей, посыльных, всегда готовых раздобыть для полицейских контрабандных сигарет и предоставить разного рода услуги. Интересно, куда они подевались, – подумал Амар.

Дождавшись автобуса, он выбрал место на задней площадке. Следующая остановка была на углу Авеню де Франс и Бульвара дю Куатрем Тирейллёр. Отсюда уже можно было различить огни медины в долине. Амар разглядывал теснившуюся в автобусе публику: бербера в шафрановой чалме, который вел себя так, будто никогда в жизни не видел автобуса, толстую-претолстую еврейку с двумя девочками, они разговаривали между собой на языке похожем, скорее, на испанский, чем на арабский (на этом древнем языке говорили самые чванливые обитатели меллаха, мусульмане относились к нему неодобрительно, считая его чуть ли не бунтарским), арабку в *хаикке*, в которой Амар, как ему показалось, узнал проститутку из *quartier réservé*, и несколько французских полицейских, двое из которых висели снаружи, ухватившись за поручни, так как втиснуться в автобус не было никакой возможности. Обычно дальше автобус ехал прямо, к дороге на Тазу, и вниз по холму, но теперь свернул налево, на бульвар Мулая Юсуфа.

– Ah, *khai*¹, куда он едет? – спросил Амар у притиснутого к нему рабочего в заляпанном известкой комбинезоне.

– В меллах, – ответил рабочий.

– Но в меллах уже ушел один, – возразил Амар. – Этот должен ехать к Баб Фтеху.

Рабочий оглянулся по сторонам. Амару удалось мельком разглядеть его лицо в свете скользнувшего за окном уличного фонаря, оно показалось ему испуганным.

– Scout², – негромко сказал рабочий. – К Баб Фтеху автобусы сейчас не идут. Стой смирно.

¹ Эй, братец (*араб.*).

² Замолчи (*араб.*).

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Амар пребывал в нерешительности. Если рабочий говорил правду, не имело никакого смысла выходить и возвращаться на угол – ждать подходящего автобуса. Чем идти пешком до Баб Фтеха, получится быстрее, если он доедет до Плас дю Коммерс недалеко от меллаха, а там переседет на автобус до Бу Джелуда; кроме того, дорога на Тазу лежала за городскими стенами в полной темноте. Амар вовсе не мечтал о такой прогулке: дорогу с обеих сторон окружали деревья и речные протоки – места, где водились злые духи *дженун* и *аффарит*, не говоря уж о мусульманских бандитах и французских полицейских. Лучше добираться так, как он задумал, даже если потом придется тащиться обратно через всю медину.

Прежде чем автобус, рыча мотором, выехал на Плас дю Коммерс, Амар понял, что там происходит нечто из ряда вон выходящее. Поначалу даже трудно было сказать, что именно: все кругом было залито светом, но светом, поминутно менявшимся, мечущимся из стороны в сторону – так, что очертания домов и деревьев словно колыхались в воздухе, шум тоже стоял невероятный и ни на что не похожий: оглушительные скрежещущие звуки, казалось, обрушивались на площадь с балконов – они наваливались сверху беспорядочным гулом, эхо которого отражалось от стен. Когда автобус наконец очутился на открытом пространстве, кишевшем людьми, звук изменился, и слух Амара уловил несколько точек, откуда исходил весь этот дикий грохот: громкоговорители вопили каждый на свой лад, причем настолько грубо исказили звуки, что те уже давно перестали быть похожими сами на себя. Перед кинотеатром «Аполлон» надрывалась самба – словно груды металлолома падала с огромной высоты на стальной пол. В углу, между общественными уборными и полицейским участком, голос молодого человека, расписывавшего, какой прекрасный фарфоровый сервиз можно

выиграть в лотерею, напоминал прерывистый грохот экспресса, мчащегося по эстакаде. Должно быть, лотерейщик и сам догадывался об этом, потому что время от времени ограничивался быстрым повторением одного только слова *tombola*¹. Кондитерский лоток, проигрыватель которого исполнял египетские мелодии, вполне можно было принять за пулеметное стрельбище, а из безалкогольного бара, чьи владельцы остановили свой выбор на стопке пластинок Салима Хилали², неслись звуки, похожие на те, что могут раздаваться на самой кровавой скотобойне. И все это вместе называлось *фехта* – странствующая ярмарка, каждый лотошник которой гордился тем, что имеет свой граммофон или громкоговоритель, а некоторые счастливицы даже обзавелись собственными микрофонами. Ярмарка прибыла из Алжира, где и было приобретено подержанное оборудование, причем покупатели справедливо полагали, что не особо искушенная публика в Марокко и пограничных городах алжирской пустыни, которые они намеревались посетить, не будет в претензии, если краска кое-где облупилась, металл проржавел, а стены киосков в заплатках. Самое главное – чтобы было побольше шума и света. И того, и другого действительно хватало; что же касается света, то импресарио не просто добился яркого освещения. Грозди и гирлянды лампочек, украшавшие фасады лотков и развешенные на ветвях деревьев, постоянно вспыхивали и гасли, медленно и равномерно, независимо друг от друга. Расчет был верный: сначала это вызывало у публики головокружение, затем – безудержную эйфорию.

Предъявив билет контролеру, Амар вышел из автобуса и остановился, насыщаясь хаосом. Потом, чувствуя легкое возбуждение, подошел к стенду, где несколько подростков по очереди изо всех сил били огромным молотом по площадке.

1 Томбола, вещевая лотерея (*ит.*).

2 Салим Хилали (р.1920) – алжирский певец.

Всякий раз вертикально расположенный красный брусок взлетал вверх на высоту, предположительно соответствующую силе удара, и плотного сложения мужчина с прокуренными до черноты зубами уныло отводил брусок до нулевой отметки, выкрикивая: «Magnifique!»¹ или «Allez, messieurs! Voyons, on est des enfants?»²

Амар побрел дальше, туда, где большая толпа окружила двух легионеров, стрелявших по длинному ряду белых картонных уток, которые рывками двигались на фоне задника с пальмами и минаретами. По толпе вели перекрестный огонь два одинаково мощных громкоговорителя. Амар подошел к лотейному лотку, стоя перед которым молодой человек ревел в микрофон: «...tombolatombolatombolato...» Среди зрителей Амар увидел парнишку из своего квартала. Они обменялись ухмылками – единственное, что можно было сделать при таком шуме. Еще дальше небритый обезьяноподобный мужчина, наряженный в красное шелковое платье и длинные свисающие серьги, заложив руки за голову, исполнял на помосте нечто отдаленно напоминающее *danse du ventre*³. Справа от него девушка в кепи и форме *снаги*⁴, устремив вверх толпы опустошенный взгляд на невидимые горы на востоке, равнодушно била в военный барабан. Стоявшая слева средних лет женщина, при каждой улыбке ослеплявшая публику блеском золотых зубов, металлическим голосом кричала в микрофон: «Entrez, messieurs-dames! Le spectacle va commencer!»⁵

Знакомый Амара тоже протиснулся сюда и встал рядом.

– Nada el bourdel!⁶ – крикнул он; Амар глубокомысленно кивнул. Перед входом в то, что он принял за дорогой

1 Прекрасно! (*фр.*)

2 Приглашаю, господа! Послушайте, мы что, дети? (*фр.*)

3 Танец живота (*фр.*)

4 Североафриканская кавалерия французской армии.

5 Заходите, дамы и господа! Представление начинается! (*фр.*)

6 Ну и бордель! (*араб.*)

передвижной бордель, был сооружен помост, и Амар здорово удивился, заметив нескольких евреек, покупавших билеты.

Пройдя еще немного вперед, Амар подошел к чему-то вроде балагана, перед которым на высоких подмостках кривлялись три механические куклы. Они были ростом с ребенка и одеты в настоящую человеческую одежду. Амару казалась неопишимо непристойной сама мысль надеть на эти мертвые дергающиеся манекены вещи из хорошей шерсти, хлопка и кожи, это больно задевало его чувство приличия. Он стоял, наблюдая за судорожными корчами кукол со смесью отвращения и негодования. Один манекен играл на скрипке, то разевая, то захлопывая широченный рот. Второй беззвучно хлопал жестяными тарелками, вертя бестолковой головой на длинной шее. Третий раскачивался, растягивая меха маленького аккордеона. Меняющееся освещение делало их неверные движения более приятными для глаза, одновременно целиком вырывая их из реальности и превращая в более или менее правдоподобных обитателей иного мира, который вполне можно было себе представить, – безжалостного мира, тишину в котором заменяет треск и грохот преисподней, а дневной и полудночный свет – ослепительное сияние, в котором предметы не отбрасывают тени.

– Le Musée des Marionnettes! – выкрикивал стоявший в дверях мальчик-араб. – Dix francs, messieurs! Dix francs, mesdames!¹ Juj d'rial! Juj d'rial!

После долгих внутренних споров о том, прилично ли ему, рискуя быть замеченным, посетить подобное место, куда заходили исключительно крестьяне и берберы, Амар решил, что не будет таким уж большим грехом, если он все же купит билет и войдет. Музей состоял из подковообразного коридорчика, вдоль стены стояли в ряд застекленные витрины. Коридор был ярко освещен, и в нем толпились истерически хохотавшие мусульманки. Почему экспонаты казались им до

¹ Музей марионеток! Десять франков, месье! Десять франков, мадам! (*фр.*)

такой степени смешными, Амар мог лишь гадать, его они лишь слегка позабавили. Здесь были только грубо окарикатуренные сценки из мусульманской жизни: школьный учитель с линейкой в руке, восседающий перед классом маленьких мальчиков, идущий за плугом феллах, пьянчужка, которого выставляют из бара. (Эту сцену Амар счел грубым оскорблением своего народа.) Сценки, которые так приковывали внимание посетительниц, что они едва могли от них оторваться, изображали мусульманских женщин. Одна представляла драму из домашней жизни: жену, сидящую с зеркалом в одной руке и хлыстом в другой, и мужа, который, стоя на коленях, тер пол. Голова женщины то запрокидывалась, то наклонялась вперед: сначала она подносила к лицу зеркало и гляделась в него, после чего поворачивалась к мужу и награждала его ударом хлыста. В этот момент из толпы белых коконов, тесно сгрудившихся перед стеклом, неизменно раздавался новый взрыв смеха. Другая сценка изображала автобус и мужчину, сидящего рядом с женщиной в джеллабе. Она приспускала покрывало, показывая уродливое лицо, и тут же вновь пряталась, стоило мужчине повернуться в ее сторону. Это была забава попроще, но, несмотря на свою крайнюю неуместность, вызывала отнюдь не меньшее веселье зрительниц. Амар постоял перед ящиками, думая примерно следующее: «Так вот как назареи развращают наших женщин – учат их вести себя как шлюхи». Он уже хотел было высказать свои мысли вслух, но перспектива оказаться под устремленными на него взглядами множества женщин смущала его, и он вышел из балагана, постаравшись, чтобы на лице его отразилось отвращение.

– ...latombolatombo... – все так же надсаживался лотерейщик. В руках у него появлялись то будильник, то большая толстая кукла в розовом шелковом платье, и Амар не без любопытства отметил, что глаза у нее открываются и закрываются в зависимости от того, как наклонял ее лотерейщик. «Совсем как у коровы», – подумал Амар, и ему стало интересно, как они

действуют, хотя ему была ненавистна сама мысль о том, что его может интересовать вся эта ребяческая чепуха. Когда мусульмане придут к власти, такие вещи наверняка запретят. По какому праву французы решили, что подобные несуразницы могут забавлять марокканцев? Но с тем, что они действительно их забавляли, спорить не приходилось, а стало быть, народу придется измениться. Амар живо представил, как какой-нибудь француз приезжает сюда из Виль Нувель – не поглазеть на экспонаты, а чтобы посмеяться над тем, как мусульмане смеются над ними. Разве моя вина в том, сказал Мохаммед Лалами, что все марокканцы – ослы? Тут он был прав.

Толпа притиснула Амара к длинному прилавку, на котором были выставлены призы. Здесь была кухонная утварь из блестящего алюминия, скатерти и мантильи, подвешенные за ручку зонтики, авторучки, живописно разложенные на кусках разноцветного картона, настольные лампы с красными лампочками, которые вспыхивали и гасли, словно подражая освещению ярмарки, и даже маленький радиоприемник, который, как периодически объявлял молодой человек, достанется в качестве специальной награды тому, кто три раза подряд назовет правильный номер. Это подействовало на Амара, которому собственное радио у себя в комнате всегда представлялось почти чудом. До сих пор он видел приемники только в кафе.

– Всего за тридцать франков, – не унимался между тем молодой человек, – вы сможете получить этот великолепный аппарат.

Чтобы понять его слова, знания французского у Амара хватило, и, рискуя быть осмеянным зеваками (ведь никогда не знаешь, что может с тобой случиться в мире назареев), он протиснулся к прилавку и протянул тридцать франков. Конечно, он поступил опрометчиво и сразу же понял это по выражению, мелькнувшему на лице молодого человека.

– Только один номер за раз! – крикнул он, обращаясь к толпе, будто все совершили вслед за Амаром ту же ошибку. –

Всего десять франков! – Он взял у Амара одну монетку. – Messieurs-dames! У нас игра не хуже, чем в Монте-Карло! Игроки выбирают номера! Только пять игроков! Кто еще?

Кто-то в дальнем конце прилавка поднял руку, девушка, работавшая там, взяла у него деньги.

– Les numéros?¹

Игроки назвали загаданные номера.

Единственным числом, которое Амар мог уверенно произнести по-французски, было dix². Он громко сказал это слово; молодой человек с довольным видом повернулся и крутанул прикрепленный к стене диск, поднеся микрофон поближе, чтобы было слышно, как пощелкивает металлическая стрелка, задевая за длинные штырьки, воткнутые возле каждого номера. Пощелкивание стало реже, колесо остановилось, и Амар, скорее с ужасом, чем с удовлетворением, увидел, что стрелка точно указывает на узкий желтый сектор с номером «десять».

– Numéro dix! – выкрикнул молодой человек без особого воодушевления. Девушка на другом конце протянула руку и, взяв странный предмет, небрежно швырнула его зазывале. Христиане, евреи и, уж конечно, несколько мусульман, наблюдавшие за происходящим, увидели, что это тряпичная кукла, изображавшая французского моряка. Он был пузатый, с уродливо размалеванным лицом, но форма и шапочка были воспроизведены в деталях. Молодой человек поднял куклу над головой, чтобы все могли на нее полюбоваться, потом протянул Амару.

Амар подумал, что еще легко отделался: ему не хотелось брать приз, но он понимал, что выбора нет. Вздумай он отказаться, зеваки помрут со смеху, и, конечно, громче и язвительнее всех будут смеяться мусульмане. Схватив куклу за шею и не обращая никакого внимания на вопрос молодого человека, не собирается ли он продолжить игру и назвать

1 Ваши номера? (фр.)

2 Десять (фр.).

следующий номер, Амар поспешил скрыться в толпе. Выбравшись из нее, он на мгновение остановился на сравнительно малолюдном месте перед входом в школу. Теперь вопрос был в том, где найти кусок бумаги, чтобы завернуть в него приз: не мог же он идти по улице с куклой вот так, выставив ее на всеобщее обозрение. Пожалуй, не стоит жалеть денег и сразу купить газету, решил он; безусловно, это самый быстрый способ спрятать выигрыш.

На другой стороне площади, перед большим кафе, куда водители автобусов забегали пропустить стаканчик вина или выпить чашку кофе, обычно стояли двое-трое мальчишек-газетчиков. Амар медленно шел под деревьями по краю площади – и вот уже не было видно ярмарочных огней, не слышно орущих громкоговорителей. На какое-то мгновение вокруг воцарились безмолвие и тьма, будто какой-то великан одним махом задул все огни, смел с земли ярмарочную суматоху. Потом со всех сторон возник, нарастая, громкий звук – такой, как если бы несколько тысяч человек одновременно вздохнули: «А-а-а-х!» Когда звук угас, все вокруг оказалось уже не таким, как за минуту до этого, Амару даже показалось, что он очутился в другом городе. Однако он успел заметить, что окружающая его темнота вовсе не так уж беспросветна. Проглядывая сквозь кроны деревьев, звезды ярко горели в небе, в дальнем углу площади стояли несколько торговавших съестным лотков, освещенных язычками пламени карбидных ламп. Перейдя на другую сторону, Амар остановился, стараясь различить сквозь невнятный гомон пронзительный голос газетчика: «Laa Viigiie!» – но так ничего и не услышал. В лицо ему пахнуло ночным ветерком, в котором он узнал тяжелый запах сырой земли и подгоревшего масла со сковородок десяти тысяч кухонь за стенами меллаха, до которого было рукой подать. Внезапно Амар ощутил острый приступ голода. Он решил немедленно ехать домой, сев в первый же автобус, идущий до Баб Бу Джелуда. В любом случае

не стоило возвращаться слишком поздно: мать с отцом могут заподозрить, что он не был на работе.

Снова он стоял на задней площадке, пока автобус ехал через темный меллах. В Фес-Джедиде было посветлее, наверное, потому что хозяйева кафе и лавок успели зажечь свечи, масляные лампы и наполненные карбидом жестянки. Довольно много легионеров сошло в Баб Декакене, чтобы провести вечер в *quartier réservé* Мулая Абдаллаха.

Автобус остановился в Бу Джелуде, Амар подождал, пока все выйдут, и прошел вглубь тускло освещенного салона. Здесь он сразу же увидел на одном из сидений то, что искал, – газету. Быстро, чтобы не заметил шофер, Амар схватил ее. Он все еще возился, заворачивая куклу, когда вступил под высокую арку ворот. Оказавшись на той стороне, он был неприятно поражен, когда навстречу ему шагнул человек и поднял руку, приказывая остановиться. Это был *мокхазни* в форме.

– Это что? – *мокхазни* вырвал у Амара свертки и сдернул обертку. Кукла, кувыркнувшись, безвольно упала ему на ладонь; держа ее перед собой, *мокхазни* направил на нее луч фонарика. Потом встряхнул и старательно ощупал. После чего с ворчаньем швырнул обратно Амару, который в темноте не смог поймать ее и выронил.

– *Cirf halak*¹, – сказал *мокхазни* – так, будто это Амар заставил его понапрасну побеспокоиться. – Убирайся! – Он отступил обратно в тень.

– Собачье отродье, – сказал Амар сквозь зубы, так негромко, что его слова наверняка были заглушены уличным шумом. Амару доводилось слышать, что в последнее время люди нередко попадали в подобные истории, но пространство, в котором он жил и перемещался, было настолько ограничено, что сам он до сих пор не сталкивался с бдительностью стражей порядка. Амар свернул налево, под крытые *суксы* Талаа эль-Кебиры, держа куклу за ногу; он так сосредоточился

¹ Проваливай (*афаб.*).

на том, чтобы придать изощренность потоку проклятий, которые бормотал себе под нос, что не сразу обратил внимание на идущего рядом человека. Резко обернувшись, он узнал в мерцающем свете мясной лавки старшего брата Мохтара Бенани, с которым часто встречался на футбольной площадке.

– Ah, sidi, labès? Chkhbarek?¹ – смущенно сказал Амар, надеясь, во-первых, что юноша не расслышал его не предназначенной для чужих ушей тирады, и, во-вторых, не заметил дурацкой куклы, болтавшейся у него в руке. В то же время интуиция подсказала ему, что было нечто странное если не в тоне, каким брат Мохтара приветствовал его, то в том, что он вообще с ним здоровается. Не было ровно никаких причин старшему Бенани, имени которого Амар даже не знал, задерживаться в подобный час на Талаа эль-Кебира, чтобы поговорить с ним. До сих пор они ни разу не обменялись ни словом; молодой человек иногда приходил на футбол поболеть за младшего брата, между болельщиками нередко возникали споры, и Амару он запомнился тем, что никогда не терял самообладания и не повышал голоса, сколь бы жаркой ни была перепалка. Теперь, вновь услышав этот голос, Амар успел даже мельком поразиться. Богатый оттенками, хорошо поставленный, он не походил ни на один голос, слышанный им прежде, и сладкозвучная напевность его только усиливалась тем, что юноша щедро уснащал свою речь египетскими словами и четко произносил «каф». Последнее особенно восхитило Амара: подобно большинству фесцев, он плохо выговаривал эту букву.

Отнюдь не обладая аналитическим складом ума, Амар, тем не менее, почти всегда точно знал, почему ведет себя именно так, а не иначе. Если бы его в тот момент спросили, отчего он не ограничился простым «Lah imsik bekhir»² и не пошел дальше своей дорогой, он, наверное, ответил бы, что его заморозил

1 Как поживаете, господин? (араб.)

2 Добрый вечер (араб.).

голос Бенани, приятнее которого не было ничего на свете. Вполне возможно, что Бенани смутно догадывался об этом, так как охотно продолжал говорить, тактично расспрашивая Амара о его здоровье и здоровье его домочадцев, о том, как идут дела у него на работе, и как вообще настроение. «И что творится в мире», – добавил он, воспользовавшись одной из пауз. Амар был практически уверен, что Бенани имеет в виду политическое положение в Марокко, но сейчас ему не хотелось говорить на эту тему, да и Бенани вряд ли этого ожидал.

– Куда идешь? – наконец поинтересовался Бенани, отступив назад и глядя на руку Амара, которую тот старательно прятал за спину.

– Домой. – Амар тоже слегка повернулся, пытаясь спрятать куклу за спиной в темноте.

– Не хочешь ли поужинать с нами? Я встречаюсь с небольшой компанией *драри*¹ в Неджарине, и мы собирались где-нибудь перекусить.

– А Мохтар? – ответил Амар, помолчав. – Где Мохтар? Он тоже будет?

Бенани скривил губы в насмешливой улыбке:

– Нет, его не будет. Ему надо уроки делать. Эти ребята постарше.

Хочет ко мне подольститься, подумал Амар. Он же знает, что мы с Мохтаром ровесники. Однако ему было любопытно, в чем же дело, и уходить он не спешил.

– Мне домой пора, – сказал он, зная, что, если его подозрения справедливы, сейчас пойдут уговоры, дружеские рукопожатия, похлопывания по плечу.

И не ошибся: все именно так и случилось, и скоро они уже медленно брели рядом по нескончаемой темной улице, которая шла под уклон, все ниже и ниже. Амар окончательно укрепился во мнении, что Бенани нужно от него что-то вполне определенное.

¹ Ребят (*араб.*).

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Кафе было похоже на все большие уличные кафе в медине: голое, неудобное помещение с шаткими столиками на ножках разной длины, со стульями, которые угрожали рухнуть, стоит на них присесть. Штукатурка на стенах была покрыта неряшливыми розовыми и голубыми, под мрамор, разводами, во многих местах она потрескалась и обвалилась, обнажив глину.

Всего собралось шесть человек. Они принесли с собой хлеб и маслины и вдобавок заказали баранину на вертеле. Сначала они устроились за столиком рядом с жаровней *кауаджи*, и снопы искр от горящего угля то и дело падали на них. Когда принесли шашлык *котбанне*, они пересели в небольшую нишу в дальней части зала, где не было ни столов, ни стульев – только посередине, прямо на полу лежала широкая циновка, остальные были уложены вдоль стен. Ниши как раз хватило на всех: по двое уселось с каждой стороны, а в центре расстелили газету.

Вопрос с позорным призом удалось уладить, пока Амар и Бенани были еще одни. Аллах милостиво распорядился, чтобы Бенани забежал в уборную, стоявшую на склоне холма; пользуясь случаем, Амар размахнулся и зашвырнул куклу на леса строившегося дома, где она и застряла. Бенани явно заметил, что Амар нес что-то, и, выйдя из уборной, несколько раз исподтишка взглянул на руку Амара, которую тот по-прежнему держал за спиной. Но теперь он мог думать что угодно, это не имело значения.

Друзья Бенани действительно оказались на несколько лет старше Амара, всем им было лет по семнадцать. Однако с самого начала они держались с ним как можно обходительнее и явно старались, чтобы он чувствовал себя раскованно; эти усилия не вполне достигали цели, поскольку Амар все равно чувствовал себя не в своей тарелке: их внимание

одновременно льстило ему и казалось подозрительным. Бенани сел рядом с ним и постоянно пытался развеселить его шутками, очевидно взяв на себя роль опекуна Амара на этот вечер. Если какое-либо замечание Амара приходилось не по вкусу остальным, он либо задавал Амару вопрос, давая таким образом возможность развить свою мысль, либо сам пояснял его слова. Видно, так уж было суждено, однако эта ситуация повторялась вновь и вновь, и, хотя все участники компании говорили на одном языке и имели в виду одно и то же, казалось, будто они приехали из разных стран.

Разница состояла, в основном, в том незримом, к чему были обращены сердца каждого. Приятели Бенани мечтали о Каире с автономным правительством, армией, газетами и кинематографом, в то время как мечты Амара, устремленные в ту же сторону, простирались дальше Каира, через Бхарэль-Хамар, к Мекке. Они мыслили такими категориями, как жалобы, протесты, прошения и реформы, в то время как Амар, как любой добрый мусульманин, знающий только догматы своей религии, думал о судьбе и божественной справедливости. Когда произносилось слово «независимость», им виделись взводы мусульманских солдат, марширующих по улицам, где все вывески были выведены арабской вязью, мощные фабрики и заводы, высящиеся по всей стране; Амар же представлял объятые пламенем небеса, крылья ангелов-мстителей и картины полного разрушения. Понемногу Бенани осознал это глубокое несходство и втайне начал отчаиваться. Тем не менее, в этот вечер перед ним вовсе не стояла цель примирить две различные точки зрения – отнюдь нет. Он видел, что его приятели вконец потеряли терпение, проклиная его за то, что он привел в их компанию этого невежественного юнца, этого ненормального, эту тень вчерашнего, уходящего дня: мог бы и сам с ним разобраться. Но Бенани считал, что его долг – руководить встречей так, чтобы все прошло наилучшим образом.

– Эй, Абделькадер! – позвал он. – Принеси-ка нам кока-колы.

Кауаджи подошел к ним с бутылкой.

– Холодная? – повелительным тоном спросил Бенани.

– Ну! Холоднее не бывает! – ответил *кауаджи*.

Бенани взял бутылку и первым предложил ее Амару.

– Выпей немного.

Когда Амар поднес бутылку к губам, Бенани спросил как бы невзначай:

– Давно в футбол не играл?

Сделав глоток, Амар сказал, что давно.

– А купаться ходил? – не отставал от него Бенани.

– Да, сегодня, – ответил Амар, возвращая ему бутылку.

– Много народу в Сиди Хараземе? – поинтересовался Бенани. Амар сказал, что он был не там. Про себя он решил ни на что больше не обращать внимания и проводить время в свое удовольствие. Остальные разом прекратили разговор и внимательно наблюдали за ними. Нет, подумал Амар, больше он ничего не станет говорить, если только Бенани открыто не попросит его об этом – тогда уж он расскажет всю правду, чтобы его смутить. Не было ничего более досадного, потому что каждый всегда предусмотрительно смешивал ложь с правдой, и игра состояла именно в том, чтобы отличить одно от другого. Считалось само собой разумеющимся, что определенной доле того, что говорил каждый, доверять нельзя. Если он будет говорить чистую правду, подумал Амар, Бенани волей-неволей почувствует себя неловко, потому что привык во всем сомневаться.

Как он и предвидел, случайный разговор быстро превратился в допрос с пристрастием, когда Бенани потерял поддержку, а затем отчасти и самообладание.

– А, так, значит, ты ездил на Айн-Малку?

– Да.

– А потом вернулся?

– Да, – удивленно ответил Амар.

– Стало быть, я тебя как раз и встретил на обратном пути?
– Не совсем. Я успел еще заехать на *фахту*.
– Но она начинается не раньше восьми, – укоряющим тоном сказал Бенани.

- Не знаю. Я был там недолго.
- Должно быть, задержался на Айн-Малке?
- Не очень. Когда я уезжал, солнце было еще высоко.

Бенани сделал глоток кока-колы и передал бутылку юноше, сидевшему справа. Потом начал было насвистывать какую-то песенку, так, словно эта небольшая интерлюдия могла придать сцене видимость естественности.

– Наверное, остановился подремать на обратном пути? – сказал он, резко оборвав свист.

– Нет, – рассмеялся Амар. – Все присматривал местечко, но так и не нашел. Да еще по ошибке заехал в чей-то сад.

– Вот это опасно. Сейчас французы долго не думают – подстрелят, оглянуться не успеешь.

Если бы он соврал и сказал, что никого не встретил и ничего не видел, все были бы убеждены, что он хочет что-то от них утаить. Главное было не проговориться о том, что он заметил в Мулае Али что-то очень необычное.

– Нет, хозяин оказался мусульманин.

– Мусульманин? – недоверчиво отозвался Бенани. – Так, говоришь, сад по дороге на Айн-Малку?

– Да, мусульманин с мотоциклом. Какой-то Мулай. Почти лысый и ходит вперевалку.

Один из юношей фыркнул. Бенани досадливо нахмурился, но сделал вид, что не обратил внимания. И даже наоборот прикрыл глаза, словно пытаясь представить себе хозяина сада.

– Какой-то Мулай, – повторил Амар.

Бенани покачал головой.

– Нет, не знаю, – неуверенно сказал он.

– Живет еще в таком старом доме.

– С семьей?

– Понятия не имею.
– Так ты к нему заходил?
– А, да. Он сам меня пригласил... Слушай, – вдруг сказал Амар, – если тебе охота узнать, кто там был и чем они занимались, можешь поехать и спросить у него самого.

– Кто, я?! – крикнул Бенани. – Я ведь сказал, что его не знаю. Откуда мне его знать?

– Khlass!¹ – сказал Амар, снисходительно улыбаясь. – Ты его знаешь лучше моего. – И, пользуясь случаем уязвить противника, продолжал: – Ты же с ним сегодня вечером виделся.

В это мгновение все непроизвольно привстали. Амар был очень доволен собой. Он окончательно решился говорить начистоту.

– Я больше ничего не могу рассказать тебе о твоём друге, потому что не знаю его. Да тебе и не про него, а про меня хочется все выспросить. Zduq, ну давай, спрашивай.

– Не сердись, – сказал Бенани. Амар рассмеялся. – Мы ведь все друзья. Какая разница, чей это был сад? Главное, что не французский и что ты остался цел.

Все было так, словно бы Амар ничего и не говорил. Он понял, что они не собираются с ним откровенничать, и гадал, сможет ли извлечь выгоду, если будет откровенен с ними, или лучше остановиться и начать играть по их правилам. Наконец он решил чуть повременить.

– Я сначала решил, что ты заговорил со мной, потому что слышал, как я сам с собой разговариваю там, на Талаа.

– Вот еще, нашел причину.

Так, значит, все-таки слышал, подумал Амар, довольный тем, что ему удалось выяснить правду.

– А почему бы и нет? – ответил он.

– Enta hmuq bzef, – недовольно произнес Бенани. – Ты с ума сошел.

¹ Хватит (*араб.*).

Один из юношей что-то шепнул другому, у которого все лицо было усыпано прыщами, и тот неожиданно спросил Амар:

– Ты говоришь, что сначала сам так решил. Ну, а сейчас что думаешь?

Бенани сердито взглянул на него, и Амар рискнул предположить, что это потому, что он не успел сам задать этот вопрос. Он оглядел кафе. Посетителей не было. *Кауаджи* закрыл дверь и лег спать возле нее. Амар посмотрел на лица пяти юношей, выражение у всех было не слишком дружелюбное.

– *El hassil*¹, – расстановкой произнес он. – И сам не знаю, что думать.

Больше он уже не мог себе позволить быть искренним, об этом и речи быть не могло, так как теперь ему стало окончательно ясно, что Мулай Али не только послал Бенани шпионить за ним, но и приказал ему делать это, как делают полицейские – скрытно и вместе с тем использовать все подходящие средства, чтобы добыть нужные сведения. Сомневаться в этом не приходилось – слишком уж грубо Бенани играл свою роль. Возможно, больше всего Мулай Али хотел знать, что слышал Амар в его доме, насколько он понял смысл разговоров, которые там велись, и собирается ли держать язык за зубами.

Пожалуй, он сказал им не так уж и много, размышлял Амар, но, может быть, вообще не стоило ничего говорить? Он взглянул на свои руки, на кольцо, подаренное гончаром, и вспомнил о его предостережениях. Вполне возможно, что один из этих самых *дфари*, что сидят сейчас рядом, зарезал или пристрелил какого-нибудь *ассаса*² или *мокхазни* – поди узнай.

Все по-прежнему выжидающе глядели на него.

– *El hassil*, – повторил Амар. Без толку, он больше не мог изображать святую невинность. – Мне кажется, вы хотите знать, с вами ли я в глубине сердца.

1 Все равно (*араб.*).

2 Сторож (*араб.*).

Бенани нахмурился, но Амар видел, что ответ пришелся ему по вкусу.

– Мы хотим знать и что у тебя в голове тоже, – сказал он. – Какой прок от сердца, если нет головы на плечах? Про тебя не скажешь, чтобы ты своей головой слишком много думал. И до сегодняшнего дня это было неважно. Но теперь... – он пристально поглядел на Амара, – придется тебе думать почаще, понятно?

Амар прекрасно все понял. Бенани имел в виду, что, побывав у Мулая Али, он неизбежно становился соучастником, иначе и быть не могло.

– Голова у меня есть, – сказал он, – а языком я болтать не люблю.

Бенани коротко рассмеялся.

– Знаю, знаю. Все так говорят. Но в полиции язык скоренько вытягивается от Баб Махрука до Баб Фтеха. Чтобы не попасть в полицию, надо уметь хорошенько думать. Но коли уж ты попал туда, там-то и выяснится, что у тебя на сердце и что для тебя важнее – собственная шкура или доверие твоего султана.

Бенани пристально глядел на Амара – возможно, чтобы по выражению лица понять, какое действие произвели его последние слова. Это был не самый подходящий момент, но Амару припомнились слова Мохаммеда Лалами: «Султан никогда не вернется, да и партия этого не хочет», – помимо воли они звучали в голове Амара, так же как и то, что Мохаммед сказал сразу после: «Разве партия виновата в том, что люди в Марокко – ослы?» Бенани и считал его одним из таких ослов, именно так следовало понимать все, что он говорил. Чтобы найти общий язык с этими людьми, Амару было не избежать лжи. Он медленно опустил голову, словно задумавшись над глубокой мудростью, заключенной в словах Бенани.

– Мы – твои друзья, – сказал Бенани, заворачивая обеды в газету, – но ты должен доказать, что ценишь нашу дружбу.

Вот уж не повезло, подумал Амар. Ему вовсе не хотелось иметь таких друзей.

– V'cif, – ответил он, – конечно.

Он снова оглядел собравшихся. Юноша с прыщами на лице, похоже, считал себя правой рукой Бенани, рядом с ним сидел желтушный, болезненного вида молодой человек в очках с толстыми стеклами, еще дальше – толстяк, который выглядел так, словно в жизни не ходил дальше, чем от Киссарии до медресе Аттарин, и высокий негр, которого Амар, кажется, как-то видел в городском бассейне в Виль Нувель.

Бенани снова выпрямился, держа в руках сложенную газету.

– Rhaddi noud el haraj man daba chovich¹, – произнес он учительным тоном. – На этот раз будет настоящая война, а не балаган.

Амар невольно почувствовал, что дрожит от волнения.

– Ты хоть знаешь, что происходит? – продолжал Бенани, и глаза его неожиданно угрожающе сверкнули. – Сегодня ночью пять тысяч повстанцев спят за воротами Баб Фтех. Ничего об этом не знаешь?

Сердце Амара готово было выскочить из груди, глаза широко раскрылись.

– Что?! – воскликнул он.

– Ни для кого это не секрет, – мрачно сказал Бенани. Он подозвал *кауджи*; тот, сонно потягиваясь, поднялся и заковылял к ним. – Мы уходим, – сказал ему Бенани. *Кауджи*, шаркая, вернулся к двери, открыл ее и выглянул. Потом закрыл снова. Четверо *драфи* встали, торжественно пожали руки Бенани и Амару и прошли к дверям, *кауджи* выпустил их. Бенани остался сидеть на своем месте, молча уставившись на циновку под ногами, и Амар, который не знал, можно ли считать аудиенцию оконченной, тоже не двигался до тех пор,

¹ Скоро я им устрою настоящий ад (*араб.*).

пока Бенани, из предосторожности дожидавшийся, пока ушедшие не отойдут достаточно далеко, не поднялся на ноги.

– Лучше завтра не выходи за стену, – сказал он, – а то можешь надолго попрощаться с семьей. Я провожу тебя до дома.

Амар стал вежливо протестовать, хотя понимал, что Бенани делает это вовсе не ради его безопасности.

– Yallah, – сказал Бенани, не обращая на него никакого внимания. – Пошли.

Он расплатился с *кауаджи*, сказал ему пару слов, и они с Амаром вышли на улицу. Фонари в медине висели так редко, что им пришлось идти довольно долго, прежде чем они смогли убедиться, что электричество по-прежнему отключено. Время от времени Бенани приходилось зажигать фонарик. Дул влажный ветер, небо все еще было затянуто тучами. Ни разу им не попался ни один прохожий.

– Дождь собирается, – сказал Бенани.

– Вроде.

– Но, думаю, ненадолго. Не такое сейчас время года.

Последнее замечание Бенани показалось Амару совершенной бессмыслицей. Только Аллах мог знать, пойдет ли дождь и надолго ли. Однако он решил попридержать язык и продолжал молча шагать рядом с Бенани. Когда они подошли к переулку, ведущему к дому, Амар сказал: «Ну, вот и мой *дерб*», поблагодарил Бенани и пожелал ему доброй ночи. Но Бенани явно хотел собственными глазами убедиться, где живет Амар.

– Доведу тебя до самого дома, – сказал он. – Это пустяки.

– Тебе придется одному идти обратно. Другого пути здесь нет, – предупредил его Амар.

– Ерунда.

Даже когда Амар постучал в дверь, Бенани все еще не уходил. Он встал за выступом стены, так, чтобы его не заметил тот, кто будет открывать Амару. Им оказался отец Амара, крикнувший: «Chkoun?¹» Послышался грохот, звенели ключи;

¹ Кто? (*араб.*)

наконец, отец распахнул дверь, прикрывая свечу от ветра рукой, в которой держал ключ. Увидев Амара и почувствовав, что тот не один, он поволил свечой в воздухе, стараясь разглядеть, кто это может быть.

– Где ты шатался? – ворчливо спросил он. – Кто это там с тобой?

Амар не знал, что отвечать. Бенани, убедившись в том, что это действительно дом Амара и, по непосредственности сценки, что старик – его отец, стремглав бросился в темноту, предоставив Амару самому расхлебывать кашу. В конце концов, облегчение, которое испытал Си Дрисс, увидев сына, перевесило гнев.

– Hamdoul'lah, – несколько раз произнес он, снова запирая дверь, после чего подошел к колодцу вымыть руки в стоявшей рядом бадье. Голуби встрепенулись и заворковали, вспугнутые неожиданным шумом.

Амару больше всего хотелось поскорее подняться к себе, прежде чем настроение старика изменится. Он наклонился, поцеловал рукав отцовской гандуры, пробормотал «Доброй ночи» и начал подниматься по ступенькам.

– Подожди, – сказал Си Дрисс. Сердце Амара ушло в пятки.

Минуту спустя оба медленно поднимались по ступеням, старик – впереди, неся свечу, Амар следом. Когда они преодолели два пролета, Си Дрисс стал задыхаться и оперся на руку Амара. Войдя в комнату, Амар поставил свечу на пол, и отец с сыном опустились на циновку.

Си Дрисс наклонился к Амару, чтобы получше его разглядеть.

– Yah latif!¹ Что с твоим лицом? – воскликнул он. – Похоже на помятый персик! Как это случилось? Кто тебя так отлупил?

– Да так, один, – спокойно ответил Амар. Он знал, что отец не станет требовать подробного отчета, и оказался прав.

¹ Боже мой! (араб.)

– Почему ты все время дерешься? – только и сказал горько Си Дрисс. Вопрос, которого Амар ожидал, – «Где ты был?» – так и не прозвучал. Вместо этого отец спросил, немного помолчав: – Ты что-нибудь видел?

Нет, на этот раз наказания не последует. Амар был удивлен.

– Нет, – ответил он неуверенно.

– Завтра, иншалла, надо встать пораньше и купить все необходимое. Кто знает, что может случиться? А у нас в доме хоть шаром покати. Я договорился с Си Абдеррахманом, что он продаст нам пятьдесят килограммов муки. На это можно твердо рассчитывать. Остальное – в руках Аллаха.

– Да, – сказал Амар. Он не знал, что еще ответить.

Старик сидел, раскачивая головой.

– На этот раз добром дело не кончится. Французы хотят наслать на нас берберов. Да спасет нас всех Аллах. Кто знает, что с нами станет? Во всей медине не найдется ни одного ружья, уж за этим-то они проследили.

Амар как мог пытался неуклюже утешить отца, втайне пораженный, что Си Дрисс впервые так серьезно отнесся к политике, и встревоженный тем, что спокойствие, которое он всегда считал неколебимым, пошатнулось.

– Поспи немного, – сказал наконец Си Дрисс. – Завтра у нас будет много дел.

Когда он ушел, Амар лег и, не смыкая глаз, уставился в ночную тьму. За окном стал накрапывать легкий дождь, за негромким перестуком капель тайлась только тишина.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Но настал следующий день, а то, чего так боялся Си Дрисс, не случилось. Войска берберов за Баб Фтехом оставались на прежних позициях и обустроивали временную стоянку. Все утро накрапывал дождь, но к полудню вдруг прояснилось, и было больно смотреть на свет, пробивающийся сквозь окутавшую город туманную дымку. Амар с отцом вышли на рассвете, оставив дома Мустафу и женщин, и скоро вернулись с мукой от Си Абдеррахмана, дом которого стоял неподалеку. Потом им пришлось обойти всю медину в поисках сахара, нута, свечей и овса. Ставни почти во всех лавках были наглухо закрыты, а там, где торговля велась, собрались толпы возбужденных людей. Лестью, угрозами и мольбами они старались купить продовольствие по обычной цене. Запасы еды были, но лишь немногие торговцы, достаточно храбрые, чтобы открыть лавки (так как по городу пустили слух, что рышущие повсюду молодые «стражи порядка» громят магазины), рассчитывали окупить риск за счет быстрой выгоды. По городу группами расхаживали французские полицейские с мрачными лицами, глядя прямо перед собой. Детей на улицах не было совсем, да и молодых людей заметно поубавилось.

Амар появился на работе с почти часовым опозданием. Гончар, как обычно, сидел на своем месте, но изделий его видно не было: все кувшины, горшки и блюда он убрал в хибарку. Внизу в глинобитном поселке стояла непривычная тишина, дымок поднимался только из немногих печей.

– Sbalkheir, – приветствовал его гончар, вид у него был несчастный. – Я уж боялся, тебя схватили.

– Sbalkheir, – рассмеялся Амар. На мгновение он даже засомневался, кого именно имеет в виду Саид – французов или Истиклал, но тут же сомнение показалось ему нелепым: конечно, речь могла идти только о французах. – Нет, просто пришлось исполнить несколько поручений отца, – сказал он, надеясь, что гончар не станет донимать его расспросами.

– Не важно, – ответил Саид, перебирая бороду. – Я все равно не буду работать, пока они, – он кивнул в сторону Баб Фтеха, – не уберутся туда, откуда пришли. О Аллах! Да их там целый город. И это еще только начало. Сегодня к вечеру понаедут еще и займут Баб Гиссу и все остальные ворота. Туда они пришли раньше из-за овечьего рынка. До Аида всего четыре дня.

Амар обомлел. Если все так, то в этом году они не смогут принести в жертву овцу, потому что все деньги ушли на продукты, которые они с отцом только что дотащили домой. Ему казалось, что времени осталось куда больше, он смутно надеялся, что до праздника удастся собрать денег на овцу, пусть даже самую маленькую. Мысль оказаться вообще без овцы была несчастьем, размеры которого даже трудно вообразить, публичным позором, с каким его семья еще никогда не сталкивалась.

– Четыре дня, – печально повторил он. Теплый дождь внезапно полил сильнее, размытая глина с крыши капала прямо им на ноги. Они прислонились к стене.

– Находятся болваны, которые все равно покупают овец где угодно, – продолжал Саид. – Это к добру не приведет. Послушай. Сегодня утром в моем *дербе* избил какого-то старика, который просто вел свою овцу домой. И овцу тоже запинали – так и бросили их лежать у стены, еще неизвестно, живых ли. – Он оскалился в усмешке. Амар недоверчиво слушал.

– А как иначе? – продолжал Саид. – Кто имеет право устраивать праздник, когда султан – в тюрьме посреди моря?

– Но разве это не грех – не отмечать Аид-эль-Кебир? – медленно произнес Амар. – Что важнее, султан или ислам?

Гончар бросил на Амара быстрый взгляд. Глаза его горели.

– Грех! Грех! – закричал он. – Разве есть грех хуже, чем жить без нашего султана? Как поганым псам? Как язычникам, *каффиринам*? Нет теперь больше никаких грехов! Слышишь, что я говорю! Живи, как хочешь! Кончились грехи!

Втайне Амар был с ним согласен, но предпочел бы сказать это сам. В устах Саида это звучало немного глупо. Потому что он слишком стар, чтобы чувствовать такое, подумал Амар.

Саид здорово разозлился, выражение его лица было сейчас явно недружелюбным. Казалось, между ним и Амаром назревает ссора.

– Как бы там ни было, – прорычал Саид. – Нечего тебе тут околачиваться. Мне вообще никто не нужен. Кто теперь станет покупать кувшины?

Амар подумал о деньгах, которые гончар остался должен ему.

– А потом? – спросил он.

– А потом можешь вернуться. Если будет «потом», – добавил Саид, зло усмехнувшись.

– Ну тогда и с деньгами отложим, Си Саид, – Амар поглядел на гончара словно бы сонно: это был мягкий, затуманенный взгляд, призванный скрыть тайный план, но ни одного фесца он не мог провести. Гончар вскочил и принялся рыться в карманах.

– Нет уж! – выкрикнул он, вытаскивая несколько купюр. – Я так дела не делаю! Вот, держи.

Амар неохотно взял деньги. Отложив расчет, он рассчитывал сохранить уважение Саида и, возможно, получить большую сумму, если гончар позабудет, сколько в точности ему должен.

– Очень хорошо, – нерешительно сказал он. – Буду заходить, проведывать тебя.

– Ouakha, – ответил Саид без особого энтузиазма. И, когда Амар уже повернулся, чтобы идти, окликнул его, возможно вспомнив, что паренек сделал его заведение процветающим, и чувствуя, что был не в меру резок с ним. – Плохие настали дни, Си Амар. Нам всем приходится несладко. Сами порой не знаем, что говорим.

Амар повернулся, подошел к гончару и, встав на колени, поцеловал край его джеллабы.

– Всего доброго, хозяин.

Вот я и снова свободен, думал Амар, бредя обратно по мокрым улицам. С одной стороны, он был рад снова ощутить, что мир открыт для него, что все может случиться, и в то же время ему доставляло удовольствие чувство, что он сам возводит здание своего могущества, пока работает у Саида, чувство, что он движется к какой-то определенной цели. Теперь все его планы в одночасье рухнули. Но ни один человек не имеет права сетовать, когда его постигает неизбежное.

Цепочка осликов медленно двигалась по грязной, узкой улочке, таща корзины, набитые песком.

– Balek, balek, – нараспев подгонял их шедший позади мужчина. На голову у него был накинут рваный мешок из-под сахара, джеллаба защищала лицо от дождя. Когда они поравнялись, Амар, сам не зная почему, взглянул себе под ноги. На земле, в грязи валялась монета в двадцать риалов. Проворно нагнувшись, он поднял ее, пробормотав: – Bismil'lah ala maketseb Allah. – Поднял – и тут же припомнил похожий случай, произошедший с ним давным-давно, когда он еще работал на кирпичной фабрике у дороги на Тазу. В тот раз он наткнулся на целые сто риалов, не замеченные никем из прохожих. Он шел тогда на работу и отнес деньги прямоком своему хозяину. Тот пришел в ярость и, швырнув деньги на землю, ударил Амара по лицу, причем от неожиданности удар получился еще более чувствительным. «Это что, твои деньги?» – сурово спросил хозяин. Амар ответил, что нет. «Тогда зачем ты их поднял? Следующий раз, когда найдешь что-нибудь на улице, оставь на месте и ступай своей дорогой». Потом хозяин послал мальчика за отцом Амара. Когда Си Дрисс пришел, хозяин отдал деньги ему и посоветовал хорошенько проучить сына, однако Си Дрисс не обратил внимание на его совет и ласково отвел Амара домой, по дороге сказав, что хозяин был прав насчет денег, но ошибался, велел, чтобы Амара наказали, и что он подыщет ему где-нибудь

новую работу. Через несколько дней он устроил Амара подмастерьем сапожника в Черратине. Сколько раз, размышляя Амар, его отцу приходилось протестовать, когда с сыном обращались несправедливо? Наверняка часто, очень часто. Си Дрисс не мог вынести даже малейшего нарушения своих понятий о мусульманском кодексе справедливости, и именно за это Амар любил его глубокой, неподвластной времени любовью. За воротами справедливости лежал мир варваров, *каффаринов*, диких тварей.

Вернувшись домой, он застал отца и Мустафу, которые мирно сидели во дворе, ожидая, пока мать и Халима готовят чай. Отец вовсе не удивился, что Амар снова остался без работы; он молча взял деньги, которые протянул ему Амар, и лишь потом сказал: «Присядь, выпей чаю». (Монета в двадцать риалов, подарок Аллаха, так и осталась в кармане, однако он отдал отцу все, полученное от гончара.)

Мустафа был мрачнее обычного. Он уже несколько недель не мог найти никакой работы, и втайне его задевало, что Амар так долго работает у гончара; теперь он мог больше не прятать глаза, а невозмутимо встречать взгляд брата. Средоточие жизни Мустафы находилось где угодно, только не дома, – скорей всего в одном из кафе в квартале Мулая Абдаллаха, подумал Амар; дома он просто замыкался в себе, огрызался, когда к нему обращались, но не жил по-настоящему.

– Все распухло, – глядя на переносицу Амара, сказала мать: она сидела на полу, раздувая угли в жаровне.

Си Дрисс вздохнул.

– Нос сломан, – спокойно произнес он.

– Ау, ouildi, ouildi! – начала мать и расплакалась.

– Ничего страшного, женщина, – сурово взглянул на нее старик. Но мать казалась безутешной и продолжала всхлипывать. Халима возилась с чайником. Обнеся всех чаем, она передала стакан матери и уговорила ее сделать хотя бы несколько глотков.

– Слушайте! – произнес Си Дрисс, поднимая палец, чтобы все умолкли. Издали донеслось надсадное, прерывистое пение, будто люди задыхались от быстрой ходьбы. – Студенты, – сказал Си Дрисс. Трудно было сказать, издали ли донеслось пение, но явно не из их квартала. – Наши воины! – с горечью добавил старик.

– Да хранит их Аллах! – всхлипнула мать.

– Все табачные лавки в медине разнесли в пух и прах, – неожиданно вмешался Мустафа.

– Вот и хорошо, – ответил Амар.

– Это тебе так кажется, – проворчал Мустафа, сверкнув на брата глазами.

Си Дрисс намеренно пропустил мимо ушей этот неподобающий в его присутствии разговор и попросил Халиму налить ему еще чаю. Амар встал и прошел к себе наверх. Сев на циновку, он принялся думать о том, какой никчемный и скверный человек вырастет из его брата. Почти наверняка можно было сказать, что дурное настроение Мустафы объясняется исключительно тем, что ему не удалось достать кифа за последние несколько дней. Вероятнее всего, место, где он его брал, тоже больше не существует из-за беспорядков.

Казалось бы, теперь, когда в доме есть запас продовольствия, и, хоть вволю не наешься, голодать не придется даже в самые черные дни, Амар должен был бы расслабиться и успокоиться. Однако, напротив, он никогда еще не чувствовал себя таким нервным и взвинченным. Ему хотелось вырваться в город, быть повсюду одновременно, но дождь еще не совсем прекратился, да и к тому же Амар понимал, что, куда бы ни пошел, улицы везде будут пусты, а звуки будут доноситься из какого-то далекого места, которое не найти.

Амар попробовал было поиграть на дудочке, но она задела слишком громко в утренней тишине, звук был нелепый и угрюмый, так что, в конце концов, он швырнул ее на полку между сломанным будильником и цветной фотографией Бен

Барека – футбольного кумира в сине-красной форме. Выйдя на крышу, он попытался различить хоть что-нибудь за ближайшими домами, но все затянула пелена мороси. Однако небо понемногу светлело. Амар вернулся в комнату и лег. Дышать было почти нечем. Сегодня даже соседские петухи, казалось, сговорились хранить молчание. До Аида оставалось всего четыре дня, и трудно было поверить, что на террасах не слышно овец. Такого странного затишья Амар не мог припомнить: прежде бляенье непрерывно доносилось со всех сторон за десять-пятнадцать дней до праздника. Некоторые семьи покупали животных даже за месяц, чтобы хорошенько откормить перед жертвоприношением. Но в этом году – ни звука, вот Амар и позабыл, что близится праздник. Если бы отец был внизу один, Амар мог бы решиться на неожиданный шаг – спуститься и поговорить с ним. Но там был Мустафа, и Амар не мог вмешаться в их разговор, к которому сам не имел отношения. Когда старик умрет, Мустафа, а не Амар, будет покупать овцу и приносить ее в жертву.

Амар задумался над тем, какой будет церемония в Эсмаллахе, ведь вооруженные берберы стоят в двух шагах от холма. Это было самое главное событие года, от которого зависело процветание и благосостояние города. В Эсмаллахе всегда собиралось не меньше сотни тысяч людей, они теснились на кладбище, рядами выстраивались на склоне холма, наблюдая, как *кхтиб* перерезает глотку овце, присланной султаном, а затем гонцы, действовавшие изумительно согласованно, несут жертвенное животное, пока оно еще дышит, на другую сторону, к Андалузской мечети. Было крайне важно, чтобы овца не издохла, прежде чем ее бросят к ногам *гзафа*; в противном случае это считалось крайне дурным предзнаменованием на весь год. Но если солдаты-берберы заблокируют Баб Фтех, как же гонцам пройти через ворота? Сам Аллах следил за ними, поэтому каждый должен был стараться изо всех сил: если в действиях гонцов случится хоть малейший сбой, когда они будут

передавать овцу друг другу, если кто-нибудь из них ненароком упадет, если путь не будет совершенно свободен, то овца может испустить дух еще по дороге, и, даже если последняя группа доберется до внутреннего дворика, неся овцу, как то и полагается, за все четыре ноги, усилия гонцов пропадут зря и городу придется весь следующий год терпеть немилость Аллаха, пока во время нового Аид-эль-Кебира оплошность не будет исправлена.

Одна только мысль о том, что ворота окажутся запруженными всей этой солдатней, была нестерпима, французы явно готовили провокацию. «Они хотят заставить нас прорваться, чтобы берберы могли стрелять», – подумал Амар в неожиданном приступе ярости. Ровно год назад, во время Аид-эль-Кебира, они похитили султана, чтобы наверняка лишить народ радости и благополучия, и на этот раз они сделают все возможное, чтобы мусульмане не снискали благосклонность Аллаха. Мысль эта, едва возникнув у него в голове, показалась такой ужасной, что он не мог держать ее при себе. Вскочив с циновки, он стремглав сбежал по ступенькам.

Семья уже закончила чаепитие, однако все по-прежнему сидели на своих местах, только мать пересела на небольшую циновку рядом с Халимой. Лицо ее покраснело от слез, и выглядела она едва ли старше дочери. Си Дрисс взял ее в жены, когда ей было тринадцать, и до сих в ней остались девичья сила и свежесть. Едва войдя в комнату, Амар заметил следы слез на ее щеках и понял, что она плакала из-за него, потому что ей было больно думать, что он стал другим (пусть виной тому была лишь сломанная переносица, изменившая его черты), и ему страшно захотелось прямо тут же обнять ее и расцеловать в щеки и глаза. Он потихоньку присел на циновку, руки безвольно повисли. То, что он собирался сказать, на какой-то краткий миг полностью позабылось. Когда он почувствовал, что все внимание отца, Мустафы и Халимы странным образом сосредоточилось на нем и на матери, он,

скинув оцепенение, обратился к недоуменно наблюдающему за ним отцу:

– Что-то должно случиться у Баб Фтеха, верно?

– Кто знает? Раз уж там собрались эти исчадия ада...

– Как же тогда собираются пронести овцу?

Отец посмотрел на него с удивлением.

– Никакой овцы не будет. Разве ты не знал?

Амар дико взглянул на него.

– Но овца должна быть!

– Да, должна, но ее не будет. Это конец ислама. Точь-в-точь как было предначертано. И мусульмане допускают это по собственной воле.

Амар сидел ошеломленный, охваченный ужасом.

– Мусульмане! – воскликнул он. – По собственной воле!

– Разумеется. Кто запретил нам купить жертвенную овцу и угрожал смертью, если мы сделаем это? Ваттаниды. Друзья Си Аллала, Истиклал – называй как хочешь. Кто рыщет повсюду и следит, нет ли у кого овцы на крыше? Мальчишки из Каруина с учебниками под мышкой, друзья свободы. Кто избивает людей, пытающихся следовать заповедям Аллаха? Те же мальчишки. Почему? Они говорят, что *кхтиб* не может принять овцу от Арафы, потому что это французский султан. Они говорят, что все праздники надо отменить, что не должно быть никакого веселья, пока не вернется Мохаммед бен-Юсуф.

– Но ведь Арафа и правда не наш султан, – нерешительно произнес Амар.

– А разве Си Мохаммед был нашим султаном? – спросил отец; глаза его горели от возбуждения. За четверть века, что султан занимал трон, Си Дрисс никогда не позволял повесить в доме хотя бы один его портрет. Теперь, когда иметь его портрет грозило тюрьмой, хотя многие тысячи их тайно хранились по всей медине, он чувствовал себя даже вдвойне правым. – Вспомни Хакима Филала. – Он продолжил присловьем, которое было популярно среди недовольных с тех пор, как

династия Алауи три века назад захватила власть. – «Что можно сказать о правлении Филала? Не дорого, но и не дешево. Не шумно оно, но и спокойным его не назовешь. У вас есть правитель, но у вас нет правителя. Вот оно каково – правление Филала». И это правда. Кто открыл подлым французам дорогу в Марокко? Филали. Никогда не забывай этого, когда твои друзья начнут твердить тебе о султানে, султানে, султানে...

Амар знал все это наизусть, но ему казалось, что сейчас самое неподходящее время распространяться об этом. Да, отец действительно сильно постарел.

– Но солдаты у Баб Фтеха... – начал было он. Уж эта вылазка точно не обошлась без подстрекательства французов.

– Подумай своей головой, – сказал старик. – Друзья свободы не хотят праздника и сорвут его сами, без всяких французов. Думаешь, французы об этом не знают? Но французы не могут позволить им сделать это. Тогда все поймут, как силен Истиклал. Если кто-то собирается сделать что-либо, французы всегда должны быть первыми. Они хотят точно того же, чего хочет Истиклал, но им нужно влияние. Им надо сделать вид, будто это дело их рук. И все они вместе действуют против нас. Пройдет пять лет, и дети в Фесе будут говорить: «Аид-эль-Кебир? А что это такое – Аид-эль-Кебир?» Никто и не вспомнит о нашем празднике. Это – конец ислама. *Bismil'lah rahman er rahim*¹.

На мгновение он застыл, уставясь перед собой невидящим взором. Все молчали.

– Все это наша общая вина, – продолжал старик. – Нечистый стоит рядом – не пускай его в свое сердце. Ныне грех повсюду. – Си Дрисс печально покачал головой, но его черные глаза горели гневом.

Слушая отца, Амар не мог не вспомнить слова, всего несколько часов назад сказанные гончаром: «Грехов больше нет».

¹ Во имя Аллаха, милостивого и всемогущего. *(араб.)*

В каком-то извращенном, неприглядном смысле оба утверждения звучали одинаково. Если греха больше не существовало, значит грехом неминуемо становится все: это и имел в виду отец, говоря о конце ислама. Амар почувствовал неукротимую, отчаянную жажду действовать, но сейчас невозможно было что-то сделать, чтобы добиться победы, ибо настало время поражения. Тогда особо важным становилось то, чтобы не ты один потерпел это поражение – оно должно было постигнуть и назареев, и евреев тоже. Круг замкнулся, теперь Амар понимал Ваттанидов, которых французы называли не иначе, как *les terroristes* и *les assassins*¹. Он понял, почему они готовы рисковать жизнью, пуская под откос поезда, сжигая кинотеатры и взрывая почтамты. Вовсе не независимости хотели они; это было удовлетворение сиюминутного желания: получить удовольствие при виде того, как другие страдают и гибнут, и уверенность в том, что у самих есть маленькая власть причинять эти страдания. Если не можешь быть свободным, у тебя, по крайней мере, остается месть: именно этого сейчас жаждали все. Возможно, подумал он, размышлять, соединять разрозненные куски действительности с образом истины, отмщения – и было тем, чего Аллах желает от Своего народа, и, карая неверных, мусульмане всего лишь вершат божественную справедливость?

– *Ed dounia ouahira*, – вздохнул он. – Жизнь – трудная штука.

Он выглянул во двор: дождик совсем перестал, и туман начал таять в солнечных лучах. Амар решил выбраться в город, но, когда он встал и собрался идти, раздался голос матери:

– Не надо бы тебе сегодня выходить. Дурной день.

Амар с надеждой посмотрел на отца.

– Пусть идет, – сказал старик. – Он не женщина. Завтра будет и того хуже.

– Я боюсь, – жалобно сказала мать.

Амар улыбнулся.

¹ Террористами и убийцами (*фр.*).

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Он шел по улице, и при каждом шаге ноги его утопали в грязи; под навесами подсыхая глина толстым слоем лежала на земле. Над кучами рыбьих голов и ослиного помета вились стаи мух, с жужжанием они черным облаком поднимались вверх и тут же садились обратно. Что проку в том, если у тебя есть дар, *барака*, и ты не похож на остальных, если ничем не можешь помочь своему народу? Что-то ужасное должно случиться – в этом он был уверен, – но от этого знания было немного пользы. Напряжение, тянувшееся так долго, наконец должно было разрешиться, вот-вот земля оросится кровью. И никто не хотел избежать этого: напротив, люди жаждали зрелища, даже если прольется их собственная кровь.

Ставни на фасадах всех лавок были закрыты наглухо, двери – на засовах. Короткие пустынные переулки казались раскаленными. Неожиданно, как тень, торопливо мелькал прохожий, и было слышно, как шуршат его одежды. «Словно поздней ночью», – подумал Амар. Внезапно он застыл на месте. Длинная безлюдная Сук Атгарин, усеянная тысячами бледных квадратиков блеклого света, падавшего сквозь решетки над головой, напоминала пересохшее русло реки, уходившее в пыльную даль. Как и прежде, воздух здесь был пропитан запахом пряностей, но тысячи светлых квадратиков, которые раньше скользили бы по сотням джеллаб и хаиков, обладатели которых бродили под решетчатыми навесами, теперь лежали на земле неподвижным, правильным узором.

С улицы слева, где находились конторы законовевов, доносилось протяжное нытье нищего. Вновь и вновь доносились одни и те же слова. «Бедняга, – подумал Амар. – Сегодня точно останется голодным». Он двинулся дальше, уже не так бесцельно, как раньше, словно стал получать от блуждания какое-то удовольствие. Улочка свернула налево, стала еще уже и вывела Амара на крохотную площадь, по всему

периметру которой располагались лавочки, где студенты Каруина покупали учебники. Голос попрошайки был по-прежнему отчетливо слышен. Амар повернул обратно и вниз – по переулку, где, как ему казалось, должен был сидеть нищий, но наткнулся на него чуть дальше. Тот привалился к стене, сжав одной рукой грубый посох и протяжно выводя свою бесконечную песню; лицо его с двумя кроваво-красными провалами вместо глаз было обращено вверх, к несуществующей толпе. Это был еще молодой человек с густой черной остроконечной бородой и ослепительно белыми зубами. Амар остановился, окинул нищего внимательным взглядом. Кто-то дал ему на удивление новую джеллабу, из-под которой торчали неопишемого вида лохмотья, а чалма вся пожелтела от пыли. С той стороны, откуда пришел Амар, вдруг, заглушая пронзительный тягучий напев нищего, донесся гул голосов и крики. Пока Амар решал, идти ли ему навстречу крикам или, наоборот, прочь от них, он понял, что они стремительно приближаются и что к ним примешиваются вопли, обычно сопровождающие уличные потасовки. На миг ему показалось, что лучше всего будет подойти к нищему, сорвать с него чалму, надеть, чтобы она прикрывала лицо, и усесться рядом. Но тут же ему пришло в голову, что слепой не сразу поймет, в чем дело, и, когда толпа окажется совсем близко, будет еще требовать объяснений. Так что Амар быстро вскарабкался по фасаду одной из лавок, опираясь на железные скобы босыми ногами. Ему стоило немалых усилий взобраться на крышу, потому что уцепиться было практически не за что, однако он проделал все быстро и бесшумно. Здесь, как и на других бесформенных крышах домов вдоль улочки, были свалены пустые картонные коробки, остовы сломанных кроватей, бумаги и тряпье. С одной из соседних крыш на него недружелюбно глядел тощий кот, развалившийся на груде рваных циновок. Амар осторожно лег и, спрятав голову за дырявым корытом, глядел из-за своего укрытия на улочку.

Вскоре показалась толпа, вздымавшая вокруг себя облака пыли. Около двадцати молодых людей довольно быстро двигались вперед тесной группой; в их кольцо, изо всех сил стараясь вырваться наружу, подгоняемые пинками и тычками, спотыкаясь, шли двое крепко сложенных *мокхазни*, синяя форма свисала лохмотьями, и местами проглядывало голое тело. Когда они в отчаянии прижались к стене дома, окончательно отрезавшей им путь к отступлению, послышались странные, похожие на придушенные рыдания звуки, глаза у обоих вращались в орбитах, как у безумных. Лица солдат были разбиты, кровь капала, стекала на грудь. Впрочем, окружавшие были не меньше залиты кровью, чем пленники. В нескольких шагах позади, над переулком, по которому они шли, стояла пыль, теперь же, сойдя с мостовой, они неуклюже скользили в грязи. Если кто-либо из двоих падал, их заставляли подняться пинками со всех сторон. Краешком глаза Амар заметил, как кот, прижавшись к крыше, скрылся из виду, извиваясь, точно змея.

Перекрывая беспорядочный шум, голос нищего громче прежнего выводил свою безотрадную песню. Наверное, он сумасшедший, подумал Амар, раз не понимает, что творится рядом. И тут, когда толпа и ее жертвы оказались прямо под ним, так, что Амар мог бы до них доплюнуть, с более светлого конца улочки, со стороны Рас Черратин, донеслись крики и трели полицейских свистков. Казалось, всех внизу одновременно ударило током. Дальнейшее произошло молниеносно. Солдаты с нечеловеческой силой рванулись в разные стороны. Круг мгновенно раздался, несколько молодых людей, потеряв равновесие, упали, ударившись об стену, так, что Амар почувствовал, как она содрогнулась. Но в тот же миг лезвия ножей блеснули в солнечном свете. Один из *мокхазни* вскрикнул: «А-а-а!», другой беззвучно повалился на землю. Молодые люди, натыкаясь друг на друга, спотыкаясь и падая, бросились бежать назад. Амар видел лица тех из них, кто задержался, чтобы в последний раз осыпать градом про-

клятий лежащих на земле людей. Они тоже похожи на безумцев, подумал Амар, но в нем возникло неистребимое желание оказаться на их месте, почувствовать то, что чувствовали они, когда лезвия ножей вонзались в тело врага.

Площадь обезлюдела, только нищий продолжал тянуть свою песню, как кузнечик в летнем поле; ему достаточно было вытянуть правую ногу, чтобы упереться в голову одного из *мокхазни*. Однако он сидел неподвижно, лицо его было по-прежнему устремлено вверх, а губы шевелились, повторяя святые стихи. Французы будут здесь через минуту и, уж конечно, потащат беднягу-слепого в участок как свидетеля – только они были способны на такую немислимую глупость.

Не теряя времени, Амар поднял голову, изучая расположение крыш. Ему несдобровать, если его застанут здесь, но, даже если он спрыгнет вниз и побежит по улочке, то вряд ли доберется до ее конца до появления полиции. Пригнувшись, он поднялся на ноги и стал медленно пробираться по крышам, стараясь не шуметь, пока не оказался у стены высокого здания. Выступ сверху тянулся со стороны переулка, превращаясь в узкую стену, разделяющую два внутренних дворика. Не испытывая головокружения и стараясь глядеть только под ноги, Амар прошел по карнизу и перебрался на крышу соседнего дома. На мгновение оглянувшись, он увидел внизу во дворике старуху, с интересом следившую за его передвижениями. Вот это было уже плохо.

– Лучше смотри в другую сторону, бабушка, – сказал он, одновременно оглядывая чисто прибранную крышу похожего на куб строения, на которой очутился. Где-то рядом должна быть улица.

Снизу донесся голос старухи: «Да благословит тебя Аллах». Или она сказала: «Да покарает тебя Аллах»? Амар не был уверен: оба арабских слова звучали похоже. Дойдя до края, он взглянул вниз: там была еще одна широкая крыша, гораздо ниже той, на которой он стоял сейчас. Чуть поодаль он увидел мощный мраморными плитами двор с росшими в каждом

углу маленькими апельсиновыми деревцами, но угол был таков, что Амар не мог с уверенностью сказать, есть ли там улица. Если он спрыгнет сейчас, то наделает много шума; все следовало делать быстро, а взобраться обратно на такую высоту уже не удастся. И не будь в городе беспорядков, если его поймут на крыше, неизбежно упекут за решетку: крыши отводились женщинам. Мужчина, карабкающийся по уступистым крышам, мог быть либо вором, либо прелюбодеем. А сегодня дела обстояли еще хуже. Его просто пристрелят, вот и все. Пробормотав короткую молитву, Амар свесился как можно дальше и отпустил руки. Если в здании были люди, они наверняка услышали шум его падения. Добежав до другого края, Амар увидел внизу пустую улицу и снова прыгнул, больно ударившись босыми ступнями о грязную мостовую. Он попал в маленький хитрый переулочок со множеством тупичков, где со всех сторон были одни двери, и пришлось проплутать, пока не нашелся выход. Миновав три поворота, он очутился на улице. Даже зная расположение такого *дерба* наизусть, всегда можно обмануться. Здесь торговали корзинами, но каким неузнаваемым казалось сейчас это место – безлюдное, с наглухо запертыми ставнями! Если бы хоть одна из нескольких дюжин лавок работала, улицу можно было бы узнать, но теперь знакомыми казались только круто уходящая вниз мостовая и бесчисленные грозди зеленого винограда, свисавшие с решеток.

Амар решил, что, по крайней мере, теперь он в безопасности, раз никто не видел, как он спрыгнул с крыши, и поэтому, не ускоряя шаг, двинулся вперед. Однако стоило свернуть на улочку, которая вела к воротам Мулая Идрисса, он понял, что идти следовало в другую сторону. Возле ворот, прямо перед ним стояло несколько французских полицейских. Недолго раздумывая, Амар повернулся, чтобы поскорее уйти.

– Eh toi! Viens ici!¹ – крикнул ему один из полицейских.

¹ Эй ты, подойди! (*фр.*)

Амар неохотно побрел навстречу. Зачем он пошел так? Выбери он другой путь, смог бы пройти через Герниз. Перед глазами у него мелькали картины пыток. Они могут засунуть руку в тиски и заворачивать до тех пор, пока не начнут трещать кости. Могут рассыпать по полу твоей камеры скользкую намыленную солому вперемешку с битым бутылочным стеклом, раздеть тебя и заставить ходить взад-вперед, и будешь падать на торчащие отовсюду стекла, пока не окажешься весь утыканный осколками, как верх ограды. Могут исхлестать тебя до полусмерти, обжигать кислотой, морить голодом, заставить тебя проклинать Аллаха, вводить тебе шприцем всякую отраву, так, что ты сходишь с ума и начинаешь отвечать на все вопросы, которые тебе задают. При этом они всегда смеялись, даже когда били тебя. Вот и сейчас они смеялись, глядя на него, – быть может, потому что он шел так долго: ему казалось, что он едва двигается. Когда он подошел уже совсем близко, тот, что окликнул его, стал что-то громко говорить остальным, но Амар не мог понять ни слова. Он остановился.

– Viens ici! – прорычал полицейский. Это Амар понял. Понял и снова медленно двинулся с места. Полицейский шагнул ему навстречу и грубо схватил за плечо, все время не переставая что-то сердито говорить товарищам. Неожиданно он толкнул Амара на дверь лавки, так что тот изо всех сил ударился головой о железный засов. Движения полицейского были резкими, неожиданными, непредсказуемыми. Огромной красной ручищей он схватил Амара за горло и пригвоздил к стене; вразвалку подошел другой полицейский и посмотрел с улыбкой. Этот тоже стал что-то говорить. Сначала он проверил карманы, ощупал каждую складку одежды – все это время Амар не переставал горячо благодарить Аллаха за то, что Он повелел ему оставить дома перочинный нож, – и, наконец, наотмашь ударил его по щеке тыльной стороной ладони. После этого он отошел с выражением неудовольствия, почти отвращения на лице – то ли потому, что ему пришлось дотронуться до Амара, то ли оттого, что ему так и не

удалось ничего найти. Полицейский, державший Амара за горло, еще раз ударил его по той же щеке и изо всех сил толкнул так, что тот кубарем покатился по земле. Амар поглядел на него снизу вверх, ожидая удара тяжелого башмака, но полицейский повернулся и неторопливо направился к остальным.

– Allez! Fous le camp!¹ – сказал один, который стоял, прислонившись к створке ворот. Амар сидел посреди грязной мостовой и глядел на них; что-то в выражении его лица – может быть, сама его напряженность – не понравилась одному из полицейских, он подтолкнул своего товарища, и они вдвоем медленно, угрожающе двинулись на Амара. Инстинкт подсказал ему, что самым безопасным будет поскорее вскочить на ноги и броситься наутек и что именно этого ждут от него французы. Но он решил, что не доставит им такого удовольствия. С преувеличенной осторожностью он поднялся на ноги и отступил на несколько шагов.

Наконец, он благоразумно решил притвориться, что хромот. Так, то и дело опираясь о стены и двери лавок, он медленно побрел по улице, с минуты на минуту ожидая удара сзади. Уже у выхода с рынка он оглянулся и заметил, что изгиб стены скрывает его от глаз полицейских. Перестав хромать, он подошел к бывшему посреди фонтану и тщательно отмыл приставшую к брюкам грязь. Правда, сделать это ему удалось только спереди. Солнце палило уже вовсю, Амар присел на край фонтана, чтобы подсохли мокрые пятна на одежде.

Эта минутная передышка, пока он сидел, бесцельно оглядывая пустынную улицу, помогла стихнуть гулким ударам у него в груди. Только что у него на глазах убили двух мусульман, но он не испытывал ни малейшей жалости: во-первых, они состояли на службе у французов, ну и потом, наверняка, совершили какое-нибудь чудовищное преступление против своего народа и были выбраны для уничтожения. Хотя он и

¹ Пошел! Убирайся! (фр.)

радовался, что ему дано было стать свидетелем их смерти, хотелось, чтобы зрелище оказалось более драматичным и его можно было неспешно просмаковать – даже упали они так быстро и неопратно, что Амар чувствовал себя едва ли не обманутым. Затаив дыхание, он принялся сочинять длинную молитву Аллаху, прося Его сделать так, чтобы каждый француз, перед тем как его утащат в ад, что в любом случае было предначертано и неизбежно, претерпел бы в руках мусульман самые утонченные пытки, когда-либо изобретенные человеком. Амар молил Аллаха о том, чтобы Он помог найти новые изощренные способы причинять боль и страдания, заставив таким образом испытать неслыханные унижения и муки. «Капля за каплей собаки будут слизывать их кровь, черви и жуки будут заползать в их срамные части, и каждый день мы будем отрезать по крохотному кусочку французских внутренностей. И при этом они не должны умирать, *йа раби, йа раби*¹. Не дай им умереть. Никогда. На углу каждой улицы мы подвесим их в клетках – так, чтобы прокаженные, проходя мимо, могли мочиться и испражняться на них. И мы пустим их на мыло, но только чтобы стирать простыни в борделях. А за месяц до того, как женщине придет время рожать, мы будем вырезать плод у нее из живота и, изрубив на мелкие кусочки, смешивать с мясом свиней и нечистотами из кишок мертвых назареев и кормить этим их девственниц».

Фантазии эти отняли у него немало сил, скоро он устал и, чтобы его импровизированная молитва прозвучала правильной, в последний раз пылко воззвал к Аллаху, потом поднялся и снова пустился в путь. По этим улицам, можно было, в конце концов, добраться до Бу Джелуда. Вымерший город словно подгонял его, ему хотелось поскорее оказаться среди людей. Туда, туда, в большие кафе. Уж там он кого-нибудь наверняка встретит.

¹ О боже, боже (*араб.*).

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Он двинулся вверх по крутому склону холма, через Герниз, на улицах которого стояли великолепные высокие дома. В воздухе здесь всегда чувствовался сладкий запах кедра, и вода журчала вдоль стен. Стоявшая под аркой коза вопросительно поглядела на него желтыми глазами. Порой попадались хорошо одетые прохожие, спешащие куда-то по соседству и с удивлением окидывавшие взглядом разбитое лицо и перепачканное грязью европейское платье Амара. Всякий раз, заметив обращенный на себя неодобрительный и в то же время пугливый взгляд, Амар усмехался: друзья свободы в таком виде не разгуливают. Это можно было сказать с уверенностью. У этих есть все, что только можно пожелать, и они вовсе не разделяли со студентами и прочей молодежью желания перемен. В то же время было рискованно по одному только внешнему виду судить о пристрастиях людей: было немало богатых, которые тратили деньги и время на помощь Истиклалу, и уж точно далеко не все бедняки поддерживали программу партии или хотя бы понимали ее, хотя партия постоянно выдвигала требования в поддержку низших классов.

Амар готов был побиться об заклад, что люди, украдкой пробиравшиеся сейчас по улицам Герниза, боятся – боятся того, что может произойти в результате кризиса. Франция может утратить часть своей власти и перестанет защищать систему, при которой они живут и процветают. А что, если бы отец, спрашивал себя Амар, по-прежнему владел землей в Хериб-Джераде, фруктовым садом в Баб-Хохе и тремя домами в Кеддане, если бы все это, а также маслоотжимный пресс и мельница, не было продано, а вырученные деньги – потрачены? Пока он допытывался от своей совести ответа, внимание его привлекли дикие вопли, доносившиеся со стороны Талаа. Значит, там собралась толпа, а сейчас Амару как никогда хотелось быть в толпе, вместе с нею. Отказавшись

от намерения пробираться задворками, он решительно перешел ближайший переулок, сворачивавший направо, и готов был пуститься бегом, но тут наткнулся на первых зевак, старавшихся рассмотреть происходящее с безопасного расстояния. Амар, петляя, стал пробираться вперед, пока ему окончательно не преградило путь скопище людей, заполнивших узкий проулок. Разглядеть что-либо было совершенно невозможно, но до него доносились выкрики и пение. Время от времени стоявшие рядом мужчины, которым процессия тоже была не видна, подхватывали припев, и эхо откликалось звуком их голосов. Амар молчал: вздумай он сейчас запеть или закричать вместе со всеми, ему наверняка стало бы неловко. Такова уж была его натура – оказаться в гуще событий, но в последний момент остаться в стороне. Как только наступал решающий миг, ему всегда было трудно заставить себя действовать, встать на чью-либо сторону, он был способен только ухмыляться и переживать за других. Друзья давно пытались привить ему чувство локтя на футбольном поле. Однако Амара интересовало одно: насколько блестяще сыграет он сам. Случалось, его спрашивали – уж не думает ли он, что играет в одиночку против обеих команд? Но, когда они жаловались, он только нетерпеливо отвечал: «Khlass! Разве это был плохой пас? Хотите, чтобы я играл, или нет? Тогда заткнитесь. Khlass men d'akchi!¹»

Вот и теперь он стоял, прислушиваясь и приглядываясь к окружающим. Это были самые обычные люди: хозяева маленьких лавок, ремесленники с подмастерьями, и все они, как один, были охвачены общим волнением. Марширующие студенты несли портреты низвергнутого султана, им было не избежать столкновения с полицией, когда они дойдут до Бу Джелуда, если не раньше, и там уж будет драка. Но ее-то они и хотели. Они были безоружны и знали, что французы

¹ Оставьте меня в покое. (араб.)

нападут первыми. Каждый втайне надеялся стать жертвой, это было бы почти так же почетно, как смерть на поле битвы. Амару хотелось видеть их лица, он мысленно восхищался ими, но, поскольку они были скрыты толпой, он испытывал лишь отвлеченную симпатию, сменившуюся нетерпением. Он выбрался из давки и пошел обратно. Возможно, дальше на холме удастся свернуть на Талаа и, обогнав процессию, присоединиться к ней. Но все переулки по дороге были запружены народом, и ему все время приходилось подниматься по главной дороге. Добравшись до Эд-Духа, он применил новый, не всякому известный маневр: спустился по ступенькам мимо общественной уборной и вышел с другой стороны на улочку, такую узкую, что, когда на ней встречались двое, одному приходилось распластаться вдоль стены, пока другой старался проскользнуть мимо. Солнце палило всюю, и грязь почти везде высохла. Здесь стояло невыносимое зловоние, и Амар ускорил шаг, стараясь затаить дыхание, пока не добрался до Талаа, чуть ниже дома Си Ахмеда Каббаджа. Шествие еще не появилось, полиции тоже не было видно, и люди выстроились двумя рядами вдоль стен, кто-нибудь то и дело стремительно перебежал с одной стороны на другую. Амар решил добраться до кафе, расположенного чуть выше, над бакалейной лавкой, почти у самых ворот Бу Джелуд.

Кафе было переполнено, все говорили очень громко, стараясь перекричать друг друга, сесть было негде. Разочарованный, Амар смирился с тем, что ему придется ждать в задней комнате. Если снаружи что-нибудь произойдет, всегда можно выбежать и посмотреть в окно.

Даже в задней комнате почти не было свободных мест. Амар высмотрел столик в углу, поближе к главному залу; двое мужчин уже сидели за ним и играли в домино – возможно, потому, что все карты и шахматные доски разобрали, – но на скамье оставалось одно место. Когда появился мальчик, Амар заказал ему полхлеба и салат из репы с помидорами.

Разговоры в кафе, хотя и избегали сегодняшних событий, были громче и оживленней обычного. Многие, выживая, стояли у выходявших на улицу окон. Когда Амару принесли заказ, он пробормотал «Bismil'lah» и жадно набросился на еду, подбирая почти жидкий салат маленькими кусочками хлеба. Потом еще какое-то время посидел за столиком, снедаемый растущим волнением: оно волнами поднималось у него в груди, так что он непроизвольно барабанил пальцами по скамье и столу и ерзал на месте. Игроки в домино время от времени отрывались от своего занятия, глядели на него, но ничего не говорили. Впрочем, даже если бы они и сделали ему замечание, он бы не обратил на это внимания. Слишком важным и славным был сегодняшний день, с каждой минутой Амар все сильнее чувствовал это. Торжество или скорбь он предвещал – было неважно; главное, что день особенный, и прожить его тоже следовало необычно.

Внезапно Амар принял важное решение: перебраться отсюда и выпить чаю в кафе «Беркан», которое находилось за городскими стенами, у автобусной остановки. Правда, Бенани предупреждал его, чтобы он не выходил за городскую черту, но, в конце концов, Бенани был ему не отец. Он подозвал мальчика, пожаловался на еду, отказался платить, потом расплатился, пошутил с хозяином и вышел, улыбаясь. На улице стояла страшная жара, демонстранты по-прежнему не показывались. Амар медленно подошел к большим воротам и, пройдя под главной аркой, очутился в мире автомобильных гудков и выхлопных газов. Столько полицейских сразу ему еще не приходилось видеть, они оцепили площадь, выстроились вдоль стен, вокруг зала ожидания автобусной станции, перед аптекой де-ла-Виктуар и дальше по дороге, насколько хватал глаз, – их было намного больше, чем в тот год, когда султан приезжал с визитом. Зрелище получилось красивое, и Амар ни чуточки не пожалел, что рискнул-таки выйти из медины. Конечно, все они были враги – Амар об этом не забывал, –

но, плотным кольцом окружившие площадь, они выглядели поразительно впечатляюще в своей униформе, с оружием разных марок, каких ему не доводилось видеть раньше. На это стоило посмотреть.

Кафе «Беркан», недавно открывшееся заведение, притулилось между крепостным валом касбы Бу Джелуд и одним из речных притоков. Вход находился за узким деревянным мостиком, но значительная часть столиков была расставлена и по эту сторону, под нежными, тянущимися вверх ветвями перечных деревьев. Сегодня, впрочем, столики не выставили, и на месте, которое они обычно занимали, расположились несколько полицейских, явно довольных тем, что можно пристроиться в жидкой пыльной тени деревьев, пронизанной солнечными лучами. Амар приготовился к тому, что его остановят, как только он приблизится к мостику, а, может, снова обыщут или запретят перейти на другую сторону, точно это была граница, но полицейские даже не обратили на него внимания.

По контрасту с тем местом, откуда он пришел, в кафе было почти безлюдно, и немногие сидевшие за столиками посетители разговаривали тихо, чуть ли не шепотом, а то и вообще молчали. Амар быстро сообразил: это потому, что они понимают, что кафе находится за стеной, а значит, здесь они куда меньше защищены от неожиданностей, которые несет с собой этот странный день. Ну и, конечно, нельзя было не учесть, что сидящие возле окон и двери постоянно видят перед собой непроизвольно призывающие к порядку фигуры полицейских. В кафе было несколько залов: окна всех, кроме одного, выходили на реку, так что плевок или брошенный из окна окурочок тут же уносило течение. Одно помещение, в задней пристройке, резко отличалось от остальных: оно было обращено не к северу, а к югу и востоку, и видны из него были лишь кусок массивной стены, да квадратный бассейн. Бассейн был неглубокий – метр, не более, – и вода в нем не застаивалась,

так как он соединялся с рекой прорытым под кафе каналом. Хозяин хотел, чтобы вокруг росли бамбук и ирисы, а по воде плавали кувшинки; в пору, когда кафе строилось, это казалось такой замечательной идеей, что хозяин даже расщедрился на цемент для бассейна. Но когда заведение открылось, он позабыл о своем намерении, и теперь водоем обрамляли только чахлые сорняки, не погибшие совсем из-за близости воды, но прибитые к земле пылью, постоянно летевшей с площади. Амар решил выбрать именно этот, маленький зал: он был самый спокойный, да и гладкая поверхность воды в бассейне выглядела необычно и привлекательно; что-то, а стремительные потоки в Фесе не были редкостью.

Амар точно знал, какой ему нужен столик – за дверью, рядом с окном, в стороне от других. Частенько, в те дни, когда Амар не работал, он приходил сюда и сидел почти целый день, убаюканный доносившимися из других залов музыкой и разноголосым шумом, и, доведенный до состояния какогото смутного, неопределимого восторга, не отрывал глаз от крошечного озера за окном. Это было то счастливое состояние, в которое его соотечественники впадали с такой легкостью – достаточно было просто отключиться от докучных дел, и любой пейзаж – море, река, фонтан – словом, все, что, привлекая глаз, не занимало мыслей, помогало поддерживать его. Это была изнанка видимого мира, где размышление подменяет собою необходимость действия, а покой, который все сущее ищет в смерти, мимолетно является в обличье наслаждения, убеждая душу в том, что тихая гавань совершенства все-таки достижима. Частности торговой жизни и личные финансовые заботы, прорезавшие, подобно метеорам, небеса этого внутреннего космоса, лишь придавали ему еще больший размах и подчеркивали его глубину, не тревожа запредельной безмятежности.

Пройдя первые два зала кафе, Амар вошел в маленький, задний и с облегчением вздохнул, обнаружив, что столик

свободен. В помещении вообще никого не было, и он решил, что выпьет здесь стакан чая, а потом переберется в более людный зал. Это была небольшая церемония, которую он выдумал на ходу, так как само ощущение сегодняшнего дня требовало ритуала. Когда он будет расплачиваться за чай, он разменяет двадцать риалов, найденные утром на улице. В глазах Аллаха, решил Амар, это будет, пожалуй, самый достойный способ потратить деньги.

Сегодня, когда не слышно было ни привычной невнятицы голосов, ни назойливого радио (электричество так и не включили), задняя комнатка напоминала не укромный уголок, а темницу. До Амара доносилось пыхтение автобусов, вхолостую гонявших свои моторы на площади. Он заказал чай. Пока он ждал, по кафе прошел мальчик, неся большой поднос со сладостями, и на мгновение заглянул в дверь. По какой-то неясной причине – потому ли, что мальчик смутно напомнил ему приятеля, который подвозил его на своем велосипеде, или, быть может, потому что в большом зале показался мужчина, которого он встречал в других кафе, где тот тайно продавал небольшие порции кифа, Амар вспомнил тот день, когда он решил убежать. Всякий раз, вспоминая тот случай, он чувствовал неугасимое желание мести. В то же время понимал, что никогда и пальцем не тронет Мустафу – во всяком случае, не обидит его больше, чем обидел его брат. Тут надо было поступить как-то иначе. Волею Аллаха Мустафа появился на свет первым. А, следовательно, его долг при встречах с братом состоял в том, чтобы возместить это превосходство избытком доброты. Мустафа никогда не понимал этого, напротив, он использовал свое положение как настоящий тиран, постоянно стараясь принудить Амара к новым жертвам. Несправедливость могло искупить только соответствующее возмездие. Амар встал и заглянул в соседний зал: торговец кифом разговаривал с кем-то в углу у окна. Ему приходилось быть чрезвычайно осторожным, чтобы не ошибиться в клиенте и не

попасть в руки переодетого полицейского агента. Все знали, что французы запрещали торговлю кифом в надежде приучить мусульман к спиртному, правительство получало бы от этого огромные доходы. То, что религия воспрещала мусульманам употреблять алкоголь, их, естественно, не интересовало, они всегда готовы были приветствовать тех, кто нарушал законы ислама и наказывать тех, кто им следовал.

И тут произошло нечто странное: двое назареев, мужчина и женщина, перейдя через мостик, вошли в большой зал. Минуту спустя они появились во втором зале, беззастенчиво разглядывая столики, выбирая, где бы им сесть. На мгновение показалось, что один столик им приглянулся, но женщина что-то вполголоса сказала мужчине, и тот подошел к дверям, у которых стоял Амар, и заглянул в маленькую залуцу. Он выглянул из окна; похоже, что вид с бассейном понравился ему, и он решил привести сюда и женщину. Амар поскорее вернулся за свой столик, испугавшись, что они могут выбрать именно его. *Кауаджи* принес ему чай. Когда он уже выходил, мужчина окликнул его на арабском и заказал два чая и два *кабрхозеля*. Пристальнее приглядевшись к мужчине, Амар решил, что тот не француз, и в груди у него тут же поднялась волна ненависти; впрочем, она быстро отступила, сменившись разочарованием и смесью безразличия с любопытством. Сообразив, что мужчина и женщина заметили его любопытство, он моментально отвернулся к окну и стал медленно прихлебывать чай. Немного погодя, он снова взглянул на них. Они негромко разговаривали, то и дело перебивая друг друга и улыбаясь. Женщина явно была самой низкопробной проституткой: слишком уж открыты были ее руки и плечи, слишком глубоким – вырез на платье. Словно чтобы подтвердить вынесенный Амаром приговор, она достала из сумочки маленький портсигар и, зажав сигарету в уголке губ, стала ждать, пока мужчина не даст ей огня. Амар был поражен ее развязным поведением. Даже французенки из

Виль Нувель в своих непотребных платьях и со своими полупристойными манерами не заходили так далеко. И даже самая презренная проститутка никогда не позволила бы себе так обгореть на солнце. Этой женщине явно приходилось работать в поле: кожа ее была сплошь смуглой от загара. Однако она сидела здесь, в кафе, и на руках у нее позвякивали золотые браслеты. Интуиция подсказала Амару, что он недооценил ее. Возможно, она вообще не знала, что такое полевые работы, а просто какой-то несчастливый поворот судьбы заставил ее долго бродить под солнцем, и теперь ей было стыдно, и она хотела укрыться от людских глаз, пока загар не сойдет, – вот почему и выбрала пустую заднюю комнату. Если это так, ей вряд ли приятно, что он на нее уставился. Поэтому он усердно прихлебывал чай и, не отрываясь, глядел в окно. Немного погодя, он снова встал и выглянул в соседний зал – проверить, там ли еще продавец кифа. Тот сидел за столиком, явно по приглашению клиента, и пил из стакана чай. Амар подошел и заговорил с ним. Мужчина кивнул, сунул ему в руку маленький бумажный пакетик. Амар расплатился, вернулся за свой столик и снова принялся исподтишка подглядывать за двумя туристами. (Раз уж они не французы, их приходилось отнести к этой категории.) Какие необычные люди, думал Амар: самые иностранные из всех иностранцев, каких ему приходилось видеть. Необычной была их одежда, не похожими на привычные были их лица, они постоянно смеялись, хотя явно не были пьяны, но самым необъяснимым показалось Амару то, что, хотя, судя по мелким признакам, по которым только и можно судить о подобных вещах, они нравились друг другу, мужчина ни разу не взял свою спутницу за руку, не наклонился, чтобы коснуться ее или вдохнуть запах ее духов, равно как и женщина, несмотря на свое во всех прочих отношениях беззастенчивое поведение, сидела, опустив глаза, и ни разу не посмотрела на мужчину в упор. Она держалась так, словно оба они были одного пола. В то же время Амар угадывал

повисшее между ними в воздухе напряжение, и это казалось ему важнее их внешнего безразличия – возможно, напускного. Амар видел немало французских пар, и, хотя их манера поведения на людях включала некоторые вольности, невысказанные для мусульман, принципиальных различий между ними не было. Но поведение этой пары казалось ему совершенно непостижимым.

Кончив пить чай, он решил выйти и немного побродить вокруг пруда, но маленькая дверь давно не открывалась, и засов заржавел. В конце концов, ему все же удалось открыть дверь, выбив засов камнем, лежавшим тут же, в углу – возможно, именно для этой надобности. Он открыл дверь, порвав затянувшую ее паутину, и вышел. В неподвижном воздухе между кафе и высокой городской стеной солнце жгло до боли, и бассейн, как некое злое зеркало, отражал ослепительно белый свет. Встав на колени, Амар попробовал воду: она была почти горячей. Стрекоза скользнула слишком близко к поверхности и замочила крылышки; отчаянно извиваясь, она пыталась снова взлететь. Какое-то время Амар с интересом наблюдал за ней, потом ему стало жалко обреченное существо, и, как можно выше закатав брюки, он спустился в бассейн. Он оказался глубже, чем казалось: вода доходила Амару почти до колен. Дно было неприятно склизким, но Амар сделал несколько шагов, подвел ладонь под стрекозу и поднял ее. Стоя в воде, он смотрел на нее и ухмылялся – ему казалось, что два огромных глаза тоже разглядывают его. Быть может, с благодарностью. «Воистину велики дела Аллаха», – шепнул он. Не успело солнце подсушить ее крылышки, как стрекоза пошевелила ими и, внезапно взмыв в воздух, улетела в сторону крепостных стен. Выбравшись из бассейна, Амар опустил и выжал брючины. Потом сел на край бассейна сушиться. Ему показалось, что издали, паря над крышами пропыленного города, до него доносится шум человеческих голосов. Но звуки раздавались где-то очень далеко и больше походили на

завывания ветра, дующего в дверную щель. Если шествие пройдет через Баб Бу Джелуд, он будет наблюдать из окна большого зала, если же случится стычка, то несколько полицейских непременно пострадают – это ему больше всего хотелось увидеть. Всегда выходило так, что именно мусульман били и убивали, как, например, сегодня у него на глазах, причем били и убивали сами же мусульмане. На мгновение он даже почувствовал прилив запоздалой симпатии к двум *мохазни*, тела которых лежали сейчас в переулке рядом с конторами законоведов. Возможно, устраиваясь на службу к французам, они не подозревали, что им придется собирать сведения против своих же соотечественников, а когда обнаружили, было уже слишком поздно: они знали слишком много и быстро попались.

Но в таком случае, продолжал размышлять Амар, их долг был – даже под страхом смерти – отказаться выполнять приказ. Насколько героичнее было бы для них погибнуть мученической смертью от рук французов, чем быть позорно прирезанными, как какие-то животные, а затем – оплеванными и проклятыми своими же братьями! Амар знал, что мусульманин, павший на поле битвы, направлялся напрямик в рай, но о судьбе предателей он был осведомлен гораздо хуже. Тем не менее, казалось вполне логичным, что они должны были непосредственно подпасть под власть Сатаны. Амар содрогнулся при мысли о том, что ожидает человека, очутившегося в аду. При этом больше всего ужасали не столько муки, сколько то, что они будут длиться вечно, независимо от того, раскаивается жертва или нет. Допустим, человек изменился и всем сердцем страстно устремился к Аллаху. Боль состояла не в том, что тебя вечно поджаривают на вертеле, как *мечуи* барашка, или отрывают от твоего тела член за членом, как, по уверению друзей свободы, делали французы с мусульманами в Уэд-Земе, а в том, что ты знал: никогда, ни при каких условиях Аллах не явится тебе. Смерть – ничто, думал он,

глядя, прищурившись, на слепящее отражение солнца в воде, счастливы те, кому удастся умереть со славой – так, чтобы люди никогда об этом не забыли. Амару пришло в голову, что, вероятно, именно поэтому Мохаммед Лалами держался так самодовольно и кичливо вчера: может, он знал, что его брат будет казнен французами. Как-нибудь, подумал он, Мохаммед подстережет его и застанет врасплох, вот это будет настоящая драка. Неплохо было бы, встретив Мохаммеда, подойти к нему, протянуть руку и попросить прощения. Вполне вероятно, Мохаммед и не примет его извинений, но это может смягчить его сердце и подготовить почву для будущего примирения.

Крики и пение становились все громче, и брюки Амара почти высохли. Он встал и вернулся в кафе.

*По моему разумению, нет ничего лучше,
чем быть иноземцем. И вот, я постоянно
пребываю среди людей, ибо они не моего
племени и мне нравится быть среди
них иноземцем.*

Песнь ласточки. «Тысяча и одна ночь»

КНИГА ТРЕТЬЯ ВРЕМЯ ЛАСТОЧЕК

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

По утрам Стенхэм и Мосс привыкли посылать друг другу через слуг короткие записки. Поскольку окна его номера выходили в сад, Мосс отдавал свои послания старому Мохтару, который подметал дорожки и заботился о цветах, Мохтар поднимался в главный вестибюль и передавал записки Абдельмджиду, в обязанности которого входило пылесосить ковры в общих помещениях. Год назад Абдельмджид сам карабкался на верх башни, чтобы доставить конверт Стенхэму, но недавно он женился на Раиссе, славной чернокожей девушке, чья мать была рабыней у прежнего паши, и поскольку Раисса каждый день прибиралась в трех комнатах башни, именно она и стучалась теперь в дверь Стенхэма, когда приходила записка из четырнадцатого номера.

Сокровенное желание всякой современной марокканской девушки состоит в том, чтобы надеть на передние зубы золотые коронки. Зубы у Раиссы были вполне здоровые, однако, подыскав ей жениха, мать естественно первым же делом отвела дочь к врачу, чтобы еще до свадьбы придать ее улыбке столь неотразимый блеск. Коронки ставил местный уроженец, из медины, и с тех пор бедной Раиссе пришлось немало пострадать. Каждый день она настаивала на том, чтобы показать Стенхэму свои воспаленные десны: она была уверена, что

дантист навел на нее порчу, потому что мать тянула с деньгами, не в силах сразу собрать требуемую сумму. Теперь, когда Раисса сама начала зарабатывать, она отдала все до последнего франка, но десны все равно продолжали болеть. Стенхэм понемногу начал бояться ее утренних вторжений, нарушавших его покой, он купил Раиссе соды, которой она с тех пор регулярно пользовалась, предварительно пересыпав порошок из аптечной упаковки в специальный пакетик, покрытый магическими знаками, который она взяла у *фжиха*. Она говорила, что теперь ей стало лучше, но все равно собиралась еще раз пойти к *фжиху* и попросить другой пакетик с новыми заклинаниями.

«Я хочу помочь бедняжке, – говорил Стенхэм Моссу, – но, черт побери, не собираюсь и дальше смотреть в эту красную крокодилию пасть каждый раз, как она приходит прибрать постель».

Было одно из тех утр, когда город мирно курился под яркими солнечными лучами. Дымок, поднимавшийся от очагов, смешиваясь с туманом, нависал над плоскими террасами, обволакивая и сплавляя воедино доносившиеся снизу звуки, так что, долетая до окон башни, они становились похожи на сонное, непрерывное жужжание пчелиного роя. При такой погоде между десятью и одиннадцатью часами городской шум всегда приобретал это странное свойство. Стенхэм полагал, что это может быть связано с направлением ветра, так как единственный звук, не смешивавшийся с остальными, долетал со стороны лесопилки, расположенной далеко, где-то возле Баб Сиди Бу Джди. Мухи вяло залетали в комнату и засыпали на горячих плитках пола. На этот час Стенхэм бросал работу и, поставив возле окна два стула друг против друга, сладострастно растягивался на них, подставляя лицо жаркому солнцу и время от времени вставая, чтобы нацарапать несколько слов в записной книжке, которую клал рядом. Однако прежде он не забывал удостовериться в том, что дверь заперта,

чтобы ворвавшаяся ненароком Раисса не застала его голым; она еще не до конца усвоила сложный навык – не забывать постучаться в дверь, прежде чем войти.

Однако сегодня она все же постучала, и Стенхэм натянул купальный халат, бормоча: «Кого там еще черти носят?» Любое постороннее вмешательство до обеда, если речь не шла о появлении подноса с завтраком, приводило его в бешенство. Он рывком распахнул дверь, и Раисса передала ему записку. Он ворчливо поблагодарил ее, заметил, что она горит желанием обсудить с ним состояние своих десен, и захлопнул дверь у нее перед носом.

Записка от Мосса гласила: «Какой прекрасный день! Хью обещал составить мне компанию за обедом в Зитуне. Заказали бастелу. Не хотите ли присоединиться? Если да, жду вас в своем номере в половине первого. Моя новая модель – чудо-вище!!! Ваш Аллен».

Стенхэм снова расположился на солнце, однако новые подробности придворной жизни султана Мулая Исмаила не шли в голову. Немного погодя, он спрыгнул со стульев, побрился, оделся и пошел вниз в комнату Мосса, надеясь застать того за работой. Но натурщик, ветхий старец весь в каких-то наростах и шишках, уже брел, шаркая туфлями, через дворик, а Мосс мыл кисти.

– Просто невероятно, – сказал он. – Вы сегодня даже не опоздали. Придется вам подождать, пока я переоденусь. Там, на столике перед вами, новый «Экономист», получил утром. Если хотите, можете посидеть в саду. Или, на ваш взгляд, это слишком скучное чтение, после того как вы только что упились необузданными восторгами творческого воображения?

Стенхэм хмыкнул, он уже устал реагировать на бесконечные подтрунивания Мосса.

– Необузданными? – повторил он, беря журнал и снова отступая в полосу солнечного света. – Необузданными? – В комнату доносилось чирикание воробьев, а сильные порывы

ветра были пропитаны сладковатым запахом цветущего дурмана. Мосс сиял; он прекрасно знал все уязвимые места Стенхэма, но эти нежные места успели загрузеть: если Стенхэм и реагировал на шпильки Мосса, то исключительно из вежливости и крайне лениво. Это упрощало беседу: Мосс просто продолжал говорить, без усталости выискивая новые ранимые места в характере своего друга.

Стенхэм любил Мосса за его таинственность и был уверен, что его приятелю доставляет огромное удовольствие играть роль кудесника, загадочного человека, всегда имеющего про запас тысячу самых неожиданных причуд. «Я простой бизнесмен, – жалобным тоном заявлял Мосс, – и мне никогда не понять тех безумных джунглей, в которые вы, американцы, превратили естественную среду своего обитания...» «Общаясь со мной, делайте скидку на мою непонятливость. Мне нужно объяснять буквально все. Ваша американская система нравственных ценностей столь запутана и фантастична, что совершенно недоступна моему нехитрому разумению».

Но иногда он выходил из роли и начинал искренне сетовать: «Все-таки англичане решительно невыносимы. Нельзя же всю жизнь жить так, будто у тебя замок. Мир прекрасен. Вы когда-нибудь были в Бангкоке? Полагаю, вам бы понравилось. Восхитительный народ...» «Единственное, что делает жизнь сносной, это возможность время от времени наслаждаться совершенством. И даже еще более – способность воссоздавать эти совершенные переживания во всей их полноте, любоваться ими как драгоценностями. Вы меня понимаете?»

Чтобы раздражить его, Стенхэм напускал на себя серьезный вид и отвечал: «Нет, не думаю. Боюсь, совершенство меня не интересует. Ведь, по сути, оно всегда есть нечто исключительное, вне обыденной реальности. Я смотрю на жизнь по-другому».

«Знаю-знаю, – говорил в таких случаях Мосс. – Вы смотрите на жизнь с самой непривлекательной точки».

Стенхэм уже давно разгадал, что кроется за маской простого бизнесмена; как-то раз Мосс даже признался, что пишет книгу, но тем и ограничился, не уточнив, какого рода эта книга. А в другой раз, в конверте с довольно-таки беспредметным письмом, цель которого явно состояла в том, чтобы убедить адресата, что вторая часть послания вложена в последний момент, он прислал из Лондона подборку коротких лирических стихотворений, не слишком оригинальных, но достаточно изысканных, чтобы убедить Стенхэма в том, что автор с музой на «ты». «У него тоже рыльце в пушку», – любил повторять про себя Стенхэм.

Солнце в саду припекало, влажный чернозем словно покрылся испариной, источая сладкий, тяжелый, волнующий весенний запах. Старый Мохтар шел по дорожке, едва волоча по мозаичным плитам ноги в стоптанных бабушах. Всегда казалось, что чалма его вот-вот развяжется. Дело было не в том, что он небрежно одет; хвори и тяжкий труд высушили его круглое личико: распусти он чалму или завяжи потуже, вид оставался плачевным. Стенхэм всегда чувствовал себя неловко в его присутствии: вяло-покорное лицо Мохтара пробуждало затаенное чувство вины.

Мосс появился на террасе, поправляя темные очки, по обыкновению одетый так, словно собрался прогуляться по Пикадилли.

– Ну вот, я и готов, а вы? Тогда в путь.

Выйдя во двор, они посмотрели, на месте ли машина Кензи, но ее не было. Мосс нахмурился.

– Ага, значит, уехал. Что ж, придется добираться пешком. И давайте выберем дорогу покороче.

– Есть, по крайней мере, дюжина коротких дорог, – возразил Стенхэм.

– Только никаких лабиринтов, они так утомительны. Чем скорее мы доберемся, тем лучше! Нет, вы действительно на редкость тяжелый человек.

Стенхэм пошел впереди. Свернув налево, они оказались на улице, где пришлось пробираться среди осликов, нагруженных маслинами, которые везли в давилню.

– Что вы имеете в виду? Почему тяжелый? – Стенхэм никогда не мог понять, почему ему так нравится дразнить Мосса и слушать в ответ его ворчливые замечания: это была игра, которая могла длиться часами, причем Моссу отводилась роль наивного простака, постоянно жалующегося, что его разыгрывают, а Стенхэм изображал терпеливого, искушенного наставника; особую остроту игра принимала, если Стенхэм бросал прямое обвинение, скажем: «Зачем вы постоянно напускаете на себя этот дурацкий вид, будто вы не от мира сего? Чего вы этим добиваетесь?» Это делало игру особенно захватывающей, потому что Стенхэм говорил вещи, в общем-то недалекие от той истины, которую он мог бы высказать, если бы действительно хотел положить игре конец. Мосс прекрасно понимал это и знал, что Стенхэм это знает, так что игра продолжалась, непрестанно становясь все более сложной, тонкой, изощренной, занимая большую часть времени, которое они проводили вместе. Рано или поздно, думал про себя Стенхэм, наступит момент, когда Мосса будет уже не оторвать от этой затеи: все, что бы он ни делал или говорил, не будет выходить за рамки взятой на себя роли, слова и жесты будут принадлежать уже не Моссу, а этому нелепому персонажу, не имеющему ничего общего с человеком, нацепившим такую маску. Я подтолкнул его к этому, говорил он себе, но ведь и он с готовностью откликнулся на мое предложение. Он сам выбрал роль простофили. И теперь, как обычно, я его веду, а он притворяется, будто не знает дороги.

Тонкая струйка источника журчала в специально устроенной нише, молодые девушки и женщины постарше ожидали в очереди со своими ведрами под выложенным голубой и зеленой черепицей сводом. «1352» – сообщала мелкая мозаика под витиеватой надписью по-арабски, которая восхваляла

учреждение монотеизма, предостерегая от любых подмен единственно возможной его формы. «1352. Значит, он всего на каких-то двадцать лет моложе самого города», – подумал Стенхэм. Вода из ведер постоянно расплескивалась, улица в этом месте превратилась в настоящую клоаку, глина размякла, стала липкой, скользкой жижей, и каждый новый след тут же заполнялся пузырящейся белесоватой водой.

– Ну, знаете, скажу я вам! – закричал Мосс. Когда он делал вид, что разгневан, голос его становился пронзительнее, а выговор преувеличенно оксфордским. – Куда вы меня ведете?

– Вы уже здесь проходили, по крайней мере, раз шесть! – бросил ему Стенхэм через плечо.

Одиннадцать столетий тому назад город начал строиться на самом дне окруженной холмами впадины, очертаниями напоминавшей слегка наклоненную чашу; шли века, в городе появлялись все новые постройки из кедра, мрамора, земли и плитки, они заполняли чашу, переливаясь через ее края. Поскольку центр находился в самой нижней части, все городские пути так или иначе вели к нему, сначала непременно надо было спуститься и только потом выбрать направление подъема. За исключением тропинок, которые, следуя течению реки, вводили во фруктовые сады, все остальные дороги шли вверх, начинаясь в самом сердце города. Долгий подъем в полуденную жару был изнурительным. Час спускаясь они все еще с трудом одолевали запруженные народом переулки западного холма. Туман полностью рассеялся, высокое небо слепило синевой. Улица стала шире, внезапно на нее высыпала ребятня, возвращавшаяся из школы домой. Мосс и Стенхэм наконец смогли идти рядом. Стараясь перекрыть детский гомон, Мосс сказал:

– Может быть, вы все же скажете мне, куда мы идем? Когда мы упремся в стену, я думаю, нам вряд ли удастся сквозь нее пройти. Не кажется ли вам, что лучше добратся до Баб аль-Хадида?

– Вы думаете? – ответил Стенхэм намеренно уклончивым тоном. Он отлично знал, куда идет, но забавно было до последней минуты притворяться, что блуждаешь без цели, а затем, сделав внезапный виртуозный поворот, поразить Мосса, выведя его на давным-давно знакомое место.

– Похоже, вы приготовили для меня какую-то чрезвычайно впечатляющую штучку, – пробормотал Мосс с нарочито смиренным видом, – но, должен вам сказать, на этот раз вам вряд ли удастся меня провести.

– Никаких штучек, – простодушно заверил его Стенхэм. – Мы всего лишь направляемся прямым ходом в Зитун. Или, по крайней мере, мне так кажется. Дойдем до следующего поворота, и все станет ясно.

За поворотом им открылся короткий пыльный переулок. Впереди виднелась арка; под ней араб-полицейский в феске разговаривал с солдатом-сенегальцем. Как только Стенхэм и Мосс вошли под арку, ветер дохнул им в лицо, послышалось журчанье стремительно бегущего потока. Черда холмов открылась перед ними.

– Вы неподражаемы, – восхищенно произнес Мосс. – Не иначе как эти ворота – дело ваших рук. Как они называются? Или они безымянные?

Стенхэм перешел дорогу и остановился у парапета, глядя на поднимающиеся по другую сторону узкой долины зеленые склоны.

– Конечно, у них есть название. Баб Дар эль-Паша.

– Перестаньте! – крикнул Мосс. – Вы прекрасно знаете, что таких ворот нет. Я могу перечислить их все наизусть от Баб Сегмы до Баб Махрука и обратно, но в моем перечне эти ворота не значатся.

– Значит, ваш перечень необходимо расширить. Баб Дар эль-Паша – новые ворота, их прорубили в стене лет двадцать-тридцать назад, чтобы можно было подавать машину прямо к дому паши.

– Вандализм, – заметил Мосс.

Короткий подъем вел от того места, где они стояли, к гостинице. Студенты из колледжа Мулая Идрисса съезжали по холму на велосипедах, направляясь домой обедать, большинство из них носило очки в роговой оправе и мешковатые европейские костюмы, не знакомые с утюгом и щеткой с того самого дня, как были сшиты.

Шелковицы, росшие по берегам протока, не такие живописные, как выстроившиеся вдоль дороги высокие тополя с трепещущими на ветру кронами, тем не менее, вызывали куда больший интерес у сновавшей между ними ребятни. Мальчишки яростно хлестали ветви длинными бамбуковыми шестами, и листья, покачиваясь в воздухе, падали вместе с незрелыми ягодами. Желтый «Эм-джи» Кензи был припаркован перед входом в Зитун. Дети облепили его со всех сторон: они стояли на фарах и бампере, забирались внутрь и устроили настоящую потасовку на переднем сиденье за честь хоть ненадолго посидеть за баранкой. Когда Стенхэм с Моссом поравнялись с машиной, подросток, старательно выводящий слово «Мохаммед» шариковой ручкой на брезентовом верхе, даже не тронулся с места. Вероятно, он считал свой вклад в коллекцию каракулей и рисунков, украшавших машину, не столь уж и значительным, там было много гораздо более эффектных и поразительных. На дверцах и капоте повсюду были нацарапаны гвоздями и мелкими камешками ухмыляющиеся рожицы, руки Фатимы¹ и разнообразные надписи, выполненные как латинскими, так и арабскими буквами.

– Вы только поглядите, – сказал Стенхэм. Он вплотную подошел к подростку, который мельком взглянул на него, не прерывая своей кропотливой работы,

– Chnou hada? Что ты делаешь? – спросил он мальчишку.

Тот улыбнулся и бесхитростно ответил:

¹ Изображения руки Фатимы, дочери пророка Мухаммеда, призваны оберегать от глаза.

– Ничего.

Стенхэм ткнул пальцем в надпись на брезенте.

– Ну, а это? Это что такое?

– Это автомобиль.

В голосе его послышалась холодность, причиной которой несомненно было то, что иностранец, по всей видимости, принял его за невежественного деревенского парня.

– Нет, я о слове.

– Мохаммед.

– И зачем же ты его написал?

– Потому что меня так зовут.

– Но зачем ты пишешь его на машине?

Юнец пожал плечами, ясно давая понять, что считает этот допрос совершенно беспочвенным и неинтересным, и снова поднял руку, намереваясь завершить пышный узор, которым он обвел уже написанное имя. Но Стенхэм схватил его за руку и решительно остановил ее. Несколько мальчишек помладше подошли поближе и внимательно наблюдали за сценой.

– Убирайтесь отсюда! – прикрикнул на них Стенхэм. Мальчишки ретировались на безопасное расстояние.

– Что с вами со всеми такое? – спросил Стенхэм, обращаясь к подростку, который по-прежнему держал ручку, словно решившись закончить то, что безусловно считал блестящим образцом своей росписи. Ответа, разумеется, не последовало, и Стенхэм был вынужден продолжать. – Это вам даром не пройдет. Понятно? – И снова ответом было молчание.

Мосс приблизился и, лучезарно улыбаясь парнишке, сказал на своем сладковатом, хотя и с легким английским акцентом, французском:

– Автомобили очень дорогие. Их нельзя пачкать.

Наконец-то подросток отреагировал.

– Ничего я не пачкал! – произнес он с достоинством.

– Да ты взгляни! – воскликнул Мосс, указывая на корявые рисунки и надписи на желтой краске. – Посмотри, что наделали здешние мальчишки! И это всего за две недели, с

тех пор как джентльмен – хозяин этой машины – приехал сюда. Теперь ему придется потратить кучу денег, чтобы все это закрасить.

– Сколько? – безразлично поинтересовался юнец.

– Пятьдесят тысяч франков, не меньше, – быстро нашелся Мосс.

Паренек испуганно взглянул на него.

– Пусть продаст эту и купит новую.

– Mahboul! – взвыл Стенхэм, не в силах больше сдерживаться. – Ты, идиот! Слезай с машины, и вы все тоже вылезайте! Пошли прочь!

Он грубо вытолкнул паренька на дорогу, вернулся и вытащил еще двух мальчуганов с переднего сиденья. Остальные обратились в безмолвное бегство, присоединившись к своим приятелям, обивавшим шелковицы.

Сад располагался на ровном участке земли, со всех сторон защищенным высоким парапетом и неухоженной растительностью; ветерок, покачивавший верхушки деревьев, сейчас не задувал сюда. То тут, то там были расставлены столики и матерчатые шезлонги. Посетителей не было, кроме Кензи, сидевшего в дальнем углу возле чайного домика и оживленно обсуждавшего что-то с официантом в белом пиджаке, почтительно согнувшимся рядом с его креслом. Он заметил, как они вошли в сад, но решил не замечать их присутствия, пока они не подойдут совсем близко. Скользнув по ним взглядом, он небрежно улыбнулся – так, словно они расстались минут пять назад. Пододвинув им кресла, официант скрылся в чайном домике, оттуда сразу же послышались скрежет и пощелкивание, которые в арабских кафе всегда предвещают звуки патефона. «*Wilèche tabousni fi aynayah?* – жалобно затянул Абд эль-Вахаб своим могучим пропыленным голосом. – Почему ты целуешь мои веки?»

– А я еще кое-кого поджидаю, – неожиданно произнес Кензи.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Столик был совершенно пуст, и казалось, что Кензи не имеет ни малейшего намерения заказывать что-либо себе или своим приятелям. Стенхэм видел, что Мосс заметил это, и теперь ждал, чтобы посмотреть, как тот будет выпутываться из ситуации; сам он никогда не пил, но сейчас не отказался бы от стакана мятного чая, чтобы избавиться от привкуса пыли, которой он успел наглотаться, пока они поднимались по холмам медины. Однако он твердо решил ничего не предлагать и не делать никаких заказов. С одной стороны, последнее время он придерживался строгой экономии, рассчитывая на аванс за будущую книгу. С другой, полагал, что от него, единственного американца в компании, не ждут, что он будет оплачивать чужую выпивку. Кроме того, он подметил, что на протяжении последних двух недель между Моссом и Кензи в подобных ситуациях всегда возникало определенное напряжение – так, словно каждый про себя решил, что раскошелиться почему-то должен другой, вплоть до того, что ни у одного из них никогда не оказывалось мелких денег. Кензи даже как-то раз признался ему, что если они с Моссом едут днем из Бу Джелуда в Виль Нувель, то Мосс всегда бросается платить первым, чтобы Кензи пришлось покупать билеты обратно. «Ну и что? – сказал Стенхэм. – Почему бы и нет?» «А потому, что с шести часов цены выше», – без тени улыбки объяснил Кензи. Стенхэм решил, что ситуация само собой разрешится, если он будет просто сидеть и ждать. Пока, однако, все свелось к взаимному угощению сигаретами, но все попытки были отклонены, так что каждый сидел и курил собственные.

– Она остановилась здесь, в Зитуне, – сказал Кензи, возобновляя прерванный разговор.

– Любопытно, – заметил Мосс, выдыхая пухлый клуб дыма, и, проследив за тем, как он тает в воздухе, продолжал. – Американка – и здесь. Вряд ли она чувствует себя комфортно.

Стенхэм придержал язык, уверенный, что Мосс хочет поддеть его.

– Вообще она славная и даже неглупа, – продолжал Кензи. – Вчера я видел, как она сидит одна в саду и читает. Мы разговорились, и я сказал ей, что вы здесь, – он взглянул на Стенхэма, – и она ответила, что слышала о вас. Я подумал, будет забавно, если все четверо фесцев, говорящих по-английски, устроят грандиозную встречу.

– Не забывайте миссионеров и консула с супругой, – посоветовал Стенхэм.

– Я сказал «людей», – Кензи был заклятым врагом британского консула: отношения испортились из-за кипы затерявшихся писем. Стенхэм и Мосс хорошо знали эту историю.

– Жаль, что вы мне не сказали, что ждете гостей, – опечаленно произнес Мосс. – Дело в том, – он повысил голос, – что я голоден, как волк, а знай я, что будет кто-нибудь еще, позавтракал бы поплотнее. Но где она?

– Будет с минуты на минуту, – заверил Кензи.

– Между прочим, – сказал Стенхэм, – коллекция граффити на вашей машине пополнилась, пока вас не было. Я имею в виду слово «Мохаммед», написанное несмываемыми чернилами прямо на брезенте. Мне удалось схватить негодника на месте преступления.

– Надеюсь, вы задали ему хорошую взбучку, – сказал Кензи.

– Нет, сказать по правде, нет.

– Хорошая затрещина способна творить чудеса. Этого они не забывают.

– Возможно, – ответил Стенхэм, – но потом явится другой, не удостоившийся подобной милости. Одними затрещинами всю страну не перевоспитаешь.

– И все же, – мечтательно произнес Мосс, – это необходимо в качестве хорошей остратки.

– О какой остратке вы говорите? – не удержался Стенхэм. – Вы прямо как какой-нибудь лидер Истиклала. Почему

вы так уверены, что они обязательно должны что-нибудь на-творить? Неужели нельзя просто оставить их в покое и по-зволить им жить так, как они привыкли?

– Нет, мой дорогой друг, – улыбнулся Мосс. – Вы и сами прекрасно знаете, что нельзя.

Окинув взглядом сад, Стенхэм подумал, что это слиш-ком красивое место, чтобы портить его ненужными спора-ми. И любезно обратился к Моссу:

– Мой вопрос носил чисто риторический характер. Пра-во, вы хуже моей жены. Она вечно считала, что любой воп-рос требует ответа.

Мосс прочистил горло и подозвал официанта, который обрывал засохшие листья лозы, со всех сторон обвивавшие чайный домик.

– Бутылку розового «Сиди Брахим», и, пожалуйста, на-кройте стол и принесите лед, чтобы охладить вино. На пер-вое у нас бастела. Как она сегодня?

– *Magnifique, monsieur*, – важно ответил официант.

– *Magnifique, eh?*¹ – иронически откликнулся Мосс.

Официант бросился выполнять заказ. Стенхэм мельком взглянул на Кензи – посмотреть, как онотреагирует на нервозность Мосса. Кензи внимательно разглядывал кончик своей сигареты. Аист медленно проплыл в небе над ними, неподвижно раскинув крылья, паря, подхваченный невидимым воздушным потоком. Из стоявшего в чайном домике громкоговорителя неслись загадочные такты берберского танца: скрежет *ребаба*, взволнованность *гуинбри*² и по-детски высокие голоса горцев, затеявших гортанную переключку под неровный, скачущий аккомпанемент.

Мосс действительно во всем поддерживает французов, думал Стенхэм. Как и они, Мосс отказывался рассматривать

1 Великолепная, мсье. – В самом деле? (*фр.*)

2 Ребаб – смычковый инструмент, похожий на скрипку. Гуинбри – щипко-вый инструмент, наподобие лютни.

современную марокканскую культуру, пусть и пришедшую в упадок, как нечто определенное, реально существующее. Наоборот, она кажется ему случайным пережитком минувших столетий, ныне пребывающим в переходном состоянии; Мосс полагал, что народ нуждается во временном руководстве, чтобы жизнь хоть немного улучшилась. «А именно, – не без горечи подумал про себя Стенхэм, – чтобы они перестали быть марокканцами». По сути, французы держались тех же взглядов, что и националисты, расхождения у них были чисто поверхностные, но Стенхэм начинал подозревать, что эти кажущиеся расхождения есть не что иное, как часть гигантского макиавеллевского трюка, осуществляемого под покровительством французских и марокканских чиновников-коммунистов: прекрасно зная, что любым переменам должно предшествовать недовольство, они готовы были ввергнуть страну в бездну гражданской войны, чтобы это недовольство разжечь. Методы и цели Истиклала принципиально ничем не отличались от марксистско-ленинских, это стало ему совершенно ясно после того, как он прочел некоторые из их публикаций и побеседовал с членами организации и сочувствующими. Однако не было ли неизбежностью то, что любое движение в сторону независимости в колониальной стране, особенно такой, где феодализм сохранился практически нетронутым, должно было ступить на этот путь?

Ему часто доводилось слышать жалобы вроде: «Америка нам не помогла». Это было лишь начало устрашающе длинного обвинительного приговора, конечный смысл которого казался ему ужасающим. Время шло, и ненависть к Франции и Америке росла день ото дня, внушенная всем слоям общества специально отряженными для этого умными молодыми циниками. И все же, он никак не мог принять чью-либо сторону в этом противостоянии, так как всякий раз, когда пытался продумать ситуацию до конца, выяснялось, что никакого противостояния нет и в помине: словно обе

стороны рука об руку трудились для достижения одних и тех же зловещих целей.

«Неужели Мосс прав, и я закоренелый реакционер?» Ключевой вопрос, по мнению Стенхэма, состоял в том, должен ли человек подчиниться природе или попытаться командовать ею. Мосс утверждал, что ответ давным-давно найден: суть человека сводилась к тому, чтобы повелевать. Но для Стенхэма подобный ответ звучал пустой фразой. Для него мудрость заключалась в радостном и сознательном подчинении природным законам, хотя, когда он сказал об этом Моссу, тот только участливо рассмеялся: «Милый мой, – сказал он тогда, – мудрость – примитивное понятие. Сегодня нам, прежде всего, нужно знание». Только великое разочарование могло заставить человека говорить подобные вещи, подумал про себя Стенхэм.

Чтобы не нарушать течения своих мыслей, он прикрыл глаза и откинул голову, чтобы со стороны казалось, что он прислушивается к разговору. Может быть, так удастся еще хоть несколько секунд побыть наедине с собой. Однако скоро стало очевидно, что именно попытка на миг незаметно отключиться выдала его, и теперь его тянут обратно. Разговор Кензи и Мосса назойливо вторгся в его слух; полотняный шезлонг, солнце, заливающее сад, трепещущие тополя снова стали явственными и ощутимы.

– Вы, случаем, не уснули? – поинтересовался Мосс. Прежде чем открыть глаза, Стенхэм вынудил себя снисходительно улыбнуться:

– Нет, просто наслаждаюсь обстановкой.

– Помнится, вы сегодня приглашены к Си Джафару на один из этих бесконечных ужинов, верно?

– Ну вот и понаслаждайся тут с вами. Зачем вы мне об этом напомнили?

– Не думал, что вы об этом забыли, а упомянул потому, что собирался поговорить о Си Джафаре и хочу заранее

попросить вас никому это не пересказывать. – Взгляд Мосса, устремленный на Стенхэма поверх очков, утратил серьезность, и он улыбнулся. – На редкость нелепая история, но я думаю, что вам с Хью понравится. Вчера мы случайно встретились со стариком в Виль Нувель, и я пригласил его посидеть со мной в «Версале». Он заказал один из этих ваших отвратительных американских напитков – заморскую аптечную бурду под названием «Типси-Кола» или что-то вроде – и так трепетно держал стакан, будто это был, по меньшей мере, арманьяк. Час спустя он все еще потягивал ее мелкими глоточками и, разумеется, говорил, говорил и говорил без умолку на своем немислимом французском.

– О чем? – спросил Кензи.

– Ах, о разных скандалах с весьма сочными подробностями, прежде всего – о французах. И немножко о марокканцах. Они неподражаемы, эти фесцы.

– Надеюсь, он рассказал вам немало забавного.

– И даже очень, – рассеянно ответил Мосс. – Под конец нашей беседы мне удалось, одному Богу ведомо как, взять нити разговора в свои руки настолько, чтобы подвести его к весьма деликатной теме Мулая Абдаллаха. Я начал с того, что спросил Джафара, знает ли он, сколько проституток обитает в этом квартале. Его пороссячы глазки стали еще меньше, и он начал потирать руки, да с такой силой, что, мне показалось, вот-вот сдерет с них кожу. «*Oh lá*, месье Мусс! – простонал он, наконец. – Прошло уже столько лет с тех пор, как я последний раз посетил наш знаменитый квартал... вы меня понимаете...» Старый греховодник! Я слышал, он бежит туда каждую неделю. Потом я спросил, как он думает, сколько там все же проституток – тысяч пять, а может, все двадцать. Он снова принялся потирать руки, но на сей раз не так яростно – больно ведь все-таки. «Ах, месье Мусс! Никто из моих знакомых никогда не пробовал подсчитать, сколько именно там этих несчастных девушек!» Вот вам небольшой пример

того, с какими непредсказуемыми трудностями приходится сталкиваться, если хочешь поговорить со старой лисой.

Стенхэму карикатурное изображение Си Джафара показалось неубедительным, хотя и вполне узнаваемым, слишком многое в этом человеке осталось незатронутым.

– Но меня не так-то легко сбить, – продолжал Мосс. – Я пустился в дальнейшие расспросы, не ведая жалости и стараясь разузнать то, что меня больше всего интересовало, прежде чем появится кто-нибудь из его друзей и все мои старания пойдут насмарку. Наконец мне удалось добраться до возраста, я упомянул маленькую Хему и мою божественную крошку Хаддудж и ясно дал понять, что особы старше пятнадцати – не для меня. В этот момент улыбка на его старом лице буквально сочилась патокой, и он уже просто ласково и сладострастно поглаживал свои пальчики. «О, вы правы, правы, месье Мусс! Эти малышки – поистине бесценные жемчужины. У нас про них говорят, что они подобны первым нежным побегам пшеницы, которые возвещают о том, что жизнь вернулась на землю» – или какую-то ахирию в этом роде. Вряд ли мне удастся припомнить все, что он говорил, потому что его было уже не остановить, в такое упоение его привел оборот, который принял наш разговор, и он принялся восхвалять деревья в цвету, раннее отрочество, половодье рек, молодых голубков, которые еще только учатся летать, причем все – абсолютно безлично, так что, как я теперь понимаю, именно я выложил все, он же не сказал ровным счетом ничего, ничегошеньки. Тут я закинул удочку насчет того, что, как вы сами понимаете, найти здесь натурщицу чертовски трудно, такое разве что во сне может присниться, только вот если в квартале Мулая Абдаллаха, хотя и там это почти невозможно. А он все кивал и поддакивал: «О да, конечно, понимаю... Ах, да, в квартале Мулая Абдаллаха... Разумеется, почти невозможно, вы совершенно правы». Так что, в конце концов, пришлось мне поставить вопрос ребром. «Си Джафар, – спросил я, – как вы

полагаете, сможете ли вы, используя свое влияние, достать мне натурщицу?» И тут эта старая образина просто закрыла глаза, как кот, которого чешут за ухом. Он уже успел нацепить обе пары своих очков, да еще этот белый шелковый кашюшон поверх фески, так что кот из него получился презабавный, уверяю вас. Наконец он открыл глаза и изрек: «Я понимаю, месье Мусс, с какими трудностями вам приходится сталкиваться. Лично вы мне симпатичны. Я бы даже сказал, очень симпатичны, и, уверяю вас – чего бы мне это ни стоило, – натурщица будет у вас ровно в девять часов завтра утром». Именно это мне и хотелось услышать, и я решил, что это всего лишь дипломатический ход, дабы сменить тему.

Стенхэм вяло слушал болтовню Мосса. Всякий раз, когда двое англичан разговаривали в его присутствии, он чувствовал – разумеется, достаточно безосновательно, – что ему очень деликатно не дают принять участие в их беседе. Кроме того, поскольку он сам первый свел Мосса с семейством Си Джафара, он не мог одобрить намерения Мосса подтолкнуть старика к сводничеству. Тем не менее, рассказы Мосса никогда не были откровенно скучны, так как всегда следовали четко выверенной схеме. Так что волей-неволей он продолжал слушать. Внезапно, прежде чем история успела подойти к концу, он понял, чем все обернется. «Моя новая модель – чудовище!» – припомнилась ему утренняя записка Мосса. А вслед за ней и согбенный уродливый старец, которого он повстречал во дворе гостиницы. Почувствовав нечто вроде восхищения Си Джафаром, Стенхэм ухмыльнулся. Мосс взглянул на него с упреком.

– Злодей! – воскликнул он. – Не вздумайте испортить мне весь эффект!

– Ладно. Извините. – Стенхэм решил больше не смеяться вслух и сидел, просто улыбаясь. История закончилась точь-в-точь, как он и предвидел: старец и оказался моделью, которую прислал Си Джафар.

– Бесподобно, – сказал Кензи.

– Мне это кажется вполне цивилизованным развлечением, – сказал Стенхэм. Ему не хотелось, чтобы между Моссом и Си Джафаром разгорелась вражда: здесь, где круг знакомых и без того крайне узок, любая распря могла до крайности осложнить жизнь. – На самом деле это всего лишь шутка, но в тысячу раз более тонкая, чем наши, вам так не кажется?

– Нет, – возразил Мосс, поворачиваясь в кресле и ища взглядом официанта. – Мне это представляется больше, чем шуткой. Они ведь, знаете, никогда не шутят. Похоже, это было задумано как решительный отпор. Но в том-то все и дело: вы можете ломать себе над этим голову еще лет десять и так ни к чему и не придете. В следующий раз, когда мы повстречаемся, старая лиса будет держаться невинно, как новорожденный младенец. И ничего с ним не поделаешь. Должен сказать, все это довольно изнурительно.

– Но вот что больше всего забавляет меня, – не сдавался Стенхэм, – так это нотка безумия, которую они способны привнести во что угодно, не успеешь и глазом моргнуть. Помнится, однажды я столкнулся с владельцем гостиницы в медине и остановился на минутку поговорить с ним. Вы ведь знаете, я никогда не захожу в контору, а потому мы встречаемся только где-нибудь на улице, а такие встречи, само собой, располагают к небольшим рассуждениям о погоде. Именно этим мы и занимались, как вдруг подходит некий вполне уважаемый господин и говорит по-французски: «Pardon, messieurs, насколько могу судить, вы беседовали о янтаре. Позвольте поинтересоваться, о чем шла речь: об обработанном янтаре или янтаре в его природном виде?» Ну, что вы на это скажете?

Похоже, Мосс не увидел никакой связи между своей историей и тем, что произошло со Стенхэмом.

– Да, действительно, что? – рассеянно ответил он, снова вертя головой в поисках официанта.

В дальнем конце сада распахнулась калитка, и день, и весь сад внезапно приобрели какой-то новый смысл, пока девушка

стремительно сбегала по ступенькам. Все, что мгновение назад представляло завершённый в себе космос, вдруг отступило на задний план, превратилось в декорацию, на фоне которой отныне предстояло перемещаться главному персонажу. Ей было немногим более двадцати, и одета она была в белую шелковую блузку и белые брюки. Мужчины встали, когда она приблизилась к ним, легким шагом огибая столики и кресла.

– Очаровательна, – пробормотал Мосс, но так тихо, что его практически никто не услышал.

Она принадлежала к той счастливой породе женщин, которые могут быть уверены в своей привлекательности при любых, даже самых неблагоприятных обстоятельствах; ее манера держаться и походка ясно давали понять, что она это знает. Кроме того, Стенхэм почувствовал, что она считает это настолько очевидным, что не придает этому особого значения. Когда она подошла, он еще раз мельком взглянул на пронизанную солнцем, колышущуюся под ветром листву. Потом услышал, как Кензи произнес: «А это ваш соотечественник, мистер Стенхэм. Мадам Вейрон».

Официант, появившийся в саду вслед за женщиной, в первые минуты разговора держался позади, на почтительном расстоянии. И снова Мосс подозвал его и нетерпеливо потребовал накрыть стол.

– Если я заставила вас ждать, – сказала мадам Вейрон, – то вините во всем этот город. Вряд ли для вас это будет нове, но я начинаю бродить по этим *суксам* и просто не могу остановиться. Они завораживают.

– Такое не может надоест, – заверил ее Стенхэм. – По крайней мере, тем, кому это нравится. Но нравится, разумеется, не всем.

Мадам Вейрон облокотилась о столик и наклонилась вперед.

– Нет, правда, неужели кто-то способен не любить этот город?

– О, поверьте, очень многие! – рассмеялся Кензи. – Так или иначе, его не отнесешь к числу излюбленных туристами мест. Когда впервые попадешь в него, он, я бы сказал, несколько подавляет.

Мадам Вейрон призадумалась, серьезное выражение лишь подчеркнуло ее красоту.

– Подавляет? Да, конечно. Но разве нам всем не хочется время от времени ощутить себя подавленными?

– Разумеется, – согласился Мосс. – Если ненадолго, то в этом даже есть своя приятность. Но как только перестаешь благоговеть перед лабиринтами улиц или нетронутой законченностью средневекового уклада, даже если в подобном городе обнаружатся еще какие-то привлекательные стороны, он неизбежно утрачивает свою способность подавлять и становится просто-напросто чертовски скучным, так мне кажется. Поэтому-то туристы приезжают сюда на денек-другой и едут дальше. И, признаюсь, я им премного за это благодарен.

– Ну ладно, – вдруг сказала она как-то очень запросто, по-американски (по мере того как она говорила, Стенхэм подмечал эти нотки – напоминание о той части света, где она выросла и где сложилась ее речь), – я пробыла здесь три дня и, надеюсь, вы поверите мне, если я скажу, что думаю, – а я действительно так думаю – что обнаружила в этом городе достаточно неприглядных сторон, чтобы зачислять меня в безоговорочные поклонницы Феса. – Сложив руки на груди, она вся как-то ссутулилась, точно маленькая девочка. – Это так захватывающе! – Из кармана брюк она вытащила пачку «Каса Спорт».

– Лучше возьмите вот эти, – сказал Кензи.

Она яростно замотала головой.

– Нет, нет. Мне нравится черный табак. Он здесь очень к месту. Стоит почувствовать его вкус, и я сразу вспоминаю здешние запахи – как пахнет кедр, мята, фиговые пальмы – и все остальные дикие, чудесные запахи. Дома, в Париже, я всегда курила «Голуаз», но эти – совсем другое дело. Совершенно иной

вкус. – Сделав пару затяжек, она повернулась к Кензи. – Должна вам кое в чем признаться. Я отругала провожатого, которого вы мне подыскали, и сама наняла другого – он хоть, по крайней мере, может нормально ходить. Ваш старина Санта-Клаус никак не мог за мной угнаться. Вечно тащился где-то за мною сзади, отдувался и таращил глаза, как безумный. Короче, он меня возненавидел. Мне пришлось от него отделаться.

Вид у Кензи был недовольный, но он ограничился тем, что сказал:

– Вот как? Смотрите, вам следует быть осторожней.

Мадам Вейрон взглянула на Стенхэма, ища у него поддержки.

– Вы тоже так считаете, мистер Стенхэм? Мне говорили, вы знаете это место вдоль и поперек, а жителей видите насквозь.

Стенхэму не захотелось пикироваться с Кензи из-за того, что тот представил его таким всезнайкой.

– Девушке лишняя осторожность не повредит, – с усмешкой ответил он.

– А вы, мистер Мосс, что скажете? – продолжила мадам Вейрон, явно забавляясь этой игрой.

– О, я думаю, что если это профессионал, то на него вполне можно положиться.

– Нет. Я спрашиваю в принципе. Вы думаете, мне одной опасно бродить по городу?

– Видите ли, в старые добрые времена это было очень тихое место, но теперь, конечно... Они действительно – страшные фанатики.

– Вы просто шайка старых ворчунов, – жалобно произнесла мадам Вейрон.

Мосс и Кензи едва заметно внутренне подобрались и одновременно взглянули на Стенхэма – удостовериться, задевает ли его этот тон. Подобное замечание было явно не совсем уместно в первые минуты знакомства. Стенхэм предпочел не раскрывать свои чувства и решил сменить тему.

Пока все ели бастелу, которой мадам Вейрон не переставала восторгаться (слоеное тесто и мелко нарезанные голубиные грудки, приготовленные на пару, были и впрямь отменны), Мосс принялся рассуждать об изворотливом складе ума туземцев, приведя в пример приключившуюся с ним анекдотическую историю. Затем возник вопрос – какое выбрать вино. Мосс настаивал на розовом, но какой-нибудь другой марки, Кензи считал, что больше подойдет белое.

– С бастелой не пьют вино, – возразил Стенхэм.

– Что за чушь! – оборвал его Мосс. Он хлопнул в ладони, и на этот раз официант явился в мгновение ока. – Une bouteille de Targui rosé¹, – обратился к нему Мосс. – Вы сами убедитесь, – обратился он к мадам Вейрон. – Вино с бастелой – лучше не бывает. – А обращаясь к Стенхэму, сказал: – В вас, оказывается, есть пренеприятная пуританская жилка.

– Ну, какой же я пуританин? Скорее, пурист. По-моему вино и арабская кухня несовместимы.

– Правда? – спросила мадам Вейрон с любопытством человека, узнавшего далеко не общеизвестную истину.

Мосс проигнорировал ее замечание.

– Нет, я именно и хотел сказать, что в вас есть нечто пуританское. Дорогой мой, я наблюдаю за вами уже довольно долго и пришел к выводу, что вы не выносите, если кто-то рядом испытывает радость жизни. Вас раздражает, даже когда люди с удовольствием едят. Зато от пресной и скудной еды вы наверху блаженства. Я следил за вами, дружище. Всякий раз, когда нам приходилось довольствоваться какой-нибудь жалкой похлебкой, вы воспаряли духом. Пренеприятная черта.

– Вы сильно заблуждаетесь, – ответил Стенхэм, стараясь, чтобы его голос звучал непринужденно. Однако внутренне он обеспокоился. В словах Мосса была какая-то доля правды, но дело обстояло не так просто – истина лежала где-то посередине. Скорей всего причина таилась в чувстве

¹ Бутылку розового «Тарги» (фр.)

самосохранения. Он не мог почувствовать себя вполне раскованно в компании гурманов и гедонистов, эта порода людей была ему враждебна.

– Почему вы никогда не пьете? – мягко спросил у него Кензи.

– Потому что от вина мне плохо. Неужели вам недостаточно такого объяснения?

– Не верю, – отрезал Мосс.

Стенхэм досадовал на себя, он чувствовал, что сам виноват в том, что разговор превратился в подобие допроса. Ему казалось, что, отвечая на такой вопрос, следовало быть более воинственным и не пытаться придерживаться строгой логики, чтобы не показывать свои слабости мадам Вейрон. Словно он продемонстрировал друзьям свои бицепсы, и ему посоветовали почаще делать гимнастику. Уже много лет ему задавали один и тот же вопрос, он же считал это сугубо личным делом, которое не должно интересовать никого кроме него самого. «Так вы не пьете? Даже вина? Но почему?»

– Хватит меня постоянно поддевать, – сказал он, несколько повышая голос. – У нас в Америке это называется «удар ниже пояса». Понимаете?

Теперь он в упор глядел на Мосса.

– Вполне! А позвольте спросить: что вы называете ударом выше пояса?

– Примеров можно найти сколько угодно, – невозмутимо ответил Стенхэм.

Судя по всему, тон его задел Мосса, и он не отставал:

– Каких же?..

– Вам бросили перчатку, мистер Стенхэм, – сказала мадам Вейрон.

Стенхэм резко отодвинул свою тарелку; собственно, он уже успел все доесть, но этот драматический жест нужен был ему как сопровождение к тому, что он собирался сказать. Внезапный порыв южного ветра пронесся над садом, неся с собой влажный запах речной долины. Затрепыхавшись на

ветру, край скатерти накрыл стоявшую на столе посуду. Кензи приподнял его и водворил на место.

– Ну, например, надо пореже совать нос в чужую жизнь. В конце концов, мысли человека принадлежат только ему самому. Пока еще не изобрели способа делать ум прозрачным.

– Но мы говорим вовсе не о мыслях, – раздраженно произнес Мосс. – Мой дорогой Джон, вы куда больше англичанин, чем сами англичане. Вас совершенно невозможно понять. Вы вобрали в себя все английские пороки и, насколько могу судить, очень немногие добродетели, которые обычно ожидаешь встретить в американце. Иногда мне кажется, что вы притворяетесь. Просто не верится, что вы действительно американец.

Стенхэм взглянул на мадам Вейрон.

– Может, хоть вы за меня поручитесь?

– Само собой, – улыбнулась она, – но держу пари, что вы из Новой Англии.

– Что вы хотите сказать этим «но»? Конечно, я из Новой Англии. Я – американец, и к тому же из Новой Англии. Помнится, в одном затерянном в джунглях городишке в Никарагуа я как-то встретил француза. Он был там хозяином единственной гостиницы. «Вы француз, мсье?» – спросил я его. И он ответил: «Monsieur, Je suis même Gascon»¹. Я даже гасконец и хочу, чтобы мои финансовые дела оставались моим личным делом. Равно как и мои политические и религиозные убеждения. Все это – удары выше пояса. Но только если это остается моим личным делом.

– Мир движется совсем в ином направлении, – сухо ответил Мосс. Он очистил апельсин и, поделив на дольки, принялся поедать. – Вам следует быть более гибким и приготовиться к переменам. Вы противоречите здравому смыслу, – добавил он без особой убежденности, словно не уверенный, имеет ли это отношение к разговору.

¹ «Мсье, я даже гасконец» (фр.).

– Я понимаю, что имеет в виду мистер Стенхэм, – неожиданно улыбнувшись, заявила мадам Вейрон. – Простите, я отлучусь на минутку. Мне нужно подняться к себе в комнату. Я сейчас же вернусь. Не хочу ничего пропустить.

Все встали, держа салфетки в руках.

– Все уже кончилось, – многозначительно произнес Стенхэм. – Вы в любом случае ничего не пропустите.

Мосс важно кивнул.

– Не люблю видеть людей, настолько неподготовленных к будущему. Разница между нами, друг мой, в том, что я верю в будущее. – (В будущее и еще в пару-другую миллионов прибыли, подумал Стенхэм.) – Будущее может нагрянуть со дня на день, и вы окажетесь к нему не готовы.

К столу вернулась мадам Вейрон, на ней была белая полотняная шляпка.

– Побайваюсь этого солнца, – объяснила она. – Оно ужасно коварное, у меня уже есть опыт по этой части.

– Обгореть на солнце – скверная штука, – согласился Мосс.

– Нет, за кожу я не боюсь и могу загорать сколько угодно. Но солнечный удар со мной может произойти запросто. Было еще ничего, когда рядом находился Жорж, мой муж, но, когда я оставила его и начала шляться по свету одна, это было уже не смешно. Так странно лежать одной с температурой и в бреде и знать, что за тысячу миль кругом нет ни единой души, которой не все равно, жива ты или нет. А я действительно чуть не умерла в прошлом году на Кипре. Доктор, которого я вызвала, заставлял меня глотать аспирин горстями, а когда увидел, что он не помогает, отправился посоветоваться с одной старухой – как потом выяснилось, местной знахаркой.

– Ну, во всяком случае, вам удалось выкарабкаться, – сказал Стенхэм.

– Да вроде бы, – улыбнулась мадам Вейрон. – По крайней мере, свое снадобье старуха варила в лачуге где-то на краю города. Так что мне ни разу не пришлось ее увидеть.

– Бесподобно! – воскликнул Кензи и рассмеялся, как показалось Стенхэму, несколько неестественно.

– Не хотите ли посмотреть чайный домик изнутри? – обратился он через минуту к мадам Вейрон. – Весьма любопытно. А вы, тем временем, не закажете ли кофе, Аллан?

И оба двинулись к чайному домику, причем мадам Вейрон останавливалась на каждом шагу, чтобы разглядеть какой-нибудь цветок или ветку дерева.

Стенхэм раскинул свой шезлонг и устроился в нем почти лежа, глядя в синее полуденное небо.

– Бастела – блюдо, которое мой желудок переварить не в силах, – произнес он сокрушенно. Дрема – неизбежное следствие столь ранней трапезы – давала о себе знать. При этом Стенхэм не то чтобы чувствовал сонливость – скорее, крайнее нежелание куда-либо двигаться или о чем-либо думать. Перед его мысленным взором появлялись отдаленные уголки города: каменные арки мостов над пенящейся рекой, цапли, бродящие по мелководью среди камышей и тростников, крохотные поселки, недавно выстроенные бедняками на дне старых каменоломен, – стоя наверху и глядя прямо вниз, можно было разглядеть хибарки, теснящиеся наподобие городских кварталов; их обитатели не были так уж бедны: на террасах проветривались оранжевые и фуксиново-красные ковры, женщины сидели во внутренних двориках, прячась в завоях тени от ядовитых лучей солнца, и били в глиняные барабаны. Он видел входы в просторные пещеры бывших каменоломен, скрытые разросшимися дикими фиговыми деревьями; в гулких подземных покоях, соединенных длинными коридорами, царила прохлада, зеленоватый свет проникал в глубокие шахты, пробиваясь сквозь густую листву. Вековое безмолвие застоялось в них: никто не осмеливался проникнуть в эти лабиринты – разве что какой-нибудь скрывающийся от закона изгой, которого не пугали джинны, населявшие подобные места. Стенхэм любил эти странные

безлюдные уголки за городскими стенами, куда сами фесцы единодушно не советовали ему заглядывать. Впрочем, он воспринимал их красоту лишь, когда думал, как они далеко, как нарушают ощущение скученности, царящее в медине. Именно знание, что где-то там внизу лежит многолюдный город, замкнутый со всех сторон высокими стенами, и делало прогулки по холмам и вдоль скалистых хребтов столь упоительными. И пусть они будут там, думал он, а я здесь – ничем не скованный, свободный.

Скоро Кензи и мадам Вейрон вышли из чайного домика, любезно беседуя на ходу. Официант принес кофе (хотя Стенхэм даже не заметил, когда собственно Мосс успел сделать заказ), вяло возобновился общий разговор, составленный из отрывочных реплик и рассеянных, хотя и вежливых ответов. Беседа явно угасала, потому что каждому хотелось немного посидеть молча. Но, конечно, молчать тоже было немыслимо и приходилось через силу разговаривать.

В не столь уж отдаленном будущем нас всех ожидает много интересного, пообещал Кензи. Хотя Касабланка и была сейчас средоточием активности, во главе сопротивления французской власти стоял Фес, и правительство было готово вот-вот обрушиться на здешних бунтовщиков. Однако это будет чрезвычайно серьезный шаг, так как неизбежно повлечет за собой массовые аресты. Концентрационные лагеря предусмотрительно расширили, чтобы в нужный момент все было в полной готовности. Все это предназначалось в основном для ушей мадам Вейрон, однако должной реакции так и не последовало. Она лишь время от времени вставляла: «О!», или «Да, да, я понимаю», или «Боже мой!», но не больше. «Его все это восхищает, – печально думал Стенхэм. – Он хочет своими глазами увидеть, как придет беда». Кензи совершенно недвусмысленно давал понять, что он на стороне марокканцев. Стенхэма такой простой выбор не устраивал. Он чувствовал, что невозможно сказать, на чьей стороне прав-

да, поскольку, рассуждая логически, обе стороны заблуждались. Он мог сочувствовать разве что тем, кто оставался в стороне от схватки: крестьянам-берберам, которые просто хотели жить так, как привыкли, и с чьим мнением никто не считался. Они были обречены страдать, независимо от того, кто выиграет борьбу за власть, поскольку власть, в конечном счете, была только лишь возможностью распоряжаться плодами их труда. Ему было невыносимо слушать взволнованный рассказ Кензи об оружии, которое полиция нашла в домах богатых жителей медины, или о том, что, по слухам, последователи Си Мохаммеда Сефриуи плетут сейчас в одной из зловонных келий медресе Сахриджд какой-то новый заговор. Все это ровным счетом ничего не значило. Несчетное множество раз великий средневековый город захватывали с помощью силы или стратегических хитростей, когда-нибудь его снова захватят, с той лишь разницей, – чего как раз и боялся Стенхэм, – что после этого он навсегда перестанет быть самим собой. Несколько бомб превратят его хрупкие, вручную возведенные стены в гору белой пыли, и уже никогда не возродится этот зачарованный, укрытый от течения времени лабиринт, по которому он так часто бездумно бродил, где всё, попадавшееся на глаза, говорило о том, что он нашел дорогу в прошлое. Когда этот город падет, с прошлым будет покончено. Как только прогремит первый взрыв, через тысячелетний временной провал в считанные доли секунды будет переброшен прочный мост, и с этого мгновения до того, как преображенный центр бывшего величия заблестит бульварами и многоэтажными домами, все произойдет само собой, автоматически. Страдания, победа или поражение, годы восстановления разрушенного – все это будет совершенно бессмысленно, совершится без участия чьей-либо воли, пока однажды кто-нибудь не сообщит, что древний город умер в ту самую минуту, когда взорвалась первая бомба.

Более того – никому не будет до этого никакого дела. Пожалуй, даже можно было сказать, что в каком-то смысле город уже умер, так как большинство его жителей (и молодежь, безусловно, не являлась исключением) ненавидели его, а все их помыслы сводились к тому, чтобы стереть его с лица земли и выстроить взамен нечто более соответствующее тому, что они считали запросами сегодняшнего дня. Фес так немислимо отличался от всех других городов, которые они видели в кино, и без преувеличения был самым древним и ветхим из городов Марокко. Они стыдились его переулков и туннелей, глинобитных стен и соломенных крыш, жаловались на сырость, грязь и болезни. Они хотели бы снести замкнутые его стены и проложить через оливковые рощи широкие проспекты, по которым без конца сновали бы автобусы, а по сторонам тянулись бы ряды огромных многоквартирных домов. К счастью, французы, объявив весь город *monument historique*¹, на время сделали подобные планы неосуществимыми.

Проекты всех новых сооружений должны были представляться на рассмотрение в Академию изящных искусств; при любом отклонении от традиционного стиля на проект налагался запрет.

– В одном следует отдать французам должное, – произнес он не без удовольствия, – им удалось сохранить Фес в неприкосновенности.

Однако он сам нередко чувствовал, что, возможно, сохранилась только архитектура, а радость жизни давно покинула это место, город безнадежно болен.

Неожиданно мадам Вейрон поднялась.

– Мне очень жаль, джентльмены, – сказала она, подавляя зевок. – Все было совершенно замечательно, но я просто засыпаю. Пойду прилягу и устрою себе небольшую сиесту.

¹ Памятник архитектуры (*фр.*).

– Я надеялся, что еще смогу показать вам сады, – разочарованно произнес Кензи.

Все двинулись в сторону калитки.

– Почему бы вам не позвонить мне из гостиницы после пяти? У нас еще хватит времени?

– Будет быстрее, если я просто навещу вас.

Мадам Вейрон сделала вид, что сомневается, но Стенхэм успел заметить вспышку негодования в ее взгляде.

– Ну что ж, – сказала она, растягивая слова, – тогда вам придется немного подождать, пока я соберусь.

Да, она уж заставит его подождать, подумал Стенхэм. И вдруг решил сам попытать судьбу.

– А почему бы вам всем не выпить завтра со мной по чашке чая? – спросил он. – Мы могли бы зайти в какое-нибудь небольшое кафе.

Компания уже успела подняться по ступеням и остановилась перед входной дверью. Кензи отозвал в сторону официанта, чтобы расплатиться.

– Вот будет здорово. Я согласна, – сказала мадам Вейрон.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

На следующее утро у Стенхэма слегка разболелась голова. Еда у Си Джафара на этот раз была очень тяжелая, в результате он плохо спал и часто просыпался с малоприятным ощущением, что у него расстроен желудок. Бастела днем, а вечером баранина с лимоном и миндалем, утопавшая в подливке из горячего оливкового масла, и этот вязкий, сыроватый хлеб, сдобренные шестью стаканами мятного чая – такого сладкого, что он буквально лип к гортани... Чем больше почестей они хотят вам воздать, тем более несъедобную еду готовят, не скупясь на сахар и масло.

День выдался неистово яркий, пронизанный солнечным трепетом. Небо слепило, куда бы он ни смотрел, не отрывая головы от подушки. Голуби, свившие гнезда где-то возле его окон, благобно ворковали, и Стенхэма преследовало ощущение, что это тоже какие-то сахарные голубки, плавающие в яростных лучах утреннего солнца; даже если вскоре они превратятся в лужицы пузырящегося сиропа, воркование будет все так же доноситься до него. Он зевнул, потянулся и медленно выбрался из постели. Телефон висел на противоположной стене. Мосс считал это кошмарным неудобством. «Значит, вам приходится тащиться через всю комнату, чтобы заказать себе завтрак, – сказал он, впервые увидев подобное варварство. – Потребуйте удобный номер с хорошей ванной», – категорически посоветовал он. «Вроде вашего? – спросил Стенхэм. – Между прочим, ваш в четыре раза дороже моего. Вам это не приходило в голову?» – «Послушайте, Джон. При здешней дешевизне ваши расчеты никуда не годятся, – возразил Мосс. – Причем учтите, что у вас – доллары. Это мне с моими жалкими фунтами еще простительно несколько стеснять себя в средствах». Это была еще одна деталь их игры. Стенхэм прекрасно знал, что у Мосса одно из самых больших состояний в Англии и к тому же он владеет несколькими доходными

домами, кинотеатрами и гостиницами в точках, испещривших карту мира от Гаваны до Сингапура, включая некоторые города Марокко, куда Мосс постоянно совершал непродолжительные путешествия, именуя их «инспекционными поездками». Однако знал он и то, что Моссу доставляет острое наслаждение выдавать себя за бедняка, делать вид, что несколько миллионов фунтов вовсе не придают ему уверенности, поскольку, как он сам признался однажды, когда на него нашло исповедальное настроение, «это очень сковывает, уверяю вас, каждый ваш шаг, каждая мысль продиктованы подспудным сознанием, что существует это. В результате вы связаны по рукам и ногам». Тогда Стенхэм довольно резко ответил, что каждый располагает свободой в той мере, в какой к ней действительно стремится. Но на самом деле старательно поощрял притворство Мосса.

Стенхэм снял трубку, послышалось громкое металлическое гудение, прерванное волчком, после которого мужской голос произнес:

– Oui, monsieur¹.

– Я хотел бы заказать завтрак.

– Oui, monsieur, tout de suite².

Мужчина повесил трубку, и гудение возобновилось. Разъяренный Стенхэм дергал рычаг до тех пор, пока голос не объявился снова, на этот раз несколько раздраженный.

– Vous désirez, monsieur?³

– Я желал бы позавтракать, – ответил Стенхэм, подчеркнуто отчетливо выговаривая каждый слог, – Mais ce matin j'ai envie de boire du thé. Au citron. Vous avez compris?⁴

– Но я уже заказал для вас кофе, как обычно, – возразил голос.

1 Да, мсье (*фр.*).

2 Да, мсье, сию минуту (*фр.*).

3 Что желаете, мсье? (*фр.*)

4 Но сегодня я хочу чая. С лимоном. Понятно? (*фр.*)

– Измените заказ.

– Сделаю все возможное, – с достоинством ответил голос, – но боюсь, что это будет непросто, так как кофе уже варится.

– Я не собираюсь пить этот кофе, – резко заявил Стенхэм. – Я хочу чая.

Он повесил трубку в полной уверенности, что работать сегодня утром не сможет. Любое, даже самое незначительное происшествие, случившееся в этот час, становилось непреодолимым препятствием. Кровь тяжело пульсировала в висках. Запив две таблетки эмпирина холодной водой, он отпер дверь в коридор и снова лег передохнуть. Он понимал, что нелепо так думать, но любой день, когда ему не удавалось хоть немного продвинуться в работе над книгой, казался полностью потерянным. Тщетно доказывал он себе, что человек вряд ли может сделать писательство главным оправданием своего существования, пусть даже и верит в ценность своих сочинений. Проблема заключалась в том, что иных оправданий он не находил, таковым должна была стать работа. При этом он знал, несмотря на любые возражения по этому поводу, что она совершенно лишена всякой ценности и смысла; разве что своего рода терапия. «Хочешь-не-хочешь, а жизнь надо как-то прожить», – говорил он сам себе. А в разговоре с другими заявлял: «Писательство – безобиднейшее занятие, к тому же позволяет человеку держаться на плаву».

Чай принесла Раисса, у которой была наготове новая скорбная повесть. Неожиданно нагрянувшие родственники из деревни – целых семь человек – расположились у нее и, само собой, дико завидуя ее благополучию, вознамерились ее разорить. Они полностью завладели ее гардеробом: часть продали в Джотейе, а остальные вещи носили сами. Они разбили несколько ее тарелок и позволяли детям ковыряться в стенах. Но самое страшное, что они украли или выбросили ее бесценный порошок, и все потому, что как-то раз, позабывшись, она рассказала им о его магических свойствах.

В этом месте рассказа глаза ее сверкнули негодованием. Стенхэм наблюдал за ней, откинувшись на подушки, прихлебывал чай и думал о том, что, по крайней мере, две помехи совпали и было бы гораздо хуже, пришлось хлопоты с чаем на сегодня, а волнующее повествование Раиссы – на завтра. Когда Раисса наконец умолкла, он сказал с напускным негодованием, которому успел научиться за долгие годы общения с местным населением:

– Менèне jaou? O allèche?¹ Почему ты не выставишь их вон?

Раисса печально улыбнулась. Какое там – об этом и речи быть не может. Все-таки родственники. Вот и приходится как-то с ними ладить. А через недельку-другую уедут, если, конечно, Аллах этого пожелает. Пока же ей придется кормить их и молчаливо сносить их скверные выходки.

– А ты сама к ним когда-нибудь ездила? – спросил Стенхэм.

Раисса презрительно покачала головой. Это зачем еще? Ведь они живут в деревне, очень далеко, так что после автобуса нужно еще добираться на осле, а деревня в нескольких часах пути от дороги.

– Но если б ты все же поехала, то разве не делала бы тоже самое: ела их еду и вела себя как дома?

Раисса тихонько рассмеялась. Подобная наивность представлялась ей нелепой. Во-первых, объяснила она, как только родственники увидят, что ты приехал, они тут же припрячут всю еду. И потом никто и никогда не ездил к своей деревенской родне, разве что из-за какой-нибудь важной свадьбы или когда кто-нибудь умер и речь идет о наследстве, а так – зачем ездить в деревню? Пусто там все и голо, не на что поглядеть. Если все же ездили, приходилось тащить с собой еду из города.

– Но это же глупо, – возразил Стенхэм. – Все продукты поступают в город из деревни.

¹ А откуда они приехали? И зачем? (афаб.)

– Nachouma, – ответила Раисса, покачав головой. (Это был классический марокканский ответ, который, как и «Нагам», являлся неопровержимым аргументом, способным положить конец любой дискуссии; на обычный человеческий язык их, скорее всего, можно было перевести, как «стыд и грех».) Если уж тебе посчастливилось жить в городе, надо платить за это счастье и безропотно, если не с готовностью, отдавать себя на растерзание алчной деревенской родне – вести себя иначе было бы постыдно, и ничего уж тут не поделаешь.

– Завтра я принесу тебе еще порошку, – сказал Стенхэм. – Иншалла.

Раисса обрушила на него поток благословений. Потом, все еще улыбаясь, вышла. Чуть позже Стенхэм услышал, как она поет, подметая в коридоре.

Головная боль понемногу отпускала. В глубине души таилось ожидание: его воображение постоянно рисовало встречу с американкой. «Мадам Вейрон» было самым неподходящим именем, которое только можно было для нее придумать. Ее следовало называть, скажем, Сьюзен Хопкинс или Мэри Уильямс. Незаметно для себя Стенхэм задумался над тем, как ее действительно зовут и что она собой представляет. Но если он позволит себе углубиться в подобные догадки, то и весь оставшийся день будет потерян для работы. А может, такая уж судьба, что ему сегодня не удастся поработать? Перспектива увидеть мадам Вейрон помогла ему позабыть и телефонные препирательства, и вторжение Раиссы. Он выскочил из постели и побрился. Потом сел за стол и прилежно работал до половины первого, потом оделся и спустился в столовую, чтобы пораньше пообедать, а затем написать несколько писем.

Когда в гостиницу съезжалось много туристов, обнаруживалось, что персонала в ресторане не хватает. Впрочем, за последние недели слухи о беспорядках в Марокко отпугнули всех, кроме самых стойких: сейчас в гостинице едва набралась бы горстка транзитных путешественников, так что

официанты проводили большую часть времени, стоя вдоль стен и переговариваясь вполголоса. Европейцы сгрудились возле входных дверей, марокканцы выстроились возле двери на кухню.

Три самых привлекательных столика стояли у окон, выходящих в сад гостиницы или на стены бывшего дворца с узкими бойницами и лежавшую внизу медину. Обычно Стенхэму удавалось выбрать любой из них по своему усмотрению. Сегодня, к своей немалой досаде, он увидел, что все три заняты американцами. Он присел за маленький столик, достаточно светлый, чтобы можно было читать. Официанты уже приноровились к его застольным привычкам: иногда он по два часа просиживал над одним блюдом, переворачивая страницу за страницей, прежде чем подавал знак, что можно нести следующее.

Сидевшие ближе всего к нему американцы обсуждали покупки, сделанные сегодня утром в *суках*. В конце концов, разговор перешел на общую знакомую, которая присутствовала при обстреле кафе в Марракеше; они уверяли, что она до сих пор ходит с неизвлеченными осколками шрапнели, а доктор говорит, что лучше их и не трогать. Мужской голос возразил, что это опасно, поскольку осколки могут добраться до сердца. Стенхэм безуспешно пытался не прислушиваться к разговору, сосредоточившись на книге, которую читал, но против воли продолжал слушать. Когда посетители ушли, он попробовал почитать еще немного, но тут кто-то неожиданно хлопнул его по плечу. Он поднял сердитый взгляд и увидел приветливо улыбающуюся мадам Вейрон.

– Читать за едой полезно для пищеварения, – сказала она, когда он встал, чтобы с ней поздороваться.

– Как поживаете? Я и не заметил, как вы вошли.

– Конечно. Зато я заметила, как вошли вы. Я сидела вон там, в углу. – Сегодня на ней был простого покроя зеленоватого-голубой костюм из синтетической ткани: строгие линии

были призваны скрыть ее безупречную фигуру, но вместо этого лишь откровенно подчеркивали.

– Не присядете на минутку? – спросил Стенхэм.

– В саду меня ждут друзья, – неуверенно ответила мадам Вейрон. – Мы собирались пить кофе на террасе.

– Все равно – присядьте, – решительно произнес Стенхэм, и она повиновалась.

– Но, правда же, мне нужно идти.

– Кто ваши друзья? – поинтересовался он, испытывая легкий укол зависти: как-никак они просидели с ней за одним столиком весь обед.

– Американская пара и их друг, я встретила их сегодня утром внизу, в *суксах*. Они остановились на американской авиабазе где-то рядом с Касабланкой. Ну, и пригласили меня пообедать. – Она окинула быстрым взглядом ресторанный зал. – А почему вы в таком одиночестве? Где же мистер Кензи? И тот, другой? Забыла, как его зовут.

– О, мы практически никогда не едим вместе, – сказал Стенхэм, словно извиняясь за то, что оказался в компании англичан. – Вчера был особый случай. Не знаю, где они сейчас.

Стенхэм посмотрел на мадам Вейрон. Изгиб ее скул и лепка рта были совершенны. В этом, и только в этом основной секрет ее красоты, решил он. Ее лицо могло, скорей, послужить натурой ваятелю, чем художнику. Глаза неяркие, серовато-карие, волосы довольно светлые – не брюнетка, но и не блондинка, – коротко стриженные и уложенные в прическу, которая выглядела слишком беспорядочно, чтобы быть обдуманной, и слишком нарядной и изысканной, чтобы оказаться случайной. Вся она состояла из тех бесчисленных, причудливых, безукоризненной формы завитков, следуя извилистой линии которых взгляд поднимался от губ к вискам. Он видел, что мадам Вейрон чувствует на себе его восхищенный взгляд, и не испытывает при этом неловкости или негодования.

– Рад вас видеть, – сказал он.

– Поверьте, я действительно не могу сейчас составить вам компанию. Мои друзья уже собрались обратно в Касабланку, они такие милые люди...

– А почему бы вам не присоединиться ко мне попозже, когда они уедут? Я буду сидеть в конце террасы за одним из столиков под большой пальмой.

– Дело в том, – ответила мадам Вейрон с сомнением в голосе, – что они предложили подбросить меня в гостиницу на обратном пути. Право, не знаю.

– Вы не забыли, что так или иначе должны встретиться со мной в пять. Помните?

– Конечно, помню, – возмущенно ответила она.

– Если вам нужно вернуться к себе, я могу подвезти вас на такси, но только останьтесь со мной на чашку кофе, когда ваши друзья уедут.

– Ладно, уговорили, – сказала она и, блеснув обворожительной улыбкой, вышла.

С остатком обеда он справился в непривычно быстром для себя темпе; в глубине души он не верил, что она может переменить решение и уехать с друзьями, но, в конце концов, такая возможность существовала и становилась более правдоподобной оттого, что мадам Вейрон сейчас находилась вне пределов его зрения. Но, выйдя из ресторана, он увидел, что она все еще сидит со своими знакомыми, о чем-то говорит, кивая головой. Чтобы миновать террасу, где она сидела, он прошел через бар, спустился в темный коридор, который вел к главному входу, и вышел в тенистый дворик, где в пруду, окруженном высокими банановыми пальмами, плавали золотые рыбки. Оказавшись на другом конце террасы, он сел за столик в дальнем углу, возле стены, почти скрытый большим остроконечным веером пальмовой ветви, колыхавшейся прямо у него перед лицом. Когда американцы отбыли, он собрался было выдержать для приличия паузу – минут пять – и только потом присоединиться к мадам Вейрон. Но она почти сразу же встала и сама подошла к нему.

– Уехали, – объявила она. – Думаю, что и мне пора. Кажется, с гостиницей я все же оплошала. Они сказали, что вчера сняли комнату на двоих без ванной за тысячу двести франков. Я же по-прежнему остаюсь в своей каморке только потому, что приходится экономить каждый грош. Жить в какой-то дыре, которую даже не убирают, и платить за это семьсот франков! Под кроватью у меня с первого дня так и валяется черствый кусок хлеба.

– Семьсот франков! – воскликнул Стенхэм. – Но у меня совершенно замечательная комната всего за восемьсот. Вас бессовестно морочат.

Было бы невероятной удачей, если бы она переехала сюда. Стенхэм решил больше не касаться этой темы, опасаясь, что мадам Вейрон почувствует его нетерпение и передумает.

– По крайней мере, поговорю с хозяином и посмотрю, что они предложат.

– Гостиница почти пустая, и это наводит меня на мысль – скорее, вопрос, который я хотел бы вам задать. Как вышло, что вы ездите одна по Марокко, тем более в этом году?

Она пристально взглянула на него, словно раздумывая, разумно ли заходить в исповедальню, дверцу которой он отворил. Мгновение спустя она, казалось, уже приняла решение, но он вряд ли мог бы сказать, собралась она довериться ему полностью или с оговорками. Но едва вопрос о доверии всплыл в его мыслях, как он тут же перенесся в душевные покои прошлого, где подозрительность вменялась в обязанность, а доверие окружающим было предметом ежеминутных сомнений.

– Тем более в этом, – подхватила она. – Вот вам и ответ. Мне всегда страстно хотелось повидать Марокко, и у меня было ужасное предчувствие, что либо я поеду прямо сейчас, либо не выберусь никогда.

– Почему? – Стенхэму казалось, что он понимает ее, но хотелось знать наверняка.

– Но, боже мой, вы только откройте газеты! – воскликнула она. – Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что происходит. – Теперь Стенхэм был почти уверен, что она угадала его мысль, и решил занять оборонительную позицию. – Здесь давно уже потихоньку идет война. От этого места камня на камне не останется, если все и дальше будет продолжаться таким же образом. – (И все же трудно сохранять хорошую мину при плохой игре, подумал он.) – Похоже, все и пойдет таким чередом, потому что французы не намерены сдаваться, да и арабы – тоже, просто потому, что не могут. Их загнали в угол.

– Я уж было решил, что вы ждете новой мировой войны, – солгал Стенхэм.

– Это меня меньше всего беспокоит. Когда это начнется, ничего не поделаешь. Нельзя же бродить, как лунатик, думая только о Судном Дне. Это просто глупо. У каждого в своей жизни уже был свой Судный День и еще предстоит. В этом смысле ничего не меняется.

Маленький официант-алжирец, когда-то работавший помощником бармена, подошел к ним.

– Vous prenez que'que chose, Monsieur Stenhamme?¹ – спросил он.

– Что вам заказать? Кофе? – обратился Стенхэм к мадам Вейрон.

Она пожала плечами.

– Да, пожалуй. Хотя после кофе я весь день буду дерганая, но это не важно.

– Или выпейте что-нибудь.

– Куантро, шартрез, мятный ликер, крем де какао, гран марнье, виски, бенедиктин, арманьяк, джин, банания, кюрасао, – певучей скороговоркой произнес официант.

– Да остановите же его! – почти закричала мадам Вейрон. – Сейчас он предложит еще пльзенского пива. Кажется, вы упомянули о кофе. На нем и остановимся.

¹ Что-нибудь желаете, мсье Стенхэм? (*фр.*)

– Deux cafés¹.

Мадам Вейрон закурила сигарету.

– До замужества я какое-то время работала в Париже, в Юнеско. Так, вроде секретарши, ничего серьезного. Но я ко всему приглядывалась и стала многим интересоваться. Не скажу, чтобы меня так уж заворожила политика, но теперь я знаю, что она действительно существует.

(Еще один осторожный намек на то, что происходит, подумал он.)

– А до этого что вас интересовало?

Она рассмеялась.

– Боюсь, очень немногое. Танцы, свидания, художественная школа, даже драматический кружок.

Она помолчала. Терраса полностью обезлюдела, было слышно только прерывистое воробьиное чириканье, долетавшее из нижнего сада, и бойкое щелканье пишущей машинки в конторке портье на другом конце террасы.

Стенхэм был недоволен собой; ему казалось, что он все испортил, привнес излишнюю сумятицу. Он так и не узнал того, что ему было нужно; быть может, вопрос был поставлен неверно. Не главный вопрос, который в любом случае не имело смысла задавать, поскольку ответ на него должен был прозвучать добровольно, а самый первый, общий, приблизительный, который помог бы ему продвинуться. Но это опять-таки мог быть не один вопрос, а несколько. Почему ее так интересуется Марокко? Что она рассчитывала здесь увидеть? Что она делала здесь совсем одна, когда большинство отказывается приезжать даже с большими группами? Почему она ничего не боялась, где успела побывать, как долго она уже здесь? Чутье подсказывало ему, что допрос с пристрастием неуместен на первых порах и, если он начнет сейчас задавать вопросы, она не обидится, ни словом, ни жестом

¹ Два кофе (*фр.*).

не выдаст, что это ее хоть как-то задело, а просто молча исчезнет и затем сделает все возможное, чтобы они никогда больше не встретились. Такого поворота событий он определенно не хотел.

– Не знаю, что вы успели повидать в Марокко, – сказал он, – но вряд ли что-нибудь такое, что могло бы идти в сравнение с этим великим городом.

– Да, конечно. Вы совершенно правы. Поэтому я и решила здесь задержаться. Сначала хотела пробыть день, не больше. Представляете? Я решила, что даже если пропущу из-за этого что-нибудь другое, то оно того стоит, главное – получше узнать Фес. Вот только сил у меня маловато. Не могу целый день проводить на ногах.

– Мне о многом хотелось бы вас порасспросить, – непроизвольно вырвалось у Стенхэма – так, что он даже немного сконфузился из-за того, что не мог совладать с собой. (Но, возможно, это был правильный путь к близости – нейтральный подход. Разве до сих пор все не выглядело вполне естественно? А ведь главное, чего он хотел, и была близость, возможность узнать ее до конца.) – Есть вопросы, на которые мои английские друзья вряд ли дадут внятный ответ.

Выражение лица мадам Вейрон не изменилось.

– О чем же вы хотели меня расспросить? – сказала она.

– О том, как вы... как мы реагируем на это место. Что оно значит для вас и для меня. Это довольно важно, вам не кажется? Я имею в виду – что мы видим в нем, почему любим, что в нас откликается на этот город? А может, у вас этот отклик совсем не такой, как у меня?

– О нет, я люблю Фес! Действительно люблю! – протестующе воскликнула мадам Вейрон.

Это был не тот ответ, которого ожидал Стенхэм, и он даже мельком подумал, уж не просто ли она хорошенькая американская туристка, а он насочинял Бог весть что вокруг пустяковой встречи. Надо выждать, сказал он себе; она никогда не

позволит ему переступить черту, которую провела между ними. Дело было вовсе не в том, чтобы установить, кто она такая на самом деле, а скорее, притвориться, что он знает это, и сделать так, чтобы ей самой захотелось подтвердить или опровергнуть его предположения. У нее ни за что не должно возникнуть чувства, что затеянный им разговор – попытка загнать ее в ловушку. Потом, если повезет, в какой-нибудь непредвиденный момент ему, быть может, представится случай заглянуть в ее мысли и узнать то, что его так интригует. Забудь обо всем, сказал он себе. Жаркий ясный день словно манил, суля восхитительные возможности.

– Просто стыд сидеть здесь в такую погоду, – сказал Стенхэм. Мадам Вейрон удивленно взглянула на него.

– Вам здесь не нравится? А по-моему, замечательно.

– Как вы смотрите на то, чтобы нанять коляску с двумя старыми клячами и прокатиться по всей провинции? Это прекрасное путешествие, если вы только не боитесь солнца.

– Солнце я как раз люблю, – ответила она.

– Только не забудьте надеть что-нибудь на голову, – напомнил Стенхэм; он почувствовал, что, если инициатива будет исходить от него, уговорить мадам Вейрон будет проще.

– Когда двигаешься, это не так страшно. А вот лежать пластом на пляже – роковая ошибка. В любом случае у меня есть огромный носовой платок, который можно повязать на голову. Вот только...

– А, вы хотели взглянуть на комнаты, ну конечно. Можно заняться этим прямо сейчас. А потом, если у вас еще не пропадет желание, вызовем такси.

– Мне показалось, вы говорили о коляске.

– Да, верно. Но ближайшее место, где ее можно нанять, – Баб Бу Джелуд. Так что сюда они доберутся только часа через полтора, не раньше. Впрочем, кто знает, может, и скорее, – быстро добавил он, опасаясь, что мадам Вейрон справедливо заподозрит, что вся поездка займет уйму времени. –

Сначала надо передать записку вознице и так далее. А вы ведь сами знаете, как медленно они все делают. Пожалуй, лучше всего доехать на машине до Бу Джелуда и взять там коляску.

– Что ж, вот и чудесно. Но вы, наверное, уже тысячу раз так катались?

– Вы преувеличиваете. Кроме того, я никогда не ездил вместе с вами, это точно.

Она рассмеялась.

– Почему бы вам не взглянуть на комнаты, пока я вызываю такси? Пока вы осматриваетесь, оно будет уже в пути.

Стенхэму хотелось отрезать ей все пути к отступлению.

– Прекрасно, прекрасно.

Они встали и прошли через террасу к конторке портье. Когда Стенхэм вышел из телефонной будки, мадам Вейрон и портье уже поднимались по лестнице, по его лестнице, в башню. Стенхэм был практически уверен, что портье отведет ее именно туда, потому что там, в старом крыле, сдавались самые дешевые комнаты. Обычные туристы неизменно предпочитали просторные спальни, расположенные в других частях гостиницы. Он надеялся, что портье хватит такта, проходя мимо его комнаты, не указать на нее со словами: «А это номер мсье Стенхэма»; от него вполне можно было ожидать подобной глупости. После этого она несомненно выберет другой этаж, или новое крыло, или комнату внизу, с окнами в сад, рядом с Моссом, а может, и вообще откажется от этой затеи. Вернувшись в дальний конец террасы, он облокотился о перила и выглянул в нижний сад, чувствуя легкий нервный озноб и не вполне довольный собой. Это малоприятное состояние он приписывал ощущению неудачи, которую потерпел во время их недолгой беседы за кофе. Если с ней ничего не выйдет, подумал он, это моя вина на все сто процентов. Обычно, если ему удавалось обнаружить причину внутреннего смятения, этого понимания было достаточно, чтобы хоть несколько успокоиться; на сей раз не помогло. «Значит, в чем-то

я ошибся», – решил он. Взгляд его был прикован к еле заметно трепещущим на ветру тополиным листьям, все мысли вдруг куда-то улетучились, но, услышав голоса на ведущей в вестибюль лестнице, он отказался от попыток обнаружить причину своей мимолетной депрессии. Говорили мадам Вейрон и портье, беседа была недолгой. И вот уже, улыбаясь, она показала в дверях и подошла к Стенхэму.

– Итак, каков приговор? – спросил он.

– Я перезвоню ему сегодня вечером и дам знать окончательно. Прежде чем вступать в высший свет, надо кое-что подсчитать и проверить свою кредитоспособность.

– Вам понравились комнаты?

– О да, очаровательные. Особенно одна – точь-в-точь как во дворце Гарун-аль-Рашида. А вид из окон просто великолепный.

Поднявшись по главной лестнице, они остановились у ворот в ожидании такси. Наконец оно появилось – чудом передвигавшаяся колымага. Водитель не стал глушить мотор, пока заливал воду в радиатор, но, стоило им сесть, он заглох сам собой.

– Немного терпения, – шепнул Стенхэм.

После нескольких отчаянных попыток завести машину ручкой и доброжелательных советов столпившихся вокруг гостиничных служащих и любопытствующих прохожих, шоферу удалось оживить мотор, и, подпрыгивая, они выехали через двойную арку ворот на круто уходящую вверх дорогу, которая вилась между кладбищами и оливковыми рощами. В Бу Джелуде они пересели из такси в скрипучую коляску. Стенхэму пришлось довольно долго торговаться с возницей, необъятных размеров толстяком, который, в тон феске, был препоясан кармазинным кушаком, и все же конечная цена значительно превышала мыслимую. Подобные мелкие безрассудства часто доставляли Стенхэму удовольствие; так было и на сей раз.

– Вперед! – крикнул он. – Yallah!

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Они медленно двигались по улицам, забитым людьми, которые, направляясь в Жотейю и обратно, везли, несли, тащили поношенную одежду, циновки, сломанные будильники и кованые сеффаринские подносы.

– Это для них все равно, что для древних римлян Колизей, – объяснил Стенхэм. – Здесь они отводят душу. У человека может быть новенькая рубашка или пара ботинок, которыми он искренне восхищается, но через несколько дней внутренний зуд все равно пригонит его сюда, и он проторчит здесь целый день, чтобы узнать, сколько можно за них выручить. Потом, разумеется, продаст по дешевке и купит какое-нибудь старье. Однако для него и день, и деньги вовсе не будут потерянными – чего стоит одно удовольствие торговаться с утра до вечера! Он возвращается домой счастливый в поношенной рубашке и стоптанных башмаках. Французы быстро их раскусили; теперь, чтобы попасть на базар, нужно специальное разрешение, и вы только посмотрите, какая очередь!

Когда, наконец, они выбрались за городские стены, лошади побежали ровнее, позвякивая медными колокольцами упряжи, и коляска, тяжело и неуклюже переваливаясь, покатила между пыльными рядами тростников. Чтобы усесться прочнее, они вытянули ноги, поставив их на обращенное к ним вытертое черное кожаное сиденье.

– Прямо рай, – в полном упоении произнесла мадам Вейрон. – Как раз на такой скорости и можно хорошенько все рассмотреть.

За каждым поворотом открывался новый вид: песочно-го цвета холмы, ряды серо-зеленых оливок, а еще дальше к востоку – участки размытой, выветренной земли, голые твердые горы и плоскогорий, залитые послеполуденным солнцем, и вдруг показавшаяся внизу серая, как устрица, медина, похожая на бесформенные ячеистые соты – кубы домов,

террасы, дворики, – и все это на фоне Джебель Залагха с поросшими зеленью склонами.

– На этой дороге ни одного прямого участка, – сказала мадам Вейрон, прикуривая сигарету от зажигалки Стенхэма. – Сплошные повороты.

Между тем, пейзаж продолжал разворачиваться перед ними изящными вариациями на пасторальные темы. Маленькие, прокаленные солнцем лощины, на голых желтых склонах которых росли только агавы, напоминавшие гигантские стебли спаржи, неожиданно расплескавшиеся зеленью сады, в тени которых отдыхали улыбочивые туземцы (мускусный кошачий запах, исходивший от фиговых деревьев, незримым облаком обволакивал коляску), древний, невысокий, словно пригнувшийся каменный мостик, коровы, бездумно стоящие в грязи, аист, парящий высоко над землей, неподвижно раскинув крылья, влекомый воздушным потоком. Дорога углубилась в речную долину и вновь вскарабкалась к городским стенам, за арками Баб Фтеха, резко ушла в сторону, все так же поднимаясь по пустынным склонам, которым, казалось, не будет конца. Когда она выровнялась, лошади замедлили шаг, но вновь начался подъем, и кучеру пришлось то и дело пощелкивать кнутом, подгоняя усталых лошадей и покрикивая на них протяжным фальцетом.

– Пожалуйста, не давайте ему их бить! – умоляюще сказала мадам Вейрон, когда длинная кожаная плеть щелкнула, как шутиха, в пятый или шестой раз.

Стенхэм знал, что с арабами бесполезно спорить о чем бы то ни было, особенно если речь шла об их повседневной работе, но он все равно наклонился к кучеру и властным тоном произнес:

– Allèche bghitsi darbou? Khallih.

Полуобернувшись, толстяк со смехом ответил:

– Больно ленивые. Все время приходится их погонять.

– Что он сказал? – поинтересовалась мадам Вейрон.

– Он говорит, что если их не подгонять, то они совсем остановятся, – ответил Стенхэм, – но, стоит им услышать кнут, бегут быстрее.

– Но ведь он действительно бьет их. Это ужасно.

Стенхэму вновь пришлось обратиться к кучеру по-арабски.

– Леди очень переживает, что вы бьете лошадей, так что перестаньте, пожалуйста.

Это не понравилось толстяку, который произнес витиеватую речь о том, что люди должны делать их работу, как они привыкли, а если леди так хорошо знает лошадей, он надеется в скором времени увидеть ее на своем месте. Втайне Стенхэму была по душе позиция кучера, но не оставалось ничего иного, как запретить ему пользоваться хлыстом... если, конечно, это удастся.

– Оставьте ваш хлыст, пожалуйста, – сказал он. – Khabaeuh.

Возница стал мрачнее тучи и начал бормотать что-то, обращаясь к лошадям. А те постепенно замедляли шаг, так что, в конце концов, коляска уже едва тащилась. Стенхэм ничего не сказал, он твердо решил, что если кучеру еще нужны какие-либо советы, пусть их дает сама мадам Вейрон.

Так или иначе, вернуться в гостиницу к пяти они все равно не успеют, это он знал с самого начала. А в таком темпе завершат поездку только затемно. Валуны и кусты по сторонам дороги лениво уплывали назад.

– Странная ситуация, – сказал Стенхэм, с улыбкой поворачиваясь к мадам Вейрон.

– Что вы имеете в виду? – спросила она слегка удивленно.

– Вам не приходило в голову, что я даже не знаю, как вас зовут?

– Как меня зовут? О, извините. По буквам это пишется так: В-е-й-р-о-н.

– Это я знаю, – нетерпеливо сказал Стенхэм. – Я имею в виду ваше настоящее имя. В конце концов, вы ведь больше не живете с мужем, не так ли?

– Отчасти вы правы. Мысль взять фамилию Жоржа пришла мне в голову только здесь, в Марокко. И оказалось, что так все намного проще. Не понимаю, почему я раньше этого не сделала. Моя девичья фамилия Берроуз, и французам она никак не давалась, они не могли ни правильно написать ее, ни выговорить.

– Но, кроме фамилии, у вас, вероятно, есть и имя, – Стенхэм улыбнулся, чтобы смягчить официальный тон своего замечания.

– Да, к сожалению, – вздохнула она. – Меня зовут Полли, отвратительное имя. Просто невозможно всерьез воспринимать женщину, которую зовут Полли. Поэтому я всегда пользовалась только последним слогом.

– Полли Берроуз, – задумчиво повторил Стенхэм. – Ли Берроуз. Даже не знаю. Мне кажется, Полли звучит лучше.

– Послушайте. Скажу вам без обиняков – я запрещаю называть меня Полли. Если вы хотите довести меня до ручки, просто скажите: «Привет, Полли!» – и вы меня больше никогда не увидите. Терпеть не могу это имя!

– Обещаю, что никогда не совершу столь ужасный проступок.

Мучительно медленно они тащились в гору, одолевая бесчисленные повороты, после каждого из которых на севере открывались новые безлюдные затопленные солнцем долины, а на востоке – плоские, без единого холмика, пространства, по которым плавными ленивыми излучинами растеклась река. Шло время, и свет становился все ярче и насыщеннее. Теперь, когда Стенхэм знал ее имя, он чувствовал себя ближе к ней и несколько раз назвал ее в разговоре Ли, чтобы посмотреть, не станет ли она возражать. Внешне она восприняла это как нечто вполне естественное.

Было уже шесть, когда они подъехали к небольшому кафе на вершине скалы, откуда открывался вид на город, и Стенхэм попросил кучера остановиться. Место казалось пустынным.

– Боюсь, мы совершили очень серьезный faux pas¹, – сказала Ли, выбираясь из коляски. – Наши английские друзья никогда нам этого не простят. Они ждали нас к пяти. Но все было так прекрасно, что, признаюсь, я не жалею.

В лучах заходящего солнца они выбрали столик на самом краю обрыва и заказали чай. Город, беззвучный, а потому казавшийся еще более далеким, раскинулся под ними.

– Во что труднее всего поверить, – сказала Ли, – так это в то, что все на свете может происходить одновременно. Ну, скажем, вы представляете себе людей, которые сейчас стоят в очереди у справочного бюро и спрашивают о расписании поездов на Нью-Хейвен? Понимаете, что я хочу сказать? Просто немыслимо.

Стенхэму ее замечание пришлось по вкусу.

– Ли, вы чувствуете эти края лучше всех моих знакомых. И вы совершенно правы. Дело, скорее, в тысячелетнем времени, чем в тысячах миль расстояний.

Стенхэм умолк и задумался: конечно, даже самая малая мера времени больше самых огромных пространственных измерений. Или это неправда? Быть может, нам только так кажется, потому что время вспять не повернешь?

– Какое странное, тревожное место, – негромко произнесла Ли, словно разговаривая сама с собой. – Совершенно не понимаю, как вы могли пробыть здесь так долго. Жить в этом городе – все равно, что постоянно находиться под действием какого-то наркотика. Оторваться от него, должно быть, страшно болезненно, если вы здесь уже давно. Но, конечно, потом, через какое-то время, эффект ослабевает. Иначе и быть не может.

Мужчина в чалме принес чай. К столику тут же слетелись маленькие мохнатые пчелы, они липли к стаканам, пытаясь сохранить равновесие на краешке. Двигаясь медленно и

¹ Промах (*фр.*).

неуклюже, пчелы, тем не менее, были преисполнены решимости добраться до сладкой влаги. Взяв стакан, Стенхэм описал им в воздухе несколько причудливых кругов, надеясь сбить насекомых с толку, прежде чем поднести стакан к губам, но когда он уже собирался сделать глоток, то увидел, что одна из пчел упала в горячий чай и заживо сварилась. Он выловил ее и отшвырнул в сторону, но подоспевшее пополнение уже карабкалось по стенкам стакана.

– Пустая затея, – сказала Ли.

– Вы хотите чая? – спросил ее Стенхэм.

– Конечно, хочу.

– Тогда придется зайти в кафе. Иначе мы от них не отделаемся.

Прихватив стаканы, они зашли в крошечную комнату и сели. В затхлом воздухе пахло плесенью. Окон не было.

– Ну, и скажите мне после этого, что они не смешные люди. – потребовала Ли. – Неужели вам не кажется, что, когда за стеной такой фантастический вид, стоило проделать хотя бы маленькую дырочку, чтобы им любоваться, а они заперлись здесь, как в тюрьме. Может, они и не знают про этот вид?

– О, думаю, они все прекрасно знают. Бывает, они часами способны сидеть, глядя на какой-нибудь пейзаж. Но подозреваю, что они все еще живут, как кочевники в шатрах. Любое здание – это убежище, нечто, где можно спрятаться и действительно почувствовать себя внутри. Стало быть, там должно быть темно. Они вообще терпеть не могут окна. По-настоящему расслабиться они могут только там, где замкнуты со всех сторон. Весь внешний мир враждебен и полон опасностей.

– Не могут же они быть настолько примитивны, – возразила Ли.

– Вы не дадите мне вашу «Касу-спорт»? Мои все вышли.

Вкус темного табака напомнил Стенхэму *суксы*, и на мгновение перед глазами мелькнули пробивающиеся сквозь решетчатый навес косые лучи солнца, голубые от клубящегося

в них дыма и пылинок. Или ему припомнилось что-то из их вчерашнего разговора в саду?

– Нет, они вовсе не примитивные. Но они выросли на этом, и это часть их философии. И не случилось еще такого, что могло бы изменить их взгляды.

– Разве в мире вообще происходит что-нибудь, что могло бы что-то изменить? – вздохнула она. – Хотелось бы знать, чем они живут? В них так много всего перемешано, они такие загадочные.

Пора возвращаться, подумал Стенхэм. Быстро надвигалась ночь, а ему хотелось вернуться в город до того, как окончательно стемнеет. Но он решил ничего не говорить Ли, чтобы не тревожить ее, к тому же она едва успела пригубить чай.

– Я знаю один толковый прием, – сказал он. – Просто надо все время помнить, что их культура построена на «потом», а наша на «потому что».

– Боюсь, я не совсем поняла, – нахмурившись, сказала она.

– Я имею в виду, что для них ничто и никогда не проистекает одно из другого. Нет ни причин, ни следствий. Все просто существует так, как оно есть, без всяких вопросов. Даже их язык зиждется на этом. Каждый факт существует отдельно и никогда не зависит от другого. Все объясняется постоянным вмешательством Аллаха. Происходящее должно происходить именно так, а не иначе, поскольку предопределено еще во время оно.

– Удручающая философия, – сказала Ли.

Стенхэм рассмеялся.

– Значит, я плохо объяснил. Упустил что-то важное. Дело в том, что тут нет ничего угнетающего. Знаете, во что тут все превратилось с приходом христиан? – не без горечи добавил он. – Когда я впервые приехал сюда, это была чистая, нетронутая страна. Каждый день на улицах слышалась музыка, люди танцевали; казалось, творится какое-то волшебство. Теперь все кончено, навсегда. Даже религии пришел конец.

Еще через каких-нибудь несколько лет она станет такой же, как и все прочие мусульманские страны – огромной трущобой на задворках Европы, где царят нищета и ненависть. Угнетает, прежде всего, то, что французы сделали с Марокко, а ни в коем случае не то, чем страна была прежде!

– Мне кажется, это точка зрения иностранца, туриста, который превыше всего ценит живописность. Уверена – поживи вы в одном из этих домов, вы бы не так заговорили. Напротив, вы приветствовали бы больницы, электричество, транспорт – словом, все, что принесли с собой французы.

Вот это уж точно взгляд туриста, причем туриста невежественного, подумал Стенхэм, и ему стало жаль, что он слышит подобное от Ли.

– Во всяком случае, вы можете сказать, что видели последние дни Марокко. Ну, как ваш чай? Допили? Думаю, нам пора возвращаться.

Когда они садились в коляску, кучер только мрачно сверкнул на них глазами. Дорога от кафе шла под уклон. Подгонять лошадей уже не было нужды, они сами проворно бежали вперед. Прохладный ветерок подул со стороны холмов, когда они подъехали к Баб Махруку, и последние отблески дневного света погасли в небе.

Сумерки могут незаметно сблизить двух оказавшихся вместе людей или, наоборот, заставить каждого погрузиться в собственные воспоминания. Стенхэм думал о вечере более чем двадцатилетней давности, когда он – первокурсник, отпущенный на каникулы, – ехал по этой же дороге примерно в то же время и, кто знает, быть может, даже в той же самой коляске. Его тогдашнее состояние можно было безошибочно определить как счастье. Мир был прекрасен, жизнь – бесконечна, и ни о чем другом думать не хотелось. За это время он, конечно, изменился, но не сомневался в том, что мир изменился не меньше: казалось немислимым, чтобы какой-нибудь будь сегодняшней семнадцатилетний юнец испытывал ту же

радостную беззаботность или находил в окружающем лирическую усладу, как он тогда. Порой, на краткий миг ему удавалось вернуть ощущение действительности, упоительной боли, исчезавшей почти сразу, стоило ее почувствовать, и в этом он находил подтверждение того, что какая-то часть его по-прежнему существует, купается в ясных лучах тех давно минувших дней.

Ли тоже перенеслась в своих воспоминаниях, но в гораздо более далекую пору – пору своего детства. Чего мне так не хватает сейчас, думала она, и что было у меня, когда я была маленькой? Ответ явился почти сразу. Это было чувство нескончаемости времени или даже вообще его отсутствия, которое жило в ней тогда, а потом навсегда ушло. Его похитили у нее в тот день, когда ее тетка вошла к ней со словами: «Ты больше никогда не увидишь своих родителей». Тот факт, что самолет разбился, сам по себе для нее ничего не значил, а знание, что родители погибли, было всего лишь загадочной, пугающей абстракцией. Она испытала тогда, смешанное с чувством утраты, странное чувство освобождения. Но теперь понимала, что время оживает в ее душе. Теперь она была одна, а потому стала сама собою и, в конце концов, вступила на собственный путь. И с тех пор она постоянно двигалась по этому пути, приближаясь к его концу. В этом не было ничего трагического и даже никакого пафоса, как нет ничего трагического или патетического во вращении Земли. Просто таково отличие ребенка от взрослого. Она рано повзрослела, вот и все. Долгая прогулка поколебала нечто непрочное в ее душе; она чувствовала себя так, как бывало после концертов – слегка разбитой, но эмоционально освеженной.

Неожиданно Стенхэм взял ее руку.

– Как вы? – ласково спросил он, сплетая ее пальцы со своими. Они проехали через ворота на площадь, где на прилавках лоточников слабо горели оплывшие свечи; сумрачные фигуры, как тени, мелькали вплотную к коляске, едва не

задевая ее колеса полами одежды. Ли коротко рассмеялась, не отвечая на его пожатие.

– Прекрасно, – ответила она. – Разве что немного устала.

– Возьмем такси до моей гостиницы? Может быть, поужинаем вместе?

– Это страшно мило с вашей стороны, но я сейчас не в состоянии.

– Вы уверены?

– Да, поверьте. Хочется просто растянуться на постели и слегка перекусить, не вставая, а потом – спать, спать, спать!

– Наверное, вы правы, – сказал Стенхэм, стараясь, чтобы в его голосе не прозвучало разочарование. – Мистер Кензи и мистер Мосс, вероятно, сейчас в столовой, и нам пришлось бы столкнуться с ними. Если вы собираетесь вернуться в гостиницу, то я поужинаю в каком-нибудь арабском ресторанчике возле Бу Джелуда. Так вы уверены, что не хотите ко мне присоединиться?

– Мне бы хотелось, – ответила она, мягко высвобождая руку и закуривая, – но не сегодня. Давайте в следующий раз, ладно?

– Как скажете. Ресторан никуда не денется.

Он говорил как раз то, чего говорить не следовало. Ли наверняка хотелось проверить, насколько он расстроен. Но все его попытки притвориться заводили разговор в тупик. Как трудно, подумал он, скрыть, что тебе действительно что-то важно, и как правы люди, не доверяющие чрезмерной учтивости. – Завтра я принесу извинения нашим друзьям, – продолжал он, судорожно ища какую-нибудь зацепку, чтобы поддержать разговор. – Скажу, что вы вдруг неважно себя почувствовали...

– И не думайте! – негодуяще воскликнула она. – Если вы это сделаете, я сама позвоню мистеру Кензи и расскажу правду. В конце концов, я и не думала, что мы так задержимся, и я действительно неважно себя чувствовала!

Коляска проехала вдоль длинного ряда других экипажей и остановилась. Кучер, подобревший, потому что наступило время расплачиваться, крикнул! «Voilà, messieurs-dames!»¹ Когда Стенхэм отдал ему деньги, он стал требовать намного больше, ссылаясь на задержку в пути и на скорость, с которой приходилось передвигаться. После недолгих препирательств, Стенхэм вручил ему половину дополнительной суммы. Этого оказалось вполне достаточно, и, жизнерадостно прокричав: «Bon soir!» – толстяк спрыгнул с козел, посадил на них мальчонку сторожить повозку, а сам отправился на другой конец площади выпить чая.

Стенхэм и Ли шли по темной улице; запах стоял, точно в конюшне, звезд на небе высыпало столько и таких ярких, что они казались искусственными. Вряд ли в мире нашлось бы другое место, где небо было бы так густо запорошено ими. Стенхэм хотел было сказать об этом Ли, но внутри него словно что-то застопорилось, и он промолчал. Когда они дошли до кафе возле Бу Джелуда, где несколько старых такси, как обычно, поджидали пассажиров, Стенхэм сказал:

– Не забудьте, вы собирались сегодня вечером заняться делом.

– Заняться делом? – непонимающе переспросила Ли.

– Ну, вроде того. Вы хотели произвести кое-какие финансовые подсчеты и завтра с утра позвонить в гостиницу.

– Ах, да, – произнесла она вяло.

Такси, в которое они сели, покатило, постоянно сворачивая то направо, то налево, пробираясь сквозь толпу с невероятным металлическим лязгом, причем мотор непрерывно хрипел, а рожок выл, не умолкая.

– Слава Богу, в медине нет машин, – сказал Стенхэм. – Список дорожных происшествий получился бы впечатляющий.

– Я действительно страшно устала, – ответила Ли, будто он спросил, как она себя чувствует. Стенхэм ей не поверил.

¹ Прошу, дамы и господа! (фр.)

Перед маленькой гостиницей, где она остановилась, над дверью горел один-единственный фонарь. Они вышли, и Стенхэм заплатил шоферу.

– Вы его отпускаете? – удивленно спросила Ли.

– Мой ресторан – в медине, в десяти минутах ходьбы.

– Что ж, еще раз спасибо, – сказала она, протягивая руку. – Все было замечательно. Но сейчас я просто без сил.

– Я позвоню завтра, – сказал Стенхэм.

– Спокойной ночи.

Войдя, она прошла прямо к стойке, за которой сидел портье. Стенхэм постоял еще немного в темноте и видел, как она выходит в коридор с ключом в руках. Он повернулся и зашагал по притихшей дороге к Баб эль-Хадиду.

Утром, когда он еще лежал в постели и писал, Абдельмджид вручил ему телеграмму, гласившую: СПАСИБО СОБИРАЙСЬ МЕКНЕС ЛИ.

Стенхэм долго разглядывал ее и больше в тот день уже не работал.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Ее неожиданный отъезд потряс его. С одной стороны, теперь можно было избежать объяснений с Моссом и Кензи из-за того, что он не явился на встречу: Ли послала каждому точно такие же телеграммы, что позволило Стенхэму сообразить, что он заезжал за ней в гостиницу, но она уже уехала. Мосс и Кензи приписали случившееся женским капризам и дурному американскому воспитанию. Но, с другой стороны, это привело в действие весь сложный механизм самоанализа и самообвинений. Стенхэм не сомневался, что каким-то образом спугнул ее. Вопрос сводился к следующему: в какой момент это произошло?

Раз за разом, стараясь не упустить ни малейшей детали, он прокручивал в памяти их разговоры, пытаясь вспомнить выражение ее лица и тон каждой реплики. Это была задача не из легких, поскольку даже если бы ему удалось выделить какой-то один определенный момент, когда она, как ему показалось, вдруг насторожилась, то все равно не было никакой возможности окончательно увериться в своей правоте и в том, что это имеет отношение к ее стремительному бегству из Феса. И все же он не оставлял своих попыток, припоминая и подвергая анализу все новые подробности того дня, пока не пришел к выводу, что все случилось еще в самом начале, до того, как они покинули гостиницу.

На эту мысль его, прежде всего, навело отчетливое воспоминание о том, как он стоял у перил и смотрел в нижний сад, чувствуя, что все погублено, и не мог объяснить свою нервную дрожь и огорчение. «Я разгадал ее!» – даже успел торжествующе подумать Стенхэм. Все вымученные метания из стороны в сторону, которые, как ему казалось, он подметил, начались именно тогда; всё, что она говорила, представляло собой сплошную путаницу уловок, попыток уйти от прямого ответа. Но миг спустя им вновь овладели сомнения.

Так продолжалось несколько дней, пока он не решился поговорить с Моссом.

– Аллан, – сказал он как-то раз, когда они сидели за обедом в одном из ресторанов Виль Нувель. – Что вы думаете о мадам Вейрон? Какое она произвела на вас впечатление?

– Мадам Вейрон? – вяло переспросил Мосс. – А, та умная симпатичная американка, которую Хью как-то пригласил к обеду? Вас интересуют мои впечатления? Что ж, ничего особенного. Во всяком случае, довольно мила. А что?

– Но все-таки у вас осталось впечатление, что она умница. И у меня тоже. Хотя, если подумать хорошенько, держу пари, что вы не вспомните ни одного ее «умного» замечания, просто потому что их не было.

– Да, верно, – ответил Мосс, – не могу сказать, чтобы наша беседа мне так уж запомнилась. Нет, она определенно не блистала, если вы это имеете в виду. Кажется, в тот раз беседу в основном поддерживал Кензи. Так или иначе, мадам Вейрон не внесла в нее своей глубокомысленной лепты, это точно. Но должен признаться, у меня сложилось вполне определенное ощущение, что она не так уж глупа.

Стенхэм расцвел.

– Именно. Причина, по которой я все это говорю – и вы сейчас лопнете от смеха, – состоит в том, что за последние дни я довольно много думал о ней. Мне кажется, она – коммунистка.

Мосс рассмеялся, но сдержанно.

– Думаю, это крайне маловероятно, – сказал он. – Но продолжайте. Все-таки вы действительно редкий тип! Действительно редкий! С чего вам взбрело в голову возводить такой поклеп на бедную девушку?

– Вы ведь знаете мою историю, – начал Стенхэм, чувствуя, что сердце его учащенно забилось, как всякий раз, когда ему случалось упоминать об этом эпизоде своего прошлого. – Когда я состоял в партии, я проводил с этими людьми дни и ночи, так что могу распознавать их практически безошибочно.

Неожиданно он подумал: а что, собственно, толкнуло его вспомнить обо всем этом? Вряд ли Мосс сможет сказать ему что-нибудь утешительное, полезное, прольет свет на загадки этой темы, вряд ли даже захочет разделить его интерес.

– Если не ошибаюсь, – продолжал он, – я не встречал ни одного коммуниста за те четырнадцать лет, что вышел из партии. Однако чутье у меня на них по-прежнему острое, и я убежден, что прав насчет мадам Вейрон. А если так, то она куда большая умница, чем нам показалось, потому что ей удалось разыграть прекрасное представление.

– Послушайте, – посетовал Мосс, – как можно поверить, что политические убеждения человека способны так его изменить? Почему бы ей не быть такой, как все, даже если она коммунистка? Осмелюсь сказать, я встречал их дюжинами и даже ни разу ничего не заподозрил.

– Тогда вам не мешало бы узнать их получше. Это все, что я могу сказать. Настоящий коммунист, посвященный, отличается от нас с вами, как буддистский монах. Это новая разновидность человека.

– Чушь, дорогой Джон, полнейшая чушь, – Мосс знаком подозвал официанта. – *La suite*¹, – распорядился он. – Вы – образованный человек, а говорите столь необдуманные вещи. А вы сами-то? Вы тоже представляли новую разновидность человека, пока состояли в партии?

Стенхэм нахмурился.

– Я никогда не был верующим. Просто черт попутал. Разобрался, чем на самом деле это пахнет, и особо медлить не стал. – Секунду помолчав, он поправился. – Впрочем, я не точно выразился. Не очень хорошо помню, почему я решил выйти из партии, но интерес к ней я потерял, когда мы заключили с Россией договор о союзничестве летом 1940. Примерно месяц спустя я сказал им, что ухожу. Последней

¹ Второе блюдо (*фр.*).

каплей было, когда мне сообщили, что я не могу сделать это по собственной воле.

Мосс слушал его с очевидным нетерпением.

– Не в том ли дело, что вы неравнодушны к ней и подозреваете, что у нее есть постоянство взглядов и целей, которых вам так не хватает самому? Не в этом ли дело? – Он поглядел на Стенхэма с шутовской гримасой, как малиновка, прислушивающаяся к червяку.

– Боже правый! Вы в своем уме? – воскликнул Стенхэм. Он резко отодвинул тарелку, которую предложил ему Мосс. – Нет, не буду я эту картонную фасоль. Лучше уж обойдусь без овощей. Могу только сказать, что вы ошибаетесь, все вовсе не так.

– Каждый может ошибаться, – любезно заметил Мосс, – но все же я склонен думать, что неуравновешенность, заставившая вас впасть в подобную крайность (ибо это крайность – вступать в такую организацию), теперь заставляет вас подозревать в каждом подобную склонность к фанатизму. А мир за эти годы успел сильно измениться. Ради Бога, Джон, перестаньте воспринимать мир как мелодраму. С точки зрения морали вы, по сути своей, тоталитарны. Надеюсь, вы это сами понимаете?

– Ничего подобного, Алан, это ничуть не так, – улыбнулся Стенхэм.

Малоприятное обвинение, однако, запало ему в душу, и во время своих прогулок он частенько вспоминал о нем. Беспокоит, сказал он себе, не то, что оно может оказаться правдой, а то, что Мосс слишком хорошо знает его уязвимые места и точно пускает свои стрелы. Стенхэм не был уверен, что сам Мосс в полной мере понимал смысл оброненной им фразы, это было ничто по сравнению с другим мучившим его заключением, которое он бессознательно вычитывал в словах Мосса: несовершенство характера, которое однажды заставило его раскрыть объятия коммунистам, никуда не делось: он

смотрел на мир по-прежнему. Вот что, как казалось Стенхэму, подразумевал Мосс, и если так оно и было, то за все это время он ничуть не продвинулся вперед.

Мысленно ему рисовался путь, проделанный за эти годы. Сначала он утратил веру в партию, затем в идеологию марксизма, потом медленно истреблял в себе представление о равенстве людей, неминуемо порождавшее зло, от которого он отрекся. В жизни не было и быть не могло никакого равенства, потому что человеческое сердце требует иерархии. Он пришел к этому убеждению, но потом потерял направление, не знал, куда двигаться, разве что все дальше отступать в субъективность, отвергавшую существование любой реальности и законов, кроме собственных. Все послевоенные годы Стенхэм жил в одиночестве и тщательно игнорировал происходящее в мире. Его не занимало ничего, кроме идеальной замкнутости собственного сознания. Затем мало-помалу у него стало появляться ощущение, что свет смысла – любого смысла – меркнет. Подобно пламени за стеклом, он вспыхивал и гас, и все сущее, кроме той герметичной конструкции, к которой свелось его существование, сделалось абсурдным и нереальным.

Осознав это, он пришел к жизни, обусловленной простыми рефлексам, автоматически проживая каждый день так, чтобы в нем сохранилась хотя бы крупинка здравого смысла. Его охватила безмерная тревога, которую сам для себя он определял как желание «спастись». Но от чего? Однажды жарким днем во время долгой прогулки по холмам за Фесом он с ужасом и изумлением признал в глубине души, что его пугало нечто древнее, как мир: вечное проклятие. Это открытие потрясло его, так как свидетельствовало о таинственной раздвоенности, трещине, проходящей сквозь самые основы его существа: в душе его не было даже зачатков хоть какой-либо веры, и, обращаясь памятью к детству, он не находил их и там. Словно невидимая преграда застыла между

ним и верой. В его семье о религии не полагалось упоминать наравне с вопросами пола.

Родители говорили ему: «Мы знаем, что в мире есть сила, влекущая человека к добру, но никому не ведомо, что она собой представляет». В его детском уме сложилось представление об этой «силе», как о счастье. Человеку могло повезти в жизни, а могло и нет: дальше религиозные представления Стенхэма не шли. Разумеется, в мире существовали миллионы людей, которые исповедовали ту или иную религию, к ним следовало относиться терпимо, как к нищим. При подобающем воспитании в один прекрасный день они тоже могли вступить в светлое царство рационализма. К присутствию в доме человека религиозного всегда относились как к тяжкому испытанию. И его старались всячески опекать. «У некоторых людей сохранились странные предрассудки – возьмите хотя бы Иду с ее кроличьей лапкой или миссис Коннор с ее распятием. Мы-то, конечно, знаем, что все это ничего не значит, но должны уважать веру каждого и вести себя очень осторожно, чтобы никого не оскорбить».

Но даже в детстве он понимал, что родители не имели в виду «уважать» по-настоящему: просто было хорошим тоном изображать уважение в присутствии такого человека. Кроме того, к любому упоминанию учения о бессмертии души относились как к наихудшему проявлению дурного вкуса; Стенхэм видел, как его родители вздрагивают, стоило гостю наивно затронуть эту тему в ходе беседы. Шестилетним ребенком он уже знал, что, когда организм перестает работать, сознание угасает вместе с ним: это и есть смерть, за которой – пустота, небытие. Вплоть до этой минуты такое представление высилось, как столп, где-то в глубине темной пещеры его разума, подобно одной из аксиом практической жизни, как незыблемое знание о том, что существует закон всемирного тяготения.

К тому же у него не было ни малейшего намерения хоть как-то изменить положение дел. Его первой реакцией в тот

день, когда он определил природу своего страха, было сесть на обломок скалы и бессмысленно уставиться в землю. Надо просто взять себя в руки, подумал он тогда. Обычно ему удавалось установить источник своих тревог; чаще всего это было нечто конкретное, физическое: бессонница или несварение желудка. Но то, что открылось ему в той вспышке, напоминало мимолетное видение: он увидел свое сознание как круг, начало и конец которого бесследно смыкались. Причем дело было не в самом сознании, а во времени, вне которого оно существовало. Так есть ли основания предположить, что возможно узнать о происходящем с сознанием в момент смерти? Вполне можно допустить, что в момент, когда течение времени прекращалось, жизнь замыкалась на самой себе, а стало быть, оказывалась неистребимой. Неожиданность этого открытия вызвала у Стенхэма приступ дурноты: невозможно было представить ничего более чудовищного, чем мысль о том, что человек бессилён оборвать свое существование, даже если пожелает, что невозможно обрести забвение, поскольку забвение – всего лишь абстракция, обман? Так он и сидел, стараясь стряхнуть вдруг окутавшее его ощущение кошмара и думая о том, какие странные вещи могут твориться у человека в голове. Не важно, что происходило во внешнем мире, мысль прокладывала себе дорогу, придумывала все новые приключения, и кто мог ответить, что же поистине реально – то, что внутри, или то, что вне нас? С мимолетной завистью Стенхэм подумал о жизни людей там, внизу, в городе, лежащем у него под ногами. Как чудесно было бы, если бы они оказались правы и Бог в самом деле существовал. Разве не самым прекрасным изобретением человечества за всю его историю было, в конечном счете, изобретение богов, которым люди могли бы полностью верить, и эта вера делала бы их жизнь, по меньшей мере, терпимой?

Так он присидел какое-то время, выкурил подряд три сигареты и дал видению померкнуть, потом встал и пошел дальше,

предаваясь невеселым мыслям о том, что если бы не глупое желание поделиться с Моссом своими подозрениями о девушке, тот, возможно, никогда не произнес бы слова, которые, пусть и косвенно, вызвали всплеск возбуждения, породивший малоприятное воспоминание несколько минут назад.

Потом ему пришло в голову, что если его подозрения верны, то и Ли наверняка знает о нем все. «Она о вас наслышана», – сказал Кензи. Это могло быть просто вполне невинным упоминанием о его книгах, как все и восприняли, а могло означать нечто совсем другое. Разумеется, партия никогда не забывала имен тех, кто когда-либо был ее членом. Однако ему никак не удавалось подыскать удовлетворительное объяснение спешному отъезду Ли.

За последнюю неделю политическое положение вокруг Феса и в самом городе значительно ухудшилось. По стране прокатилась волна поджогов: пересохшие поля золотистой пшеницы, готовые к уборке урожая, полыхали, и облака тяжелого синего дыма стояли над ними. По тем, кто старался бороться с пламенем – французским добровольцам с соседних усадеб, из Феса и Мекнеса, – стреляли, было уже несколько раненых. Алжирский экспресс, проходивший через пустоши к востоку от Феса, был пущен под откос, а затем тоже обстрелян. В медине, в здании почты, всего в пяти минутах ходьбы от гостиницы, взорвалась бомба. Двенадцать евреев были сожжены заживо во время политической манифестации в Петиджане – уродливом городишке милях в шестидесяти от Феса, – что привело к стычкам между евреями и мусульманами в Фесе, и полиции пришлось выстроить заградительный кордон вокруг меллаха.

– Если мы поймем какого-нибудь еврея на улице ночью, то поступим с ним так же, как с женщиной мусульманкой, – сообщил однажды утром Абдельмджид, унося поднос с остатками завтрака.

– Что ты хочешь этим сказать? – спросил Стенхэм, ожидая потрясающего откровения, новой зловещей информации о социосексуальных обычаях марокканцев.

– Ну, забросаем камнями, пока он не упадет. Потом еще набросаем камней и забьем ногами.

– Но вы же наверняка не поступаете так с мусульманками, – возразил Стенхэм. Правда, ему приходилось видеть беспримерную жестокость в обращении с женщинами, но всегда была какая-то причина.

– Конечно, поступаем! – ответил Абдельмджид, удивленный тем, что христианину может быть незнакомо такое основополагающее правило общественного поведения. – Всегда! – решительно добавил он.

– Но, предположим, ты заболел, – начал было Стенхэм, – и твоей жене Раиссе пришлось выйти, чтобы достать тебе лекарство?

– Ночью? Одной? Никогда!

– Но если бы она это сделала? – не отставал Стенхэм.

Абдельмджид, привыкший к тому, что европейцы привыкли развлекаться пустыми фантазиями, сосредоточился, пытаясь представить себе такой невероятный случай.

– Это опасно: тогда ее могут убить, и поделом.

Стенхэму нечего было возразить. Иногда он просто терял дар речи при виде бессмысленной жестокости марокканцев. Они походили на взбесившихся роботов; возможно, когда-то в таком поведении и был смысл, но давно потерялся, никто не помнил о нем и не заботился вспомнить.

За последние несколько дней в гостинице не появилось ни одного нового постояльца. Перед воротами постоянно дежурило человек пять французских полицейских. Стенхэму казалось, что, когда он проходит мимо, они смотрят на него осуждающе. Они парковали патрульную машину возле скрытых кустами ворот, но только днем, на ночь она уезжала. Там могла беспрепятственно укрыться целая армия. Кензи дважды

вызывали в полицейскую префектуру и торжественно советовали вывести его «Эм-Джи» из города туда, откуда он его привез. «Это приказ? – интересовался Кензи. – Если это приказ, британскому консулу будет очень интересно о нем услышать».

– Какая наглость! – презрительно фыркнул он, рассказывая Моссу о случившемся. – Моя виза в полном порядке. Хотят меня запугать, убудки.

Мосс, однако, был склонен отнестись к инциденту более серьезно.

– Думаю, вам лучше ходить пешком или пользоваться общественным транспортом, как и все мы, – посоветовал он. – Вы так бросаетесь в глаза в своем одиоком великолепии, когда разъезжаете среди толпы оборванцев в Фес-Джедиде. Я видел вас однажды, когда сидел в алжирском кафе, а вы проезжали мимо, и, помнится, еще подумал: «Какой терпеливый народ, в самом деле. Странно, что они не решились на вас наброситься».

– Наброситься на меня! – негодуяще воскликнул Кензи. – Но почему?

– Да, наброситься на вас, – невозмутимо повторил Мосс. – Любая ситуация такого рода почти всегда приводит к конфликту между имущими и неимущими. Вы только попусту ищете Провидение, уверяю вас.

– Но на машине – английские номера, – возразил Кензи. Мосс расхохотался.

– Можно не сомневаться, они заметили это! Те немногие, кто слышал слово «Англия», убеждены, что это городок где-то в Париже. Отчего бы вам не раздобыть огромный британский флаг и не растянуть его над капотом? Тогда они хотя бы решат, что это реклама цирка.

– Местные меня пока не трогали, а вот с французами приходится держать ухо востро.

По газетам, приходившим из Касабланки и Рабата, они следили за тем, как развивается ситуация, и это придавало

событиям отчасти официальный и в то же время фантастический оттенок, словно отрывая их от реальности. Порой им казалось, что они живут в самом средоточии важного исторического момента, хотя время от времени им приходилось напоминать об этом самим себе и друг другу. Несмотря на известия о новых происшествиях, все французы были твердо уверены, что власти полностью контролируют ход событий и ничего серьезного не происходит и не произойдет. И, даже если кто-нибудь допускал естественную склонность прессы, находящейся под правительственным контролем, приуменьшать опасность, он все равно верил в способность французов не выпускать ситуацию из-под контроля. Превращение мелаха в закрытый город представлялось выдумкой, нелепой и вздорной предосторожностью. О том, что действительно думают и чувствуют люди, можно было судить только по их лицам, а Стенхэму они казались такими же, как всегда. Поэтому ему пришлось сдерживать улыбку, когда Раисса ворвалась утром в комнату, чтобы сообщить, что всего час назад некий *медждуб*¹ был убит французами в Зекак аль-Хаджаре и еще до конца сегодняшнего дня нужно ожидать загадочных неприятностей. Она была на грани истерики, и Стенхэму так и не удалось составить для себя ясной картины случившегося.

Он знал только, что единственная разница между обычным психопатом и *медждубом* состояла в том, что *медждуб* был *шарифом*. А допустить, что *шариф* может оказаться сумасшедшим, было невозможно: святая кровь, текущая в его жилах, автоматически обращала любое безумие в дар пророчества. Поэтому, каким бы вызывающим ни выглядело поведение человека, было небезопасно приписывать его простому умопомешательству. Даже если вы знали этого человека и его семью, то впадали в греховное заблуждение, полагая, что он безумен, ведь он был в прямой связи с истиной Божией. Стен-

¹ Одержимый, юродивый (*араб.*).

хэму не раз случалось наблюдать подобное отношение со стороны простонародья. Если человек катался в пыли по какому-нибудь грязному, зловонному переулку, вдруг обращался к солнцу, стоя посреди толпы, или выкрикивал нечленораздельные проклятия перед кафе, полным игроков в карты, его старались опасливо обойти стороной. Даже если он набрасывался на кого-то, к нему относились с определенным почтением, и, хотя Стенхэм и понимал, что такая реакция вызвана, скорее, страхом, чем добротой и состраданием, он часто восхищался сдержанностью и терпением, которые люди проявляли по отношению к этим буйствующим существам.

– Французы убили *медждуба*? – недоверчиво переспросил он. – Этого не может быть. Тут какая-то ошибка.

Нет, нет, настаивала Раисса. Все точно. Многие люди это видели собственными глазами. Он, как обычно, призывал проклятия на головы французов, крича «Ed dem! Ed dem! Мусульмане должны пролить кровь!», и тут двое полицейских, ехавших в Неджарин, остановились и стали смотреть на него. Увидев их, он сразу же признал посланников Сатаны и возопил, обращаясь к Аллаху, чтобы он истребил весь их род, и тогда полицейские, посоветовавшись друг с другом, подошли к нему и ударили его об стену. Тогда он бросился на них и стал бить их и царапаться, а они достали свои пистолеты, и каждый в него выстрелил. И *медждуб* (да благословит его Аллах!) упал, стеной от боли, но не переставая кричать «Ed dem!», и умер прямо на глазах у всех, а тут понаехали еще полицейские и увезли тело, а народ разогнали, заставляя их идти дальше по своим делам, как будто ничего не произошло. И это был ужасный, ужасный грех, который Аллах никогда не простит в сердце Своем, и теперь долг каждого мусульманина, хочет он того или нет, – отомстить. Проклятый день, *bismill'lah rahman er rahim*.

– И что станется теперь со мной и моим мужем, которые работают в гостинице на назареев? Мусульмане – люди

злые. Они могут и убить нас, раз мы всё знали, – закончила она плаксиво.

Когда мусульманин говорил с христианином о своих единовержцах, почти неизбежно в его словах проскальзывала эта двусмысленность. Какое-то время это были «мы», которое неожиданно менялось на «они», и в этом «они» звучало нечто вроде горькой критики и осуждения.

– Нет, нет, нет, – сказал Стенхэм. – Они могут убить меня, потому что я назарей, но зачем им убивать тебя? Ты – добрая мусульманка и просто зарабатываешь себе на хлеб.

Но Раиссу его слова не утешили. Она помнила слишком много добрых мусульман, которые зарабатывали себе на хлеб, прислуживая назареям, и которых забивали до смерти, не давая им даже защититься; то, что эти мусульмане могли сотрудничать с полицией, не приходило ей в голову.

– Ауман! – горестно простонала она. – Плохой, плохой день!

Отделавшись от нее, Стенхэм подошел к окну и прислушался. День был как день, дремотные звуки поднимались над долиной: далекое гудение лесопилки, крики ослов, отрывки египетских песен, вырывавшиеся то тут, то там из радиоприемников, детская разноголосица. В саду, как ни в чем не бывало, чирикали воробы. Стенхэм сел за работу, понял, что писать не сможет и недобрым словом помянул Раиссу. Потом полежал на солнце, надеясь, что удастся расслабиться и возобновить прерванный поток мыслей. Но в последнюю неделю-полторы было слишком жарко, чтобы принимать солнечные ванны, и сегодняшней день не был исключением. Пот лил с него ручьями, даже обивка кресел была влажной. Оставалось только усестись за машинку, стоявшую на столе посреди комнаты, и отпечатать несколько писем, но взгляд его то и дело отрывался от написанного и бездумно скользил по панораме холмов и стен. Прошло около часа, пока Стенхэм не осознал, что большую часть времени наблюдает за городом. Он поспешил занести свое открытие в письмо, как человек,

чувствующий, что дело у него из-за рассредоточенности продвигается с перебоями, а потому считающий необходимым принести извинения адресату. «Это самое проклятое место на свете для того, кому необходимо сосредоточиться. На первый взгляд, оно кажется тихим и спокойным, но только на первый. Даже сейчас, когда я пишу эти строки, я постоянно отрываюсь и гляжу в окно. И дело не в том, что я люблюсь видом, потому что даже не замечаю его. Каждую мелочь я могу вообразить с закрытыми глазами. Надеюсь, вы представляете, насколько хуже обстоит дело, когда я пытаюсь работать...»

Стенхэм снова остановился и перечитал написанное. Абсурд, да и только: куда лучше было бы, если бы он постарался понять, чем именно притягивает его взгляд медина. Почему мысли его заняты этим лежащим за окном обширным пространством, сияющим в лучах утреннего солнца? Он знал, что это средневековый город, знал, что любит его, но это не имело никакого отношения к тому, что происходило где-то в глубинах его сознания, пока он сидел, глядя в окно. На самом деле Стенхэм чувствовал, что города нет, поскольку однажды, рано или поздно (и, похоже, что рано), он исчезнет. Так было у него со всеми вещами, со всеми людьми. Грубо говоря, город был просто символом – это было ясно. Символом всего, что было обречено на перемены или, выражаясь точнее, на уничтожение. И, хотя это была не слишком-то утешительная точка зрения, Стенхэм не отвергал ее, поскольку она совпадала с тем, во что он твердо верил: человек должен любой ценой перенести какую-то часть самого себя за пределы жизни. Если он хотя бы на мгновение перестанет сомневаться, примет за безоговорочную истину все, о чем говорят ему чувства, он утратит твердую почву под ногами и будет унесен потоком, лишившись всякого представления о реальности, полностью поглощенный хаосом бытия. Его мучило подозрение, что в один прекрасный день он обнаружит, что все время заблуждался, однако пока у него не было иного выбора, кроме

как оставаться таким, как есть. Человек не может по своей прихоти менять то, во что верит.

Закончив четыре письма, Стенхэм побрился, оделся и вышел во внутренний дворик. Там никого не было; даже верзила-горец, *huissier*¹, стороживший машины, куда-то исчез; быть может, потому что сторожить сейчас было нечего. За воротами шла своим чередом уличная жизнь. Владелец антикварной лавки, обслуживавшей исключительно постояльцев гостиницы, низко поклонился, завидев Стенхэма. В первые три-четыре года он упорно верил в то, что этого туриста можно уговорить приобрести хоть что-нибудь; он льстиво зазывал его в лавку, угощал чаем, предлагал сигареты или трубку кифа. Все это Стенхэм принимал, предупреждая, однако, что находится здесь исключительно как друг, а не как клиент. Это не мешало владельцу лавки хлопотливо расстилать на полу берберские ковры, звать сыновей, чтобы они, как манекены, демонстрировали джентльмену-назарю старинные расшитые кафтаны, отпирать кованые сундуки, выложенные пурпурным и фуксиново-красным бархатом, где хранились кинжалы, сабли, роговые пороховницы, табакерки, стремяна и пряжки, а также сотни прочих никчемных предметов, ни один из которых Стенхэма абсолютно не интересовал.

Теперь, по прошествии времени, старик начал испытывать род изумления перед этим загадочным иностранцем, который выдержал такую длительную осаду, но так и не сдался; оба держались друг с другом предельно учтиво. Однако Стенхэму не нравился елейный тон старика, к тому же он знал, что тот состоит осведомителем французской полиции. Само собой разумеется, это было практически неизбежно и вины старика в том не было. Всякий местный житель, регулярно общавшийся с туристами, был вынужден представлять в полицию отчеты об их занятиях и разговорах (хотя трудно

¹ Распорядитель (*фр.*).

было понять, какую важность может иметь эта поверхностная информация для тех, кто вел досье в Двенадцатом отделе). Несколько раз владелец пытался завязать со Стенхэмом разговоры, которые, если довести их до логического завершения, должны были так или иначе затронуть политические темы, однако Стенхэм, вполне по-мароккански, умело переводил их в другое русло, заставляя беседу словно повиснуть в воздухе, зацепившись за крючки Moulana и Mektoub¹, с которых ее уже нельзя было снять, не нарушая приличий.

– Надеюсь, в такой замечательный день вы почувствуете себя прекрасно, – сказал старик по-французски, когда Стенхэм подошел поближе. Даже его настойчивое использование этого повсеместно презираемого языка раздражало Стенхэма: ему нравилось, когда марокканцы обращаются к нему на родном. Затем, не меняя выражения лица, старик добродушно и в то же время угодливо добавил:

– Un mot, monsieur².

– В чем дело? – удивленно спросил Стенхэм.

– Не гуляйте сегодня особенно много. – Старик уклончиво улыбнулся. – Ah oui, – и, словно отвечая на вопрос Стенхэма, продолжал: – Ah oui, il fait très beau³. Правда, немного жарковато, но это в порядке вещей. Ведь теперь лето. Лучше остаться в гостинице. А как поживает мсье Ален? У него все в порядке? Как он себя чувствует? Передайте ему от меня привет, пожалуйста. У меня сейчас есть несколько прекрасных римских монет, замечательный товар для такого великого connoisseur comme Mr. Alain⁴. Скажите ему об этом, пожалуйста. Видите, пришлось закрыть ставни на витринах. Я собираюсь запереть и дверь. Bon jour, monsieur! Au plaisir!

1 Божество и Провидение (*араб.*).

2 Можно вас, мсье? (*фр.*)

3 Ах да, сейчас так прекрасно. (*фр.*)

4 Знатока, как господин Ален (*фр.*).

Он снова поклонился и исчез в лавке. Стенхэм какое-то мгновение стоял, застыв, замороженный этим неожиданным представлением. Действительно – все ставни по фасаду дома были закрыты и заложены тяжелыми железными засовами. До сих пор Стенхэм не обратил на это внимания. Старик закрыл дверь, и было слышно, как он шумно возится с тремя стальными запорами, задвигая их один за другим.

Стенхэм остановился у внешних ворот, окруженный торопливо снующими носильщиками, вглядываясь в извилистую дорогу. Полицейских в поле зрения пока не было. Стенхэм пошел дальше по пустырю между городской стеной и кладбищем; здесь стояли местные автобусы, и пассажиры с любопытством выглядывали из окон, в надежде поглазеть на патрульную машину. Однако ее не было на месте. Стенхэм начал подозревать, что рассказ Раиссы не был выдумкой и что отряды полиции отправили в потенциально опасные места в центре города. Но здесь погрузка и разгрузка грузовиков, посадка в автобусы продолжалась, как обычно, и не было ощущения, что день чем-то отличается от прочих. Было скучно и жарко, Стенхэм дотащился обратно до гостиницы и на главной террасе столкнулся с портье.

– Жарко сегодня, – сказал он.

Портье, высокий мужчина, взглянул на небо.

– Думаю, к вечеру может быть гроза, – ответил он.

В своих брюках в полоску и визитке он выглядел как достойный владелец похоронного бюро.

– Скажите, – обратился к нему Стенхэм, – сейчас в гостинице, кроме меня и двух английских джентльменов, нет больше постояльцев, верно?

– Сегодня вечером мы ждем новых туристов. А в чем дело? Если вы желаете сменить комнату, у нас есть еще номера, – удивленно и неуверенно произнес портье.

Стенхэм рассмеялся.

– Нет, нет. Мне очень нравится моя комната – не меньше, чем то, что гостиница пустует. Вам, конечно, это не очень выгодно, – добавил он. – Но так как-то приятнее.

– Дело вкуса, – тонко улыбнулся портье. – *Bien entendu*.¹

– Вся ваша европейская прислуга спит в гостинице?

После этого вопроса портье впервые позволил себе взглянуть прямо в глаза Стенхэму.

– Мне кажется, теперь я догадываюсь, что на уме у месье Стенхэма. Но позвольте мне заверить вас. Бояться абсолютно нечего. На нашу местную прислугу вполне можно положиться. – (Про себя Стенхэм не мог сдержать улыбки: портье впервые приехал в Марокко четыре месяца назад, а уже говорил как *колон*.²) – Большинство, как вы знаете, спит дома. А у тех немногих, что остаются, долгий и безупречный послужной список, и всех, кроме сторожа, управляющий собственноручно запирает в их комнатах, а ключи постоянно держит при себе.

Стенхэму это показалось одновременно забавным и поразительным.

– Правда? Я и не знал, – сказал он.

– Кроме того, – не умолкал портье, видимо полагая, что сообщает сведения чрезвычайной важности, – в Фесе абсолютно нет поводов для беспокойства.

– Да, я понимаю, – сказал Стенхэм. – Но все же это был для вас не слишком удачный сезон.

– Гостиница теряет около пятидесяти тысяч франков в день, месье, – торжественно и мрачно объявил портье. – Естественно мы понесем громадные убытки в этом сезоне. Мы свели закупки продовольствия к минимуму, но я надеюсь, вы не считаете, что качество при этом пострадало?

– О, нет, нет, – заверил его Стенхэм. – Кухня всегда превосходная.

¹ Разумеется. (*фр.*)

² Французский поселенец.

Ему пришлось солгать, и оба это знали: в лучшем случае, еда была сносная.

Неожиданно показался Мосс, поднимавшийся из нижнего сада. На ходу он помахивал тросточкой. Портье поздоровался с ним, попросил прощения и удалился.

Стенхэм с Моссом присели за столик в тени. Тут же появился маленький алжирец. Мосс заказал «Сен-Рафаэль».

– Послушайте, Джон, вы слышали, что случилось? Просто не верится!

– За сегодняшний день я уже слышал, по крайней мере, две вещи, в которые не верится. А что слышали вы?

– Я имею в виду дикаря, которого Истиклал специально натравил подстрекать толпу – одного из тех несчастных безумцев в лохмотьях, которые вопят и размахивают руками. И полиция прямоком угодила в эту ловушку.

Дальнейший рассказ Мосса, в основном, повторял то, что Стенхэм уже слышал от Раисы; вдобавок Мосс считал, что дело не обошлось без заранее предусмотренной провокации со стороны националистов.

– Должен сказать, что они поступили не очень-то красиво, так хладнокровно пожертвовав бедным старым дурнем. Как бы то ни было, Хью тут же ринулся на машине, чтобы разведать подробности, но его быстро задержали. Он недавно звонил вне себя от ярости, потому что они не хотят отпускать его, пока он не предъявит паспорт, так что придется мне везти ему документы. Любопытно, как ему удастся каждый раз нарываться на неприятности. Все это совершенно никому не нужно.

– Но почему вы так спокойно сидите здесь, когда он ждет?

– О, я заказал такси, – устало ответил Мосс. – Приедет с минуты на минуту. Но я не могу воспринимать это слишком серьезно или жалеть Хью, потому что он идиот. Ведет себя, как мальчишка на крикетном поле. А ведь тут не крикет, а кое-что посерьезнее. Как вам кажется? Нельзя же сидеть и

рукоплескать, когда убивают людей. Раз уж вы не в силах помочь, то хотя бы держитесь в стороне. Как по-вашему?

Стенхэм согласился. Мосс допил вино, вытер усы носовым платком и встал.

– Что ж, дружище, скоро увидимся. И никуда не выходите из гостиницы. Кто знает, меня тоже могут арестовать, и тогда потребуются ваша помощь. Само собой, чертов консул куда-то укатил на весь день. Думаю, намеренно. Так что ожидайте звонка.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Когда Стенхэм поднялся к себе в комнату, слегка задыхаясь, потому что день был не только жарким, но и непереносимо душным и гнетущим, он увидел, что дверь открыта и Раисса скребет пол. Она вынесла ковры и развесила их на балконах. В комнате стоял запах креозота, который она развела в ведре. Подушки и постельное белье были разложены по креслам, присутствие Стенхэма в данный момент было очевидно излишним. Однако он все-таки вошел и обратился к Раиссе:

– Есть новости?

Та удивленно оторвалась от своего занятия и знаком показала Стенхэму, чтобы он закрыл за собой дверь. Раисса встала и, заговорщически вытаращив глаза, произнесла:

– Праздника не будет.

– Праздника? Какого праздника? – спросил Стенхэм, совершенно забывший о наступлении Аид-эль-Кебира.

– Ну как же! Праздника Овцы, великого праздника! Мы держали овцу на крыше целых три недели. Она даже разжиреть успела. Но они убьют любого, кто принесет жертву.

– Кто они? О ком ты говоришь?

Стенхэм только теперь почувствовал, что настроение у него очень неважное и что в этом отчасти виновата Раисса. К тому же ему хотелось сесть, а сесть было некуда.

– Мусульмане. Друзья Свободы. Они говорят, что всякий, кто зарежет овцу, предаст султана.

Еще один шаг к гибели, с горечью подумал Стенхэм. Пусть даже слухи были неверны, но сам факт, что люди говорили подобное, что такая немыслимая ересь могла разрастаться в их мысли, свидетельствовали о направлении, в котором они двигались.

– V'sah? – неприязненно произнес он. – Правда? И что же, все собираются их слушаться и повиноваться? Значит,

политика важнее религии? Аллаль Эль-Фасси важнее Аллаха? Почему уж тогда не назвать его Аллах Эль-Фасси?

Шутка показалась ему удачной.

Раисса не могла уловить ход мыслей Стенхэма, но все же была глубоко потрясена.

– Нет никого в мире выше Аллаха, – ответила она сурово, подумав, что Бог обязательно должен наказать этого невежу-назарея за такие дерзкие слова.

– Так вы собираетесь резать свою овцу или нет? – настойчиво повторил Стенхэм.

Раисса медленно покачала головой из стороны в сторону, не сводя глаз со Стенхэма.

– Mamelouah, – ответила она. – Это запрещено.

– Никто не может этого запретить! – воскликнул Стенхэм, вконец потеряв терпение. – Наоборот, запрещено не делать этого! Аллах требует этой жертвы. Был ли хоть один год, когда вы не делали этого?

– В прошлом году, – ответила Раисса, продолжая качать головой, – праздника не было.

– Конечно, был! Разве в прошлом году Абдельмджид не зарезал овцу?

– Не он – его отец. Мы поженились уже позже, накануне Мулуда.

– Но он все-таки зарезал овцу.

– Ах, да. Но зря, потому что султана арестовали в тот же самый день.

– Ага, – задумчиво произнес Стенхэм. – Теперь я понимаю. Конечно, французы использовали этот самый святой день в году, чтобы похитить султана, и жертвоприношение совершал уже подставной султан. Таким образом, жертва в счет не шла. – Стенхэм помолчал, потом быстро спросил: – Почему же вы не можете принести вашу овцу в жертву настоящему султану?

– Истиклал не хочет праздника, – терпеливо пояснила Раисса. – Грех праздновать, когда весь народ страдает.

– Ты хочешь сказать, люди могут забыть о своей беде, если устроить праздник, а Истиклал этого не хочет? Ему нужно, чтобы они постоянно помнили о том, что несчастны. Так?

– Да, – ответила Раисса слегка неуверенно.

– Но разве ты не понимаешь?! – крикнул Стенхэм, повышая голос против воли, так как сознавал, что она все равно ничего никогда не поймет. – Разве ты не понимаешь, что они хотят отнять у вас вашу религию, чтобы захватить всю власть? Они хотят навсегда закрыть мечети, а всех мусульман превратить в рабов. В рабов!

– Моя мать была рабыней в доме паши, – сообщила Раисса. – Каждый день к обеду у нее была курица, и еще у нее было четыре браслета из чистого золота и шелковый халат.

Как делают почти все, понимая, что карта их бита, Стенхэм решил прибегнуть к сарказму.

– И, я думаю, ей очень нравилось быть рабыней, – сказал он.

– Так было предначертано, – пожала плечами Раисса.

– Да, разумеется, – сказал Стенхэм, сам не понимая, почему снова впал в ту же ошибку и ввязался в спор с одним из этих людей, прекрасно зная, что контролировать ход спора совершенно невозможно; алогичность подобных разговоров всегда порождала в нем гнетущее чувство собственной несостоятельности. В конце концов, подумал он, будь они существами рациональными, эта страна не представляла бы никакого интереса; очарование ее было напрямую связано с умственной неразвитостью обитателей. Однако вряд ли можно было упрекнуть их в сознательной и воинствующей отсталости. Как только им в руки попадал хотя бы малейший клочок пышной европейской культуры, они цеплялись за него с нелепой страстью, однако могли усвоить его, лишь поскольку он был оторван от целого, а потому лишен всякого смысла. Но после стольких веков изоляции, их культура, словно замороженная, теперь, оттаяв, должна была стремительно разложиться. «Так

было предначертано», – сказала ему Раисса, и Стенхэм вынужден был согласиться с ней; такова была конечная и всеобъемлющая истина о мире, единая для всего Марокко. Поэтому любой спор оказывался всего лишь столкновением характеров.

«Mektoub». Раисса по-прежнему стояла на месте, испытывая глядя на Стенхэма. Он не мог понять, чего она еще дожидается, и, поскольку сказать ему было нечего, он улыбнулся ей, открыл дверь и спустился вниз. Она никогда не закончит уборку, останься он в комнате.

Какое-то время он просидел в темном углу вестибюля, просматривая старые номера журналов, посвященных коммерческой стороне жизни французских колоний и иллюстрированных невыносимо скучными фотографиями фабрик, складов, строящихся мостов и плотин, домостроительных проектов и местных рабочих. Все это напомнило ему старые советские издания, которые он в свое время прилежно изучал. В конце концов, подумал он, коммунизм был всего лишь более опасной формой заболевания, распространившегося по всему миру. Мир неделим и однороден; то, что произошло в одном месте, произойдет и в другом, и везде найдется своя политическая оппозиция. Пожалуй, огромное различие состояло в том, что Запад оказывался гуманнее: он предусматривал для своих пациентов анестезию, в то время как Восток, принимая страдание как нечто само собой разумеющееся, устремлялся навстречу грядущему кошмару с предельным безразличием к боли.

«Ваша беда в том, Джон, – заявил Мосс, – что вы не верите в человечество». С этим он тогда не стал спорить, но ответный довод состоял в том, что вере в человечество непременно должна предшествовать вера в Бога. «А вы верите?» – спросил Мосс. Стенхэм ответил, что нет. Мосс торжествовал: «И никогда не поверите! Одно без другого не существует». Стенхэм воспринял это, как ложный аргумент, типичный для

современного человека, позабывшего о смирении. «Оставьте. И слушать не хочу, – ответил он. – В этом-то и корень всех зол». Таковы были маленькие баталии, которых Стенхэм боялся больше всего, оставаясь один на один с Моссом, без конца его провоцировавшем; он оказывался втянутым в спор, прежде чем успевал осознать это. Мосс был так уверен в себе, он прочно стоял на якоре, грозные валы жизненной стихии не тревожили его, его нехитрые проповеди были бессмысленными.

Стенхэм бросил журналы на стол и пошел обедать. В столовой стояла тревожная тишина. Официанты ходили на цыпочках и переговаривались шепотом. Впервые Стенхэм услышал, как отдаются распоряжения на кухне. Через открытое окно до него донесся протяжный, восходящий на одной ноте голос муэдзина, призывающего к молитве *лоулли*. Тут же присоединился еще один, потом еще, сливаясь в возносящемся к небу хоре ясных теноров. Все начиналось с одинокого звука и закончилось им, когда остальные смолкли. Стенхэм прислушался к тому, как последний муэдзин протянул: «Аллах акбар!» Воззав к востоку, югу и западу, теперь он обратился к северу, и голос его плыл над городом – чистый, как звук гобоя. Потом донесшееся с крыши одного из соседних домов кукареканье заглушило его, и тут же официант принес большой волован на блюде и поставил перед Стенхэмом. В единый миг Стенхэму предстала вся нелепость ситуации. Весь этот механизм: шеф-повар на кухне, буфетчики за стойкой, выстроившиеся, как на параде, официанты, приборы из фаянса, стекла и металла, вращающийся поднос с закусками, тележки с алюминиевыми печами и синими мерцающими язычками спиртовок – все это было для него, все действовало ради него одного. Вряд ли появится кто-то еще и снимет груз ответственности с его плеч. Никто не придет, и, когда он закончит обедать, посуду уберут, столы начнут накрывать к ужину, но к ужину и его может не оказаться, если он решит перекусить где-нибудь в городе.

– Боже мой! – вдруг громко произнес Стенхэм. Он вспомнил, что как раз сегодня его ждут к ужину у Си Джафара.

Разумеется, было бы слишком грубо позвонить и спросить, остается ли в силе их договоренность при сложившихся обстоятельствах. Зная семью достаточно хорошо, он был уверен, что они никогда не признают существование каких-то политических проблем, но понятия не имел, на чьей стороне их симпатии. Несколько раз он встречал в доме французских офицеров с женами, обстановка была совершенно добросердечной. К тому же двое сыновей Си Джафара работали служащими во французской администрации, так что вероятность того, что семья настроена профранцузски, была достаточно велика. И все же время от времени тот или иной из домочадцев позволял себе резкие выпады против французских властей. Обычно Стенхэм присоединялся к ним, но в последнее время посчитал более благоразумным просто смеяться и позволять своим знакомым вволю клясть французов. Если семья действительно симпатизировала французам, то полицейское досье Стенхэма, должно быть, изрядно выросло, потому что волей-неволей хозяевам приходилось все сообщать в комиссариат. С французами нельзя было сотрудничать наполовину; если вы становились на их сторону, они оказывали вам полное покровительство – по крайней мере, до тех пор, пока считали вас полезным. Если же вы были не с ними, то против них. Позвонить Си Джафару и сказать: «Не знаю, стоит ли мне приходиться из-за того, что происходит», – не дало бы никакого результата: старик наверняка притворился бы, что ничего не знает. Да и происходило ли что-то на самом деле? Стенхэм и сам этого не знал. Владелец антикварной лавки был так добр, что передал ему зашифрованное предупреждение (хотя, очевидно, вряд ли был до конца бескорыстен), но Стенхэм не собирался обращать на это внимание. После обеда он сам отправится в медину и все разведает.

Но затянувшийся обед, жара, а возможно, и тишина в столовой возымели свое действие, и, закончив десерт, Стенхэм поднялся к себе и решил немного полежать. Он задернул шторы, защищая комнату от слепящего полуденного зноя. Несколько мух с жужжанием описывали круги над столом, Стенхэм разогнал их коротким аэрозольным залпом и снял ботинки и брюки. Потом лег. Казалось, воздух в комнате загустел от жары; полумрак был таким глубоким, что Стенхэм не мог разглядеть арабески на высоком потолке. Где-то над Среднеатласскими горами торжествующе раскатился гром, приглушенный и смягченный огромным расстоянием. Раскаты доносились через равные промежутки времени, невесомые и мягкие, как пух. Сон караулил у постели.

И вдруг – будто целый век успел промелькнуть – Стенхэм обнаружил, что сидит на кровати и, мигая, вглядывается во враждебную нереальную комнату, напоенную лавандовой пустотой. Гром прогрохотал над садом. Стенхэм соскочил с кровати и подбежал к окну. Гроза приближалась, гневная, яростная; весь город охватило странное сумеречное сияние. Четверть шестого. Стенхэм снова лег и протянул руку к звонку над головой. Звук его этажом ниже, в комнате для прислуги был приглушен грозой, однако звонок прозвенел, и минуту спустя в дверь уже громко стучали.

– Tthol!! – крикнул Стенхэм.

Голова Раиссы просунулась в полуоткрытую дверь, белки глаз ярко светились в полумраке. Само собой, она горела желанием поговорить о погоде, но Стенхэм все еще чувствовал себя скованным сном.

– Принеси, пожалуйста, чай, – попросил он, и дверь закрылась.

Минуту спустя снова раздался стук. Стенхэм подумал, что, должно быть, опять вздремнул, потому что чай всегда приносили не раньше чем через четверть часа.

¹ Войдите! (*араб.*)

– Tghol! – снова крикнул он, но, так как ответа не последовало, повторил громче. Дверь открылась, и в комнату вошел человек. Стенхэм включил свет и увидел Мосса: его костюм был забрызган водой, под мышкой он держал тросточку.

– Заходите, заходите, – сказал Стенхэм.

– Не потревожил?

– Ничуть. Я только что собирался пить чай. Попрошу Раиссу принести еще чашку.

– Нет, нет. Сначала спущусь и переоденусь. Я вымок до нитки. Даже сесть боюсь. Просто хотел отчитаться. Совершенно невероятный день. Подробности позже. – Он вытер лоб и высморкался. – Хью уже у себя, так что я выполнил свою миссию. Должен сказать, мое мнение о французах за этот день несколько изменилось. Увидимся за ужином?

– Да, – ответил Стенхэм. – Если гостиницу, конечно, не смочет в реку. Вы только послушайте. – Он поднял палец: вода с ревом низвергалась с неба.

Мосс улыбнулся и вышел.

Еще до того, как Раисса принесла чай, дождь прекратился с драматической внезапностью. Стало светлее. Стенхэм открыл окна, прислушался к тому, как вода шумно журчит в водостоках и капает с деревьев на террасе. Но воздух был тих и прохладен. Стенхэм высунулся из окна и какое-то время просто слушал и глубоко дышал.

Позже, за чаем, он вспомнил о своем уговоре с Си Джафаром. Делать было нечего, оставалось надеть старый костюм и, плюхая по грязным лужам, тащиться через весь город. За много лет он нашел несколько возможностей срезать путь, так что дорога займет около получаса. Допив чай, он быстро оделся, сунул в карман фонарик и позвонил Моссу.

Довольно долго никто не подходил к телефону, наконец трубку сняли, и хриплый голос спросил:

– Qui? Qu'est-ce qu'il y a?¹

¹ Кто это? Что случилось? (фр.)

– Я вас не разбудил? – спросил Стенхэм.

– Нет, Джон, но с меня так и капает. Я принимал ванну.

Стенхэм извинился и объяснил, почему не придет ужинать. Помолчав, Мосс ответил:

– Знаете, Джон, на вашем месте я вряд ли бы пошел. Думаю, это не очень благоразумно в данный момент.

– Но я должен, – сказал Стенхэм. – Забирайтесь обратно в ванну, увидимся завтра.

Улицы были безлюдны. Стенхэм шел, стараясь держаться поближе к стенам, избегая текущих посередине потоков. Чем ближе он подходил к реке, тем полноводнее они становились; в конце концов, ему пришлось вернуться и отыскать место, где можно было перейти улицу. Потом двинулся в прежнем направлении, еще немного – и он оказался бы по колено в воде. Несколько попавшихся навстречу прохожих тоже были слишком заняты передвижением по улице и не обратили на него внимания.

Нелегко было подниматься по крутым улицам Зекак эр-Румана: грязь была ничуть не меньшей преградой, чем вода, и Стенхэм постоянно соскальзывал назад. За мокрыми стенами домов и наверху на террасах петухи кукарекали как ни в чем не бывало, и маленькие летучие мыши петляли вокруг редких уличных фонарей. Выйдя на Талаа, Стенхэм увидел, что здесь так же пустынно, как и на боковых улочках: ставни на всех лавках были заперты, и только время от времени встречался одинокий человек, молча сидящий рядом со своим ослом, грудой угля или связкой циновок. Даже нищих, которые обычно сидели на корточках возле источника перед поворотом в переулок, где стоял дом Си Джафара, сегодня вечером не было видно. Стенхэм посмотрел на часы и увидел, что уже почти восемь. Если бы сейчас было одиннадцать, и он уже шел обратно в гостиницу! Бесконечные вечера у Си Джафара были мучительны, Стенхэм боялся их почти так же отчаянно, как большинство людей боится визита

к зубному врачу. Разговор носил характер в высшей степени необязательный, и само собой разумелось, что все сказанное ни в коем случае не должно быть искренним; если у кого-то вдруг вырывалось что-то, похожее на правду, то это происходило по чистой случайности. Иногда Стенхэм пытался расспросить членов семьи о местных обычаях, но и тогда обнаруживал, что они лгут ему, намеренно выдумывают разные небылицы, наверняка чтобы от души посмеяться над ним, после того как он уйдет. Тем не менее, все относились к нему очень тепло, даже если их дружеские чувства и проявлялись в обычной церемонной манере, и Стенхэм решил, что ему даже полезно испытывать свое терпение, сидя среди них и учась болтать и перешучиваться на их уровне. Если бы его спросили, почему он считает благотворным заниматься этим с таким усердием, он, скорее всего, ответил бы, что теория без практики бессмысленна. Си Джафар и его семья были типичными марокканскими буржуа, которые оказали Стенхэму небывалую честь, распахнув перед ним двери своего дома. (Ему случалось даже несколько раз видеть жену и дочерей хозяина без покрывал, теток и бабушку – почтенную древнюю даму, которая ползала по всему дому на четвереньках.) И Стенхэм считал, что ему не стоит пренебрегать любой возможностью лишний раз повидать этих людей.

Мосс как-то сказал ему: «Вам мусульмане не могут сделать ничего дурного», и, невесело рассмеявшись, Стенхэм согласился, про себя подумав, что если это и так, то ничего хорошего они тем более сделать не могут. Они поступали, как считали нужным, Стенхэму это казалось трогательным и в то же время нелепым. Единственными, кого он считал себя вправе судить, а потому ненавидеть, были те, кто старался так или иначе продемонстрировать свою приверженность западному образу мыслей. Этих вероотступников, болтавших об образовании и прогрессе, предавших идею статичного мира ради мира динамичного, следовало бы тихо казнить,

чтобы власть ислама могла длиться спокойно и беспрепятственно. Даже если Си Джафар и его сыновья за плату оказывали французам какие-то услуги, это вовсе не порочило их в глазах Стенхэма – по крайней мере, до тех пор, пока они продолжали жить привычной жизнью: сидели на полу, ели руками, готовили и спали сначала в одной, потом в другой комнате, или в просторном дворе с фонтанами, или на крыше, ведя жизнь кочевников в чудесной раковине своего дома. Если бы только он почувствовал, что они способны утратить глубокую озабоченность настоящим и перенести упования в будущее, он тут же утратил бы к ним интерес и обвинил их в продажности. Чтобы угодить ему, мусульмане должны были следовать узким путем, никаких отклонений не дозволялось. В разговоре с ними он никогда не упускал возможности лишний раз побранить христианство и все, что оно с собой несло. Ему доставило огромное удовольствие, когда, удивленно переглянувшись и покачивая головами, они сказали: «Этот человек понимает жизнь. Перед нами христианин, который видит пороки своего народа». В этой связи часто возникал вопрос: «А не хотели бы вы стать мусульманином?» Вопрос этот повергал Стенхэма в глубокое недоумение, так как он полагал, что еще меньше готов принять эту веру, чем какую-либо другую: она требовала смирения и покорности, которые он мог представить себе лишь умозрительно. Он восхищался их верой, но никогда не примерял к себе. Дисциплина ради дисциплины, бездумное и радостное повиновение деспотичным законам – все это было похвально, но не годилось для него, это он понимал. Слишком поздно; даже его предки, жившие столетия назад, сказали бы то же самое. Кто был прав, а кто нет – он не ведал, да не очень-то это его и заботило, но он точно знал, что мусульманином быть не может.

И все же Стенхэму казалось, что именно это делает его общение с ними столь желанным и целительным. Именно это придавало его интересу к ним характер навязчивой идеи.

В них он видел воплощение чуда: человека в мире с самим собой, довольного тем, как ему удалось разрешить жизненные проблемы; их довольство сквозило во всем: в том, что они не задавали вопросов, в том, что принимали бытие во всей его свежести, каким оно открывалось каждое утро, в том, что не старались узнать больше, чем необходимо для повседневной жизни, и скрыто полагались на конечную и абсолютную закономерность всего сущего, включая человеческое поведение. Их довольство жизнью было для него чудом – темным, драгоценным, непроницаемым пятном, за которым крылась их суть и которое окрашивало все, чего бы они ни коснулись, превращая их простейшие действия в нечто завораживающее, точно взгляд змеи. Стенхэм понимал, что постичь глубины этого чуда – задача бесконечная, поскольку, чем дальше вы вторгались в их мир, тем яснее становилось, что для того, чтобы познать его, надо радикально измениться самому. Ибо просто понять их было недостаточно; надо было научиться думать, как они, чувствовать, как они, и без всяких усилий. Это могло стать делом жизни, причем делом – и Стенхэм прекрасно понимал это, – от которого он рано или поздно устанет. Тем не менее, он считал это первым шагом на пути к пониманию людей. Когда он сказал это Моссу, тот разразился смехом.

«В душе вы по-прежнему тоталитарны». Порой казалось невероятным, что Мосс всерьез предъявляет ему такое обвинение; конечно же, он говорил это исключительно из желания поставить все с ног на голову, зная, что на самом деле все наоборот. Но если все обстояло именно так, то почему эта мысль не давала ему покоя, как заноза? Стенхэм пытался вернуться вспять, припомнить, не произнес ли он когда-нибудь необдуманное слово, которое впоследствии могло дать Моссу повод превратно истолковывать другие его замечания; разумеется, это было бесполезно – такого ни разу не случилось. «Может, он и прав», – сказал про себя Стенхэм, прислушиваясь к эху своих шагов в крытом переходе. Если «тоталитарность»

означала привычку оценивать личность по результатам ее деятельности, а каждую частицу человечества – по шкале созданной ею культуры, то Мосс был прав. Не было иных критериев для определения права того или иного организма на существование (и, в конечном счете, любое суждение, высказанное человеком по поводу другого, сводилось к признанию этого права). Если, к примеру, он сокрушался, услышав об очередном взрыве бомбы или перестрелке на улицах Касабланки, то вовсе не потому, что жалел погибших, которые, сколь бы душераздирающе они ни выглядели, продолжали оставаться безмянными, а потому, что каждый кровавый инцидент, пробуждая политическое сознание уцелевших, приближал вымирающую культуру к концу. Он припомнил случай, когда они заговорили о войне, и сказал: «Людам, в отличие от произведений искусства, можно найти замену». Мосс был возмущен и назвал Стенхэма бесчеловечным эгоистом. Возможно, это была одна из немногих бездумно брошенных фраз, которую Мосс запомнил и от которой отгалкивался в своих обвинениях. Надо будет вернуться к этому вопросу в подходящий момент. А вот и дом Си Джафара. Ухватившись за железное кольцо, Стенхэм дважды постучал в дверь.

Младший из сыновей провел его во двор, где апельсиновые деревца все еще роняли капли дождя на мозаичный пол. Минуту-другую Стенхэм постоял в одиночестве у центрального фонтана в ожидании хозяина. На кованой ограде вокруг бассейна висели тряпки, они были раскинуты даже на нижних ветвях одного из деревьев. Откуда-то из дома доносился назойливый стук пестика: женщина толкла пряности. Наконец, появился Си Джафар: он был в полосатой пижаме, небрежно повязанной чалме и потирал руки с извечной улыбкой.

– У нас тут небольшой несчастный случай, кое-какие повреждения, – сказал он. – Надеюсь, вы простите нас за неудобства. – Он провел Стенхэма в большую комнату, служившую для приема гостей. В углу лежала гряда мусора: камни,

земля, штукатурка. Сквозь зияющую в стене дыру была видна улица. Домочадцы сдвинули большую часть циновок и подушек в центр комнаты. – Гроза, – сконфуженно произнес Си Джафар. – Дом старый. Мы уж боялись, что вся стена рухнет.

Стенхэм бросил встревоженный взгляд на потолок. Си Джафар подметил это и снисходительно рассмеялся.

– Нет, нет, месье Жан! Крыша не упадет. Дом еще держится.

Стенхэма это замечание не очень-то убедило, но он улыбнулся и сел на предложенную ему циновку у противоположной стены.

– Простите, что я в таком наряде. Не было времени переодеться, – сказал хозяин, коснувшись пижамы и чалмы указательным пальцем. – Слишком много было хлопот. Но теперь, с вашего позволения, я ненадолго удалюсь и приведу себя в порядок. Я попросил своего двоюродного брата Си Буфелджа развлечь вас игрой на уде, пока вы ждете. Нехорошо, чтобы гость скучал. Пожалуйста, потерпите минутку. – Он пересек двор, по-стариковски согнувшись и сложив руки на груди. Долго ждать не пришлось: почти тут же Си Джафар вернулся в комнату в сопровождении высокого бородатого мужчины в темно-синей джеллабе, который нес перед собой, точно поднос, огромную лютню. Си Джафар, лучась улыбкой, даже не стал представлять гостя, бросил на двоюродного брата беглый взгляд и, убедившись, что тот сел и настраивает инструмент, еще раз попросил прощения и вышел.

Мужчина продолжал подтягивать струны, внимательно прислушиваясь к их звучанию и ни разу не посмотрев в сторону Стенхэма. По улице, пронзительно подвывая, прошла кошка, на мгновение показалось, что она идет по комнате. Бородач проигнорировал шум и вскоре заиграл некую вольную импровизацию, состоящую из коротких, задыхающихся музыкальных фраз, разделенных долгими паузами. Стенхэм прилежно слушал, думая о том, насколько приятнее могли быть другие вечера, если бы на них тоже приходилось прибегать к

помощи двоюродного брата. Один за другим в комнату входили другие мужчины и, учтиво поприветствовав Стенхэма, селись слушать музыку. Прошло немало времени, прежде чем появился Си Джафар в блистательном одеянии из белого шелка и темно-красном *тарбуше*, задорно сдвинутом на макушку. Не обращая внимания на музыку, он заговорил в полный голос. Очевидно, это был знак музыканту играть потише, чтобы звук служил лишь фоном. Бородач повиновался, но было видно, что он утратил к игре всякий интерес: сосредоточенное выражение исчезло с его лица, он стал поглядывать по сторонам и только рассеянно кивал головой в такт мелодии. Слуги внесли столы, один поставили перед Си Джафаром и Стенхэмом, которые ели в привольном комфорте, тогда как шестеро остальных сгрудились за вторым столом в центре комнаты, рядом с кучей мусора. Стенхэм не замедлил отважно предложить, что, может быть, двоюродный брат тоже присядет к их столу, за которым больше места.

– Нам всем будет гораздо лучше так, – слабо улыбаясь, ответил Си Джафар.

– Мне не хотелось бы показаться неучтивым... – начал было Стенхэм.

Си Джафар, облизав по очереди каждый палец, ничего не ответил. Потом хлопнул в ладоши, призывая слугу; когда тот вошел и снова удалился, Си Джафар обнажил в широкой улыбке ряд золотых зубов и добродушно заметил:

– Мой двоюродный брат очень стеснительный.

В середине ужина электрические лампочки, голо свисавшие с потолка, вдруг разом погасли. Комната погрузилась в абсолютную тьму, хриплый голос кого-то из сидящих за вторым столом пробормотал: «Bismil'lah rahman er rahim», – и на мгновение воцарилась тишина. Затем Си Джафар позвал слугу и велел ему принести свечи.

– Сейчас свет снова включат, – заверил он Стенхэма, в то время как в комнате появился слуга, держа в каждой руке

по горящей свече. Но ужин шел своим чередом, а электричество не работало.

Комната стала загадочной, стены словно раздвинулись, а далекий потолок превратился в театр теней. Во время десерта вошел слуга, торжественно неся перед собой старую масляную лампу, наполнившую все помещение зловонным чадом; все, кроме Стенхэма, приветствовали его появление довольным шепотом. Пару раз за соседним столом разговор оживлялся; как только это происходило, Си Джафар старался отвлечь внимание гостя, начиная очередную бесконечную историю. Стенхэм, которого раздражали неуклюжие попытки заставить его не слушать, о чем говорят члены семьи, время от времени бросал взгляды в их сторону, пока Си Джафар говорил.

Поев, вымыв руки, прополоскав рот и выпив чая, все снова устроились на своих местах и принялись рассказывать анекдоты. Как обычно, Стенхэму не удавалось следить за сюжетом: он понимал все слова по отдельности, но основная суть ускользала от него. Тем не менее, ему доставляло удовольствие следить за тем, как члены семьи реагируют на каждый анекдот, слушать их громкий смех. Исключительным правом курить пользовался Си Джафар; чтобы подчеркнуть почетный характер этой привилегии, он прикуривал одну сигарету от другой и каждые пять минут угощал Стенхэма новой, хотя тот еще затягивался предыдущей. Никто не имел права курить в присутствии хозяина дома.

– Вы понимаете наши небьлицы? – спросил он у Стенхэма.

– Понимаю слова, но...

– Я объясню вам историю, которую рассказал Ахмед. Так вот: одному легионеру понадобился фонарь, и он вообразил, что может купить его за сто риалов. Вы знаете, что такое фиги?

– Конечно.

– Так вот: филали набил фонарь фигами, а его жена спрятала свой браслет на дно корзинки и тоже засыпала его сверху фигами. Так вот почему еврей и не нашел его, когда шарил

под кроватью. Понимаете? Если бы у него было время, прежде чем легионер постучался в дверь, он успел бы вынуть фиги, но, конечно, времени не хватило. Вот что имел в виду филали, когда сказал: «Молодой эвкалипт не может дать такую же тень, как старое фиговое дерево». Улавливаете?

– Да... – неуверенно произнес Стенхэм, ожидая, что, в конце концов, обнаружится ключ, который поможет связать воедино все части анекдота.

На лице Си Джафара появилось довольное выражение.

– Вот почему жена филали переделалась рабыней халифа. Если бы еврей догадался о том, кто она на самом деле, он бы непременно сказал об этом легионеру и получил свои комисионные, которые, как вы помните, составляли пятьдесят процентов. Не знаю, приходилось ли вам видеть молодые эвкалипты. Листья у них очень маленькие и узкие. Так что еврей сделал жене филали пышный комплимент. Но на самом деле он просто хотел ей польстить, неискренне. Понимаете?

Пока что Стенхэм абсолютно ничего не понимал в анекдоте, но улыбался и кивал. Остальные все еще повторяли немаловажную линию о молодом эвкалипте, смакуя ее во всех подробностях и одобрительно ухмыляясь.

– Не уверен, что вы поняли, – помедлив, сказал Си Джафар. – Тут слишком многое надо объяснить. Некоторые из наших историй с первого раза понять трудно. Даже людям из Рабата и Касабланки часто приходится кое-что пояснять, потому что эти истории рассчитаны только на жителей Феса. Но как раз это и придает им свой аромат. Они не были бы такими забавными, если бы их понимал каждый. Кроме того, некоторые очень неприличные, но сегодня мы не будем их рассказывать, потому что здесь вы. – Он закрыл глаза, очевидно припоминая одну из таких историй и то и дело похихатывая от удовольствия. Потом, открыв один глаз, взглянул на Стенхэма. – Думаю, эти грубые истории – самые веселые, – произнес он несколько смущенно.

– Расскажите хотя бы одну, – попросил Стенхэм. Его сильно клонило в сон, и он чувствовал, что если хоть на миг закроет глаза, как Си Джафар, то тут же уснет. Услышав его просьбу, все оглушительно расхохотались. Затем старший сын начал рассказывать одну из вышеупомянутых историй о горбуне, мешке ячменя и шакале. Рассказ едва успел начаться, как в нем уже появились новые персонажи: лев и французский генерал, потерявший килограмм миндаля. Был ли анекдот в самом деле неприличным, Стенхэму никак не удавалось определить, однако, когда рассказ был окончен, он дружно рассмеялся вместе с остальными. Прошло еще немало времени, пока Си Буфелджа снова не попросили сыграть. На сей раз он не только играл, но и пел – тонким фальцетом, порой едва пробивающимся сквозь струнный перебор. Посередине композиции Си Джафар стал проявлять признаки беспокойства: он выгасил свою табакерку и аккуратно втянул понюшку каждой ноздрей. Затем снял *тарбуш*, поскреб лысую голову, снова надел, небрежно принялся постукивать кончиками пальцев по табакерке и, наконец, хлопнул в ладоши и приказал слуге принести жаровню. Си Буфелджа невозмутимо продолжал исполнять свое сочинение, даже когда вошел слуга с полной раскаленных углей жаровней и поставил ее перед хозяином. Си Джафар потер руки в радостном предвкушении и извлек из складок своего одеяния пакет с сандаловыми щепками. Ложкой, которую специально принесли для этой надобности, он разгреб угли, добрался до жаркой сердцевины и положил в нее кусочки дерева. Потом склонился над жаровней, почти целиком укрыв ее полами своего одеяния, и оставался в таком положении около минуты, закрыв глаза, с молитвенным выражением на лице. Когда он поднялся, облако сладковатого дыма вырвалось из складок его джеллабы, и Си Джафар почтительно прошептал: «Ал-лах! Ал-лах!» Сев, он прочистил уши маленькой серебряной палочкой. Музыка не смолкала. Удобно раскинувшись на гряде подушек, Стенхэм закрыл глаза и на

какое-то время действительно задремал. Потом встряхнулся и сел как можно более прямо, виновато оглядываясь – не заметил ли кто-нибудь его бесцеремонности. Возможно, заметили все, подумал он, хотя никто на него не глядел. Кто-то катил по улице скрипучую тележку, скрип был таким громким, что музыкант остановился подождать, пока тележка проедет.

– Ага! – воскликнул Си Джафар. – Это было очень красиво. Пожалуй, хватит на сегодня музыки? – Он красноречиво взглянул на брата, тот положил инструмент на циновку и откинулся на подушки.

Стенхэм решил, что настал подходящий момент заявить о том, что ему пора.

– Уже? – спросил Си Джафар, как он всегда делал в подобных случаях, несмотря на время. Потом добавил: – Разрешите мне показать вам следы нашего бедствия. Это интересно.

Тут же все встали и принялись беспорядочно бродить по комнате. Вооружившись лампой, стекло которой уже успело почернеть от гари, один из сыновей повел гостя и хозяина к месту катастрофы.

Они оглядели разрушенную стену и композицию из мусора, обсудили, во сколько может обойтись ремонт старой стены, или, быть может, лучше снести ее совсем и установить новую, расспросили Стенхэма, часто ли рушатся американские дома во время грозы, а когда он сказал, что такого не бывает, захотели узнать почему. Почти час спустя они гурьбой прошли через двор в прихожую, к входной двери, где в потемках сидел на корточках одетый в лохмотья бербер, поджидая их.

– Этот человек проводит вас до гостиницы, – сказал Си Джафар.

Бербер медленно выпрямился. Это был высокий, крепко сложенный мужчина, его бесстрастное лицо равно могло быть лицом святого или головореза.

– Нет, нет, – запротестовал Стенхэм. – Вы очень добры, но я вовсе не нуждаюсь в провожатом.

– Пустое, – скромно произнес Си Джафар, как султан, только что одаривший своего подданного мешком алмазов.

Возражать было бессмысленно, бербер будет сопровождать его, хочет он того или нет, поэтому Стенхэм поблагодарил всех вместе, затем каждого по отдельности, затем опять всех вместе и вышел на улицу.

– Allah imsik bekhir, B'slemah, Bon soir, monsieur¹, A bien-tôt², иншалла, – раздался хор голосов, а один из сыновей даже робко сказал: «Gude-bye, sair»³, – эту фразу он разучивал давно, чтобы поразить Стенхэма, но набрался духу произнести только сейчас.

1 Добрый вечер, месье (*фр.*).

2 До скорой встречи (*фр.*).

3 Да свиданья, сейр (*искаж. англ.*).

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Долгое путешествие домой через темную медину утомило Стенхэма, и он не был расположен снова спускаться вниз. Стоя перед зеркальной дверцей шкафа и снова повязывая галстук, он думал о том, что впервые за все время Мосс посылает ему записку ночью. Он взглянул на часы: было двадцать минут второго. Уже в дверях он оглянулся и бросил беглый, но полный тоски взгляд на расстеленную постель, потом вышел и запер за собой дверь. К ключу была прикреплена тяжелая никелированная бирка; казалось, что в кармане у него лежит кусочек льда.

В нижнем саду стояла тьма. Лампы возле двери в номер Мосса не горели, но из-за закрытых ставен пробивались полоски света. Дверь на его стук открыл незнакомый мужчина, отступил в сторону, вытянувшись, чтобы дать ему пройти, и снова прикрыл дверь. Мосс стоял посреди комнаты, прямо под большой люстрой, но при появлении Стенхэма начал медленно прохаживаться взад-вперед, заложив руки за спину. Стенхэм обернулся и увидел второго незнакомца, стоявшего у стены за дверью.

Мосс не побеспокоился представить обоих Стенхэму, сказав только:

– Enfin. Voici Monsieur Stenham¹.

Оба, слегка кивнув, что-то пробормотали.

– Vous m'excusez si je parle anglais, n'est-ce pas?² – обратился Мосс к своим гостям.

Пожалуй, только Стенхэм уловил язвительные, насмешливые нотки в его голосе и подумал: грубить – не в правилах Мосса. Вероятно, был повод. Потом он оглядел посетителей. Один – низенький и полный, с пухлыми розовыми щечками

1 Наконец-то. Вот месье Стенхэм. (фр.)

2 С вашего разрешения я перейду на английский, вы не возражаете? (фр.)

и большими глазами; второй – повыше: худощавый, в очках, с желтоватой кожей. И тому, и другому не больше двадцати пяти, отметил Стенхэм, и ни один из них не рассмеялся бы даже под страхом смертной казни. Ясно было, что оба годами вырабатывали в себе эту серьезность: напряженные усилия наложили на их облик несмываемую печать, общая озабоченность сквозила в лицах и движениях. Стенхэм мгновенно признал в них националистов. Их ни с кем нельзя было спутать.

– Эти господа были настолько добры, – продолжал между тем Мосс, – чтобы прийти и предупредить нас о том, чтобы мы немедленно покинули гостиницу. Похоже, положение действительно резко осложнилось.

– Вот как, – сказал Стенхэм. Молодые люди не сводили с них настороженных глаз. Он не сомневался, что они прекрасно понимают английский. – Что ж, я полагаю, остается только поблагодарить их. Завтра мы сможем подробнее во всем разобраться.

– Но Джон – немедленно! Это значит сию же минуту.

– Глупости, – оборвал его Стенхэм. Он обернулся к высокому марокканцу и спросил по-арабски: – Почему? Что случилось?

На лице молодого человека появилось удрученное выражение: казалось, ему причиняет боль слышать, как говорят на его родном языке.

– Дела приняли весьма дурной оборот, – с достоинством ответил он по-французски. – Я вряд ли смогу объяснить вам все в подробностях, но уверяю вас, что здесь, в медицине, в течение суток, а вполне вероятно и гораздо скорее, произойдут малоприятные события. Французы будут не в состоянии хоть как-то защитить вашу гостиницу.

– А зачем нам защита французов? – спросил Стенхэм. – И почему нам собираются причинить беспокойство? Ведь мы не французы.

Молодой человек посмотрел на него растерянным близоруким взглядом, но не смог скрыть выражения глубочайшей ненависти и презрения.

– Вы – иностранцы, христиане, – ответил он.

В этот момент в разговор вмешался толстячок, явно желая смягчить жесткий тон своего товарища:

– Для простых людей на улице всякий немусульманин – враг, – объяснил он с довольно сильным арабским акцентом.

– Но почему? – сердито спросил Стенхэм. – Это не религиозная война. Речь идет о борьбе против французов.

Лицо близорукого словно окаменело, губы слегка скривились. Дыхание участилось.

– Все это угрожает превратиться именно в религиозную войну. *C'est malheureux, mais c'est comme ça*¹.

Стенхэм повернулся к Моссу, ему не хотелось видеть искаженное гримасой лицо.

– Вы имеете в виду, что вам бы этого хотелось, – сказал он, вновь оборачиваясь к молодому человеку.

– Полегче, Джон, – спокойно заметил Мосс. – В конце концов, эти господа пришли сюда как друзья.

– Сомневаюсь, – пробормотал Стенхэм.

– Наше движение, – продолжал развивать свою мысль молодой человек в очках, – направлено главным образом против французских империалистов, но также и против всех, кто им пособничает. *Je vous demande pardon, monsieur*², но оружие, использованное против марокканского народа, в значительной степени было предоставлено правительством вашей страны. Поэтому марокканцы не могут считать, что Америка сочувствует им в их борьбе.

– Но, разумеется, она нам не враг, – примирительно сказал невысокий. – Будь вы французами, мы не стали бы

1 Жаль, но это так (*фр.*).

2 Прошу прощения, месье (*фр.*).

беспокоиться и приходиться сюда ночью. Если бы с вами что-то случилось, пеняли бы на себя. Однако, как вы видите, мы здесь.

– Очень мило с вашей стороны, – ответил Мосс и снова начал задумчиво рассказывать по комнате.

– Oui, nous vous sommes bien reconnaissants¹, – сказал Стенхэм. Он предложил молодым людям сигареты, оба категорически отказались. – Не бойтесь, это английские, а не американские, – заметил он непринужденно. Гости не удостоили его ответом. Стенхэм закурил и стал обдумывать их слова.

– Enfin², – сказал Мосс. – Уверен, что мы все очень устали. Думаю, мы сами решим, когда именно нам следует отбыть. Сегодня ночью это невозможно. Куда мы направимся в такой поздний час?

– Поезжайте на вокзал в Виль Нувель. Поезд на Рабат отходит в половине восьмого утра.

– В половине девятого, – поправил коротышка.

Его товарищ нетерпеливо помотал головой, словно отгоняя севшую ему на лицо муху.

– На данный момент вокзал охраняется французами, – добавил он.

– Non, merci!³ – рассмеялся Стенхэм. – Поезда взрываются через день. Я уж лучше пойду пешком. А вы можете отправляться на поезде.

Молодой человек в очках опустил голову и агрессивно набычился.

– Мы сюда не развлекаться пришли, месье. Теперь я вижу, что мы только зря потратили время и силы. Может, позвоните в полицию и расскажете о нашем визите? – он указал на телефон. – Yallah, – резко бросил он своему товарищу и направился к дверям, но, не дойдя до них, остановился и сказал с

1 Да, мы вам очень признательны (*фр.*).

2 Итак (*фр.*).

3 Нет, спасибо! (*фр.*)

плохо скрываемой яростью: – Ваша беспечность и упрямство вполне могут стоить вам жизни. *On ne badine pas avec la volonté du peuple*¹.

Стенхэм фыркнул. Молодой человек дошел до двери и распахнул ее. Второй, не протягивая Моссу руки, слегка поклонился ему и последовал за своим товарищем.

– Воля народа! Какого народа? – воскликнул Стенхэм. – Вы хотите сказать – лидеров вашей партии?

– Джон! – предостерегающе произнес Мосс.

Молодые люди вышли, оставив дверь открытой. Пройдя через комнату, Мосс закрыл и запер ее.

– Должен сказать, Джон, что ваше выступление было весьма недипломатичным. Не было никакой нужды ссориться с ними. Я изо всех сил старался держаться с ними по-доброму, и мне это удавалось, покуда не появились вы. Вам не показалось, что они ушли какие-то мрачные?

Стенхэм сел и, помолчав, сказал:

– А вам не кажется, что нет никакой разницы, в каком настроении они ушли?

– Думаю, разница в том, вежливо вы себя ведете или нет. Вежливость никогда не помешает.

– А они со мной держались вежливо, как по-вашему? – спросил Стенхэм.

– Ах, друг мой, вряд ли можно ставить себя с ними наравне, – нетерпеливо произнес Мосс. – Слабое утешение, друг мой, очень слабое. В конце концов, они всего лишь патриоты, которые хотят помочь своей стране. Надо глядеть на вещи именно под таким углом. Рассматривать их поведение в правильном свете. Когда человеком владеет страсть, он поневоле теряет над собой контроль.

Стенхэм коротко рассмеялся.

– У них рыбаья кровь, и единственная доступная им страсть – это ненависть, вот что я вам скажу. И уж тем более

¹ С волей народа не шутят (*фр.*).

никакие они не патриоты. Я категорически против такого определения.

– Не будем вдаваться в детали, – быстро произнес Мосс. – Я чересчур устал, чтобы спорить. Я уже собирался спать, когда позвонил портье и сказал, что пришли эти двое. Я и понятия не имел, кто они такие, и, разумеется, пришлось одеться, прежде чем принять их, а это такая морока, скажу я вам. Учитывая день, проведенный в полиции, это было уже слишком.

– Вы должны быть довольны, что я так быстро от них отделался. Теперь сможете немного поспать.

– О, такая перспектива меня очень даже радует. Но все же мне кажется, что со своей точки зрения они правы. Потом вот еще что, – лицо Мосса стало задумчивым. – Если действительно произойдут такие беспорядки, о каких они говорили, то совершенно очевидно, что нам стоит держаться подальше отсюда, если мы хотим сохранить с ними дружеские отношения.

– Дружеские отношения! – повторил Стенхэм, в упор глядя на Мосса. – А французы?

Мосс снисходительно рассмеялся.

– Полагаю, моих связей в Рабате хватит, чтобы оградить меня от любых подозрений. Вам не хуже меня известно, что французы, каковы бы они ни были, все же не дураки. Что бы я ни сделал, они прекрасно поймут, что я сделал это из тактических соображений.

– Да, но я боюсь, что у меня нет таких гарантий, – ответил Стенхэм.

– У вас? – сказал Мосс и задумался. – Нет, – произнес он наконец. – Боюсь, что у вас их действительно нет.

– Впрочем, мне они и не нужны. Пусть французы катятся ко всем чертям вместе с националистами. Все очень просто.

Мосс криво улыбнулся.

– Что ж, теперь, после того как вы так лихо со всеми разделались, скажите, что будет с нами? Есть у вас какие-нибудь

соображения относительно того, куда нам деваться? Кстати, я собирался сказать вам, что Хью уехал в Танжер. Сразу после обеда.

– Что? – крикнул Стенхэм. Трудно объяснить почему, но он воспринял это как дезертирство. – Вы хотите сказать, что он вот так сразу собрал вещи и уехал? Но, насколько я помню, он всегда клялся, что им его не испугать. Ничего не понимаю.

Мосс присел на кровать и устало снял очки. Без них лицо его выглядело глубоко опечаленным.

– Дорогой Джон, – сказал он, вертя очки за дужку, – думаю, что если бы вы видели то, что довелось увидеть нам сегодня, вы бы поняли, почему Хью решил на все плюнуть. Как он сам сказал за обедом, до сих пор он считал все это игрой, и, разумеется, как игру это еще можно было терпеть. Но сегодня днем, – он умолк и медленно покачал головой, – должен признаться, я никогда не ожидал, что так близко столкнусь с жестокостью и страданием. Люди читают о таких вещах в газетах и приходят в ужас, но реальность превосходит даже самые богатые фантазии. Все дело в неожиданных деталях, в выражениях лиц, в беспомощных, еле заметных телодвижениях, бессмысленных и бессвязных словах, которые не придумаешь нарочно, но в которые приходится верить, когда сам видишь, что творится.

– Так что же вам пришлось увидеть, скажите, ради Бога? – спросил Стенхэм. Теперь, без машины Кензи, ситуация изменилась, в душе зашевелились недобрые предчувствия, хотя Стенхэм и старался убедить себя, что это нелогично.

– Да, собственно, ничего: как сотни арабов силой сгоняют в полицейский участок, швыряют на землю, избивают до полусмерти, стараясь ударить побольнее, и пытаются. Да, пытаются, – повторил Мосс, возвышая голос. – Это единственное подходящее слово. Когда мы говорим «пытка», обычно представляем себе нечто утонченное, неторопливое, изуверское, но, уверяю вас, это может происходить

молниеносно и по-звериному жестоко. Если бы вы только увидели пол, скользкий от крови и усыпанный выбитыми зубами, то, думаю, вам было бы проще понять, почему Хью вдруг расхотелось играть в эти игры с французами. Срочно пришлось менять терминологию.

Мосс помолчал, прислушиваясь к шелесту ветра в тополях.

– Сначала они заперли его в камеру, и пришлось битых два часа произносить напыщенные тирады, чтобы с ним встретиться. Потом нам пришлось просидеть в коридоре почти до четырех, пока какая-то мелкая сошка, монструозного вида чиновник не явился с официальным распоряжением об освобождении Хью. Тогда-то мы и увидели, как их тащат в участок. Но, Джон, французы окончательно обезумели! Всех этих людей попросту хватали на улице! Стариков, не имевших ни малейшего представления о том, что происходит, десятилетних мальчишек, которые плакали и звали своих матерей. Полиция просто скручивала всех без разбора. Когда они падали, их били по лицу сапогами. Это невозможно описать. Бессмысленно думать об этом и тем более бессмысленно говорить. Так что я умолкаю. Но не судите Хью слишком строго за то, что он пошел на попятный. Лично я думаю, что он поступил в высшей степени разумно, и я действительно не понимаю, почему не уехал вместе с ним, разве что просто не было времени сложить все вещи. Да и к тому же я не хочу ехать в Танжер. – Мосс надел очки и встал. – Как все же любопытно устроен мир, – произнес он, словно разговаривая сам с собой, потом повернулся и подошел к креслу, в котором сидел Стенхэм. – Есть ли предел насилию и кровопролитию? У меня было какое-то особое предчувствие сегодня, когда я сидел там, лишившись дара речи и просто наблюдая за тем, что происходит: предчувствие, что это только пролог к долгому периоду страданий, который еще и не начался. Но, надеюсь, мне не придется всего этого увидеть.

– Надеюсь, нет, – сказал Стенхэм.

– Доброй ночи, Джон. Сожалею, что пришлось выгнать вас сюда в такой час, но они действительно просили, чтобы вы пришли. К тому же мне нужна была моральная поддержка. Посмотрим, что принесет завтрашний день, и будем действовать соответственно.

– Согласен, – ответил Стенхэм.

Сад был окутан тьмой; легкий, влажный ветерок овеивал его. Поднявшись к себе в комнату, Стенхэм выдвинул ящик письменного стола и поглядел на лежащие в нем отпечатанные страницы романа; его вдруг охватило желание схватить их, смять и швырнуть за окно. Вместо этого он разделся, почистил зубы и лег. Но сон не шел.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

И все же, подумал он, когда снова вернулся в мир, узнавая солнечный свет там, за окном, и все же мне, должно быть, удалось уснуть, – ведь то, что я сейчас чувствую, так напоминает обычный ритуал пробуждения. Он был убежден, что не спит, не спал и не уснет, и только сейчас понял, что всякий раз приходилось просыпаться, чтобы напомнить себе: «Я не сплю». Несмотря на долгое путешествие, которое проделало его воображение после того, как он лег – «А что, если?..» вопрошал его ум, экран высвечивался и начинали мелькать кадры, – в какой-то момент все замерло и мгновенно померкло; хотя проспал он не так уж долго, потому что рассвет только занимался, чувствовал он себя на удивление бодрым. Конечно, это мог быть ложный прилив сил, как бывает порой после короткого сна, когда после первой же чашки кофе снова чувствуешь себя вконец разморенным. Потянувшись и сладко зевнув, он вдруг вспомнил, что проспал вчера почти весь день; мысль об этом утешила его: выходило, что, в конце концов, он спал достаточно долго, и можно рискнуть посмотреть на часы, то есть пора вставать, так как в этот час все равно не удастся уснуть снова.

Было почти десять; непривычный серый свет над медной, серый день, а не рассвет. Стенхэм привстал и дернул за звонок. На сей раз в дверь постучал Абдельмджид. Не вставая и не открывая дверь, Стенхэм крикнул, что хочет завтракать. Потом прошел через комнату к умывальнику, плеснул холодной воды в лицо и причесался. На обратном пути к постели отпер дверь. Лег, откинувшись на подушки, и в ожидании завтрака стал глядеть на смутные очертания холмов за городскими стенами. Легкий дождь затуманил воздух, обесцветив пейзаж: в сером блеске расплывались привычные ориентиры.

Абдельмджид явно не спешил. Когда же он вошел с подносом, лицо его было каменным, что лучше всяких слов давало

понять, что он не настроен вести разговоры. Взглянув на него, Стенхэм тоже понял, что ему не хочется говорить со слугой. Они обменялись парой слов о погоде, и Абдельмджид вышел.

Под конец завтрака Стенхэм всегда начинал обдумывать, что написать за утро. Но сегодня о работе не могло быть и речи. Было совершенно невозможно фантазировать о прошлом, когда настоящее таилось за окном, точно бомба, ежеминутно готовая взорваться. Это, а вовсе не предупреждения националистов или угрозы французов, был самый веский аргумент в пользу того, чтобы покинуть город. Раз не удастся работать, нет смысла оставаться; разумнее всего перебраться в другое место – скажем, в испанскую зону, где он по-прежнему будет в Марокко, но Марокко, еще не отравленном ядом настоящего. Стенхэму не хотелось уезжать, он боялся идти к Моссу и обсуждать с ним отъезд, но сейчас приходилось иметь дело с непреложными фактами. Обычно в эти минуты, пока поднос с завтраком все еще лежал у него на коленях, – он понимал все яснее. Идеи, возникавшие позднее, могли увести его далеко от реальности, потому что тогда подключался механизм самообмана, который в этот ранний час еще не работал.

«Ладно. Решено. Уезжаю». Пусть Мосс остается, если хочет, а он больше колебаться не будет. Одеваясь, Стенхэм взглянул на пасмурную дымку за окном, он был благодарен дождю, из-за которого решение казалось менее болезненным. Было легче отречься от такого города – бесцветного и мокрого, когда холмы за стенами были не видны, а улицы превратились в потоки жидкой грязи.

Примерно час он методично укладывал вещи, ставя упакованные чемоданы в ряд возле двери, чтобы их можно было сразу отнести вниз. Вместо того чтобы заранее извещать контору об отъезде, он решил попросить счет в последний момент: так у администрации будет меньше времени добавить

плату за выдуманные дополнительные услуги, которыми они любили насыщать свои *factures*¹. Когда он запихивал грязные рубашки в спортивную сумку, набитую книгами, раздался телефонный звонок.

– Привет, – произнес веселый голос.

Он уже открыл было рот, чтобы ответить, но так ничего и не сказал, просто держал трубку в руке и глядел на стену в нескольких дюймах перед собой.

– Алло, – вновь донесся голос.

– Ли? – спросил Стенхэм, хотя уточнять не было необходимости.

– Доброе утро.

– О Господи! Где вы были? Где вы сейчас?

– Я была везде, а сейчас – у себя в комнате в гостинице, той самой, вашей гостинице, «Меринид-Палас», Фес, Марокко.

– Вы здесь, в гостинице? – переспросил Стенхэм. – Но когда вы приехали? – Он чуть было не спросил «Зачем вы приехали?» и, обернувшись, взглянул на чемоданы, выстроившиеся возле двери. – Когда мы встретимся? Я должен вас видеть прямо сейчас. Мы не можем разговаривать по телефону.

В ответ послышался довольный смех.

– Мне очень хотелось бы вас повидать, – сказала Ли. – Можем встретиться в той комнате наверху, с большим окном.

– Когда?

– Когда угодно. Хоть сейчас.

– Я тотчас же спущусь.

Стенхэм пришел первым, но Ли появилась буквально через минуту; она ничуть не изменилась, разве что выглядела еще лучше. Кожа ее посмуглела, а волосы, выгоревшие на солнце, из каштановых стали золотистыми.

Они сели на подушки у окна. Сам Стенхэм больше молчал, предоставив ей вести разговор. Ли объяснила, что просто

¹ Счета (*фр.*).

решила съездить в Мекнес, потом поехала в Рабат, послала телеграмму своей парижской приятельнице – французенке, которая вышла замуж за военного, служащего в гарнизоне в Фум эль-Хенеге, это на самом краю Сахары, они пригласили ее погостить, она поехала, и все было замечательно. Почему она так неожиданно покинула Фес и, прежде всего, почему вернулась обратно, – когда очередь дошла до этих двух вопросов, Стенхэм почувствовал, что не способен их задать.

– Знаете, – сказал он, – а ведь я чуть было не поехал тогда за вами в Мекнес.

– Правда? – спросила Ли, явно заинтересованная. – Зачем?

Стенхэм достал бумажник и вынул из него сложенную телеграмму.

– Взгляните. Это ваша телеграмма, которую я тогда получил, – сказал он, расправляя телеграфный бланк на подушке перед Ли. – Взгляните. Разве здесь не написано: СОБИРАЙСЬ МЕКНЕС? Я не был уверен, где тут опечатка. Принял желаемое за действительное.

– Ну и хорошо, что не приехали, – рассмеялась Ли. – Все равно бы меня никогда не нашли.

– Держу пари, что нашел бы. Вы ведь остановились в «Трансатлантик»?

– Нет. Я была в маленькой арабской гостинице «Реджина». Довольно мрачное место.

Стенхэм недоверчиво взглянул на нее, чувствуя, как вновь пробуждаются тревожные подозрения. На этот раз, даже если это положит конец их дружбе, он выяснит все до конца.

– Ну и ну, – произнес он сокрушенно. – Вы просто сумасшедшая.

Ли явно заметила, что с ним творится что-то неладное, и с любопытством разглядывала его.

– Но почему? Вы что – считаете, что мне не пристало останавливаться в дешевых гостиницах, или есть другая причина? Знаете ли, все эти разъезды обходятся недешево.

Невозможно жить в «Меринид-Паласе» или в «Трансатлантик» все время.

Стенхэма такой ответ не вполне устроил.

– Ли, вам прекрасно известно, что я имею в виду. – Но, разумеется, он не мог раскрыть все карты сразу. – Здесь идет самая настоящая необъявленная война, стреляют, каждый день рвутся бомбы, а разгуливать так, как вы, люди и в спокойные времена не решаются. Что скажете?

Ли снова рассмеялась.

– Скажу, что все дело в том, что живешь только один раз.

– А ничего получше вы не могли придумать? Что-нибудь более искреннее, – сказал Стенхэм, пристально на нее глядя.

– Более искреннее? – переспросила Ли удивленно.

Стенхэма неожиданно одолели сомнения, он рассмеялся.

– Вы поставили меня в безвыходное положение, – произнес он, делая вид, что искренне раскаивается. – Я хотел спросить – уж не шпионите ли вы тут для кого-нибудь?

– Что за странности вы говорите! – воскликнула Ли, недоуменно откинув голову. – Презабавный вы человек!

Стенхэм снова рассмеялся, но смех его прозвучал слабо и неубедительно.

– Пустяки. Просто шальная мысль.

Но на этот раз глаза Ли горели неподдельным гневом.

– Нет уж! Это не пустяк! Что вы имели в виду? Вы явно на что-то намекали. Хорошенькие же у вас шальные мысли!

– Читайте, что я ничего не говорил и примите мои глубочайшие извинения, – произнес Стенхэм с напускным сожалением и, прежде чем Ли успела ответить, крикнул, указывая за окно: – Вы только поглядите! Дождь кончился. И даже солнце показалось. Будем надеяться, что это доброе предзнаменование.

– Предзнаменование? Какое же? – Голос ее по-прежнему звучал сердито, и, вместо того чтобы последовать призыву Стенхэма и взглянуть в сад, она достала пудреницу, открыла ее и принялась изучать свое лицо в зеркальце.

– Что будет хороший день. Что ничего страшного не случится.

– А что? Все успело осложниться? Все действительно так плохо?

– Плохо – не то слово. Ужасно! Вы ничего не заметили на вокзале? Солдат или толпу народа?

– Я не на поезде ехала. Наняла машину в Рабате, и меня привезли прямо сюда.

Стенхэм был доволен, что ему удалось выбраться из тупика, и стал пересказывать услышанное прошлой ночью от Мосса, опустив все подробности, связанные с визитом молодых людей. Ли слушала, и на лице ее мало-помалу возник испуг.

– А я все гадала, отчего это Хью так неожиданно уехал, – сказала она, когда Стенхэм закончил свой рассказ. – Так непохоже на него – даже записку не оставил.

– Для вас? Но откуда ему было знать, что вы вернетесь в Фес?

– Я послала ему телеграмму из Марракеша.

– Понятно. – На мгновение Стенхэм позабыл, что Ли – приятельница Кензи и что именно он познакомил их. – Да, – сказал он, помолчав. – Вы уверены, что он не черкнул вам пару слов? Они вполне могли затерять где-нибудь в конторе.

– Нет, он ничего не оставил.

– Вы очень расстроены, что разминулись с ним?

– О, это действительно очень скверно. Но надеюсь, что увижу его в Танжере на обратном пути. Я собираюсь пробыть здесь день-два, не больше. Мне надо возвращаться в Париж.

Вряд ли это так легко удастся, подумал Стенхэм. Ли, казалось, до сих пор не понимает, что может произойти, если вспыхнет насилие; это удивляло его, однако он решил, что незачем ее тревожить, объясняя истинное положение дел.

Они спустились к обеду. Увидев пустой зал, Ли удивилась.

– Вы хотите сказать, что кроме вас и мистера Мосса в гостинице нет ни одной живой души?! – воскликнула она.

– Еще вы и прислуга. Больше никого.

Их столик был у окна; они смотрели, как солнце пожирает остатки тумана, курившегося над мединой.

– Сегодняшний день может войти в историю Феса, – сказал Стенхэм. – И я вовсе не собираюсь сидеть в гостинице. Хотелось бы выбраться и посмотреть, что творится. По крайней мере, взглянуть, есть ли на что посмотреть.

– Отлично. Так давайте выберемся.

– Ладно. Давайте. Но прежде оставлю записку мистеру Моссу. В принципе мы с ним собирались уехать сегодня, если дела примут дурной оборот, – (Стенхэм с удивлением, почти с недоверием вспомнил о стоявшем наверху багаже), – и хотели устроить нечто вроде военного совета.

– Может быть, вам следует повидаться с ним?

– Встречусь, когда вернемся. Мне кажется, он не горит желанием уехать. Мосс прекрасно понимает, какова ситуация в целом, – по крайней мере, то, что видно со стороны, – и, по-моему, она не кажется ему такой уж опасной. Беда в том, что никто действительно ничего не знает кроме, быть может, горстки арабов и еще меньшей горстки французов.

Ли рассказала о своей поездке в Фум эль-Хенег – о том, как трудно туда добираться, какая там невероятная жара, какой вымерший пейзаж, какой замечательный дом построили себе капитан Амель с женой во враждебной пустыне, об их вылазках на джипе в горы, в берберские *касбы*.

– В этой долине я не был, – ответил Стенхэм, – но мне приходилось бывать в подобных местах. Там великолепно.

– Великолепная природа, – согласилась Ли, – но цивилизация, прямо скажем, несколько утрашающая, настоящий феодализм. Сами знаете, эти *саиды* имеют полную власть распоряжаться жизнью и смертью своих подданных. Подумайте, какую пропасть придется им преодолеть, чтобы когда-нибудь стать другими.

Стенхэм почувствовал, что гневные слова готовы сорваться с его губ, но сдержался и сказал только:

– Мне кажется, я не совсем вас понимаю. Вы хотите, чтобы они изменились, перестали быть самими собою, то есть совершенно счастливыми людьми?

Ли взглянула на него, словно измеряя его умственные способности.

– Тогда будьте добры, объясните мне, почему вы решили, что эти незащитные рабы счастливы? Или вам не приходилось над этим всерьез задумываться? Или они счастливы по определению, потому что полностью изолированы от остального мира? Ведь они же рабы, живущие в невежестве, суеверии, болезнях и грязи, а вы сидите здесь и преспокойно уверяете меня, что они счастливы! Вам не кажется, что вы слишком далеко зашли?

– Не дальше, чем вы. Я говорю: предоставьте их самим себе. Вы же говорите, что они должны измениться, должны стать чем-то.

Стенхэм не на шутку разволновался. Именно это все время стояло между ними. Может, на сей раз удастся все прояснить.

Ли нетерпеливо мотнула головой.

– Их изменят, – сказала она тоном человека, имеющего доступ к секретным источникам информации.

– Вы и Истиклал, – пробормотал Стенхэм.

– Послушайте, мистер Стенхэм. Мне кажется, мы недостаточно хорошо знакомы, чтобы затевать ссоры. Я не права?

Стенхэм промолчал. Обращение «мистер Стенхэм» подчеркивало дистанцию между ними, – она существовала всегда, но осознал он ее только сейчас. Ли была не так досягаема, как ему казалось, бесконечно недосягаема – и действительно, сейчас даже трудно было представить, что они могут говорить откровенно. Стенхэм оглянулся: выстроившись вдоль стен, друг напротив друга, официанты – марокканцы и европейцы – исподволь наблюдали за ними.

– Улыбнитесь, – сказал он.

Ли смутилась, ее губы чуть дрогнули в подобии улыбки.

– Острые у вас зубки, – сказал Стенхэм. – В детстве у меня был лисенок с густой шерсткой и большим пушистым хвостом. И всякий, кто его видел, пробовал приманить и погладить. Остальное можете представить сами.

На этот раз Ли улыбнулась.

– По-моему, мистер Стенхэм, у меня нет ни большого пушистого хвоста, ни густой шерсти.

– Вам не кажется, что нашей дружбе-вражде пошло бы только на пользу, если бы вы называли меня не мистер Стенхэм, а просто Джон?

– Возможно, – согласилась Ли. – Постараюсь не забыть о вашей просьбе. Постараюсь не забыть также, что вы – безнадёжный романтик, который ни на йоту не верит в человечество.

Она пристально смотрела на него, и он почувствовал раздражение оттого, что ее взгляд пробуждает в нем такое беспокойство.

– Вы сообразительная, – заметил он не без иронии.

– Вы здорово напоминаете мне одного моего приятеля, – продолжала она, по-прежнему не сводя с него глаз. – Довольно симпатичный парень, но вконец запутавшийся в своих теориях о жизни. Хотите – верьте, хотите – нет, но вы даже внешне на него похожи. Еще он пишет неплохие стихи. По крайней мере, они кажутся такими на первый взгляд, пока вы вдруг не остановитесь и не спросите себя, а что все это, собственно, значит.

– Я стихов не пишу, – ответил Стенхэм хмуро, но все же улыбнулся Ли.

– И готова спорить, что в ваших судьбах тоже много общего, – продолжала она, словно не расслышав замечания Стенхэма. – Вы никогда не состояли в коммунистической партии? Он – состоял. Помнится, надевал спецовку и торчал на углу, продавая «Дейли Уоркер». Потом увлекся йогой,

а последнее, что я слышала, это то, что он принял католичество. При этом не переставая быть алкоголиком.

На лице Стенхэма промелькнула тревога, но теперь он улыбался.

– Что ж, – сказал он, – думаю, вы нарисовали вполне законченный портрет человека, категорически на меня не похожего.

– Я так не думаю, – твердо возразила Ли. – Я способна чувствовать сходство. Интуиция, – добавила она, словно стараясь предупредить подобное же саркастическое замечание Стенхэма.

– Ладно, оставим это. Может быть, я и вправду похож на него. Может быть, когда-нибудь мне вздумается стоять на голове, или ходить к мессе, или вступить в Общество анонимных алкоголиков – или все сразу. Кто знает?

– И еще кое-что, – не отступала Ли. – Только вспомнила – ну конечно же! – когда он вышел из партии, у него появились разные мании. Он подозревал всех и каждого в том, что тот тайный коммунист. Чтобы он доверял вам, надо было быть по меньшей мере каким-нибудь индуистским божком. Он чуял пропаганду повсюду.

– Вот как, – сказал Стенхэм.

– Не знаю, может быть, вы сами не сознаете этого, но за то время, что мы сидим здесь, вы дважды успели обвинить меня. Вспомните, что вы сказали минуту назад.

Стенхэм сидел молча, пока официант не отошел от стола. Тогда он наклонился вперед и заговорил быстро и напряженно:

– Послушайте, Ли, я вовсе не делаю из этого никакого секрета и не стыжусь своего прошлого. Разумеется, я был членом партии. Ровно шестнадцать лет назад. И официально состоял в ней ровно двадцать месяцев и посетил ровно двадцать четыре собрания, ну и что с того? Большую часть времени меня даже не было в Соединенных Штатах...

– Вы совершенно напрасно оправдываетесь, – рассмеялась Ли. – Меня абсолютно не волнует, как долго вы были в партии, почему вступили в нее и что там делали. Просто приятно, что я была права, вот и все.

– Хотите кофе?

– Нет, спасибо.

– Думаю, нам пора идти. Грязь, должно быть, уже подсохла.

– Минутку, минутку, – сказала она с притворной суровостью. – Вы ведь все-таки обвинили меня, не так ли?

– Ладно, согласен. Но вы сами подстрекнули меня своими намеками.

– Вы сумасшедший.

– Нет, я вполне серьезно.

– Пойдемте, – сказала Ли, вставая.

Метрдотель с поклоном проводил их и закрыл за ними дверь. Стенхэм шел за Ли по влажному коридору с украшенными соломенными циновками стенами и думал о том, что разговор так и не получился. «Вы сами во всем виноваты с вашим незрелым псевдодемократическим идеализмом», – вот что он на самом деле хотел ей сказать. Но он знал, что она не потерпит с его стороны никакой критики, она была американкой, а американка всегда все знает лучше всех. Беря на себя роль терпеливой и заботливой матери, она начинает ласково и нелепо опекать вас как маленького мальчика. Но если вы осмеливаетесь сказать хотя бы слово в свою защиту, что неизбежно означает разоблачение ее фальши, быстренько призывает на помощь неписанные законы рыцарства. К тому же он завидовал Ли, которая могла так бойко и беспечно говорить о том, что порождало в нем глубокое, пусть и не поддающееся рациональному объяснению чувство вины.

Грязь подсохла, и теперь под ногами похрустывала безобидная корочка глины, небо прояснилось, а светящаяся туманная дымка окончательно рассеялась. Оказавшись на улице, Стенхэм почувствовал, что вся враждебность осталась

позади, сознавать это было приятно, так как бродить по городу в дурном расположении духа было бы тяжким испытанием. Пока они шли по петляющей между домами улочке, он гадал, принесло ли то, что они наконец оказались на улице, такое же облегчение и ей, и вообще нуждалась ли она в нем, или заботилась только о том, чтобы выглядеть победительницей в недавней словесной баталии. Похоже, сейчас Ли вообще ни о чем не думала, только смотрела по сторонам. Она то и дело потихоньку принималась напевать какую-то мелодию, осторожно обходя места, где можно было поскользнуться. Стенхэм прислушался: это была «Солнечная сторона улицы» – случайные фразы, приспособленные к ритму дыхания.

Они вышли на голубиный рынок возле старой мечети недалеко от Баб эль-Гиссы. Было что-то неестественное в сегодняшнем дне, однако Стенхэм никак не мог понять, что же постоянно наводит его на эту мысль. В квартале, как всегда, работа шла своим чередом, – в основном, здесь разместились маслобойни и столярные мастерские. Ослики, не чаще и не реже обычного, сновали взад-вперед, ребятишки несли подносы с тестом и уже испеченным хлебом к печам и назад, девушки и старухи шли от общественных источников с полными кувшинами. В то же время была какая-то четкая, пусть и трудноопределимая разница между сегодняшним днем и другими днями – не плод воображения, в этом Стенхэм не сомневался, но в чем она состояла, он сказать не мог. Быть может, выражение лиц? Нет, решил Стенхэм, оно было, как всегда, непроницаемым, непостижимым.

Наконец они зашли в глухой проход, сразу за школой Лемтийин – узкий, длинный проулок, кончавшийся аркой, ворота в которой всегда были открыты нараспашку. Раздвоенные листья бананов покачивались над стеной, точно скомканные бумажные украшения давно прошедшего праздника. Вдруг, глядя на обезлюдевший проход, Стенхэм разом понял, чего же не хватает.

– О! – удовлетворенно произнес он.

– Что случилось?

– Я все думал: как-то странно выглядит сегодня это место, но никак не мог догадаться, в чем дело. Теперь я понимаю. Все мальчишки и молодые люди куда-то подевались. Мы не встретили ни одного паренька старше двенадцати и ни одного мужчины до тридцати с тех пор, как вышли из гостиницы.

– Это плохо? – спросила Ли.

– Судя по всему, не очень хорошо. Дураки-французы думают, что если им удастся засадить весь молодняк за решетку, можно миновать серьезной беды. Возможно, сегодня в городе происходит что-то грандиозное, и все хотят посмотреть. Только трудно сказать что.

– Я не хочу попасть в толпу, – заявила Ли. – Мне все нравится, куда бы мы ни шли и что бы ни делали, но только до тех пор, пока нам не встретится толпа. Я знаю, что бывает, когда попадаешь в давку. По-моему, нет ничего ужаснее.

Они пошли медленнее.

– Пожалуй, я с вами согласен, – сказал Стенхэм. Неожиданно он остановился. – Послушайте, что я вам скажу. Если вы не раздумали погулять еще немного, – пожалуй, безопаснее будет вернуться, выйти через Баб эль-Гиссу и пройти с той стороны стены. Так мы, по крайней мере, не попадем в западню в Талаа. Просто доберемся до Бу Джелуда чуть позже, вот и все.

Ли посмотрела на него, словно не понимая, почему он не предложил этого с самого начала, но сказала только:

– Хорошо.

Еще минут десять они шли обратно, пока не вернулись к мечети. Массивная арка ворот Баб эль-Гисса осталась позади, чуть выше на склоне холма; она выглядела как небольшая крепость, внутри французы все переделали и разместили там полицейский участок. Стенхэм и Ли миновали первые ворота и оказались в прохладном полумраке. Потом свернули

налево, направо, и тут впереди показались поросшие деревьями холмы. Когда они проходили внешнюю арку, двое французских полицейских, о чем-то коротко посоветовавшись, окликнули их.

– Куда направляетесь, господа?

Стенхэм ответил, что они гуляют.

– Вы из «Меринид-Паласа»?

Стенхэм ответил, что да.

– Когда пойдете обратно в медину, в гостиницу, вам придется воспользоваться другими воротами, – сказал полицейский.

Стенхэм ответил, что они так и сделают.

– А когда вернетесь с прогулки, постарайтесь больше не выходить вплоть до дальнейших распоряжений. Вас должны были предупредить об этом еще в гостинице. В квартале беспорядки.

Стенхэм поблагодарил полицейского, и они прошли дальше.

– Теперь нам придется немного уклониться от нашего маршрута, – быстро шепнул он Ли, – иначе они заметят, что мы идем не туда, куда велено, и опять нас остановят.

Они пошли прямо в сторону холмов, пока не добрались до шоссе. Остановившись там, они оглянулись. Позади виднелась гладь крепостной стены, разорванная лишь аркой Баб эль-Гиссы. Можно было различить и полицейских – два крохотных синих пятнышка на фоне чернеющего входа.

Когда дорога свернула, Стенхэм и Ли двинулись через кладбище, срезая путь, чтобы попасть на тропу, идущую, в основном, параллельно стене, по очень неровной, бугристой почве. Двигаясь вровень с верхом стены, они видели дальние окраины медины, потом оказались в глубокой лощине, где тропинка вилась между рядов кактусов и алоэ, а с обеих сторон теснились крутые пыльные склоны, уходящие в небо. Затем насыпи ушли вниз, а тропинка, выбравшись из оврага,

потянулась по извилистому гребню холма. Козы бродили внизу под оливами, пощипывая чахлую траву. Стенхэм и Ли обошли отвесные утесы: оттуда доносился лай собак, охранявших вход в пещеры, вручную вырытые в глине, пронзительные детские вопли и время от времени – стук барабанов.

Потом они очутились на выжженном солнцем поле, прорезанном широкими черными трещинами.

– Вот это да! Все равно что в духовку залезть, – сказала Ли.

– На обратном пути возьмем такси.

– Если доберемся. Далеко еще?

– Нет. Но предупреждаю – очень скоро вам придется зажать нос.

С вершины нелепой земляной гряды, через которую вела тропинка, им открылись сады и крыши касбы эн-Нуар, скрывавшие центр медины. Они остановились, чтобы оглядеть прихотливые изгибы почвы. Земля тут была, точно волосы на всклокоченной голове. Космы то взвивались кверху нелепыми колтунами, то отвесно обрушивались в таинственные котловины и овраги.

– Прислушайтесь, – сказал Стенхэм. Издалека, точно пронзительное жужжание пчелиного роя, долетал протяжный гомон множества голосов. – Похоже, началось.

– Что ж, слава Богу, что мы решили пойти в обход. Ни за что на свете не хотела бы оказаться там.

Зловоние появилось в воздухе задолго до того, как показалась сама деревня. Наконец они дошли до первых жилищ, сооруженных из упаковочных ящичков, веток и канистр из-под масла, скрепленных веревками и лоскутьями мешковины. Большой нищеты и убожества нельзя было представить. Дети, голые или в перепачканных грязью лохмотьях, играли на усыпанном отбросами пустыре между хибарами, земля блестела от осколков битого стекла и искореженных жестянок.

– Поселок новый, – сказал Стенхэм. – Еще несколько лет назад здесь ничего не было.

– Боже! – ужаснулась Ли.

Тут грязь еще не успела подсохнуть, и им пришлось идти по краям дорожки. Земля напоминала шевелящийся ковер из мух. На каждом шагу небольшая стайка взмывала на несколько дюймов, чтобы тут же вновь опуститься на землю. Пока они шли через деревню, люди глазели на них, но бесстрастно, разве что с легким любопытством. Теперь тропинка устремилась круто вверх к крепостной стене. Тонны мусора и отбросов были свалены на вершине холма и, скользя по длинному склону, угрожали смести стоявшие внизу хижины; у подножия этой накренившейся горы жалкими призраками бродили тощие псы, осторожно обнюхивая предметы, то и дело переворачивая какую-нибудь жестянку, которая скатывалась вниз. Бродили здесь и люди, тщательно исследуя мусор и время от времени откладывая что-нибудь в переброшенные через плечо мешки.

Добравшись до вершины холма, Стенхэм и Ли не остановились взглянуть на оставшуюся сзади деревню, а торопливо продолжали идти дальше, пока воздух не стал чистым. Пройдя через двойной портал Баб Махрука, они оказались на рынке, где торговали плетеными корзинами, и на минутку задержались в тени стены, чтобы перевести дух.

– Хочу сказать нечто, почти достойное самого Джона Стенхэма, – произнесла Ли. – А именно, что лучше бы вам было меня туда не водить. Это, знаете, несколько отравило общее впечатление.

– Всего лишь одна десятая того, что можно увидеть за стенами, – ответил Стенхэм. – Почему трущобы кажутся вам чем-то противоестественным? Вы хоть раз видели город без них?

– Да, но не таких ужасных! Не таких безнадежных. О Господи, нет!

– А я то думал, что вы обрадуетесь. Еще одна вещь, которую нужно изменить.

– Разумеется, нужно, – мрачно ответила Ли, игнорируя сарказм Стенхэма.

– Одно преобразование они недавно осуществили, – сказал он, указывая на широкую арку Баб Махрука, все с той же нарочито невинной интонацией, – убрали головы, украшавшие эти прекрасные ворота. Обычно они висели тут рядком, насаженные на пики, чтобы люди, проходя мимо, могли ими полюбоваться. Враги паши и прочие злодеи. Заметьте, это было не в средневековье, а в двадцатом веке, всего несколько лет назад. Как вам кажется – теперь лучше?

– Да, – раздраженно ответила Ли, – гораздо лучше.

Приятно было идти в тени платанов по проспекту, который вел обратно к Бу-Джелуду. Выйдя на площадь, где стояли автобусы, они увидели полицейских, выстроившихся в ряд перед ярко-синими воротами; все вместе напоминало сцену из пышного водевиля. Стенхэм и Ли остановились на дальнем конце площади, изучая ряды людей в форме. Обрамленный аркой Баб Бу-Джелуда, среди глинобитных построек виднелся невысокий минарет с большим соломенным гнездом на крыше: в гнезде стоял аист, подобрал под себя ногу; в ярком солнечном свете он казался ослепительно белым.

– Думаю, на этом наша экскурсия завершена, – сказал Стенхэм. Если мы пройдем через ворота, то окажемся в медине, а ведь мы туда не хотим. К тому же мне кажется, они не очень-то жаждут нас пропускать. Тут рядом чудесное маленькое кафе. Не желаете ли чашечку мятного чая?

– Чего угодно, лишь бы поскорее сесть, – ответила Ли. – Просто сесть – такая роскошь. Но только давайте зайдём куда-нибудь, где нет этого несносного солнца.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

На площади расположились четыре кафе, перед каждым был большой участок, где обычно стояли столики и стулья. Сегодня их благоразумно решили не выставлять, периметр площади казался пустынным, да и вообще все вымерло – через центр тоже никто не отваживался пройти. Да, конечно, солнце здорово припекало, и в любом случае в этот час прохожих здесь было бы немного, но отсутствие людей было настолько вопиющим, что вся сцена в целом – даже если не обращать внимания на цепочку полицейских, – лишилась столь привычной повседневной естественности.

– Очень странно, – пробормотал Стенхэм.

– Может, я ошибаюсь, – сказала Ли, – но не кажется ли вам все это зловещим?

– Идемте.

Он взял ее за руку, и они поспешили к кафе, возле которого стояли автобусы. *Мокхазни*, стоявший на пешеходном мостике через реку, взглянул на них подозрительно, но останавливать не стал. В кафе человек тридцать-сорок, притихнув, стояли и сидели возле окон, глядя сквозь свисающие ветви перечных деревьев на безлюдную залитую солнцем площадь. Стенхэма мгновенно поразила не только непривычная напряженность лиц, но и царившая в помещении тишина: никто не произносил ни слова, а если кто и решался заговорить, то очень тихо, полусшепотом. Конечно, поскольку радио было выключено, не было нужды перекрикивать его, как обычно, но Стенхэм чувствовал, что, даже если бы оно и работало вместе со всеми усилителями, вынесенными в задние комнаты, люди все равно не решились бы говорить громко. И ему не нравилось, как они глядели на него. Впервые за многие годы он уловил на лицах марокканцев враждебность. Как-то раз, лет двадцать назад, он осмелился зайти в *хорм* Мулая Идрисса – не в само святилище, только прошел по

окружающим его улочкам, – тогда он тоже заметил, что некоторые люди смотрят на него с ненавистью, и чувство, которое он тогда испытал, не забылось. И теперь, когда он вновь увидел разъяренные лица, реакция Стенхэма тоже оказалась чисто физической: спина напряглась, по шее побежали мурашки.

Он громко заговорил с Ли, не обращая внимания на то, что говорит, но стараясь сообщить своим словам безошибочно американскую интонацию. Ли удивленно посмотрела на него.

– Сзади есть еще много маленьких комнат, – продолжал Стенхэм. – Давайте устроимся там, где поменьше народу.

Ли была раздосадована, Стенхэм это ясно видел. И к тому же заметил, что его импровизация произвела нежеланный эффект: еще больше бородачей в чалмах и тарбушах отвернулись от окон, взирая все с той же враждебностью.

– Давайте просто сядем куда-нибудь и перестаньте обращать на себя внимание, – произнесла Ли, делая несколько шагов к свободному столику, стоявшему у дальней стены. Но Стенхэму хотелось, если это вообще возможно, вырваться из окружения этих недружелюбных людей. В соседней комнате компания пожилых крестьян, разлегшись на полу, курила киф и ела. У соседней двери стоял мальчик. Комната за его спиной казалась пустой. Стенхэм подошел и заглянул в нее; мальчик не шевельнулся. В комнате действительно никого не было. За окном в задней стене в небольшом пруду блеснула на солнце вода.

– Ли, – позвал Стенхэм, и, проскользнув в комнату, они наконец сели.

– Вы нарочно так завывали, чтобы они подумали, что вы американец? Ну, признавайтесь, – настойчиво потребовала Ли.

– По крайней мере, очень важно, чтобы они не решили, что мы французы.

– Но слушать вас было уморительно! – Ли расхохоталась. – Было бы еще более убедительно, если бы вы прорычали: «Окей, гони деньги, двадцать баксов, порядок, вона

чего еще, а ну пошел прочь, чертов сукин сын!» Пожалуй, тогда они бы скорее смекнули, кто вы на самом деле. А в вашем исполнении, я думаю, до них еще не скоро дойдет.

– Во всяком случае, я очень старался.

Здесь, в задней комнате, недостижимый для враждебных взглядов, он чувствовал себя лучше.

Официант принес стакан чая для мальчика за соседним столиком. Стенхэм заказал чай и сласти.

– Проклятье! – сказал он. – Я забыл оставить Моссу записку.

– Это я виновата, – заявила Ли.

– Очень мило с вашей стороны, но только это не совсем не так.

– Вы могли бы позвонить ему.

– Увы. Здесь нет телефона. Прямо не знаю, что делать. Порой понять не могу, что со мной не так. Я знаю, как себя вести, но только до или после того, как все происходит. Когда приходится действовать, не раздумывая, я просто цепенею.

– В этом вы не оригинальны, – ответила Ли.

Стенхэм подозревал, что она ожидает бурной реакции на это заявление, поэтому решил смолчать. Какое-то время оба сидели молча. Мальчик-араб пил чай, звучно, как принято у мусульман, прихлебывая. Стенхэм, окончательно успокоившийся, не имел ничего против того, что он сидит рядом. Это была частица национального колорита. Он не возражал бы, даже если бы мальчик принялся громко рыгать, как делают все воспитанные марокканцы, когда хотят показать, что им очень нравится то, что они едят или пьют. Однако мальчик сидел тихо, потом встал и, взяв с пола увесистый камень, принялся колотить по задвижке на двери, ведущей в садик позади кафе. Стенхэм перегнулся через стол и взял Ли за руку. До этого момента он никогда не обращал внимания на обручальное кольцо – гладкую золотую полоску.

– Так хорошо видеть вас рядом, – сказал он и тут же пожалел о своем жесте и словах: стоило ему коснуться руки Ли,

лицо ее омрачилось. – Впрочем, вас всегда приятно видеть рядом, – добавил он уже не так жизнерадостно, пристально на нее глядя. Казалось, что она колеблется – отвечать или нет. Потом сказала:

– Почему вы так себя ведете?

– А что я сделал не так? – произнес он мягко, надеясь, что они не поссорятся снова.

Она ответила с подкупающей искренностью:

– Вы ставите меня в двусмысленное положение. Я чувствую себя крайне неловко. Не могу удержаться от мысли, что вы от меня чего-то ждете. Мне кажется, что я должна либо кокетничать с вами, либо держаться очень холодно, а мне не хочется ни того, ни другого.

– А почему бы просто не вести себя естественно? – кротко предложил Стенхэм.

– Я и пытаюсь быть естественной, – нетерпеливо ответила Ли, – но, похоже, вы не понимаете. Вы ставите меня в положение, в котором практически невозможно быть естественной.

– Так уж ли это плохо? – печально улыбнулся Стенхэм.

– Принято считать, что ни в коем случае нельзя говорить мужчине, что вы находите его недостаточно сексуально привлекательным, а успех женщины основан на том, чтобы дать каждому мужчине понять, что при любом подходящем случае она готова забраться к нему в постель. Однако мне все же кажется, что должно найтись хоть несколько мужчин, сообразительных настолько, чтобы не впадать в депрессию, услышав обратное. Вы не согласны?

Она вызывающе улыбнулась.

– Я думаю, что вы и сами понимаете, что это не так. При чем здесь сообразительность? С таким же успехом вы могли бы сказать, что умный человек не может быть голоден, как какой-нибудь тупица.

– Что ж, может, вы и правы, – весело сказала Ли. – Кто знает?

Стенхэм почувствовал себя задетым; чтобы Ли этого не заметила, он еще крепче сжал ее руку.

– Меня не так-то легко отвергнуть, – непринужденно произнес он.

Ли пожала плечами и опустила глаза.

– Я вела себя с вами как друг, – сказала она, надув губы. – Потому что вы мне действительно нравитесь. Мне просто нравится быть с вами. Если этого недостаточно, – она снова пожала плечами, – что ж, черт с ним.

– Вот и прекрасно. Может быть, вы еще передумаете.

– Может быть. Хотелось бы думать, что я не так уж закоsnела.

Стенхэм ничего не ответил и, откинувшись на спинку стула, выглянул в окно. Мальчик снял сандалии и бродил по колену в воде – картина, которая, учитывая взволнованность Стенхэма, поначалу его не заинтересовала. Но когда мальчик, склонившись, выловил большое грязное насекомое, Стенхэм присмотрелся. Мальчик поднял руку к лицу, изучая свою добычу и улыбаясь ей, он даже несколько раз шевельнул губами, будто объясняя что-то.

– Что там такое? На что это вы так уставились? – спросила Ли.

– Пытаюсь угадать, что делает этот парнишка в пруду.

Неожиданно насекомое унеслось прочь. Мальчик стоял, глядя ему вслед, скорее с удовольствием, а не разочарованием, которое ожидал увидеть Стенхэм. Выбравшись из воды, мальчик сел на краю пруда.

– Как странно, однако, он себя повел, – покачал головой Стенхэм. – Специально забрался в воду, только для того чтобы вытащить какое-то насекомое.

– Значит, у него доброе сердце.

– Да, я понимаю, но они не такие. Вот в чем все дело. За все то время, что я здесь, мне ни разу не приходилось видеть, чтобы кто-нибудь поступал подобным образом.

Он внимательно оглядел мальчика: круглое лицо, типичные тяжелые черты, вьющиеся черные волосы.

– Его вполне можно было бы принять за сицилийца или грека, – сказал он, как бы разговаривая сам с собой. – Если он не марокканец, в его поступке нет ничего удивительного. Но если – да, то я сдаюсь. Марокканец такого никогда не сделает.

Ли резко встала, выглянула в окно, снова опустилась на стул.

– Он похож на модель для всех самых бездарных картин, которые иностранцы писали в Италии сто лет назад. «Мальчик у фонтана», «Цыган с кувшином воды», помните?

– Хотите еще чаю?

– Нет! – решительно ответила Ли. – Сыта по горло. Слишком сладко. И все равно не могу поверить, что можно было так быстро и жестко оценивать людей.

– В данном случае – можно. Я наблюдал за ними годами. Я знаю, какие они.

– Но, в конце концов, это же не значит, что вы знаете личность каждого.

– В том-то и суть, что они не личности в том смысле, который вы подразумеваете, – ответил Стенхэм.

– Вы на опасной почве, – предупредила его Ли.

Боясь, что она будет возражать, Стенхэм промолчал и не попытался объяснить, как жизнь среди менее развитых людей помогла ему взглянуть на свою культуру извне и лучше понять ее. Явным желанием Ли было стремление считать все народы и всех людей «равными», и она встретила бы в штыки любое мнение, которое противоречит этой аксиоме. По правде говоря, решил про себя Стенхэм, с ней вообще невозможно о чем-либо спорить, так как, вместо того чтобы видеть в каждой частице реальности дополнение к остальным, она с неколебимым упрямством шла напролом, замечая только то, чему могла придать видимость иллюстрации к своим убеждениям.

Откуда-то снаружи донесся слабый звук; не зная Стенхэм, что это человеческие голоса, он вполне мог бы вообразить, что это ветер воет в сосновых ветвях. Мальчик, сидевший на краю пруда так, словно солнце светило только для него, тоже, казалось, услышал этот гул. Стенхэм быстро взглянул на Ли: она явно ничего не услышала. В ее актерском арсенале, подумал он, всего два приема. Первый – вытащить пудреницу и изучать свое отражение, второй – закурить. На этот раз она воспользовалась пудреницей.

Стенхэм молча наблюдал за ней. Для Ли марокканцы были вялыми зеваками, стоящими на обочине парадного шествия прогресса, их надо было так или иначе уговорить присоединиться к нему, даже если придется применить силу. Она вела себя как миссионер, но миссионер предлагает полный, пусть и негодный к употреблению, свод идей и правил поведения, а модернизатор общества вообще не предлагает ничего, кроме места в общих рядах. А мусульман, которые со слепой интуитивной мудростью победоносно противостояли лживым посулам миссионеров, теперь обманом пытались привлечь к бессмысленному движению всемирного братства, ради которого каждый должен пожертвовать частью самого себя – достаточной, чтобы почувствовать себя ущербным, – и вместо того, чтобы обращаться за поддержкой к своему сердцу, к Аллаху, оглядываться на остальных. Новый мир будет триумфом безысходности и разочарования, когда человечеству придется самому тянуть себя за волосы из трясины, – равенством обреченных. Чего же удивляться, что религиозные лидеры ислама считали западную культуру творением Сатаны: им дано было узреть истину, и они выражали ее в простейших понятиях.

Выкрики и вопли неожиданно стали громче; не оставалось никаких сомнений, что колонна приближается. Сколько тысяч глоток, мелькнуло у Стенхэма, могут издать такой рев?

– Послушайте, – обратился он к Ли.

Шествие продвигалось медленно, и, следуя законам акустики, звук то становился громче, то отступал на задний план. Но толпа явно направлялась к Бу Джелуду.

– А вот вам и беда, о которой я говорил, – сказал Стенхэм. Ли прикусила верхнюю губу и растерянно посмотрела на него.

– И что же нам теперь делать? Бежать?

– Конечно, если вы не против.

Мальчик вошел через заднюю дверь, робко поглядел на них и снова сел за свой столик.

– *Qu'est-ce qui se passe dehors?*¹ – обратился к нему Стенхэм. Мальчик непонимающе уставился на него. Значит, все-таки марокканец.

– *Smahli*, – сказал Стенхэм. – *Chnou hadek el haraj?*²

Мальчик посмотрел на него широко раскрытыми глазами, явно недоумевая, как можно быть таким глупым.

– Это люди кричат, – ответил он.

– От радости или от злости? – поинтересовался Стенхэм. Стараясь скрыть внезапно возникшую в нем подозрительность, мальчик улыбнулся и сказал:

– Наверное, одни радуются, другие злятся. Только сам человек знает, что творится у него в сердце.

– Да он философ, – рассмеялся Стенхэм, обернувшись к Ли.

– Что он говорит? Что происходит? – нетерпеливо перебила она его.

– Просто он скрытный. *Egless*³. – Стенхэм указал на третий стул за их столиком, и мальчик осторожно пересел, по-прежнему пристально, не отрываясь, глядя в лицо Стенхэму.

– Предложу-ка я ему сигарету, – сказал Стенхэм и протянул мальчику пачку. Тот отказался, улыбнувшись.

– Чай? – спросил Стенхэм.

– Я уже пил чай, спасибо, – ответил мальчик.

1 Что там происходит? (*фр.*)

2 Прости. Что там за шум? (*араб.*)

3 Садись. (*араб.*)

– Спросите его, не опасно ли здесь оставаться, – нервно попросила Ли.

– Этих людей нельзя торопить, – ответил Стенхэм. – Иначе вы ничего от них не добьетесь.

– Я знаю, но если мы собираемся идти, то пора идти, вам не кажется?

– Да, если мы собираемся. Не уверен, что это удачная мысль – бегать сейчас по площади и искать такси, вам не кажется?

– На вашей стороне опыт. А мне откуда знать? Но, ради Бога, постарайтесь все же выяснить. У меня вовсе нет желания быть зверски растерзанной.

Стенхэм рассмеялся, потом обернулся и взглянул на нее в упор.

– Ли, если бы нам действительно угрожала серьезная опасность, неужели вы думаете, я предложил бы придти сюда?

– Откуда я знаю, зачем вы это предложили? Но говорю вам, что если толпа может в любую минуту ворваться и разгромить это кафе, я не собираюсь этого дожидаться.

– Отчего вдруг такая истерика? – спросил Стенхэм. – Я не понимаю.

– Истерика! – Ли презрительно рассмеялась. – Похоже, вы никогда в жизни не видели истеричных женщин.

– Послушайте. Если вы хотите уйти, давайте уйдем прямо сейчас.

– Вот как раз этого я не говорила. Только попросила вас быть серьезным, понять наконец, что вы несете ответственность за нас обоих и вести себя соответственно. Вот и все.

Прямо как школьная училка, сердито подумал Стенхэм.

– Ладно, – сказал он. – Будем сидеть здесь. В конце концов, это арабское кафе. Снаружи почти полсотни полицейских и *poste de garde*¹ – прямо через площадь. Не знаю, где бы

¹ Сторожевой пост (*фр.*).

мы могли чувствовать себя в большей безопасности, разве что в Виль Нувель. Ну и, уж конечно, не в гостинице.

Ли ничего не ответила. Гул приближающейся толпы стал громче, теперь он походил на протяжный восторженный рев. Стенхэм снова повернулся к мальчику.

– Люди идут сюда.

– Да, – ответил мальчик; было видно, что ему не хочется говорить на эту тему. Другой взгляд, иной подход, подумал Стенхэм, но, так или иначе, ничего личного.

– Тебе нравится это кафе? – спросил он немного погодя, и тут же вспомнил, что, если хочешь установить контакт с марокканцем, лучше утверждать, а не задавать вопросы.

Казалось, мальчик в нерешительности.

– Нравится, – неприятно ответил он, – только это плохое кафе.

– А я думал, это хорошее кафе. Мне оно нравится. Тут со всех сторон вода.

– Да, – согласился мальчик. – Я люблю посидеть здесь. Но только это плохое кафе, – он понизил голос. – Хозяин кое-что закопал за дверью. Это плохо.

– Понятно, – растерянно ответил Стенхэм.

Теперь шум толпы уже нельзя было игнорировать; ритмичный напев перерос в оглушительный рев, явно исполненный гнева, и теперь в нем можно было различить отдельные детали. Это была уже не сплошная волна звука, а огромное смятенное месиво человеческих криков.

– Smahli, – сказал мальчик. – Пойду посмотрю.

Он быстро встал и вышел из комнаты.

– Нервничаете? – спросил Стенхэм.

– Да как-то не очень уютно. Дайте мне сигарету. Мои кончились, – ответила Ли.

Когда она прикуривала, донесся одинокий выстрел – еле слышный глухой хлопок, который, однако, заставил рев стихнуть. Стенхэм и Ли застыли. Смолкнувший было на секунду другую рев вновь исступленно разнесся над площадью.

Затем, – как им показалось, прямо перед кафе, – застрочил пулемет: короткая дробная череда выстрелов.

Стенхэм и Ли вскочили и бросились к двери. Соседний зал опустел, подметил на бегу Стенхэм, только один старик сидел на полу с трубкой кифа в руках. Им удалось добежать только до входных дверей в большом зале. Через них уже ломились внутрь кафе люди, стараясь поскорее добраться до окон. Двое официантов запирали двери огромными засовами. Закончив свою работу, они поставили перед дверью большой сундук, а в оставшееся пространство втиснули несколько столиков и подперли дверь бревном. Они действовали машинально и слаженно, словно только так можно реагировать на подобную ситуацию, а потом зашли за стену ящиков с бутылками и стали беспокойно выглядывать в маленькое окошко. Оттуда, где стояли Стенхэм и Ли, через узорные решетки на окнах были видны только смутные тени на плотно утоптанной земле площади. Но вот за одной из рам мелькнула бегущая фигура. В эту минуту звук слился в единый вопль, недолгие промежутки затишья заполняло дребезжанье оконных стекол. Неожиданно – словно завелся мощный мотор, – со всех сторон площади раздалась пулеметная пальба. Когда пулеметы смолкли, наступила относительная тишина, нарушенная несколькими пистолетными выстрелами, донесшимися издалека. Прозвучал полицейский свисток, и можно было даже расслышать отдельные голоса, выкрикивавшие команды на французском. Стоявший перед одним из окон мужчина принялся бить кулаками по решетке, точно запертый в клетке зверь, визгливо выкрикивая арабские проклятья; несколько рук протянулось к нему: товарищи оттащили его от окна и повалили на пол. Стенхэм схватил Ли за запястье и потянул за собой, коротко сказав: «Пошли». Они вернулись в заднюю комнату.

– Сядьте, – сказал он. Потом вышел в залитый солнцем дворик, оглядел стены, вздохнул и вернулся в комнату. – Отсюда не выбраться. Придется сидеть и ждать.

Ли ничего не ответила, она сидела, опустив голову, упершись подбородком в ладони. Стенхэм внимательно посмотрел на нее, он не мог сказать наверняка, но ему показалось, что она дрожит. Он положил руку ей на плечо: ее действительно била дрожь.

– Может быть, выпьете горячего чая, без сахара? – спросил он.

– Ничего, все в порядке, – ответила Ли, помолчав, не глядя на Стенхэма. – Все в порядке.

Он беспомощно стоял, глядя на нее.

– Тогда, может быть...

– Сядьте, пожалуйста.

Стенхэм машинально повиновался. Потом закурил. Ли встрепенулась, подняла голову.

– Дайте и мне, – попросила она. Зубы ее стучали.

– Курить я еще способна, но больше...

Почувствовав, что кто-то стоит в дверях, Стенхэм быстро обернулся. Это был все тот же мальчик, неподвижно уставившийся на Стенхэма. Старик по-прежнему копошился в углу в клубах кифного дыма.

– Сходи, принеси стакан чая для *мра*¹, – сказал Стенхэм мальчику, но тот, казалось, не понял его. – Леди хочет чая.

Он так смотрит на меня, как будто я – говорящее дерево, подумал Стенхэм. Он взял мальчика за руку и с силой сжал ее – реакции не последовало. Глаза были широко раскрыты, абсолютно пустые. Стенхэм оглянулся и увидел, что Ли всхлипывает, ссутулившись над столом. Потянув мальчика за руку, он подвел его к стоящему рядом с Ли стулу и усадил. Потом прошел в главный зал, к нише, в которой горел огонь, и заказал *кауджи* три чая; официанта тоже словно поразил столбняк.

– Три чая, – повторил несколько раз Стенхэм. – И в один – поменьше сахара.

¹ Женщина (*араб.*).

Пусть хоть чем-нибудь займется, подумал он.

Слабый беспорядочный шум снаружи теперь почти полностью заглушался голосами зевак, сидевших в кафе. Они говорили негромко, но в каком-то исступлении, так что никто никого не слышал. К счастью, это полностью их увлекло, и на Стенхэма внимания не обращали. Он почувствовал, что, если предоставит приготовление чая *кауджи*, тот снова впадет в летаргию, и потому решил не отходить от официанта, пока чай не будет готов. В маленькое оконце перед ним была видна только центральная часть площади. Сейчас она была пуста, если же в рамке окна и появлялась движущаяся фигура, то это был либо *мокхазни*, либо полицейский. Случившееся не вызвало никаких сомнений: толпа попыталась выйти из медины через Баб Бу Джелуд, но ее остановили в воротах. Теперь под аркой то тут, то там завязывались потасовки, по мере того как участники процессии отступали. Услышав рев колонны грузовиков, Стенхэм понял, что можно, не рискуя, подойти к окну и посмотреть, как будут развиваться события; он протиснулся между ящиками с пустыми бутылками и стеной и выглянул. Четыре больших армейских грузовика выстроились в линию перед двумя брошенными автобусами. Солдаты-берберы в форме, сжимая в руках винтовки, перепрыгивали через борта машин и бегом устремлялись к воротам. Должно быть, не меньше двухсот, прикинул Стенхэм.

Теперь там, за стенами, на улицах и в переулках, начнется неторопливая резня, пока последний из обитателей города не доберется хоть до какого-нибудь убежища, а снаружи не останется никого, кроме солдат. Не успел он это подумать, как характер стрельбы изменился: одиночные, разрозненные выстрелы сменились залпами – так взрывается связка шутих. Стенхэм стоял, не отрываясь от окошка, хотя ничего не было видно; это было все равно, что смотреть кинохронику, когда показывают только начало и финал, но не само событие. Даже выстрелы могли быть записью на отдельной звуковой дорожке;

с трудом верилось, что винтовки, которые он видел пару минут назад, теперь используют, чтобы убивать людей, и пальба это неподдельная. Если прежде не видел таких жестоких сцен, подумал Стенхэм, они кажутся нереальным, даже если происходят у вас на глазах.

Он вернулся к нише, где горел огонь, и был приятно удивлен, увидев, что *кауджи* уже заварил чай. Когда все было готово, Стенхэм, стараясь держаться как можно ненавязчивее, проследовал за официантом в заднюю комнату. Увидев сидящих за столом, он не знал, досадовать ему или радоваться оттого, что мальчик и Ли увлеклись таинственной двуязычной беседой.

– Выпейте горячего чая, – обратился он к Ли.

Она подняла голову, по лицу ее невозможно было сказать, что она только что плакала.

– Как это мило с вашей стороны, – Ли взяла стакан, но он оказался слишком горячим, и она тут же поставила его на стол. – Действительно они люди прелюбопытные. Этот ребенок успокоил меня за две минуты. Сначала я почувствовала, как он тянет меня за рукав, причем с совершенно неотразимой улыбкой, да еще бормочет что-то на своем смешном языке, но так ласково, так мягко, что мне сразу же стало лучше, вот и все.

– Вот уж действительно странно, – сказал Стенхэм, вспоминая, в каком состоянии был сам мальчик, когда он оставил его. Он повернулся к мальчику и спросил: – О *deba labès enta*? Тебе лучше? Похоже, ты чувствовал себя неважно.

– Нет, мне не было плохо, – решительно ответил мальчик, но на лице его промелькнули одно за другим: стыд, обида и какое-то доверчивое смирение, будто он сдавался на милость Стенхэму, лишь бы тот ничего не сказал Ли о его слабости.

– Когда мы сможем выбраться отсюда? Мы хотим домой, – обратился к нему Стенхэм.

Мальчик покачал головой.

– Пока еще не время выходить на улицу.
– Но леди хочет вернуться в гостиницу.
– Конечно, – мальчик рассмеялся так, словно Ли была неразумным животным и серьезно относиться к ее желаниям не следовало. – Это кафе – очень хорошее место для нее. Солдаты не узнают, что она здесь.

– Солдаты не узнают? – резко подхватил Стенхэм, интуиция подсказывала ему, что за этими словами крылся двойной смысл, который был ему непонятен. – Что ты имеешь в виду? Chnou bghisti ts'qoulli?¹

– Разве вы не видели солдат? Я слышал, как они приехали, когда вы готовили чай. Если они узнают, что она здесь, то сломают дверь.

– Но зачем? – спросил Стенхэм, сам понимая, что задает идиотский вопрос.

Мальчик ответил коротко и недвусмысленно.

– Да нет же, – недоверчиво сказал Стенхэм. – Они не могут. Это же французы.

– Какие французы? – горько переспросил мальчик. – Французов тут нет. Французы послали их, чтобы они крушили дома, убивали мужчин, насиловали девушек и брали все, что им приглянется. Берберы не стали бы драться за французов за несколько франков в день, которые они получают. Неужели вы этого не знали? Так уж повелось: французам не нужно тратиться, городские остаются бедными, берберы довольны, а люди ненавидят берберов больше, чем французов. Потому что, если бы все ненавидели французов, они не могли бы здесь оставаться. Пришлось бы им убираться к себе во Францию.

– Понимаю. Но откуда тебе все это известно? – спросил Стенхэм, пораженный ясностью и простотой, с какой мальчик обрисовал суть дела.

¹ Что ты хотел мне сказать? (араб.)

– Мне это известно, потому что известно всем. Даже ослам и мулам. И птицам, – добавил он без тени улыбки.

– Если тебе все это известно, может ты знаешь, что случится дальше? – спросил Стенхэм наполовину всерьез.

– В сердцах мусульман будет копиться все больше яда, все больше и больше, – лицо его исказилось гримасой боли, – пока их всех не прорвет, и они уже будут не в силах сдерживать свою ненависть. Они сожгут все и поубивают друг друга.

– Нет, я имею в виду сегодня. Что случится сейчас? Мы хотим домой.

– Смотрите в окно, пока не увидите, что на улицах остались одни только французы и *мокхазни* – никаких партизан. Потом попросите открыть вам дверь и выпустить вас, а как выйдете, разыщите полицейского, и он отведет вас домой.

– Но нам не нравятся французы, – сказал Стенхэм, решив, что это самый подходящий момент уверить мальчика в том, кому принадлежат их симпатии; ему не хотелось, чтобы тот сожалел о своей наивной искренности, когда возбуждение спадет.

На юном лице появилась циничная усмешка.

– Binatzkoum¹, – с безразличием произнес мальчик, – Это ваше дело, сами разбирайтесь. Как вы приехали в Фес?

– На поезде.

– А живете где?

– В «Меринид-Паласе».

– Binatzkoum, binatzkoum. Значит, вы приехали вместе с французами и живете с ними. Какая ж тогда разница, нравятся они вам или нет? Если бы их здесь не было, и вас бы не было. Так что разыщите французского полицейского. Но не говорите ему, что он вам не нравится.

– Послушайте! – неожиданно воскликнула Ли. – Я вовсе не собираюсь сидеть здесь, пока вы берете уроки арабского.

¹ Это ваше дело (*араб.*).

Я хочу как можно скорее отсюда выбраться! Он хоть что-то конкретное вам сказал?

– Немного терпения, – сердито ответил уязвленный Стенхэм. – Мне нужно во всем разобраться. Ведь я уже говорил вам: этих людей подгонять нельзя.

– Извините. Но скоро стемнеет, а нам еще идти и идти до гостиницы. Я только надеюсь, что вы не просто так болтаете.

– Нет, нет, – заверил ее Стенхэм. Он взглянул на часы. – Сейчас только двадцать минут пятого. До вечера еще далеко. Мальчик считает, что нам не стоит выходить прямо сейчас. Полагаю, он прав.

– Возможно, он знает об этом меньше вашего, – ответила Ли. – Но ладно, продолжайте ваши расспросы.

Выстрелы были уже еле слышны.

– Может, пойдешь, посмотришь, что происходит? – обратился Стенхэм к мальчику.

Тот покорно встал и вышел.

– Хороший парнишка, – сказал Стенхэм. – Светлая голова.

– Да, он такой милый. Каждый из нас должен подарить ему что-нибудь перед уходом.

Мальчик долго не возвращался, и Стенхэм с Ли сразу же заметили, что настроение у него резко изменилось. Он медленно прошел к своему стулу и сел, казалось, он вот-вот заплачется.

– Chnou? Что там? – нетерпеливо спросил Стенхэм.

Мальчик в упор взглянул на него, во взгляде его сквозило отчаяние.

– Теперь вы наберитесь терпения, – сказала Ли.

– Можете идти, – наконец произнес мальчик бесцветным голосом. – Дверь вам откроют. Теперь нечего бояться.

Стенхэм подождал, не скажет ли мальчик еще чего-нибудь, но тот все сидел, сложив руки на коленях, понурился и глядя перед собой.

– Что случилось? – наконец повторил он свой вопрос, сознавая, что его опыта, равно как и знаний арабского, недостаточно, чтобы вмешиваться в ситуацию, требующую особого такта и деликатности. Мальчик медленно, очень медленно покачал головой, не отрывая глаз от невидимой точки. – Ты увидел что-нибудь плохое?

– Город закрыт, – промолвил мальчик с глубоким вздохом. – Все ворота заперты. Никто не может войти. Никто не может выйти.

Стенхэм пересказал услышанное Ли, добавив:

– Думаю, что теперь нам будет чертовски трудно добраться до гостиницы. Официально она находится в городской черте.

Ли досадливо прищелкнула языком.

– Мы-то проберемся, но вот как насчет него? Где он живет?

Стенхэм поговорил с мальчиком, ставя вопросы так, чтобы они требовали только самого короткого ответа. Через минуту-другую он повернулся к Ли:

– Он не знает, где ему теперь есть и спать. Это скверно. Его семья живет где-то в центре медины. Тоже приятного мало. И денег у него, конечно же, нет. Пожалуй, дам-ка я ему тысячу. Это хоть как-то поможет.

– Бедняга нуждается не в деньгах, – покачала головой Ли. – Какая ему польза от денег?

– Какая польза?! – воскликнул Стенхэм. – Но что вы можете ему предложить?

Ли протянула руку и хлопнула мальчика по плечу.

– Смотри! – сказала она, указывая на Стенхэма. – Подойди к нему. – Она поболтала в воздухе двумя пальцами, как бы изображая идущего человека. – Я, – она ткнула большим пальцем себе в грудь. – В гостиницу. – Описав широкую дугу, она добавила: – Да? Оуи?

– Вы с ума сошли, – сказал Стенхэм. В глазах мальчика вспыхнула надежда. Увлеченная своей игрой, Ли наклонилась,

продолжая выделывать пальцами разные фигуры. Стенхэм встал: – Но как мы можем возлагать на него такое трудное дело?

Ли не обратила на него никакого внимания.

– Пойду посмотрю, что там в другой комнате, – прежде чем выйти, Стенхэм еще раз взглянул на Ли и мальчика: те сосредоточенно наклонились друг к другу, Ли жестикулировала и выговаривала слово за словом с подчеркнuto отчетливой интонацией: ну да, совсем как школьная учительница, снова подумал Стенхэм.

«Чего она хочет? Благодарности?» Он знал, чем все кончится: мальчишка исчезнет, а потом обнаружится, что что-нибудь пропало – фотоаппарат, часы или авторучка. Ли будет негодовать, а ему придется терпеливо объяснять, что это было неизбежно с самого начала, что подобное поведение просто является неотъемлемой частью их морального кодекса.

В большом зале было тихо. У окон стояло всего несколько человек. Другие либо разговаривали, либо просто сидели молча. Стенхэм пробрался к окошку, через которое выглядывал в первый раз. На площади было довольно оживленно: солдаты складывали мешки с песком неровной дугой прямо перед воротами. На стене, рядом с окном висел большой календарь, и, хотя текст был написан арабскими буквами, на нем была изображена типично американская девица, подносящая к губам бутылку «кока-колы». Когда он шел обратно через комнату, двое-трое мужчин сердито посмотрели на него, и он слышал слово *mericani*, сопровождаемое несколькими нелестными эпитетами. Стенхэм почувствовал облегчение: по крайней мере, они поняли, что он не француз. Так что вряд ли будут особые неприятности.

Старик в соседнем зале лежал на боку, закрыв глаза: столько трубок кифа за несколько часов оказались ему не под силу. Когда Стенхэм вошел, Ли встала, разглядела юбку и обратилась к нему:

– Все улажено. Амар идет с нами. Им придется найти ему место для ночлега, а не найдут, так я просто сниму для него номер.

Стенхэм посмотрел на нее с жалостью и улыбнулся.

– Что ж, вижу у вас самые благие намерения. Так, значит, его зовут Амар?

– Спросите сами. Он мне так сказал. Он и меня теперь называет по имени, но только произносит его «Бали». Звучит довольно красиво, во всяком случае лучше, чем Полли.

– Понятно, – ответил Стенхэм, – «Бали» значит «старый», если речь идет о неодушевленных предметах. Но уж коли вы решили взять на себя такую обузу, не имею ничего против.

Мальчик сидел, тревожно переводя взгляд с его лица на лицо Ли.

– Ну, а если бы мы не встретились? Интересно, что бы он тогда делал?

– Не знаю, может, вернулся бы в город до того, как все началось, и успел бы добраться до дома. Не забывайте – это вы заговорили с ним и заставили его остаться с нами.

– Вы уверены, что не будет проще дать ему денег и отпустить на все четыре стороны?

– Да, уверена, – отрезала Ли.

– Отлично. Тогда, я думаю, пора идти.

Он протянул мальчику пятьсот франков.

– Chouf¹. Заплати за чай и *кабрхозели* и попроси *кауаджи* открыть нам дверь.

Амар вышел. Весьма вероятно, подумал Стенхэм, что хозяин кафе не рискнет открыть дверь, но, с другой стороны, кроме мальчика за них некому было замолвить слово. Он подошел к задней двери и еще раз взглянул на пруд. Солнце скрылось за городскими стенами, в послеполуденной тени дворик приобрел строгое очарование. Гладь воды была

¹ Смотри (*араб.*).

ровной, но равномерная дрожь тростника по краям выдавала подводное течение. Прилетевшая из города ласточка косо спланировала над прудом, чтобы коснуться воды. Заметив Стенхэма, она круто изменила направление и в смятении устремилась в небеса. Стенхэм прислушался: стрельбы не было слышно, но не было слышно и криков уличных торговцев, колокольчиков продавцов воды, и громкая разноголосица, сплетающаяся в обычный городской шум, тоже смолкла. До Стенхэма доносились только резкие крики птиц. То было время ласточек. Каждый вечер в этот час десятки тысяч птиц стремительно носились в воздухе, описывая широкие круги над стенами, садами, переулками и мостами, своими пронзительными криками предвещая наступление сумерек.

Итак, подумал Стенхэм, это все же случилось. Они добились своего. Что бы ни произошло дальше, город уже никогда не будет прежним. Это он знал наверняка. За спиной его раздался голос Ли.

– Амар говорит, что они открыли для нас дверь. Идем?

*Один из вопрошавших спросил,
какую страшную участь, которую
никто не в силах отворотить,
уготовил нечестивцам Аллах –
Повелитель Восходящих Ступеней?*

Коран

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ ВОСХОДЯЩИЕ СТУПЕНИ

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Мужчина и женщина не двигались с места, пока *кауаджи* запирали за ними дверь. Над площадью висело облако пыли, поднятой ботинками солдат, бегавших взад-вперед от грузовиков к баррикаде, которую они сооружали у ворот. «Аллах всемогущ», – подумал Амар. Снова Он вмешался, снова заступился за него. Припоминая события последних двух-трех часов, Амар думал, что заметил вокруг головы мужчины, входившего в кафе, странное свечение. Он не сразу понял, что это блестят на солнце его светлые волосы. Но теперь, когда их судьбы оказались неразрывно связаны, Амар припомнил свет, окружавший голову мужчины, куда бы тот ни шел, и предпочел истолковать это как знак, ниспосланный ему Аллахом, дабы указать верный путь. Это его тайная сила, решил он, помогла распознать знамение и следовать ему. В ту самую минуту, когда он, сидя у пруда, увидел за окном серьезное лицо мужчины, он понял, что может, если захочет, рассчитывать на его помощь и заступничество. Возможно, ему даже удастся добавить к своим сбережениям сумму, недостающую, чтобы купить пару ботинок. Но это было мимолетное соображение, которого он устыдился сразу, как только оно пришло ему в голову. «Не нужны мне ботинки, – обратился он к Аллаху, пока они шли через площадь. – Мне хочется только

оставаться рядом с *несрани*¹ и исполнять все, что он скажет, пока я не вернусь домой».

То, что на самом деле взять его в гостиницу предложила женщина, ничего не значило: узор жизни соткан так, что женщины лишь выполняют повеления мужчин, и даже если кажется, что женщина навязывает свои желания, все равно всегда исполняется воля мужчины, ибо мужчинами руководит Аллах. Как это справедливо, думал он, с неприязнью глядя на короткую юбку женщины и на то, как она нахально, как ни в чем не бывало, идет рядом с мужчиной, словно думает, что имеет право разгуливать по улицам в таком виде.

Они подошли к полицейским, которые цепочкой стояли у выхода с площади. Мужчина заговорил с ними. Полицейский указал на Амара. Амар предположил, что мужчина выдаст его за своего слугу, так как если какие-то трудности и возникли, их скоро удалось разрешить, и француз, похоже, остался доволен. Двое людей в форме отправились с ними, так что теперь их было пятеро, и они шли по длинному проспекту навстречу закату.

Повсюду были солдаты: они бродили по скверам среди апельсиновых деревьев, стояли, прислонившись к стене, тянущейся вдоль реки, с важным видом расхаживали среди перевернутых шезлонгов, вытащенных из кафе в парке, стояли на страже у главного входа в старый дворец султана. Среди них были и французы, но большую часть составляли угрюмые берберы, бритоголовые, с узкими, лживыми глазами. Они помогали французам в Индокитае, а теперь снова прислуживали им на собственной земле, в борьбе со своими же соотечественниками. Проходя мимо них, Амар почувствовал, как сердце его преисполняется ненавистью, но постарался отвлечься и думать о другом, чтобы идущий рядом француз не ощутил силу его ненависти. Они свернули на

¹ Христианин (*араб.*).

длинную улицу Фес-Джедид; мужчина и женщина весело, наперебой болтали и даже порой смеялись, будто не замечая, что повсюду вокруг: за стенами домов, в залитых сумеречным светом переулках справа и слева – царит смерть. Возможно, они даже не понимали, что происходит, они принадлежали иному миру, и французы относились к ним с уважением.

На полпути к Баб Семмарин улица приобрела более привычный вид. Просторные алжирские кафе здесь были переполнены, огни фонарей бросали отсветы на лица посетителей, пьющих чай, несколько торговавших одеждой лавок были открыты, большие группы мужчин и молодежи прогуливались взад-вперед, возбужденно переговариваясь, полицейские не давали им задерживаться на месте, постоянно подгоняя: «Allez! Zid! Zid! Vasy!» И тут Амар почувствовал, что за ним кто-то идет, негромко окликаая: «Амар! Эй, Амар!» Голос глубокий, мягкий, звучный: это был Бенани. Но, вспомнив, как накануне Бенани предупреждал его не выходить за стены медины, Амар решил притвориться, что ничего не слышит, и постарался идти как можно ближе к мужчине. Но голос продолжал осторожно окликать его – возможно, метрах в двух позади, – пробиваясь сквозь нестройный гомон толпы, не меняя интонации, не становясь ни громче, ни тише.

«Вот они, значит, какие», – цинично подумал Амар. Ожидали, что он будет в медине, надеялись, что французы застрелят его или упрячут за решетку, в то время как члены партии, устроив беспорядки, позаботились остаться снаружи, где им ничего не угрожало.

В кафе по правую руку несколько алжирцев пели, собравшись вокруг молодого человека, игравшего на *уде*. Двое туристов захотели остановиться и послушать, но полицейские поспешно увели их в сторону Баб Семмарин. Только когда они вошли под первую арку, задерживая дыхание, чтобы не чувствовать вонь мочи, голос позади стал более настойчивым. «Амар! Не оборачивайся. Все в порядке. Я знаю, что ты

меня слышишь». (Скосив глаза, Амар посмотрел сначала на полицейского, шедшего слева, затем на второго; скорей всего они не понимали по-арабски, но, если и понимали, вряд ли различили бы этот одинокий голос в уличном шуме.) «Амар! Помни – держи рот на замке. Мы...» Грохот повозки, гулко разнесшийся под сводами тоннеля, заглушил остальное. Когда они вышли из-под следующей арки, голос исчез. Дурной сон развеялся, когда Амар услышал предупреждение с просьбой молчать; видно, Бенани решил, что он и двое иностранцев арестованы.

Улица Бу-Кхессисат была совсем безлюдна, двери лавок задраены, а окна верхних этажей, где жили евреи-толстосумы, прятались за ставнями. Шагая по длинной, петляющей улице, Амар видел то тут, то там за приоткрытой ставней какую-нибудь полную матрону в ночном чепце: с лампой в руках, тревожно выглядывала она на улицу, несомненно размышляя, не случится ли то, чего боятся все евреи во время беспорядков – а вдруг разъяренные мусульмане, выведенные из себя неспособностью противостоять христианам, привычно обрушат свой гнев на меллах? Ведь не было никого и ничего, что могло бы остановить их, появись у них такое желание: чисто символический отряд полиции, большей частью состоящий из самих евреев, да оборудованная маломощной рацией патрульная машина, стоявшая внутри Баб Чорфа, которую толпа могла бы смести, как пылинку. Амар размышлял, отправятся ли сегодня ночью молодые арабы в меллах – убивать мужчин и насиловать девушек (изнасиловать еврейку – невелика доблесть, но правда и то, что многие из них действительно были девственницами, и в этом заключался неоспоримый соблазн); чутье подсказывало ему, что на этот раз все будет не так, как прежде, что Истиклал отдаст специальные распоряжения, запрещающие подобного рода бесполезные крайности. Сейчас он чувствовал себя великолепно, ощущение собственного превосходства переполняло его, ведь он шел с четырьмя

христианами и мог рассчитывать на их заступничество. Потом он вспомнил старую присказку: «Ты можешь разделить с евреем хлеб, но не его ложе. Ты можешь разделить с христианином его ложе, но не хлеб», и задумался, уж не придется ли ему делить ложе с женщиной. Все знают, что многим христианам нравятся арабские мальчики. Если мужчина набросится на него, он будет сопротивляться изо всех сил, твердо решил Амар. Но на самом деле ему не верилось, что такое случится.

Когда они вышли на Пляс дю Коммерс, Амар увидел, что от ярмарки, которая вчера вечером занимала почти всю площадь, почти не осталось следа. И сейчас, в темноте, при свете фонариков и карбидных ламп, рабочие торопливо складывали хрупкие перегородки, паковали механизмы и сваливали все в стоявшие за палатками грузовики. В дальнем конце площади стояли несколько такси. Полицейский подвел их к первой машине; Амар и оба туриста уселись на заднее сиденье, а второй полицейский устроился впереди, рядом с шофером. Его напарник отдал честь и велел водителю ехать в «Меринид-Палас». Амар был вне себя от восторга. Ему никогда еще не приходилось ездить в такси, да что там такси, даже в обычной легковой машине – только на автобусах и грузовиках, а вряд ли кто бы стал спорить, что маленькие машинки куда проворнее. Домики предместий мелькали по сторонам; машина промчалась мимо стадиона, проскочила железнодорожный переезд, и теперь с одной стороны тянулась длинная глухая стена, отгораживавшая сады султана, а с другой – пустынная равнина.

За все это время мужчина ни разу не обратился к нему, и Амар догадался, что христианин не хочет, чтобы полицейский понял, что он знает арабский. Время от времени женщина ободряюще улыбалась ему, будто думала, что он испугается, попав в компанию иностранцев. И всякий раз Амар вежливо улыбался в ответ. Он понимал, что сейчас они говорят о нем, но говорили они на своем языке, и его это не смущало.

За Баб Сегмой все бурлило. В клубах пыли, поднятой машинами, лучи мощных прожекторов, перекрещиваясь, сплетались в узор, еще более запутанный от света фар грузовиков и фургонов. Когда такси подъехало к воротам, Амар заметил несколько легких танков, выстроившихся вдоль стены. Неожиданно в душе у него шевельнулось страшное сомнение. Его нелепое бегство от собственного народа и поиски прибежища у иностранцев вдруг показались ему совершенно бессмысленными. Даже если полицейский не вышвырнет его из машины здесь, у Баб Сегмы, или дальше, возле Баб Джамай, он наверняка заберет его, как только они приедут в гостиницу. И даже если доброй даме и господину удастся защищать его какое-то время, все равно рано или поздно наступит час, когда он останется один, а французам только того и нужно. Наверняка он им кажется еще более подозрительным, раз оказался в компании этих чужестранцев.

Такси свернуло налево и стало подниматься на холм по дороге, которая шла мимо входа в касбу Черарда, где были расквартированы сенегальские части. Здесь тоже стояли танки, но сегодня караул несли не державшие ружья высокие чернокожие солдаты с лицами, изукрашенными ножевыми шрамами; их место заняли румяные французы, вооруженные автоматами. Добравшись до вершины холма, машина свернула направо и покатила по пустырю, куда по четвергам приводили на продажу скот. Полицейский раскачивался рядом с водителем, курил, положив руку на спинку сиденья. Теперь, когда они вновь очутились за городскими стенами, страх Амара поутих, он снова увидел все в свете здравого смысла и устыдился чувств, охвативших его минуту назад. Аллах помог ему скрыться из кафе, в котором пришлось бы оставаться неизвестно сколько, потому что никто не решился бы выйти, когда столько солдат на площади. А так ему даже, быть может, удастся поесть и спокойно выспаться. Говоря по справедливости, нельзя было требовать большего. Настанет утро,

будет новый день с новыми проблемами и возможностями, но, конечно, грех думать о дне, который еще не наступил. Человеку следует принимать в расчет только настоящее, с удовольствием ли, с тревогой, но недостаток смирения перед лицом Воли Всевышнего непростителен.

Неожиданно вся машина наполнилась сладким, похожим на цветочный, запахом: дама открыла свою сумочку, чтобы вытащить пачку сигарет. Фес лежал далеко внизу, плотно укрытый тьмой, о его существовании можно было догадаться лишь по слабым красноватым огонькам – это могла быть лампа в окне или разведенный во дворе костер, – они мелькали на долю секунды, пока такси ехало по дороге, выходящей по склонам холмов.

Наконец они доехали до вершины, с которой разрушенные могилы династии Меринидов взирали вниз, поверх оливковых рощ, на восточную окраину города. Обрушившиеся купола неровным, зубчатым контуром рисовались на фоне ночного неба. Амар вспомнил, как в последний раз спускался по этим склонам, направляясь домой, где его ожидала порка. Он улыбнулся, припомнив, как мальчик на велосипеде не понял его вопроса о тормозах, вообразил, что Амар боится съехать с дороги, тогда как он только и мечтал о том, чтобы велосипед угодил в канаву. Он еще раз улыбнулся при мысли о том, как серьезно воспринимал предстоящее наказание, хотя теперь, повзрослев, не стал бы и беспокоиться о таких пустяках, разве что было бы печально, что отец вымещает на нем свою досаду. Но окончательно ли он повзрослел? На миг Амар почувствовал, что может взглянуть на себя со стороны и задаться этим вопросом. В кармане у него, завернутая в бумажку, лежала порция кифа – часть давно задуманной мести Мустафе, в наказание за ту самую порку. Не угодит ли он Аллаху, если прямо сейчас вышвырнет ее в окно? Но внизу, в смятенно мечущихся лучах света, показались Баб Джамай, и эта мысль вылетела у него из головы, чтобы уступить

место гораздо более реальным заботам о том, что случится, если полицейский все же заставит его выйти из машины. Это было самое опасное место, потому что именно здесь им предстояло въехать в медину. Такси подрулило к воротам. Шофер остановился и заглушил мотор. Луч карманного фонаря, пробежав по их лицам, обшарил такси, и солдат-француз, сунув голову в заднее окно, о чем-то перемолвился с женщиной и женщиной.

– Et cet arabe-là?¹ – спросил он, указывая на Амара с еле ощутимой фамильярной снисходительностью собственника, – ваш слуга?² – И, хотя Амар не понял слов, смысл того, что сказал солдат, был ему ясен. Главное, что оба иностранца ответили «да». – Vous pouvez continuer à l'hôtel², – разрешил солдат, и, проехав еще сотню ярдов, машина остановилась перед воротами гостиницы.

После чего все слилось для Амара в череду смутных впечатлений. Вслед за своими новыми друзьями он прошел через два внутренних двора, поднялся по двум маршам усталанной ковромлестницы, за которой начинался бесконечный коридор, тоже с ковром, гасившим звук шагов. Стены были украшены дорогими циновками из тростника, а с потолка свисали светильники, какие бывают разве что в мечети Каруин или в зауи Мулая Идрисса. Затем они распахнули две большие стеклянные двери и по нескольким ступенькам спустились в комнату, не похожую на все, что Амару когда-либо доводилось видеть: такие покои, подумалось ему, могли принадлежать одному лишь султану. Затейливые узоры высокого сводчатого потолка были слабо освещены разноцветными лучами, струящимися от огромного светильника; все было похоже на огромную, чудесную пещеру. Амар успел лишь мельком оглядеть комнату, пока они проходили через нее, а

1 Это у вас там араб? (*фр.*)

2 Можете проехать в гостиницу (*фр.*).

потом последовала еще одна ведущая вверх лестница, на этот раз очень старая, покрытая мозаикой и без ковра – очень похожая на лестницу у него дома, разве что здесь края ступеней были мраморные, а не деревянные. Мужчина и женщина тихо переговаривались, Амар поднимался за ними. Наверху еще один коридор, но уже не такой красивый, как нижний.

Мужчина открыл дверь, и они вошли.

– Проходи, – впервые за долгое время обратился он к Амару. Потом заговорил с женщиной, тоже приглашая ее войти. Немного поколебавшись, она все же согласилась, и они с мужчиной уселись в два больших кресла. Амар застыл в дверях, озирая великолепие. – Садись, – сказал ему мужчина. Амар повиновался, усевшись там же, где стоял, и продолжая внимательно изучать резьбу на потолке и причудливо раскрашенный гипсовый карниз, украшенный геометрическим узором. Ковер был толстый, ворсистый, окна прятались за тяжелыми шторами, а постельное белье слепило белизной.

Мужчина впервые пристально посмотрел на него, вытащил пачку сигарет и, предложив женщине, бросил пачку Амару.

– Что у тебя с лицом? – спросил он. – Подрался?

– Да, – рассмеявшись, ответил Амар. Он чувствовал себя неловко, и ему ужасно хотелось посмотреть на себя в зеркало, висевшее над умывальником, но он не решался и продолжал сидеть и курить. Мужчина вел себя запанибратски явно для того, чтобы Амар почувствовал себя уютно, и мальчик был благодарен за это, но присутствие женщины невольно заставляло его нервничать. Она не спускала с него глаз, и ее улыбка его смущала. Так мать улыбается маленькому сыну на людях, когда все смотрят на них, а она надеется, что он будет вести себя хорошо. Амару ее улыбка казалась дружелюбной и ободряющей, возможно, в ней даже крылось обещание большей близости в будущем, если им случится остаться

наедине. Но ему такое поведение казалось бесстыдным и непристойным, особенно учитывая, что они сидели в спальне мужчины, и он чувствовал, что из уважения к хозяину должен притворяться, что не замечает этих улыбок. К несчастью, до нее это никак не доходило: чем меньше внимания обращал на нее Амар, тем нахальней она продолжала приставать к нему, гримасничая, морща нос, как кролик, пускала в него дым, когда смеялась шуткам мужчины, и вообще вела себя вызывающе – чем дальше, тем больше. Однако мужчина продолжал говорить так, словно вовсе не замечал ее шуток – не притворялся, не напускал на себя безразличный вид, а попросту не замечал.

Оба они приводили Амара в замешательство, особенно мужчина. Ему не понравилось и то, что между женщиной и женщиной вдруг разгорелся долгий бурный спор, явно касающийся его, Амара: он догадался, что речь о нем, по взглядам, которые они на него бросали. Теперь Амар понимал, что не так-то легко находиться в их компании, но решил выказать максимум терпения. Это было самое малое, чем он мог отплатить за то, что ему предоставили убежище и еду в трудную минуту. Похоже, что спор как раз и шел о еде, потому что мужчина вдруг, без всякого перехода, обратился к нему:

– Ты не против поесть один в этой комнате?

Амар ответил, что несколько не против; наоборот, это прекрасная мысль. Мужчина, казалось, почувствовал облегчение, услышав такой ответ, однако женщина принялась глупо размахивать руками, давая понять, что Амар должен спуститься и поесть с ними. Глядя на нее, мужчина широко улыбался. Амару отнюдь не хотелось сопровождать их в какое-нибудь публичное место, где его могли бы заметить французы или работавшие в гостинице марокканцы.

– Это хорошая комната, тут можно поесть, – сказал он, стараясь, чтобы эти слова прозвучали приветливо. Разговор между женщиной и женщиной ненадолго оживился, затем

она раздраженно встала, подошла к двери и, прежде чем выйти, обернулась и как-то застенчиво помахала Амару. Мужчина вышел за ней в коридор, но тут же вернулся и запер дверь. На лице его появилось досадливое выражение, он поднял телефонную трубку и сказал в нее несколько слов.

Амар изучал узоры на ковре: он решил, что это самая красивая вещь в комнате.

Повесив трубку, мужчина снова сел в кресло, глубоко вздохнул и закурил. Амар поднял голову и посмотрел на него.

– Почему вы так много говорите с этой женщиной? – спросил он с робостью и одновременно любопытством. – Что проку разговаривать с женщиной? Говорить надо с людьми.

– А что, женщины не люди? – рассмеялся мужчина.

– Люди это люди, – непреклонно возразил Амар. – А женщины это женщины. Разные вещи.

Вид у мужчины был пораженный, он еще громче расхохотался. Потом лицо его стало серьезным, он выпрямился в кресле и наклонился к Амару.

– Если женщины – не люди, – медленно, с расстановкой произнес он, – как же они попадают в рай?

Амар подозрительно поглядел на него: неужто, подумал он, мужчина может быть таким невеждой? Но не заметил и тени насмешки на его лице.

– El hassil¹, – начал он, – им на небесах отведено свое место. Их не пускают внутрь – туда, где мужчины.

– Понятно. Это как в мечети, верно?

– Точно, – ответил Амар, все еще не уверенный, что мужчина над ним не подшучивает.

– Ты, должно быть, хорошо знаешь свою религию, – мечтательно произнес мужчина. – Расскажи мне еще о своей вере.

Теперь Амар убедился, что его пытаются подловить. Он коротко, неприязненно рассмеялся.

¹ Разумеется (*араб.*).

– Ничего я не знаю, – ответил он. – Я как животное.

Мужчина поднял брови.

– Вообще ничего? Но этого не может быть! Это очень хорошая вера.

Амару было неприятно это слышать. На мгновение он впился глазами в лицо своего нечестивого покровителя.

– Она единственная, – ровным голосом ответил он. Потом улыбнулся. – Но теперь мы все как животные. Взгляните только, что делается на улицах. Вы думаете, это мусульмане виноваты?

По быстрому взгляду мужчины он понял, что вызвал у него что-то вроде уважения.

– Кое в чем есть и вина мусульман, – невозмутимо сказал он, – но мне кажется, куда больше виноваты французы. Ты ведь не станешь слишком сурово судить человека за то, что он сделал с тем, кто ворвался в его дом?

Настала очередь Амара отвечать.

– Аллах все видит, – сказал он, но какой-то внутренний голос нашептывал ему, что назарею его ответ покажется пустой отговоркой. Если он хочет, чтобы искра уважения, которую ему удалось разжечь, не погасла, придется хорошенько постараться. – Французы в нашем доме как воры, вы правы, – согласился он. – Мы позвали их, чтобы они нас кое-чему научили. Мы думали, они преподадут нам урок. Но они так ничему и не научили нас – даже не сделали из нас хороших воров. Поэтому-то мы и хотим их выгнать. Но теперь они считают себя хозяевами, а нас – слугами. Что нам остается, как не сражаться? Так предназначено.

– Ты ненавидишь их? – спросил мужчина; он по-прежнему сидел, наклонившись к Амару и пристально на него смотрел. Сейчас они были один на один; если мужчина окажется шпионом, у него, по крайней мере, не будет свидетелей. Но, думая так, Амар сам понимал, что это крайность: сам он считал себя всего лишь случайным зевакой.

– Да, я ненавижу их, – бесхитростно ответил он. – И это тоже предназначено.

– То есть, ты хочешь сказать, что должен ненавидеть их? И не можешь решить сам, ненавидеть тебе их или нет?

Амар не понял, что он имеет в виду.

– Но я ненавижу их сейчас, – пояснил он. – Когда наступит день и Аллах пожелает, чтобы я перестал их ненавидеть, Он совершит перемену в моем сердце.

Мужчина чему-то задумчиво улыбался.

– Если мир таков, – сказал он, – то жить в нем должно быть просто.

– Жить никогда не просто, – непреклонно ответил Амар. – *Eg rabi mabghach*. Всевышний не терпит простоты.

Мужчина ничего не ответил. Скоро он встал, подошел к открытому окну и остановился, глядя на медину, лежавшую внизу под покровом тьмы. Когда он повернулся и снова заговорил, показалось, что в беседе не было перерыва.

– Итак, ты ненавидишь их, – пробормотал он. – А тебе не хочется убивать их?

Амар мгновенно насторожился.

– Почему вы спрашиваете меня об этом? – обиженно спросил он. – Зачем вам знать, что я думаю? Это нехорошо в такие времена.

Амар постарался, чтобы на лице его ничего не отразилось, чтобы не было видно, насколько он возмущен, но это явно не удалось, потому что мужчина снова сел в кресло и принялся долго извиняться перед ним по-арабски, делая ошибки на каждом шагу, так что Амар далеко не всегда был уверен, что понимает его речи. Лейтмотивом, однако, было то, что христианин вовсе не собирался совать нос в личную жизнь Амара, а только хотел понять, что происходит в городе. Амару подобное объяснение показалось совершенно неудовлетворительным; если это правда, то почему мужчина допытывался, что он думает?

– Что я думаю о беде, которая пришла, – произнес он наконец с оттенком горечи в голосе, – значит меньше, чем ветер. Я даже не умею читать или написать свое имя. Какой от меня прок?

Но даже это признание, давшееся ему нелегко, казалось ничуть не убедило мужчину, который, вместо того, чтобы довольствоваться им и переменить тему, определенно выглядел довольным, узнав о позоре Амара.

– Ага! – воскликнул он. – Теперь-то я понимаю! Отлично! Стало быть, тебе некого бояться.

Последнее замечание особенно встревожило Амара, так как явно означало, что мужчина собирается отправить его обратно. Назарей ничегошеньки не понял; Амар поник духом, как только увидел, какая пропасть лежит между ними. Если назарей, даже такой доброжелательный и знающий по-арабски, был неспособен уловить суть столь простого дела, то разве можно мусульманину рассчитывать на помощь остальных назареев? Но все же отчасти Амар сохранял уверенность в том, что на этого мужчину можно положиться, что он может стать настоящим другом и защитником, если только показать ему как.

Беседа продолжалась, но теперь походила на игру, участники которой, устав и утратив к ней интерес, перестали вести счет и даже не обращали внимания, у кого какие фигуры. Взаимопонимания как не бывало; взоры их, казалось, устремлены в совершенно разные стороны, они говорили каждый сам с собой, вкладывая разный смысл в одни и те же слова. К счастью, в дверь постучали, и мужчина бросился открывать. Появилась женщина, одетая на сей раз более скромно и, похоже, очень довольная собой. Она вошла, села и начала без умолку тараторить, в то время как Амару становилось все скучнее, и все сильнее мучил его голод. Когда снова постучали, он поднялся, быстро подошел к окну, перегнулся через подоконник, и стоял так, дожидаясь, пока слуга, принесший поднос, выйдет и закроет дверь. Пока он стоял,

взгляд привык к темноте, и Амар смог различить за тысячу лепившихся друг к другу домишек внизу, во мгле, мечеть, стоявшую на холме прямо за его домом. А на востоке, за размытыми силуэтами гор, в ясном небе было различимо свечение, предвещавшее появление луны.

Из комнаты доносилось звяканье стаканов, мужчина и женщина все о чем-то говорили и говорили. Амар подивился, откуда у мужчины столько терпения, чтобы без конца разговаривать с ней. В конце концов, рассуждал он, если бы Аллах пожелал, чтобы женщины вели беседы с мужчинами, он и сделал бы их мужчинами, наделив разумением и проникательностью. Но в Своей бесконечной мудрости Он создал их, чтобы они прислуживали мужчинам и повиновались им. Мужчина, позабывший об этом, позволивший настолько сбить себя с толку, чтобы по собственной воле так охотно общаться с женщиной на равных, рано или поздно горько пожалеет об этом. Ибо женщины, какими бы привлекательными они ни казались, по самой сути своей были злыми, свирепыми существами, жаждавшими одного – принизить мужчин до своего собственного ничтожества и созерцать их муки. В Фесе частенько говаривали, отчасти в шутку, что если бы марокканцы действительно были цивилизованными людьми, то изобрели бы специальные клетки, чтобы держать в них женщин. Женщины и так слишком распустились, к тому же националисты собирались предоставить им еще большую свободу: разрешить ходить одним по улицам, посещать кинематограф, сидеть в кафе и даже купаться на виду у всех. Но самое невероятное было то, что они, в конце концов, намеревались приучить их обходиться без *литхама* и появляться на людях, открыв лица, как еврейки и христианки. Конечно, такого никогда случиться не могло, ведь даже проститутки, выходя за покупками, надевали чадру, но характерным для нынешних времен было то, что некоторые националисты отваживались открыто говорить о подобных вещах.

– Fik ej jeuhog? – скоро позвал его мужчина. – Проголодался?

Амар обернулся. На подносе стояла тарелка с кусочками белого хлеба.

– Это тебе, – сказал мужчина. – Твой ужин.

Решившись не показывать свое разочарование тем, что мужчина настолько невысоко его ценит, раз предложил простой хлеб, Амар улыбнулся, подошел к столу и взял кусочек. Только тут он обнаружил, что каждый был поделен надвое, намазан маслом, и между ними лежит кусок курицы. Это отчасти послужило ему утешением. Кроме того, на подносе стояла бутылка кока-колы. Амар сделал небольшой глоток, но кола оказалась слишком холодной.

– Мы спустимся поужинать, – сказал мужчина. – Тебе хватит?

Амар ответил утвердительно. Сейчас его ужасала мысль, что кто-нибудь войдет в комнату, пока он будет один.

– Пожалуйста, закройте дверь, – попросил он.

– Запереть дверь?

– Заприте дверь, пожалуйста, и заберите ключи с собой.

Мужчина перевел его слова женщине, той просьба Амара показалась забавной. Когда она ее услышала, на лице ее появилось изумленное выражение, как будто мысль запереть кого-нибудь в комнате была совершенно неслыханной. Проходя мимо, мужчина взерошил ему волосы, сказав: «Nchoufou menbad»¹. Рот у Амара был набит хлебом, так что он энергично закивал в ответ. После того как мужчина запер дверь, Амар подошел и проверил замок, на всякий случай. Затем поставил поднос на пол, сел перед ним и с легким сердцем принялся за еду.

¹ Скоро увидимся (*араб.*).

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

Они сидели друг напротив друга за маленьким столиком в дальнем конце ярко освещенной столовой. Какие белые лица у французских официантов и какие они темные, эти марокканцы, думала Ли. Однако на этом различия не заканчивались. Французы стояли вяло, даже не перешептываясь между собой, мрачно или смущенно смотрели в пол, марокканцы же выглядели еще более застывшими, чем обычно, с окаменевшими, ничего не выражавшими лицами. Зала была словно пропитана неестественной тишиной, говорить было трудно.

Вдруг Ли рассмеялась. Стенхэм вопросительно взглянул на нее.

– Мне кажется, это действительно ужасно забавно, – сказала она, понимая, что звучит неубедительно, но другого объяснения подыскать не смогла. Она знала, что Стенхэм сейчас спросит: «Что именно?» Так он и сделал. И уж тут ей, конечно, нечего было ответить: если он сам не понимает, в чем дело, объяснять бессмысленно.

– Вы ведь так и не позвонили мистеру Моссу, – сказала Ли так, будто только сию минуту подумала об этом, хотя это пришло ей в голову еще час назад, когда они ели суп.

– Теперь нет смысла ему звонить, он уехал.

Это было так типично для Стенхэма: Ли почувствовала себя слегка задетой, сама не понимая почему.

– Да, верно! Но вы-то откуда знаете?

– Они передали мне его сообщение, когда я звонил, чтобы заказать напитки.

– Но мне вы ничего не сказали.

– Думал, вам неинтересно.

– Но почему он выбрал именно сегодняшний вечер?

– О, этот человек мог бы войти и выйти из медины, даже если бы война была в полном разгаре. Он мог бы пригласить

лидера Истиклала на чашку чая, а за обедом встретиться с французским главнокомандующим.

Ли развеселило сквозящее в словах Стенхэма осуждение.

– Вам это не очень-то по вкусу, верно? – спросила она.

– А кому по вкусу, когда на его глазах пользуются привилегиями, в которых ему самому навсегда отказано?

– Прекрасно! – рассмеялась Ли. – Советую вам быть осторожнее с вашими провокационными разговорами! А то вы прямо как я.

– В конце концов, – продолжал Стенхэм, делая вид, что не замечает ее иронии, – он ворочает миллионами, так что его мотивы – вне подозрений. А вот кто знает, до чего можем дойти мы? Вполне вероятно, мы видим туземцев в превратном свете. Возьмите хотя бы паренька наверху: он никогда не присоединится ни к одной группе, но сделает все, что ему прикажет человек с принципами. А этот человек с принципами может оказаться первым встречным, который чем-нибудь его приворожит. Вот кто опасен, а не те, кто официально состоят там-то или там-то. У тех и так все на лбу написано. Я понимаю, отчего французы бесятся. Среди туземцев они могут контролировать только лишь несколько тысяч членов партии. Остальных же девять миллионов фанатиков – попробуй раскуси.

– Есть ли какие-нибудь замечания по отчету товарища Стенхэма? – Голос Ли стал тонким и резким, она пародировала интонации типичной нью-йоркской стенографистки. – Если нет, приступаем к следующему пункту повестки дня. В отсутствие товарища Липшица...

Метко брошенная Стенхэмом салфетка угодила ей прямо в лицо. Марокканцы изумленно воззрились на эту сцену, французы пребывали в состоянии коллективной летаргии. Ли фыркнула. Судя по всему, настроение у нее было превосходное. День не обошелся без приключений, будущее было непредсказуемым и столь же будоражащим. К тому же обед

оказался лучше, чем обычно, поскольку, учитывая минимальное число посетителей, шеф-повар не стал предаваться полету гастрономических фантазий. Ко всему прочему, Ли успела слегка захмелеть, то и дело подливая себе вино, действительно замечательное и охлажденное как раз до нужной температуры. Она только что заказала еще полбутылки и собиралась пить кофе на террасе.

– Прямо не знаю, что буду делать, когда уеду из Марокко и придется отказаться от этого дивного розового алжирского, – сказала она.

– Во Франции оно тоже продается, – ответил Стенхэм.

В это мгновение в нижнем саду что-то ухнуло. Стенхэм с Ли переглянулись, эхо заметалось от стены к стене, но секунду спустя был слышен только шелест дождя. Они вскочили и бросились к окну, но внизу ничего было не разглядеть – лишь темное кружево ветвей и отблески луны на плитках дорожек.

– Зачем это они? – после такого грохота Стенхэм сам не узнал свой голос, или, быть может, так ему почудилось.

– Отель-то французский, – ответила Ли сквозь стиснутые зубы, как будто была в самой гуще перестрелки и бросила свою реплику через плечо в минуту внезапного затишья.

– Пойдемте все же, доужинаем, – коротко рассмеялся Стенхэм. Официанты ринулись на балкон и, свесившись через перила, глядели в сад; в первых рядах французы, за ними теснились марокканцы.

Конец ужина был испорчен. Словно каким-то необъяснимым образом воздух в зале сгустился и изменились даже самые ее пропорции. Исказились звуки, свет горел слишком ярко, а тени стали чернее. Механизм обслуживания тоже безнадежно разладился. По ошибке им принесли по две порции десерта, но забыли ложки. Глядя на официантов, можно было подумать, что они куда-то страшно торопятся, но при этом совершенно позабыли, где что лежит.

– Вы расстроились? – спросил Стенхэм.

– Не больше чем от любого другого неожиданного шума, – ответила Ли. – Терпеть не могу неожиданный шум. Потом все время ждешь, что он повторится.

– Да, мне это знакомо. Давайте выпьем кофе в баре? Думаю, не очень безопасно находиться на террасе в такой момент.

– Давайте закажем кофе в ваш номер. А то мы совсем позабыли про бедного мальчика.

Амар сидел посреди комнаты перед выстроенными полукругом ботинками, один из них он держал в руке и внимательно его разглядывал.

– Хорошие ботинки, – объявил он, указывая на тот, что был у него в руках. – Их надо все время хорошенько чистить. До блеска. Иначе кожа может лопнуть, и все. Safi!

– Если я не ошибаюсь, он нашел мой крем и бархотку и вычистил все ботинки, прежде чем ими полюбоваться, – сказал Стенхэм. – Вот на что у меня никогда не хватало времени, и о чем я все равно бы забыл, даже если бы и хватило.

– Спросите его, что он думает об этом шуме.

Стенхэм обратился к Амару, дождался ответа и сказал Ли:

– Он считает, что это чепуха. Говорит, что мальчишки в Касабланке делают бомбы, очень плохие, а потом швыряют их куда ни попадя. Французы называют их *des bombes de fabrication domestique*¹. Но в Фесе, говорит он, такого еще не бывало. Самое большее – драки и перестрелки.

Как раз когда Стенхэм произносил эти слова, раздался еще один громкий взрыв внизу, в медине, где-то совсем близко. Амар подбежал к окну, постоял, глядя вниз. Потом, повернувшись, сказал:

– Похоже, это рядом с банком.

– Он так спокоен, – заметила Ли. – Можно подумать, у них тут бомбы каждый день взрываются.

¹ Бомбы домашнего изготовления (*фр.*).

– Для них это все игра.

Принесли кофе, Стенхэм еще в дверях взял поднос, чтобы официант не заходил в комнату. Они сели, обсуждая случившееся, причем Стенхэм время от времени пытался окольным путем добиться от Амара новых сведений или вызнать его реакцию. Но даже Ли, лишь наблюдавшая за их беседой, было ясно, что мальчик не склонен откровенничать. Под маской почтительной вежливости таилось смущение, он неохотно отвечал на вопросы Стенхэма, Ли даже показалось, что порой они приводят его в ярость. Наконец она решила вмешаться, так как мальчик выглядел все более сбитым с толку и несчастным.

– Оставьте же наконец бедного парнишку в покое! – воскликнула она. – Кончится тем, что он решит, что мы – такие же мерзавцы, как французы. Вряд ли стоит допрашивать его с пристрастием.

Стенхэм сделал вид, что не слышит ее.

– Он будто пополам расколот, – сказал он. – В нем перед вами все Марокко. Каждую минуту он говорит нечто противоположное, не понимая, что сам себе противоречит. Он даже не может объяснить, кому симпатизирует.

– Какая чепуха, – усмехнулась Ли. – Я никогда не видела такого волевого лица. Если он не хочет говорить, значит, просто так решил.

– Причем тут воля? Он в центре событий. Сам он тут не при чем. Пойти в одну сторону, или в другую – для него без разницы.

Ли встала, подошла к окну, вернулась назад.

– Я по горло сыта подобного рода мистикой, – заявила она. – Это так скучно, и так фальшиво. Любая мелочь имеет значение, зависит ли она от вашего решения или это чистая случайность. Жизни скольких людей круто изменились из-за самых простейших вещей, от того, в каком месте они перешли улицу.

– Да, да, понимаю, – ответил Стенхэм с напускной усталостью. – Но мне это кажется не менее скучным и совсем уж фальшивым. Я всего лишь хочу сказать, что он любит мир исламских законов, потому что это его мир, и в то же время ненавидит его, потому что чутье подсказывает, что мир этот на краю пропасти. От него уже больше нечего ждать. Но и наш мир он тоже ненавидит, ненавидит в принципе, хотя в нем – его единственная надежда, единственный выход; сомневаюсь, правда, что для него лично выход вообще есть.

Ли налила себе кофе, сделала глоток и, обнаружив, что кофе остыл, поставила чашку на стол.

– Вы говорите так, будто все это только его частные дела, касается только его одного. Боже мой! Хотелось бы знать, сколько миллионов человек во всем мире находится сейчас точно в таком же положении. И всем предстоит одно и то же. Все они готовы отбросить старый образ мыслей и без малейших колебаний принять наш. Это дело решенное. Они даже не задаются вопросом, стоит это делать или нет. И они правы, правы и еще раз правы, потому что у нас все получается и они знают это.

На мгновение Стенхэм почувствовал, что гнев душит его настолько, говорить трудно, и он не отвечает за свои слова.

– Мой милый маленький друг, – наконец произнес он, и голос его прозвучал зловеще и хрипло, – наихудшее, что я могу вам пожелать, это по-прежнему оставаться здесь, когда нагрянет тот ужас, которого вы так ждете.

– Я буду здесь, – хладнокровно ответила Ли, – потому что ждать осталось недолго.

Как скверно, подумал Стенхэм, что она так тверда в своих оценках; прежде, когда Ли не высказывала их, было гораздо проще. Кроме того, печальная правда в том, что оба они были неправы. И мусульманину, и индусту, и кому угодно еще дальнейшее развитие не поможет, но не станет и лучше, если все останется по-прежнему, хотя вряд ли такое

вообще возможно. Не имеет ровно никакого значения, кому они будут поклоняться – Аллаху или карбюратору – в любом случае их игра проиграна. В конце концов, его больше занимают собственные пристрастия. Он предпочитал сохранять существующее положение дел, потому что сопутствующие декорации отвечали его вкусам.

Остаток вечера они почти не говорили. Когда Ли настало время уходить к себе, возник вопрос, где будет спать Амар. Ли хотела позвонить портье и договориться, чтобы Амару предоставили одну из комнат прислуги или просто поставили кровать где-нибудь в углу, но, когда Стенхэм изложил Амару этот план, тот неистово взмолился, чтобы ему позволили остаться тут и лечь на ковре.

– Единственное, – пожалала плечами Ли, – что я не в коем случае не хочу вас беспокоить. Я привезла его сюда, а теперь это оборачивается сплошными неудобствами для вас. Боюсь, он помешает вам работать.

– Это пустяки, – оборвал ее Стенхэм, он все еще никак не мог успокоиться. Когда она ушла и Стенхэм услышал, как щелкнул замок в ее дверях, он отвел мальчика вниз, в уборную и остался ждать в большой темной танцевальной зале, чтобы проводить наверх.

Спрятавшись где-то в циновках, сверчок выводил свою жизнерадостную песнь. Повторяющиеся серебристые ноты напоминали звон крохотного колокольчика во мраке. Грузная луна повисла высоко в небе, ее свет проникал в комнату сквозь дрожащую сеть теней, сплетенную кронами тополей в саду. Стенхэм стоял, прислушиваясь и приглядываясь, гадая, придется ли ему еще когда-нибудь увидеть эту залу в лунном свете, какой он видел ее ночь за ночью столько лет, поднимаясь к себе в башню. Вот и конец лунным ночам, подумал он, услышав шум воды из уборной и звук открываемой двери. «M'sieu! M'sieu!» – проникновенным театральным шепотом позвал его мальчик. «О Боже, я не вынесу, если он будет

меня так называть», – подумал Стенхэм, довольный, что удалось ухватиться за постороннюю мысль и отвлечься от печальных размышлений.

– Ш-ш-ш! – он провел мальчика наверх, втолкнул в номер и запер дверь.

Мальчик моментально схватил подушку кресла и бросил на ковер посередине комнаты. Затем стянул лежавшее в ногах кровати покрывало и, завернувшись в него, лег.

– 'Lah imsih bekhir'¹, – почтительно пожелал он Стенхэму, прошептал несколько слов молитвы и затих.

Стенхэм еще с полчаса почитал, потом выключил ночник. Он был не в духе, недовольный тем, как сложился вечер. Мальчик все больше и больше влиял на происходящее; не будь его, Стенхэму было бы легче подступиться к Ли, несмотря на ее холодность и прямолинейность в кафе. Теперь ему даже казалось, что он понимает, отчего она требовала привести мальчика в гостиницу: возможно, решила, что он станет удобной помехой для возможной близости между ними. Пару раз за ночь Стенхэм просыпался и видел закутанную фигуру, лежавшую на полу в лунном свете.

Когда он вновь открыл глаза, солнце уже светило вовсю, и мальчик стоял у окна, глядя наружу. Больше всего Стенхэму не хотелось, чтобы его заставили разговаривать, прежде чем он выпьет кофе. Стараясь двигаться как можно неслышнее, он нащупал за подушкой кнопку звонка, нажал и притворился спящим. Уловка сработала так удачно, что он чуть было вновь не уснул до того, как раздался стук в дверь. Едва открыв глаза, он тут же сообразил, что мальчик попался в ловушку: любой посетитель его непременно заметит. Выскочив из постели, Стенхэм распахнул большую зеркальную дверцу шкафа и указал мальчику, чтобы тот спрятался за ней. В дверь снова постучали, на этот раз намного громче.

Толстяк-француз стоял на пороге с подносом для завтрака.

¹ Спокойной ночи (*араб.*).

– Я возьму, – небрежно произнес Стенхэм. Только когда поднос оказался у него в руках, он почувствовал, что может разговаривать спокойно. – Где же все арабы? – спросил он; ни разу до сих пор никто, кроме Раиссы и Абдельмджида, не приносил ему завтрак.

– Tous les indigènes sont en tôle¹, – ухмыльнулся француз. – Управляющий запер их всех по комнатам и спрятал ключи в сейф. Так мы будем хотя бы в безопасности от этих. Вы, наверное, слышали: готовится что-то серьезное, – продолжал он другим тоном.

– Слышал, – ответил Стенхэм.

– Как же вы решили остаться?

– А вы?

Здоровяк пожал плечами.

– C'est mon gagne-pain, quoi!²

– А, вот видите! – воскликнул Стенхэм. – И я потому же.

Мужчина кивнул так, что стало понятно, что он не верит. Стенхэм закрыл дверь, и мальчик тут же высунулся из-за своего укрытия, глаза его горели от возбуждения. Вероятно, воображение все еще рисовало ему сцены полицейских пыток.

– Sbalkheir.

– Sbalkheir, m'sieu.

Стенхэм смешал кофе с горячим молоком, положил сахар и поставил кружку на пол возле кровати, рядом с которой стоял мальчик. Этот жест, вкупе с сознанием, во сколько франков он обошелся, заставили его улыбнуться нелепости того, что приходится делить с неотесанным юнцом, имени которого даже не знал, свою комнату и завтрак. В принципе отделаться от него ничего не стоит, но, с другой стороны, моральная цена такого шага могла оказаться огромной – по крайней мере, так ему казалось. И каждый проведенный вместе с мальчиком час лишь увеличивает это бремя.

1 Все туземцы сидят взаперти (*фр.*).

2 Но речь о моем заработке! (*фр.*)

Неожиданно он спросил у мальчика, как его зовут.

– Да, конечно, теперь припоминаю, – он сделал еще глоток кофе и запихнул в рот остатки тоста. – А что бы ты стал делать, Амар, если бы я тебя выставил?

Мальчик пронзительно посмотрел на него. Взгляд у него был, точно у дикого зверя, и в тоже время человеческий, неотразимый и невероятно чувственный.

– Судьба моя в руках Аллаха. Если мне придется уйти, то по Его воле.

– Так, значит, не боишься?

– Нет, боюсь. И еще мне бы очень хотелось увидеть мать и отца.

Стенхэму показалось, что мальчик хотел что-то добавить, но передумал.

В дверь снова постучали, и тут же в номер вошел здоровяк официант.

– Ah, pardon! – воскликнул он, изумленно глядя на Амара. – Я решил, что месье уже позавтракал.

– Повторите заказ, пожалуйста. Я что-то проголодался. К тому же пришлось поделиться завтраком.

Некоторая развязность сейчас была совсем не лишней.

Официант улыбнулся.

– Une petite causerie matinale?¹

По-прежнему улыбаясь, он вышел.

Скорее всего, отправится к хозяину, чтобы доложить о присутствии врага в цитадели, подумал Стенхэм, но ничего не сказал. Через несколько минут официант вернулся, неся еще один поднос, который он поставил между Амаром и Стенхэмом.

– Et voilà! – Он отступил на шаг, помахивая салфеткой. – Votre serviteur discret!² – Розовое лицо сияло улыбкой, он стоял еще немного, любясь на них, и вышел.

1 С утра тянет поболтать? (*фр.*)

2 Прошу! Ваш скромный слуга! (*фр.*).

– Еще кофе? – Стенхэм наклонил носик кофейника над чашкой. Но Амара вновь охватили печаль и тревога. У Стенхэма ушло целых полчаса на то, чтобы убедить его, что официант почти наверняка ничего не сообщит полиции.

Солнце за окном медленно взбиралось ввысь, нависая над городом. День был безоблачный и такой ясный, что каждая складка, каждый овраг на склонах далеких холмов были видны отчетливо, как на гравюре. Десять тысяч раскинувшихся внизу плоских крыш поглощали жар, чтобы затем вернуть его обратно в воздух, где ему предстояло постепенно обрести упругую плотность, сохраняющуюся еще долго после наступления сумерек.

Было около девяти, когда в городе начались беспорядки. Стенхэм стоял перед умывальником, брился и в зеркало увидел, как мальчик бесшумно подкрался к окну. Поначалу это были только крики, раздававшиеся из одной части города, прямо под гостиницей, потом – из дальнего квартала, к западу. Но скоро донесся нервный, отрывистый говор перестрелки, возникшей в разных районах города практически одновременно. Стенхэм никак не прореагировал и продолжал бриться, пытаясь представить, какие мысли сейчас мелькают голове мальчика, глядящего в окно. То прерываясь, то возобновляясь вновь, перестрелка продолжалась все утро. Время от времени Стенхэм пытался отвлечь мальчика разговорами, но тот отвечал односложно.

Упакованные чемоданы по-прежнему стояли у двери. «Так уезжаю я или остаюсь?» Казалось, есть один ответ: сейчас уж точно не уезжает. Еще вчера он был готов уехать немедленно, но появление Ли заставило его остаться, хотя из-за этого пришлось пожертвовать работой. В какой-то момент он сбился с пути, это было ясно теперь, когда он не мог просто взять и уехать и на второй день все еще был здесь. Хотя сегодня утром чувство, что он действительно находится здесь, исчезло: с тем же успехом он мог быть где угодно. Комната была уже не

той, что прежде, да и гостиница перестала быть местом, которое служило ему домом долгие годы. Все это напоминало один из тех снов, когда спящий предчувствует, что в любой момент ему может присниться что-то ужасное. Разумеется, и речи не могло быть о том, чтобы садиться за работу, одна мысль об этом казалась смехотворной. Просто сидеть и читать тоже вряд ли удастся. Оставалось лишь ждать, пока драма наскучит, но и это могло не выйти, так как он не принимал в ней никакого участия – по крайней мере, такого, которое могло бы его увлечь.

Но у мальчика в этой драме нашлась роль; он был здесь, прильнул к окну, тербил занавеску, глядел сквозь жаркое марево на город, где родился, слушал, как убивают его сородичей, одному лишь Богу поверяя свои переживания. Безвыходно втянутый в конфликт, он все равно ничего не сможет сделать, чтобы хоть на йоту ощутимо изменить что-то в происходящем, а, быть может, и в себе самом.

Будь у меня сильный характер, размышлял Стенхэм, я бы дал мальчику денег и отправил его – пусть ищет удачи на улице, как большинство его соотечественников. Потом позвонил бы Моссу – узнать, собирается ли тот отбыть, позвонил бы Ли и, наконец, уехал, с ними или один. В отличие от прочих возможных решений это имело хоть какой-то смысл. Теперь он гадал, почему ему всегда казалось, что зрелище разрушаемого города даст ему еще что-то, кроме ощущения безмерной тоски. Быть может (он так и не смог вспомнить), он представлял, что возможность что-то совершить, помочь кому-то представится сама собой. Но кому? Противники, стрелявшие друг в друга, были одинаково ненавистны ему, он искренне желал, чтобы с каждой стороны погибло как можно больше народу.

Около одиннадцати раздался телефонный звонок: Мосс звонил из своего номера.

– Джон, мне ужасно жаль, что вчера так вышло. Возникло срочное дело, которое требовало моего присутствия.

Нельзя было отложить. Вы видите, тут слишком быстро все происходит. Пожалуй, пора что-то делать.

– И что ж тут сделаешь? – в голосе Стенхэма слышалась, скорее, насмешка, чем интерес.

– Мы не могли бы встретиться ненадолго?

– Прекрасно. Я и сам хотел предложить.

Через четверть часа Мосс был уже в комнате Стенхэма. Увидев Амара, он спросил: «Кто это?» – так, будто обнаружил мальчика в собственном номере.

– О, это долгая история. Сейчас все объясню. Садитесь.

Мосс уселся в большое кресло, сложил руки на груди и возвел глаза к потолку.

– Все это так угнетает, – сказал он.

Стенхэм с подозрением взглянул на него.

– По-моему, вы очень довольны собой, – сказал он. – Сдается мне, вчера вы слегка приумножили свой капитал.

Мосс изобразил удивление, затем смутная улыбка мелькнула на его лице.

– Кое-что заработал. Да. Не так много, как я рассчитывал, правда. Получил бы вдвое больше, если б подождал, хотя с тем же успехом мог бы и вообще не найти покупателя. У меня такое впечатление, что пора искать более тихую гавань. Это я и хотел с вами обсудить. Не организовать ли нам совместный исход? Мы могли бы нанять днем машину и смыться.

– Куда? – спросил Стенхэм, моментально насторожившись, как только услышал «мы могли бы». Если уж речь зашла о таком способе передвижения, то он вовсе не собирался делить с Моссом расходы.

– Да куда угодно. Я было подумал о Рабате: у меня там друзья. («А может, еще и какой-нибудь гараж на продажу», – добавил про себя Стенхэм), но можно поехать и в Мекнес или Уэззан, если хотите. Нутром чувствую, что не стоит оставаться в Фесе до завтра. Наступает Аид, и может случиться все что угодно. Уверен, что вы согласитесь: есть ли смысл нарываться на неприятности, если можно их избежать?

– Мадам Вейрон вернулась. Вы знаете?
– Нет! Вот это сюрприз! Но за каким чертом?
– Думаю, все дело в ее любознательности.
– Ах вот как: ваши подозрения о ее участии в заговоре оказались несостоятельными?

Стенхэм нахмурился.

– Да, полагаю, она невиновна.

А про себя подумал: где в подобных случаях проходит черта между виной и невиновностью?

– Рад слышать, что вы наконец-то со мной согласились, – покровительственно произнес Мосс.

– Но дело еще и в Амаре.

Он указал в сторону окна.

– Ага. Но кто он? И что здесь делает?

Когда Стенхэм завершил свой рассказ о встрече и приключениях с Амаром, Мосс воскликнул:

– Но послушайте! Что за чушь! Я ничего не понял из того, то вы тут наговорили. Разумеется, крайне похвально и романтично приютить бездомное дитя, но, не сомневаюсь, что вы не собираетесь держать его слишком долго.

– Да нет же, нет! – крикнул Стенхэм. – Конечно, нет! Я сам не знаю, что собираюсь делать. У меня вообще нет никаких планов. Мне просто хотелось выиграть немного времени, чтобы собраться с мыслями, вот и все!

– Времени! Сами понимаете, его у нас немного. Предлагаю вам немедленно обратить восточную алчность себе на пользу, вручить молодому человеку пятитысячную банкноту и отпустить. Поразительно, как иной раз выручают деньги.

– Да, я уже думал об этом, – рассеянно ответил Стенхэм. – Не знаю.

– Ну и ну, Джон! Глядя на вас, можно только поражаться непостижимости души человеческой.

Похоже, он снова хочет приняться за старые игры, подумал Стенхэм. Но у меня, увы, нет сил. Он ничего не ответил.

Мосс помолчал. То и дело сквозь сумятицу винтовочных выстрелов и пулеметных очередей пробивался тяжелый грохот гранаты.

– Не знаю, как насчет найденышей и американок, – подвел черту Мосс, – но я собираюсь уже завтра утром быть далеко от Феса. Говорю это абсолютно серьезно, Джон. Хватит фантазировать.

– Вы думаете – завтра дурной день, а потом будет лучше?

– Мне кажется, завтра наступит кульминация. Не забудьте, праздник будет сорван. Затем страсти понемногу улягутся. Бесконечно кипеть не может.

Не отвечая, Стенхэм отвернулся и заговорил с Амаром.

– О, этот проклятый мертвый язык, который никак не хочет умирать! – простонал Мосс, возводя глаза к потолку. – Чтобы пожелать доброго утра, нужно использовать восемьдесят три слова, каждое из которых на слух ужаснее предыдущего. Прекратите ваши выкрутасы, Джон и будьте так добры – обращайтесь ко мне.

На время он притих с выражением притворного смирения и глубокой жалости к самому себе.

– Решение найдено, – тут же обернулся к нему Стенхэм. – Амар поможет нам добраться в Сиди Бу-Хта.

– Крайне любезно с его стороны. Если мы туда хотим. Но, может быть, вы прежде сообразовали сказать мне, что это такое и почему мы должны направиться именно туда, а в какое-то знакомое место?

– Это далеко в горах, там останавливаются паломники. Одно большое преимущество: там нет французов. Так что ни им, ни нам ничто не угрожает. А они действительно собираются отмечать праздник. Мне бы хотелось взглянуть.

– А как насчет гостиницы? – спросил Мосс.

– Кров нам предоставят. Будем спать на циновках.

Мосс встал и разразился длинной тирадой, явно составленной заранее. Ее композиция, отточенность фраз и мастерство оратора были непревзойденными.

– Я восхищен, – сказал Стенхэм, – когда Мосс закончил. – Вы по-прежнему en forme¹. Если я правильно понял, вы не собираетесь присоединиться к нам.

Мосс зевнул, потянулся и сказал своим обычным голосом:

– Боюсь, что нет, Джон. Это затея не по мне. Вы хорошо меня знаете, так что нет нужды объяснять. Что вы собираетесь делать? Пробудете там пару дней, а потом вернетесь?

Стенхэм устало ответил, что и сам не знает, ведь эта мысль только что пришла ему в голову; как все получится – будет зависеть от мальчика, а состоится ли вылазка вообще – решать, наверное, мадам Вейрон.

– Не знаю, что из этого получится, но, думаю, вы правы: оставаться здесь до завтра не стоит, – заключил он.

– Что ж, Джон, похоже наши пути на время расходятся.

– Это ужасно, – сказал Стенхэм, для которого любое прощание всегда слегка отдавало мыслью о смертном ложе. – И так внезапно.

– Мне будет недоставать наших прогулок. По медине, я хочу сказать. Но отнюдь не прогулок в полемических лабиринтах.

Стенхэм слабо улыбнулся.

– Куда думаете направиться дальше?

– Пожалуй, навещу друзей в Синтре. Там очаровательно. Думаю, вам бы не понравилось. Меня можно будет найти через британское консульство в Лиссабоне. Дня на три-четыре задержусь в Марокко по делам и – прочь отсюда. По крайней мере, надеюсь. Все эти треволения пагубны для моей живописи. А вы, как вы можете сосредоточиться на работе в этом разворошенном муравейнике?

Стенхэм прислушивался к тому, что говорит Мосс, и смысл его слов доходил до него, но какая-то часть его мозга злонамеренно отвлекала его внимание. «Марокко, Мосс, мотор, мох, мышцы». Иногда сознание выкидывает такие штуки, зациклившись на какой-то букве алфавита, но это бывает только в

¹ В форме (*фр.*).

моменты стресса. Значит, наступил стрессовый момент. Это словно была его последняя связь с нормальным миром. «Мокси», – продолжало крутиться в голове. «Мойлан». («Нет, это не пройдет, это уже мои выдумки». «Впрочем, есть же такое на самом деле, рядом с театром «Хэджроу», на окраине Филадельфии. Возражение не принимается».) *Mozo*¹. («Это моя игра. Я диктую правила. Иностранные слова допускаются».) *Mozo* – это определенно мальчик у окна. Но, слава Богу, алфавит не бесконечен. Слава Богу, этого человека зовут Мосс, а не Моав. Он взглянул на Мосса и подумал, какой болезненный у него вид, какие необычайно длинные ресницы; ничего этого он раньше не замечал. Может быть, потому что очки с толстыми стеклами были подняты сейчас к самой переносице и касались ресниц, но вряд ли.

– Или вас манит мысль остаться здесь и увидеть все собственными глазами?

– Нет, вовсе нет, – просто ответил Стенхэм.

Мосс нетерпеливо закинул ногу на ногу. Потом вздохнул.

– Ах, Джон, все это слишком сложно и загадочно. Обычно человек делает то, что доставляет ему удовольствие, ничего тут больше не скажешь.

– Вы правы.

Это был совершенно неверный вывод из всех тех моментов взаимопонимания, которые возникали у них за долгие года знакомства, но так уж устроен мир.

– Вы совершенно правы, – повторил Стенхэм с большим воодушевлением.

Они обменялись еще несколькими фразами, пожали друг другу руки, и Мосс удалился.

¹ Мальчик (*исп.*).

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

Вернувшись к себе, Полли Берроуз облачилась в свежую чесучовую пижаму, забралась в постель со своей портативной машинкой и взялась за письма. Ее корреспонденция носила исключительно здоровый и полнокровный характер; почти каждый день она отправляла в разные концы света с десяток посланий – коротких и исключительно длинных, – с ураганной скоростью и наслаждением отстукивая их на машинке. Часто случалось, что она не знала, что думает по тому или иному поводу, пока не излагала свои рассуждения на бумаге; во фразах, спонтанно рождающихся под кончиками ее бегающих по клавиатуре пальцев, мысли кристаллизовались, обретали ясность. Она была не из тех, кого интересуют глубины, ибо прекрасно понимала, что существует слишком много более или менее равноценных точек зрения, исходя из которых можно рассматривать самую простую истину; она же стремилась к тому, чтобы навести порядок в собственных мнениях и реакциях на происходящее вокруг, и обладала всеобъемлющей формулой, которая в значительной степени облегчала ей достижение поставленной цели. Постоянно держа в уме черты, звук голоса и характер очередного корреспондента, она старалась напрямую обращаться к нему, и только к нему. У нее не было своего, особого набора выразительных средств, своего, узнаваемого стиля. Однако письма ее стяжали славу свежих и оригинальных, ими безмерно восхищались (и тщательно хранили) почти все ее адресаты; планомерное производство корреспонденции превратилось для нее в один из основных *raison d'être*¹. «Замечательно? Не понимаю, о чем вы. Поверьте, я не пишу их, они пишутся сами собой. Это просто состояние ума, которым нужно проникнуться».

¹ Смысл жизни (*фр.*).

Полли во всех отношениях была дитя своего времени. Не упуская из виду его недостатков и опасностей, которыми оно чревато, она, тем не менее, по ее собственным словам, сумела «приспособиться» и была твердо уверена, что без сознательной гармонии с обществом, в котором человек обретается, невозможно достичь ничего значительного.

Она была не до конца искренна с Кензи, сказав, что «кое-что слышала» о Стенхэме. На самом деле она прочитала все его книги и была в некотором роде его поклонницей. Ей нравился его стиль, казавшийся ей порождением необычайно развитого и находящегося под здоровым контролем интеллекта, а, стало быть, ума конструктивного, мятежно-го. Особенно ей нравилось, как он писал о любви: любовные пассажи были проникнуты духом воинственной независимости и беспристрастия, граничившего с хладнокровием хирурга, и в то же время были лишены пустословия, в котором ей всегда мерещилась безвольная покорность человека своей судьбе. Эти отрывки были прямой противоположностью тому, что обычно принято считать «романтизмом», однако она полагала, что это-то и есть настоящий романтизм, и доходила даже до того, что называла эти места «истинной поэзией». Она решила поехать в Марокко, зная, что он там. Причиной поездки были Марракеш и политическая ситуация в Атласских горах, народные празднества, некоторые из которых должны были как раз прийтись на время ее пребывания в стране, и Фес, и Стенхэм, и Сахара, и еще масса всего непредвиденного. Потому что Полли Берроуз обладала задатками хорошего журналиста. Она верила, что, если у человека острый глаз и широкий взгляд на вещи, ему достаточно всего лишь вовремя оказаться на месте событий, чтобы докопаться до истины. Если кто-нибудь заводил с ней спор о живописи и фотографии, она всегда становилась на сторону последней, утверждая, что фотография ближе к реальной жизни, поскольку объективна. Для нее существовал либо

ухоженный сад фактов, либо дремучие дебри фантазий, а поскольку путанные, цветистые речи Стенхэма вызвали к ее воображению, она решила отнести их к разновидности фактов – пусть символических, но все же фактов.

«...наконец-то встретила с вашим любимым автором, – писала она несколько недель назад, в тот самый день, когда они обедали в Зитуне, – или Джон Стенхэм уже не ходит у вас в любимчиках? Припоминаю, что вы как-то признавались, что без ума от него, это было, когда мы сидели на террасе в Бревурте лет пять тому назад. Я слегка разочарована, он совсем не такой, как я ожидала. Наверное, это моя вина, потому что он настоящий писатель, а лучшие из настоящих писателей всегда целиком в своих книгах. Была еще парочка типичных английских слюнтяев. Конечно, они тоже помогали создавать фон – как аисты, как официанты в арабских костюмах, но, слава Богу, не лезли в разговор».

Другой своей подруге она писала тем же вечером: «Вы, наверное, знаете, что Джон Стенхэм живет здесь, в Фесе. Сегодня мы долго катались вместе на коляске. Советую никогда не встречаться с писателями, чьими книгами вы восхищаетесь. Это только все испортит, совершенно все. Я навоображала себе нечто совершенно противоположное: человека более решительного и, уж конечно, не такого неврастеника, более понимающего и не столь напыщенного. Я прямо обескуражена. Думаю, намерения у него самые благие, но он такой неуклюжий, вздорный и занудный одновременно, что с ним просто невозможно общаться. Но самый неловкий момент настал, когда стемнело и он решил, что я жду от него определенных знаков внимания. Жалкое было зрелище. Он знает эту страну вдоль и поперек, говорит по-арабски, *mais à quoi bon?*¹ Не могу удержаться от этой мысли, глядя на то, с каким безразличием относится он к борьбе

¹ Но что толку? (*фр.*)

за независимость. А здесь это едва ли не все решает. Это носится в воздухе как предчувствие чего-то великого и героического, возможно даже трагического, но чрезвычайно волнующего...»

План работы на вечер был для нее ясен: известить как можно больше домоседов о событиях дня. «...Я вернулась в Фес вчера вечером, и, пока меня не было, ситуация быстро подошла к развязке...» «...В городе отключено электричество, практически он на осадном положении...» «Сегодня произошло настоящее избиение демонстрации у одних ворот. Никто не знает, сколько сотен человек погибло...» «...Итак, я очутилась прямо на поле боя. Об этом нигде не напишут, а если и напишут, то это будет поверхностное и бледное изложение событий, так как все новости проходят строгую французскую цензуру. (По правде говоря, вы вообще можете ничего об этом никогда не узнать, но я делаю все, что в моих силах)».

Только в четвертом письме из написанных в тот вечер, которое было адресовано парижской подруге и которое, как она полагала, в силу этого не подвергнется такому варварскому обращению со стороны французских властей, как письма, отправляемые в Америку, она позволила себе значительно отклониться от основной темы, чтобы поговорить о Стенхэме. «...Единственный человек, который мог бы при желании дельно и подробно рассказать мне, что, собственно говоря, происходит, это Джон Стенхэм, но, похоже, силы небесные противятся этому. Если бы ему случилось оказаться на середине железнодорожных путей, а навстречу ему из-за поворота на всех парах мчался экспресс, он наверняка принялся бы размышлять, на какую рельсу лучше встать, когда поезд будет проезжать мимо. У него примерно такой же склад ума, как у д-ра Хэлси, только еще более беспомощный и податливый. В то же время это самый реакционно настроенный и предубежденный человек из тех, с кем мне доводилось

встречаться – словом, типичный во всем разуверившийся либерал. (Наверное, следует добавить, что мы с ним частенько спорим, чтобы ты не подумала, что у нас такие уж плохие отношения, как может показаться.) Для меня по-прежнему загадка – как рождаются на свет книги. Совершенно невозможно представить, чтобы их мог породить такой вялый и эгоистичный ум. Будь у меня шанс прожить еще одну жизнь, я прочла бы их все заново из чистого любопытства, просто чтобы попытаться связать их с этим человеком и понять, что же когда-то заставляло меня видеть в них какую-то жизнь, потому что в нем ее точно уж нет...»

Перечитав отрывок, она почувствовала, что несколько сгустила краски, потому что на самом деле не питала к Стенхэму такой сильной неприязни, как могло показаться из ее слов, и тут же добавила: «В то же время в этом человеке есть нечто от святого, но так, как если бы у него был только ум святого, а не душа, и он сам вполне понимал, что никогда не добьется большего. Прямо скажем, не позавидуешь. Но самое ужасное – только это между нами, – это что он совершенно явно увлечен *мною*, однако, как мне кажется, интерес это достаточно праздный. *Rien à faire*¹. Впрочем, скоро, если только выберусь отсюда целой и невредимой, вернусь на рю Сен-Дидье, позвоню по 53-28 и все тебе расскажу...»

Покончив с письмами, она поставила машинку на столик рядом с кроватью, выключила свет и через пять минут, проведенных в темноте, ощущая исходящий от дерева запах плесени, вслушиваясь в напряженную тишину вокруг, которую нарушал только шорох ветра в листьях, – уснула. В жизни ее вообще словно не было пауз и промежутков. Проснувшись, она сразу же бралась за дела, а закончив их, засыпала. Редко когда она отводила в своем распорядке время для размышлений: все неопределенное, не разрешимое

¹ Что поделаешь! (*фр.*)

тотчас же, на месте, внушало ей беспокойство. А поскольку внутренние проблемы не беспокоили ее, спала она крепко; так повелось издавна.

На следующее утро она уже с девяти начала ждать звонка Стенхэма. Вскоре после того город взбудоражился, и она подумала, что вряд ли Стенхэм спит или работает при таком грохоте. Но прошло уже немало времени, телефон по-прежнему молчал, и, почувствовав, что ею пренебрегают, она разозлилась, хотя и пыталась уверить себя, что имеет все основания быть довольной: наконец-то ее оставили в покое. Шум в медине усилился – правда, совсем чуть-чуть, но ее охватила безотчетная нервная дрожь и, схватив машинку, она яростно отстукала: «Не могу выйти. Снаружи слишком сильный шум». Помедлила и добавила: «Впечатление такое, что толпа движется вверх по холму к гостинице». Решив, что это звучит чересчур мелодраматично (все-таки шум не становился ближе, а разве что громче и слышнее), она решила закончить так: «Слишком спешу. С любовью», – и поставила под напечатанным свою роспись.

Ей пришлось довольно долго стоять у конторки портье, ожидая, пока появится кто-нибудь, кто мог бы продать марки. Звуки беспорядков почти не долетали сюда из-за высокой стены, ограждавшей сад; в соседней комнате радио приглушенно наигрывало мелодии венгерских цыган.

Наконец появился сам управляющий гостиницей.

– Bon jour, madame, – церемонно произнес он. Затем, резко сменив тон, продолжал: – Я как раз хотел спросить вас, готовитесь ли вы покинуть Фес? Мы получили приказ закрыть гостиницу.

Ли была поражена.

– Так вы закрываетесь? Когда? Ничего не понимаю. Само собой я ни к чему не готовилась.

В голосе ее слышались возмущение и досада, несмотря на все усилия держать себя в руках.

– Ah, mais il faut faire des démarches¹, – заявил управляющий, так, словно она сказала ему, что давно обо всем знала, но не побеспокоилась вовремя принять меры.

– Какие еще шаги?! – крикнула она. – Вы не можете меня выставить, пока я не подыщу себе нового места.

Брови управляющего полезли вверх.

– Вас никто не выставляет, мадам, – он необычайно отчетливо выговаривал каждое слово. – Ход событий нам неподвластен.

Она оглядела его безукоризненный костюм, надменное лицо и поняла, что ненавидит его.

– И куда же вы предлагаете мне идти? – Требовательно спросила она, заранее зная, что у него на все готов ответ и что она попалась.

– В этом смысле я вряд ли смогу хоть чем-то помочь вам, мадам. Но если вас интересует мое личное мнение, то я посоветовал бы вам в любом случае как можно скорее уехать из Марокко. Подобные беспорядки могут случиться в любом городе. Я могу заказать вам машину на три часа, как раз после обеда.

– Mais c'est inouï, – слабо запротестовала она, – это просто неслыханно – отправлять женщину вот так, одну...

– Полиция обеспечит вашу безопасность, – устало произнес управляющий. – Вас будут сопровождать.

Полли решила выиграть время.

– А как насчет месье Стенхэма? – спросила она. – Когда он уезжает?

– Минутку. Я еще не известил его об официальном решении.

И пока Полли ждала, барабанила пальцами по конторке, управляющий снял трубку, набрал номер месье Стенхэма и погребальным тоном сообщил, что ему тоже следует готовиться к немедленному отъезду.

¹ Но надо же предпринимать какие-то шаги (*фр.*).

Очевидно, услышав такую новость, месье Стенхэм высказал не больше энтузиазма, чем Полли; ей был слышен приглушенный ропот, доносившийся из трубки. На лице управляющего появилась страдальческая гримаса.

– Дайте-ка, я с ним поговорю, – сказала Полли, протягивая руку.

– Доброе утро! – прокричала она, взглянув на настенные часы, показывавшие без десяти двенадцать. – Ну разве это не фантастика?!

– Похоже на то, – голос Стенхэма напоминал первые записи на фонографе.

Этот краткий ответ разочаровал ее, она почувствовала, что ее предали.

– Не могли бы вы спуститься, я хочу с вами все обсудить.

– Сейчас приду.

Сурово поприветствовав управляющего, Стенхэм взял Ли под руку и через террасу провел ее во двор, где высились банановые пальмы. Солнце точно кислотой обжигало обнаженные руки, и Ли попыталась укрыться в тени. Стенхэм рассказал о своем плане – на время перебраться в Сиди Бу-Хта. Ли слушала внимательно, ее не покидало чувство, что это бредовая затея, но встречных предложений у нее не было.

– Понимаю, – вставляла она время от времени. – О!

– Ну, а потом? – наконец спросила она. – Куда мы поедем, когда праздник закончится?

– Вернемся сюда, и каждый поедет, куда ему вздумается. Я собираюсь в испанскую зону.

– А почему не поехать в испанскую зону прямо сегодня и не покончить со всем этим?

– Потому что мне хотелось бы посмотреть на их праздник.

– Но это нелепо, – нервно ответила Ли. – Гораздо важнее выбраться отсюда, пока это возможно.

– Не вижу смысла об этом спорить, – вздохнул Стенхэм, понимая, что ссора уже близка. – Но как бы там ни было я

поеду на местном автобусе. Сомневаюсь, чтобы он показался вам вполне комфортабельным.

– Вы ничего обо мне не знаете, – заявила Ли, попавшись на удочку. – Но дело вовсе не в том, поедете вы на автобусе или на муле.

В результате завязался долгий спор, после которого оба чувствовали себя возбужденными и расстроенными.

– Пойдемте, присядем, – предложил наконец Стенхэм.

– Мне нужно еще поговорить с управляющим насчет машины. К тому же я не сложила вещи. Может, увидимся за обедом.

Идя по залитой палящим солнцем террасе, она негодовала на себя за то, что позволила на минуту дать волю чувствам. Она дала Стенхэму повод думать, что ей важно, поедет он с ней или нет. А говоря начистоту, ей это было важно, и даже очень. Она надеялась, что в подобных критических обстоятельствах любой американец сделает все возможное, чтобы обеспечить ей хотя бы относительную безопасность. И любой другой американец действительно сделал бы все возможное. Каждый шаг по блистающему мозаичному полу террасы был новой нотой в долгом яростном крещендо, так что подходя к конторе, Ли была уже вне себя от гнева. «Селялюбивое, эгоцентричное, тщеславное чудовище», – думала она, невидящим взором скользя по плакату туристического агентства, на котором был изображен полуголый бербер, вздымавший огромную черную кобру к кобальтовому небу, по которому мчался четырехмоторный самолет. **МАРОККО – СТРАНА КОНТРАСТОВ**, сообщала надпись внизу. Заказав машину на три часа, она поднялась к себе и стала укладываться. За последние полчаса жара стала невероятной. Дышать вообще невозможно: воздух был таким горячим, что, казалось, вообще не попадал не то что в легкие, но даже в ноздри. Ли сделала глубокий отчаянный вдох, и у нее закружилась голова. Предметы, к которым она прикасалась, на ощупь казались теплее, чем ее ладонь, это было пугающе и

странно. «Разве бывает такая жара?» – думала она. К половине второго она закончила укладываться и позвонила вниз вызвать носильщика.

– Сожалею, мадам, но носильщиков нет, – ответил управляющий.

– Я не понимаю, что вы хотите сказать! – пронзительно крикнула Ли. – Какая чушь! Должен же кто-то отнести мои вещи вниз.

Шум в городе не смолкал; почти на час она позабыла о нем, но город по-прежнему гудел.

– Сожалею.

– А как насчет обеда? Его тоже некому будет подавать?

– Метрдотель приготовит вам омлет и *assiette anglaise*¹, мадам.

– Почему кто-нибудь из официантов не возьмет мой багаж?

Управляющий, похоже, начал терять терпение.

– Официант не может, мадам, потому что вся прислуга из местных заперта в своих спальнях, а европейцы в Марокко носильщиками не работают. *Vous avez compris?*² Администрация гостиницы глубоко сожалеет, что не может предоставить вам требуемые удобства, но, как я вам уже говорил, обстоятельства от нас не зависят. Попросите месье Стенхэма помочь вам отнести чемоданы в такси.

Он повесил трубку.

Ли села на кровать и стала глядеть на голые, блестящие на солнце склоны холмов. Очаг вселенской ненависти разгорался в ней все сильнее и сильнее, ненависти ко всему и вся: к дурацким тополям в саду, листья которых колыхались, хотя в воздухе не было ни ветерка, к омерзительному масляному тенорку управляющего, к своему мятому льняному платью, насквозь вымокшему под мышками, к трудноуловимому

1 Английские закуски (*фр.*).

2 Вы понимаете? (*фр.*)

геометрическому узору, с таким тщанием выведенному на балках потолка, к своим покрашенным ногтям, к хлопкам смертоносных выстрелов за окном, но, прежде всего, к собственной слабости и беспечности, из-за которых она влипла в такую историю. Потом она решила свалить всю вину на жару. «Здесь просто задохнуться можно», – подумала она. Наконец, сделала глубокий вдох и встала. Сама вынесла сумки в коридор. Но тут же поняла, что не сможет протащить их через всю гостиницу до такси. Может быть, когда оно приедет и она объяснит шоферу, в какую попала переделку, он согласится ей помочь. Однако длительное общение с французами научило ее, что они, если им вздумается, могут начисто позабыть о своем хваленном рыцарстве, так что решила не возлагать на шофера особых надежд. «А уж этого сукина сына я точно не попрошу», – твердила она про себя, как будто это могло послужить утешением, но при этом не сводила глаз с двери Стенхэма.

Вдруг она вспомнила об Амаре. Если ей удастся добратся до него так, чтобы не заметил Стенхэм, мальчик наверняка ей поможет. Правда, может быть, Стенхэм уже прогнал его, за все время разговора они о нем ни разу не упомянули. Тогда она решила, не откладывая, спуститься к обеду; возможно, удастся уйти из ресторана до того, как Стенхэм закончит есть. Она остановилась у его двери, прислушалась, но ничего не услышала. В холле, без окон, было очень тихо, все словно застыло. Вся гостиница тоже притихла. Потом из-за двери донесся невнятный разговор. Ли молча прошла дальше и стала спускаться.

Омлет подали почти холодный, *assiette anglaise* состояли из двух тонюсеньких ломтиков ветчины, куска холодной печенки и жесткого-прежесткого ростбифа – по всей видимости, из конины. Когда Ли уже заканчивала есть, в ресторан вошел Стенхэм, увидел ее и подошел к ее столику.

– Присаживайтесь, – сказала она таким тоном, словно изо всех сил старается не нагрубить.

Стенхэм сел напротив.

– Хуже этой еды ничего не бывает, – сказала она.

Стенхэм с отсутствующим видом смотрел поверх ее головы в небо за окном и, казалось, не слышал ее слов. Однако потом переспросил:

– Правда?

Подошел метрдотель.

– Бутылку пива, – громко сказала Ли. – «Туборг».

А, когда метрдотель отошел, поинтересовалась:

– Как там наш сиротка? Он еще у вас или ушел?

Стенхэм посмотрел на нее, словно удивленный, что она вообще знает о существовании мальчика.

– Отчего же? Нет, он там, наверху. Обедает.

Пока Ли пила пиво, завязался пустячный разговор, не затрагивавший тему, которая, напоминая о себе каждым выстрелом, целиком поглощала их. Касаться ее было нельзя, поскольку Ли надеялась на победу Истиклала, а Стенхэм – наоборот.

– Я заказала такси на три часа. Вы говорили, что собираетесь вернуться после праздника. Но, простите, как? Я не понимаю.

– Вернуться в Фес, французский город, вот что я имел в виду.

– Понятно.

Ли сложила салфетку и встала.

– Надеюсь, вы меня извините. Мне нужно еще кое-что доделать.

Поднимаясь по лестнице, она думала, зачем вообще нужно было прибегать к такой изощренной маскировке, чтобы попросить мальчика донести ее багаж. Можно было просто пойти и сказать ему: «Помоги мне». И плевать ей на Стенхэма. Но тогда скорей всего Стенхэм сам навязался бы в помощники, что было не совсем желательно, поскольку ей не хотелось разрушать сложившийся у нее образ законченного эгоиста.

К сожалению, она не учла, что Стенхэм не отличался большим аппетитом. Еда показалась ему настолько скверной, что он решил не притрагиваться к ней, поднялся наверх и возник в дверях в тот самый момент, когда Ли пыталась объяснить Амару, что ей от него нужно.

– Что-то случилось?

Ли отскочила, перепуганная, надеясь, что вид у нее все же не слишком виноватый, и повернулась к Стенхэму.

– Ровным счетом ничего, – ответила она, покраснев от досады. Решительно, несносный тип, вздумавший ее преследовать. – Просто пытаюсь договориться, чтобы мне помогли с багажом. В гостинице нет ни одного носильщика. Я подумала, может, Амар согласится.

– Да мы за пару минут управимся. Где вещи? – Выглянув в коридор, Стенхэм увидел сумки и крикнул: – *Amar! Agi! Agi ts'awouni*. После чего направился к номеру Ли.

– Идите, доешьте ваш обед, – холодно сказала Ли. – Он и без вас прекрасно справится.

Мальчик побежал вслед за ней.

– Какой еще обед? – рассмеялся Стенхэм, не оборачиваясь.

В этот момент Ли услышала, как кто-то поднимается по лестнице и шагнула вперед, чтобы ее не увидели в комнате Стенхэма. Это был все тот же толстяк-официант, который принес ей завтрак.

– *Pardon, madam*, – улыбаясь, он протиснулся мимо нее в комнату. Возвращаясь с пустым подносом Амара, он заметил: – Какая жара, не правда ли?

– *Affreux*¹, – согласилась Ли.

– О да, – философски изрек официант. – *La chaleur complique la vie*².

1 Ужасная (*фр.*).

2 Жара осложняет жизнь (*фр.*).

Ли уставилась на него, инстинктивно понимая, что официант сказал дерзость, каким-то неведомым образом оскорбил ее. Как раз это больше всего раздражало ее во французах: желая показаться изысканными и проницательными, они совершенно не заботились, поймут их или нет. Достаточно было сладострастного удовольствия, которое они получали, роняя на ходу свои короткие загадочные фразы, воображая, что они неизмеримо выше вас, потому что им удалось поставить вас на место. Несомненно, жара, как сказал официант, осложняет жизнь человека, ее жизнь сегодня утром она изрядно осложнила, – но почему он обратился с таким замечанием именно к ней и именно в данный момент?

Пока она раздумывала о нанесенном ей оскорблении, багаж уже успели вынести. Стенхэм зашел к ней, Амар остался сторожить сумки у заднего входа.

– Гостиница совершенно пустая, – сообщил он. – Я немного беспокоился, что кто-нибудь может заметить мальчика и станет задавать всякие вопросы, но все словно вымерли, ни одной живой души.

Зазвонил телефон.

– Oui? – сказала Ли.

И снова в трубке послышался страдальческий голос управляющего:

– Власти просили сообщить нашим гостям (Слушая его, Ли подумала: «Ну, что еще, что еще стряслось?»), что машинам разрешено движение только по магистрали Мекнес-Рабат-Касабланка, где им предоставят соответствующую защиту.

– Что? – воскликнула Ли. – А если человек хочет уехать из страны?

– Теперь это невозможно, мадам.

– Но вы же сами сегодня утром советовали мне уехать.

– Да, но граница временно закрыта, мадам.

– Но куда я поеду? Где найду другую гостиницу?

– «Трансатлантик» в Мекнесе сегодня закрыт. «Балима» и «Тур-Хасан» в Рабате, конечно, переполнены. Но, однако, насколько мне известно, в Касе много гостиниц.

– Да, но там тоже не бывает мест, если не забронировать номер заранее.

– Может быть, мадам использует свои связи в американском консульстве. В противном случае я посоветовал бы остаться здесь, в Фесе, в Виль Нувель.

Ли сорвалась на крик:

– Mais ça c'est le comble!¹

– Несомненно, мадам, ситуация не из приятных. Я лишь известил вас о распоряжениях, которые отдала полиция. Ваш счет готов. Вы не зайдете в контору оплатить его?

– Да, это в моих привычках, – ответила Ли и в ярости швырнула трубку. Потом обернулась к Стенхэму: – Это уж чересчур.

И она пересказала ему все услышанное от управляющего. Стенхэм задумался. (Не будь здесь меня, решила Ли, он тоже дал бы волю возмущению.) В голове Стенхэма проносились один за другим различные варианты дальнейших действий.

– Граница закрыта. Это скверно, – медленно произнес он. – Но, возможно, ее откроют снова через пару дней. Явно это сделано для того, чтобы лишить националистов возможности уехать. Они будут прочесывать город за городом, улицу за улицей, дом за домом. Это называется *râtissage*².

Ли подошла к окну.

– Надеюсь, арабы устроят сущий ад, так что им больше не придет в голову сюда соваться.

Повернувшись, она снова подошла к Стенхэму.

– Если бы только я знала язык, можете не сомневаться, я бы никуда не уехала и до конца помогала им сражаться за независимость. Ничто не может доставить мне большего удо-

1 Ну, это уж слишком! (*фр.*)

2 Облава, «зачистка» (*фр.*).

вольствия. Но куда, интересно, мне деваться теперь? – Продолжала она без всякого перехода. – Где ночевать? На улице?

– Вам не остается ничего другого, кроме как поехать в Виль Нувель здесь же, в Фесе. Там есть гостиницы.

– Вот этого-то я как раз и не сделаю. В конце концов, если уж оставаться здесь – надо находиться там, где арабы.

Стенхэм хотел было сказать ей, чтобы она перестала релячиться, но передумал.

– Тогда поезжайте со мной, – сказал он, улыбаясь и пожимая плечами. – Я как раз собираюсь туда, где будут арабы.

– Ладно, черт возьми, согласна! – воскликнула Ли. – Но смотрите, если мне там не понравится...

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

Как только они тронулись в путь, Ли заметно повеселела. Возможно, потому, что, едва выехав из города, автобус стал подниматься по петляющей дороге на южный склон Джебель Залагха, и воздух с каждой минутой становился прохладнее. А возможно, она просто расчувствовалась: таким непривычным казался этот автобус с незастекленными окнами, возбужденный говор горцев в живописных одеяниях и облегчение, которое она почувствовала, оттого что ни полицейские, ни солдаты не задержали их, когда нелепая древняя колыхага отправлялась с грязной улочки на окраине Виль Нувель.

Такси понадобилось только для того, чтобы отвезти багаж Ли в мрачноватую маленькую гостиницу, где они сняли безнадежно убогую комнатку, свалили вещи и заперли их там. Хозяйка, угрюмая на вид, но не лишенная приятности женщина, потребовала их паспорта и, внимательно изучив, настояла на том, чтобы Стенхэм внес плату за три дня.

Почти все пассажиры были крестьяне-горцы с юга, оказавшиеся в Фесе исключительно потому, что через него проходила дорога и здесь они делали пересадку. Красивые люди, опрятные, улыбочивые, и Ли смутно подумала – неужто они ничего не слышали о беспорядках в Фесе. Она могла спросить Стенхэма, если бы он сидел поближе, но, хоть они и устроились на одном сиденье, между ними вклинились три женщины, так что Стенхэм оказался на левом краю, а Ли – на правом, у открытого проема окна.

Загадочный Амар прихватил с собой своего друга или, вернее, врага – Ли могла бы в этом поклясться, судя по тому, как они встретились на тротуаре у автобуса. Она оказалась рядом, и не сомневалась, что заметила гримасу недовольства, если не ненависти, на лице Амара, когда он обернулся взглянуть, кто же это хлопнул его по плечу. Но почему тогда он тут же бросился искать Стенхэма и спрашивать у него

разрешения пригласить незнакомца поехать вместе с ними? Этого Ли не знала, но присутствие молодого человека не раздражало ее: он был хорошо воспитан, вежлив, куда опрятнее Амара (чья одежда была в ужасающем состоянии) и бегло говорил по-французски. Мальчики пристроились рядом на краешке сиденья в задней части автобуса; когда Ли в последний раз обернулась взглянуть на них, они о чем-то мило беседовали.

Свет клонящегося к вечеру дня озарял округу. Марокканские горные дороги редко проходят там, где живут люди; деревни могут ползти по склонам дальних холмов, стоять, протянувшись, как встопорщенный гребень, на вершинах скал, или привольно раскинуться между извилистыми отрогами невысоких гор, но между ними и дорогой всегда пролегает долина. Несмотря на жару, воздух был пропитан резким ароматом горных трав, а его исключительная сухость, после вездесущих испарений многоводного Феса, бодрила. Всякий раз, когда автобус оказывался среди деревьев, со всех сторон доносился иступленный звон цикад. Поворот, насыпь розовой глины, скрип пружинящих рессор, непрерывное урчание разгоряченного мотора, серо-зеленый кактус в головокружительной высоте, снова поворот, растянувшиеся на тысячи миль гранитные пики гор на лазурной эмали неба, череда выхлопов, сопровождающих смену передачи, изменения звука и скорости, сонные всхлипы ребенка где-то сзади, еще один поворот, круто уходящий вниз овраг и сумерки, зримо поднимающиеся с самого его дна. А вот на одном из склонов, охваченная тихим закатным огнем – роща древних олив: могучие перекрученные стволы словно застыли в позах позабытого церемониального танца. Она вспомнила, что говорил ей перед отъездом Стенхэм: они будут проезжать через края, где и по сей день жив культ Пана и до сих пор соблюдаются посвященные ему обряды с флейтами, барабанами и масками. Тогда она не знала,

верить или нет, в тот момент это прозвучало как отрывок из неправдоподобной научной статьи. Но теперь, когда она видела все собственными глазами, это казалось совершенно реальным. Дикая нетронутая земля предрасполагала к таким сумасбродствам.

Пожалуй, больше всего ее поражала чистоплотность этих людей. Чистыми казались не только они сами и их одежда (в автобусе пахло, как в прачечной, где на солнце сушится белье), не меньшую роль играло здесь и выражение их лиц, окружающая их аура общности; они наводили ее на мысли о незамутненных горных потоках, о краях, не тронутых цивилизацией. Она решила не обсуждать свои впечатления со Стенхэмом, поскольку он наверняка не удержится от критических замечаний, которые независимо от их справедливости могут только взбесить ее.

Вчера днем в кафе, к примеру, он сказал: «По сравнению с душой, интеллект – просто сводня». Ей вовсе не хотелось вдаваться в это туманное высказывание, но Стенхэм, конечно же, на этом не остановился и пояснил, что интеллект постоянно соблазняет душу знанием, тогда как единственное, в чем душа нуждается, это собственная мудрость. Чтобы не испортить поездку, решила Ли, необходимо отказаться от каких бы то ни было дискуссий с этим человеком и даже не делиться с ним впечатлениями о виденном, кроме разве что какого-нибудь восклицания – разумеется, уместного. Она понимала, что ей вряд ли удастся осуществить свой план с достаточной непринужденностью, но, если она будет настойчивой, вполне вероятно, что Стенхэм поймет и поддержит ее игру.

Автобус остановился у источника набрать воды. Неожиданная неподвижность и тишина, нарушаемая только лишь тихим шепотом (так как большинство пассажиров уже давно спали), вызвали у Ли легкий приступ дурноты, ей захотелось, чтобы автобус поскорее тронулся снова. Кто-то из пассажиров хотел выйти, но водитель, по-прежнему сидевший

за рулем, пока его помощник наполнял радиатор, сказал, что выходить нельзя. Стенхэм наклонился к Ли, перегнувшись через три неуклюжих белых куля, и сказал:

– Насколько здесь легче и лучше, верно?

– Здесь дивно! – согласилась она, пораженная необычной страстностью своего голоса. От высоты в ушах у нее звенело, слегка кружилась голова. Но когда дверца захлопнулась, а успокаивающие звуки и движение возобновились, она поняла, почему ей вдруг стало так легко. Дело не только в чистом воздухе, который становился все свежее, важнее было то, что удалось избавиться от зловещей атмосферы ожидания и дурных предчувствий, которая окружала ее последние два дня. Два эти дня казались бесконечными. Город постоянно лез ей на глаза, и она подолгу стояла у окна, разглядывая его бесконечные крыши; порой же он вдруг становился невидимым, как притаившаяся в зарослях змея, поджидающая свою жертву. На мгновение Ли подумала, что уже никогда больше не захочет увидеть Фес. Однако было важно утаить это от Стенхэма: стоит ему догадаться о ее чувствах, и он наверняка постарается извлечь выгоду для себя и будет без конца поддразнивать ее тем, что она не способна вынести явные проявления социального сдвига, который так защищала. «Ага! – торжествующе воскликнет он, – теперь-то вы начинаете понимать, каково это – разрушить веру». А ей останется только дуться и выдумывать брюзгливые отговорки, вместо того чтобы просто сказать ему, что, даже если бы каждый признак этого движения от старого к новому был ей ненавистен, она все равно от всего сердца желала бы, чтобы оно произошло, так как несло жизнь, а без этой метаморфозы страну ожидают упадок и гибель. Так что ей следовало быть осторожной, и если все же не удастся скрыть от наблюдательного Стенхэма здоровый блеск, появившийся у нее в глазах, придется сказать, что влажность в Фесе была невыносимой, и как только они уехали, ее синусит прошел.

Ее стала одолевать дремота – этот предвестник небытия, потом она незаметно соскользнула в неизмеримые глубины сна. Наступала ночь, все окрасилось синим, и чистое небо было светло. Автобус свернул на проселочную дорогу и медленно продвигался по самому краю пропасти. Только водитель и его помощник ведали, какое мастерство требуется, чтобы держать дрожащий старый остов в равновесии между канавой с одной стороны и – в нескольких дюймах от бездны – с другой. Далеко впереди, внизу Стенхэм заметил свет фар огибающего поворот автобуса и подумал: «Да, непрос-то будет, когда мы встретимся, кому-то придется отступить». Но другая машина все не появлялась, и он понял, что она движется впереди – еще один автобус, полный паломников.

Закончив спуск, они пересекли бурный поток и покати-ли по равнине уже в другом направлении. Здесь было теп-лее, и автобус поднимал облака пыли, часть которой проби-валась сквозь доски пола, так что пассажиры наперебой принялись чихать. Затем дорога снова пошла в гору, причем такая тряская, что некоторые из спящих, с головой закутан-ные в свои накидки, скатились с сидений. Ли проснулась и, чтобы не упасть, ухватилась за спинку впереди. Стенхэм пой-мал ее взгляд и ухмыльнулся. Ли покачала головой, но вид у нее по-прежнему был довольный. Десятка два человек, ехав-ших на крыше, начали отчаянно барабанить по ней. Снача-ла Стенхэм подумал, что кто-то, наверное, свалился, но ско-ро послышалось пение, а стук превратился в ритмичный аккомпанемент. Этот сумасшедший подъем, когда автобус то подкидывало, то бросало из стороны в сторону, продолжался около часа. Затем впереди показалось нечто вроде города, сияющего розовыми огоньками. И почти тут же автобус оста-новился. Город представлял собой несколько тысяч похожих на шатры укрытий, сооруженных из одеял и покрывал, растя-нутых между стволами широкой оливковой рощи на склонах двух холмов, и повсюду мерцали огни, отбрасывая во все

стороны тени. По крайней мере, такое зрелище открывалось сидящим в автобусе. В суматохе (так как каждый из пассажиров вез с собой бесчисленные мешки с едой и кухонной утварью, а отбившиеся от родителей маленькие дети и курицы расхаживали среди поклажи) они позабыли осмотреться, и только час спустя, когда все четверо выбрались из ложины, где стояли в ряд автобусы и грузовики, уселись на бревно и стали смотреть, как восходит луна, Стенхэм заметил, что место, где они оказались, выглядит очень необычно.

– Замечательно, – тихо ответила Ли, надеясь, что Стенхэм продолжать не будет. Похоже, он понял ее, так как тут же завел разговор с юношами, предоставив Ли ее собственным мыслям и чувствам. Конечно, это было замечательно: тени, огни, и люди, сотни людей, кружащихся в огромных хороводах, и оркестры из одних барабанов, грохотавшие равномерно, точно гигантские моторы. Но это было замечательно только как спектакль, ибо смысла его Ли не понимала. И об этом надо было помнить, так она чувствовала, что все здесь таит трудноуловимую, но вполне реальную угрозу. Происходящее ничего не означало и не могло ничего означать для Полли Берроуз. Ибо ей пришлось бы перенестись далеко назад, очень далеко, неизвестно на сколько тысячелетий, чтобы это зрелище обрело для нее истинный смысл. Если ее хоть в какой-то степени можно было назвать религиозной, то религия эта состояла в том, чтобы хранить верность своим убеждениям, а одним из главных убеждений в ее жизни была уверенность в том, что ничто не должно двигаться вспять. Все живое находится в процессе развития – понятие, в которое она вкладывала один-единственный, вполне определенный смысл: поступательное движение, бесконечное следование от смутного и неразличимого к точному, от простого к сложному, в конечном счете – от тьмы к свету. То, что она видела сейчас – грандиозный спектакль и участвовавшие в нем человеческие существа, все еще неразвитые и бессознательные, обливающиеся

потом, притопывающие и взвизгивающие, корчащиеся в пыли, извивающиеся, задыхающиеся, – все это, безусловно, принадлежало царству тьмы, а следовательно, она была полностью чужда происходящему, а происходящее чуждо ей. Нельзя медлить, нет времени медитировать. Все разворачивалось прямо перед ней частицей первобытной ночи, но Ли только наблюдала, ясно сознавая, кто она такая, внимательно следя за тем, чтобы оставаться такой, какая она есть, решившись не допускать до себя ничего, что могло бы пусть на миг заставить ее перестать соответствовать себе.

Время шло, и она заметила, что Стенхэм нервничает, однако ей и в голову не приходило, что он мог проголодаться, пока он не встал и не заявил, что пойдет посмотреть, какой едой здесь торгуют.

– Что бы вы хотели? – спросил он у Ли. Та ответила, что не голодна. – Я чего-нибудь принесу. Nimchiou?¹ – обратился он к Амару, который тут же вскочил на ноги.

Оставшись наедине со вторым юношей. Ли спросила, как его зовут.

– Мохаммед, – ответил тот, польщенный ее вопросом, а больше всего тем, что она обратилась к нему на «вы».

– Вы давно знакомы с Амаром?

– Oui, – уклончиво ответил он, будто эта тема не могла представлять никакого интереса.

Они помолчали. Потом Мохаммед спросил, куда ушел ее муж; Ли рассмеялась и моментально почувствовала волну неодобрения, исходящую от Мохаммеда. Наклонившись к нему, Ли посмотрела в суровое залитое лунным светом лицо юноши; она посерьезнела, но тут же совершила еще более непростительную ошибку, сказав, что Стенхэм – всего лишь ее друг.

– Очень старый друг, – поторопилась добавить она, надеясь, что это спасет ее от большего позора.

¹ Идем? (араб.)

Но в глазах Мохаммеда это явно не было смягчающим обстоятельством, он проворчал что-то в ответ, а затем негодуя выпалил:

– Вам не надо было приезжать сюда с ним, если он не ваш муж. А где ваш муж?

– Он умер, – ответила Ли, не вполне уверенная, как мусульмане относятся к разводу.

Мохаммед пожелал услышать, как давно он умер. Ли ничего не оставалось, кроме как начать безудержно фантазировать. Он погиб на войне, сказала она, оставив ее с тремя детьми. (По крайней мере, в том, что мусульмане считают, что у женщины должно быть как можно больше детей, она была уверена.) Этот ответ также не удовлетворил молодого человека, он совершенно очевидно думал, что ей следовало бы остаться с детьми, а не таскаться за посторонним мужчиной.

– Дело в том, что это святое место, – в его голосе одновременно прозвучали упрек и предостережение.

– Ah, oui, je sais¹, – слабо согласилась Ли.

Пляски под барабанную дробь продолжались; это должно было длиться по меньшей мере сутки без перерыва, объяснил ей Стенхэм. Периодически пение в одном из хороводов прерывалось, сменяясь ритмичными дикими выкриками, исторгнутыми сотнями глоток с синхронностью, придававшей звуку исключительную цельность. Ли сидела, прислушиваясь к бессмысленному шуму – с таким чувством можно глядеть в бассейн, полный крокодилов, – и благодарила судьбу за то, что она сидит здесь, а не пошла со Стенхэмом к лоткам, вокруг которых кишела толпа. Ей казалось, что с того времени, как он ушел, прошло не меньше часа, и она не понимала, как можно так долго отсутствовать, чтобы купить какую-то мелочь. В шатре, ближайшем к тому месту, где она сидела рядом с молчащим Мохаммедом, ярко полыхал огонь,

Да, я знаю (*фр.*).

из-за кольшущихся стен долетал женский смех, а чуть выше на склоне холма перебирала ногами стреноженная лошадь. Едкий дым от горевших в бесчисленных кострах веток туи лениво вился, поднимаясь к небу, порой обращаясь в плоскую пелену, скрывавшую склон холма, стоило налететь порыву ночного ветерка. Затем дымное облако относило поверх дальних огней в безлюдную тьму, где оно рассеивалось, и снова над кострами начинали виться пряди дыма. Чалмы, ослики, ветка оливы рисовались с предельной отчетливостью в ярком лунном свете. (Окажись у Ли газета, она легко могла бы читать – даже самый мелкий шрифт.) Свет луны был резким; казалось, он обратил все элементы пейзажа в единое вещество, придав ему не синий, не черный, не зеленый, не белый, а какой-то небывалый цвет, тысячи оттенков которого впитали в себя понемногу от каждого. Но этот лившийся с небес резкий свет, наоборот, смягчал все земное, и даже пламя костров казалось краснее, жарче обычного.

Ли вздрогнула: из тьмы рядом с нею неожиданно выступил Стенхэм. Миг спустя рядом с ним появился Амар.

– Что-нибудь принесли? – спросила Ли.

– Принес. Баранину на вертеле. Шиш-кебаб, две дюжины. Амар скупил чуть не все. Простите, что так задержались. Давка была страшная.

Сели есть: марокканцы устроились на одном конце бревна, американцы – на другом. От мяса исходил какой-то особый запах, пахло не пряностями, а травами.

– Воду пить нельзя, – сказал Стенхэм, – так что нам придется спуститься и выпить чая в каком-нибудь кафе.

Ли удивило, что здесь есть кафе, но отвечать с набитым ртом не могла.

– Кажется, я теперь по праву должна быть вашей женой, – прожевав, ответила она со смехом. – Мохаммед считает, что одинокой женщине здесь быть неприлично.

– Верно, – согласился Стенхэм. – И даже очень. Если вы не принадлежите кому-то одному, значит, вы потенциально можете принадлежать всем. Вам не следовало ему это говорить.

– Думаю, это вряд ли бы помогло. Амар наверняка знает, что мы неженаты.

– Амар – совсем другое дело.

Ли взяла еще один шашлык.

– Я чувствую это, но не вполне понимаю, в чем разница.

– Во всем, – рассеянно ответил Стенхэм.

– А скажите, – не унималась Ли, в голосе ее опять появились веселые нотки, – я уверена, что у вас где-нибудь в этом мире все-таки есть жена, разве нет?

– Да, у меня есть жена, – Стенхэм коротко рассмеялся. – Но где она в этом мире, я вам сказать не могу. Последний раз, говорят, ее видели в Бразилии. Но это было давно.

– Если бы я была вашей женой и услышала, что вы говорите обо мне в таком пренебрежительном тоне, я бы вас, наверное, убила. Разумеется, если бы я ею была и если бы вы так говорили. Двойное условие.

– Моя дорогая Ли, – произнес Стенхэм с напускной учтивостью, – эти два условия взаимоисключающи. Но что до моей настоящей жены – я едва было не произнес ее имя вслух, и уж тогда Сиди Бу-Хта развеялся бы как дым, – то ей чертовски хорошо известно, как я говорю о ней, и я слышал, что она отзывается обо мне и того хуже. Старая любовь не скоро проходит, скажу я вам.

– Даже не знаю, кому из вас симпатизировать. А как она выглядит? Вряд ли, конечно, ее портрет будет...

Стенхэм оборвал ее – как ей показалось, довольно грубо, сказав:

– Осталось еще две порции. Хотите одну? Мальчишки съели на двоих целых шестнадцать. Я подсчитал.

– Нет, спасибо. Я наелась.

– Тогда с вашего позволения я съем обе. Сегодняшний обед я пропустил. А потом спустимся, выпьем чаю и посмотрим на праздник. Великолепное зрелище.

– Хорошо, – ответила Ли, вставая. Она решила впредь быть сговорчивей; даже если это окажется ужасно трудно, все равно лучше, чем на каждом шагу наткаться на выговоры и возражения. Она хотела привезти с собой в Париж как можно больше памятных трофеев и знала себя достаточно хорошо, чтобы понимать, что ее упрямство, если она даст ему волю, помешает ей воспринимать происходящее.

Они спустились вниз, спотыкаясь о камни и задевая кусты, не видные в тени олив, задержались на минутку у ближайшего круга зрителей, а потом пробрались вперед, на место, откуда было хорошо видно танцующих. В танце участвовало более сотни мужчин в белых джеллабах и чалмах – они пели хриплыми голосами, мерно склоняясь и разгибаясь. Двигутся, как лошади, подумала Ли. Иногда они били ногами о землю, точно породистые скакуны, с горячностью и благородством, потом вновь обращались в рабочих лошадок, с усилием влекущих невидимый груз, склоняясь то в одну, то в другую сторону.

– Как странно, – сказала Ли Стенхэму: никогда прежде она не наблюдала и даже представить себе не могла ничего подобного. Она не видела его лица, но он подтолкнул ее вперед, поставив между Амаром и Мохаммедом, а сам встал за ее спиной. Эта опека раздражала ее: она чувствовала себя собственностью, которую берегут от воров, и, что еще хуже, подозревала, что цель этого, пусть даже и бессознательного маневра, – повлиять на ее реакцию, установить над ней нечто вроде месмерического контроля. К тому же прямо перед ней стоял высоченный мужчина. Она двинулась вперед, мужчина вежливо отступил, пропустив ее в передние ряды, обращенные к кругу танцующих. Теперь она наконец заметила, что это на самом деле не круг, а эллипс; на одном конце

замкнутого пространства пылал большой костер, пламя которого достигало человеческого роста, а на другом расположился кружок из десятка людей, сидевших на земле и бивших в барабаны. «Прямо настоящее шоу», – удовлетворенно подумала она и начала приглядываться к рисунку танца. Время от времени она оглядывалась, чтобы удостовериться, что Стенхэм и мальчишки на месте. Амар помахал ей рукой, лицо его сияло от удовольствия.

Прошло немного времени, и она заметила, что у нее внутри творится нечто абсурдное. Это было немножко похоже на то, как если бы она жила, опережая время. Это началось, подумала Ли, когда она сидела с Мохаммедом. Раздумывая над этим, она решила, что, быть может, происходит это потому, что она впервые в жизни ощутила себя такой ненужной, нежеланной. Она снова увидела себя в Фесе, в ужасной гостинице «Амбассад», где они со Стенхэмом разбирали чемоданы, потом одну в такси, которое везло ее на вокзал (если, конечно, поезда еще ходят, подумала она с кривой усмешкой). Потом она ехала в поезде, с новым номером «Тайм» и экземпляром парижской «Геральд» на коленях; плыла на пароме из Альхесираса, глядя, как бугристые громады африканских гор медленно тают вдали; ела креветки, сидя под тентом в припортовом кафе, и шнырявшие между столиками мальчишки-газетчики на бегу слегка задевали ее; сидела со Стюартами в ресторане «Хорчер» в Мадриде, храня в памяти, как сокровище, впечатления от марокканской поездки, сокровище, кажущееся еще более драгоценным оттого, что его держат в тайне, лишь время от времени позволяя себе поделиться пикантной подробностью, намекающей собеседнику, какие россыпи за ней кроются. «Мне так много нужно вам рассказать, что просто не знаю, с чего начать. Такая путаница в мыслях». «Не глупите, Полли. Я никогда не встречал человека с более ясным умом и таким даром делиться впечатлениями».

Несмолкающая дробь барабанов была неприятным напоминанием о существовании другого мира, совершенно самостоятельного, со своими нуждами, со своим образом жизни. Барабаны говорили ей снова и снова о том, что ее не то что не существует, а скорее, что совершенно не важно, существует она или нет, что ее присутствие или отсутствие никоим образом не может повлиять на вселенский миропорядок. Это ощущение внезапно сковало ее страхом. Перед ней никогда не вставал вопрос о собственной «важности», это как бы само собой разумелось, потому хотя бы, что она была важна сама для себя. Но какой части себя была она важна?

Она достала сигарету и торопливо прикурила. Несколько необоснованно она решила, что уже видела все, что стоит смотреть на этом празднике. Если один человек впадал в транс и в припадке начинал бить себя в грудь и рвать на голове волосы, как это сейчас происходило у нее на глазах, это было то же самое, как если бы это сделали двадцать человек, по очереди или все вместе. Ничего нового не будет, а гипнозу Ли поддаваться не хотела. Если бы все участники одного из кругов скачущих людей впали в одержимость, вырвали бы свои души и свалили их в кучу посередине (именно это они сейчас и делали, Ли это понимала), так чтобы души эти образовали единое корчащееся месиво и никто не мог быть уверен, что отыщет свою, когда все закончится – мало того: никому и дела бы до этого не было, – тогда она тоже это видела, и не было никакой необходимости идти глядеть на другую группу, творящую то же самое разве что под слегка отличный ритм барабанов, к которому присоединялись звуки гобоя и редкие ружейные выстрелы. Но Стенхэм поддавался этим чарам – она была уверена, – да и наверняка никогда не пытался противиться. Он с энтузиазмом позволял идее происходящего перенести его в чертоги, атмосфера которых была слишком разреженной, чтобы хранить рациональное начало, и где, соответственно, царил вселенская путаница, все смешивалось со всем в

состоянии ложного воодушевления, ложного, поскольку человек сам его провоцировал. Именно поэтому Ли так настойчиво противилась увиденному: ей не хотелось ложных эмоций.

Яркое пламя костра жаром дышало ей в лицо, складки белых одеяний то подпрыгивающих, то припадающих к земле людей улавливали его красноватые отблески, тьма давила на нее слева и справа. Нет, это не тьма, ведь тьма безрука и бездыханна.

– Мистер Стенхэм! – позвала Ли, оборачиваясь и глядя на бородатые лица, туго повязанные чалмы, горящие черные глаза, на губы, растянутые (ничего человеческого не было в этой оскаленной застывшей обезьяньей улыбке) и обнажающие ряд белых зубов («дикие звери»); они тянули шеи, чтобы заглянуть через головы стоявших впереди, и паника начала просачиваться в нее отовсюду. – Мистер Стенхэм! – Теперь она стояла спиной к огню, и глаза ее блуждали по рядам замороженных лиц, отчаянно стараясь высмотреть бледное пятно. – Чушь, – сказала она вслух, ужаснувшись тому, как легко может поддаться панике. Это просто невысказанно, слишком хорошо она знает себя. Но колени у нее бессильно подгибались, как бумажные. Она оглянулась и снова выкрикнула имя Стенхэма в лицо многоголосому реву, – это было все равно, что швырнуть камушек в несущийся на всех парах локомотив. И тут на мгновение она увидела его: он мелькнул между двух кувыркающихся фигур. Стало быть, он перешел на противоположный конец круга. Ярость жаркой волной прихлынула к ее щекам и лбу. Но теперь она хотя бы знала, где он, и, повернувшись, стала проталкиваться сквозь толпу, пока не удалось вырваться на свободное место. После ослепительного блеска костров ничего не было видно, и она шла, слепо натываясь на удивленных прохожих, пока глаза наконец не привыкли.

«Что ж, малоприятное приключение», – подумала она, стараясь уверить себя, что все позади. Наконец, она протиснулась туда, где, как ей казалось, стоял Стенхэм, но пришлось

еще долго вглядываться, прежде чем она снова его обнаружила. Тогда она решила держаться поближе к нему и постараться взять себя в руки. Чтобы добиться этого, она снова попробовала погрузиться в поток фантазии, в котором еще совсем недавно было так привольно, но увы, – строгий, в коричневых тонах интерьер «Хорчера» выглядел мертвым и холодным. С таким же успехом она могла пытаться вызвать в памяти висячие сады Семирамиды. Ходьба несколько успокоила ее, и, не рискуя утратить последние крохи самообладания, она решила заговорить со Стенхэмом. Она окликнула его – громко, насколько хватило смелости – и, о чудо! он услышал ее и обернулся. Ли улыбнулась, стараясь выглядеть естественно. Стенхэм стал медленно пробираться к ней, прокладывая путь сквозь застывшие ряды зевак.

– С этой стороны лучше видно, – заметил он.

– Да, – ответила она, выдержав приличную, с ее точки зрения, паузу, после чего предложила пойти выпить чаю.

– Ах да, конечно! – крикнул в ответ Стенхэм и позвал: – Амар! Мохаммед!

Мальчики появились с разных сторон, и все четверо двинулись из света во тьму.

Кафе представляло собой несколько расстеленных на бугристой земле циновок, огороженных охапками зеленых ветвей, связанных проволокой. Длинные шесты были воткнуты в землю без всякого порядка, и растянутые за четыре угла покрывала были прикреплены к ним тоже самым невероятным образом. У входа, возле небольшого обломка скалы присели на корточках *кауджи* и его помощники; оставшееся пространство было почти целиком занято сидевшими или склонившимися людьми: даже возле центрального шеста матерчатый потолок был недостаточно высоким, чтобы можно было выпрямиться; пришлось идти, пригнув головы.

Когда наконец они уселись на циновки и получили чай, Ли обратилась к Стенхэму:

– Мне показалось, что я ненадолго вас потеряла.
– О, нет, – беззаботно откликнулся он. – Я не спускал с вас глаз ни на минуту.

– Ах, вот как! – Она хотела спросить, почему он бросил ее одну, но чутье подсказало ей, что лучше не упоминать об этом, чтобы не испортить настроения.

– Так или иначе, отныне наш штаб располагается в этом кафе, – продолжал Стенхэм. – Мы всегда сможем найти друг друга. Если нам захочется поспать, они очистят от посетителей один из углов, и мы сможем там разместиться. *Кауаджи*, похоже, человек надежный.

Когда все допили чай, Стенхэм предложил вернуться. Амар и Мохаммед уже стояли у выхода.

– Вы идите, а я останусь тут и передохну немного, – сказала Ли. – Возвращайтесь через полчаса, и тогда, может, я снова смогу пойти с вами. А сейчас я немного устала.

На самом деле ее слова означали: «Останьтесь, побудьте немного со мной», – и она была уверена, что Стенхэм так их и поймет.

– Но как же вы можете остаться! – воскликнул он. – Я вовсе не хочу бросать вас здесь.

– Почему бы и нет? – хмуро спросила Ли. – Тут я, по крайней мере, не потеряюсь.

– Я вернусь буквально через пару минут, – неуверенно ответил Стенхэм. – Заказать вам еще чаю?

– Спасибо, не надо. Захочется – закажу сама.

Стенхэм странно посмотрел на нее.

– Что ж, до скорого.

Потом он подошел к *кауаджи* и что-то сказал ему. После того как Стенхэм вышел, Ли медленно сосчитала до десяти и выпрямилась, задев головой полотняный полог, о котором совсем позабыла. Выбравшись из кафе, она пошла в направлении, противоположном тому, в котором двинулся Стенхэм. Ветер дул все сильнее. Ли обернулась, чтобы

получше запомнить место: очертания оливкового дерева, нависавшего над кафе, ни с чем нельзя было спутать. Охваченная яростью и жалостью к себе, она стала взбираться на холм, сначала просто не заметив глазевших на нее мужчин, а после не обращая на них внимания.

Женщины в шатрах готовили вечерний *тахин*, чад кипящего оливкового масла мешался с горьковатым запахом дыма. Ли продолжала карабкаться вверх, твердя про себя, что все так и должно было случиться, она сама виновата, что приехала сюда, хотя с самого начала знала, какой эгоистичный болван этот Стенхэм. Ее первая реакция была совершенно правильной. «Не хочу ехать», – сказала она, и только ненависть к французам поколебала в ней чувство здравого смысла.

Здесь наверху редкие навесы были натянуты прямо между деревьями, впереди расстилалась безлюдная местность. Грохот барабанов по-прежнему доносился снизу, слабо заглушаемый шуршанием оливковых листьев на ветру. Где-то во тьме залаяла бродячая собака, лай был высокий и звонкий, как истерический женский смех. Последний шатер остался далеко позади, свет теперь не был виден, и, слегка отрезвленная одиночеством, Ли остановилась, схватившись за низко свисавшую ветку. Ветер с каждой минутой усиливался. Ли задыхалась и хотела было присесть, но, вспомнив истории о скорпионах и змеях, передумала и осталась стоять, глубоко вдыхая чистый свежий воздух, летевший в лицо. Станный ветер, подумалось ей: дует так, будто твердо решил не стихать ни на секунду. Вообще не похоже на ветер – скорее, на дуновение какого-то гигантского вентилятора или мощный, постоянно усиливающийся сквозняк. Его завывания теперь напоминали шум океана, предвестье близящейся бури. Инстинктивно Ли посмотрела в небо: холодно светящаяся луна стояла высоко, не видно было ни облачка. Но сомнений не оставалось: шум бушующего моря разносился над горами, неистовый ночной ураган прокладывал себе

путь. Ли попыталась уловить звуки праздника, но ничего не услышала. И все же она знала, что стоит только обогнуть толстый ствол дерева, и она увидит мерцающий розовый свет последнего шатра.

Когда ветер обрушился на нее со всей мощью, она вытянула руки и почувствовала, что ее словно пригвоздило к стволу; она глубоко дышала, пока у нее не закружилась голова, и, конечно бы, села, если бы ветер не спеленал ее по рукам и ногам. Какой у него удивительный запах – так могла бы пахнуть сама жизнь, подумалось ей, и тут же он напомнил ей о прокаленных солнцем скалах и укромных полянах в лесной глуши. Но очень скоро ветер стал действительно чересчур сильным, и Ли решила, что лучше вернуться. Еще подышу чуть-чуть, подумала она, чувствуя, как распирает легкие.

Перед глазами у нее все плыло. Водопады ветра обрушились сквозь проточенные в небе отполированные русла, расплескиваясь по горным склонам. Песок и сухие веточки, смерчем уносившиеся ввысь, царапали ей лицо. Она осторожно села и прислонилась к дереву. На миг ее охватил приступ дурноты, но все равно так было намного лучше. Ветер ревел; что-то коснулось ее плеча. Ли подняла взгляд, перевела дыхание, сперва слегка испугавшись, потом почувствовав облегчение, моментально сменившееся досадой. Перед ней молча стоял Стенхэм и собирался присесть рядом. Сделав над собой огромное усилие, Ли встала.

– Привет, – сказала она, чувствуя себя напроказившим ребенком, но только потому, что Стенхэм не проронил ни слова.

Наконец он заговорил.

– Что это на вас нашло? – голос его звучал сердито.

– Что нашло? – переспросила Ли, выплевывая набившуюся в рот пыль.

Стенхэм схватил ее за руку.

– Пойдемте, – он потянул ее за собой.

– Обождите, постойте.

Она чувствовала, что еще не готова покинуть вершину холма.

– Как это вы сюда забрались?

– Просто шла. Вы не хотите оставить меня в покое?

– Не хочу. Напротив, мне так совсем неплохо.

– Теперь вы вздумали меня оскорблять?

– Да что это с вами?

Он снова нетерпеливо схватил ее за руку.

– Прошу вас. Я прекрасно могу идти и сама. Отпустите же меня!

– Черт побери! Можете хоть ползти, если вам так больше нравится.

Словно подчиняясь его приказу, Ли споткнулась о камень и упала. Стенхэм тут же нагнулся, встал рядом с ней на колени и безуспешно принялся ее утешать: «Сильно ударились?», «Мне ужасно жаль!», «Ведь это я во всем виноват». При этих словах Ли молча сделала протестующий жест, хотя Стенхэм, похоже, неправильно его истолковал.

– Вы сможете идти сами? – спросил он.

Ли ничего не ответила; сейчас ей хотелось только перебить боль. Стоит расслабиться хоть на миг, и она тут же расплачется, а этого нельзя позволить, это не должно случиться. Стенхэм сидел беспомощно, наблюдая за ней, но, привыкнув к ее немоте, подошел, обнял, осторожно погладил по плечу. Однако ей этого совсем не хотелось. Она вздрогнула и беззвучно застонала. Он попытался привлечь ее к себе, и какое-то время оба неуклюже барахтались в нелепой позе.

Это надо прекратить любой ценой, убеждала себя Ли, даже если он увидит ее слезы, что наверняка случится, стоит ей пошевелиться или заговорить. В любом случае, думала она, чувствуя, как его руки легко касаются ее тела (точно она была деревом, а они – побегам какого-то вьюнка-паразита), что же это за человек, который готов воспользоваться таким вопиюще несправедливым преимуществом? Ей так больно; как

теперь защищаться от его бессовестных приставаний? Слезы покатались по ее щекам, достаточно было этой, последней мысли, чтобы вызвать их. Она всхлипнула и изо всех сил попыталась вырваться.

Теперь она была свободна, но слезы душили ее, горечь и стыд, оттого что он видит ее такой, пусть лишь при лунном свете, а от невыносимого ветра плакать хотелось еще сильнее. Ненависть к Стенхэму захлестнула ее; если бы у нее хватило сил, она бросилась бы на него и убила. Но она не двинулась с места, все так же сидела, согнувшись, на земле, рыдала и растирала ушибленную лодыжку. «Какая же ты дрянь! Господи, какая дрянь!» – повторял ее собственный голос у нее в ушах, и она не знала, обращается ли к самой себе или к Стенхэму. Он поднялся и смотрел на нее сверху вниз. Прошло немало времени, наконец Ли встала и, опираясь на руку Стенхэма (теперь, когда она ненавидела его, это не имело значения), хромая, стала спускаться к кафе.

Оказавшись там, она села в продымленном полумраке, окруженная нестройным бормотанием и музыкой, и снова погрузилась в свой собственный тихий ад. Стенхэм сел рядом, нарушая молчание только чтобы переброситься парой слов с мальчиками, выглядевшими до крайности мрачно и подавленно. У Ли промелькнула мысль: слава Богу, что ничего не случилось там, наверху, и она содрогнулась от ярости к себе, что вообще могла такое подумать, об этом не могло быть и речи. По-прежнему не глядя на Стенхэма, она непрерывно массируя лодыжку, курила сигарету за сигаретой и укрепляла в себе решимость так или иначе отомстить, толком не зная как. Около полуночи, когда боль несколько отпустила и Ли почувствовала себя усталой до изнеможения и немного сонной – возможно оттого, что под навесом повисло густое облако гашишного дыма, – Стенхэм повернулся к ней и сказал: «Ветер стих». Помолчав, она ответила: «Да», – не промолвив больше ни слова. Тогда он завел серьезный и долгий

разговор по-арабски с мальчиками. Прошло довольно много времени, и Стенхэм снова обратился к Ли, таким пылким, чуть ли не дрожащим от восторга голосом, словно позабыл о том, что они отныне враги.

– Для этого мальчика мир незапятнан и чист! – воскликнул он. – Вы понимаете?

Ли пробормотала что-то в ответ, но он не расслышал ее слов.

– Что вы сказали?

– Я сказала, что не знаю, что сказать, – ответила Ли громче. Она действительно не знала, насколько мир, каким он видится Амару, нетронут и чист, или, наоборот, находится в глубоком упадке; она была склонна подозревать последнее, но главное, что Стенхэм сейчас проявлял гораздо меньше интереса к ней. Она же была целиком занята мыслями о себе, о том, как скверно с ней обошлись, поскольку чувствовала себя униженной и не сомневалась, что Стенхэм торжествует, воображая, что в каком-то низменном, извращенном смысле одержал над ней победу. Сейчас все марокканское приключение представлялось ей страшным фиаско; казалось, что она сама потерпела загадочное и сокрушительное поражение.

Во-первых, размышляла Ли, мысленно перебирая пустячные подробности – единственное, что ей удалось нынешнем состоянии, еще их первая встреча должна была убедить ее, что он не тот человек, с которым ей следует поддерживать отношения, так как физически он не показался ей привлекательным. Это она поняла, едва взглянув на него. Она всегда могла сразу сказать, к чему у нее лежит душа, а к чему нет, что ее, а что нет, и Стенхэм тут же попал в последнюю категорию, не выдержав испытания. (Испытание состояло в следующем: она пыталась представить себе мужчину, спящего утром в постели – безвольное тело среди разворошенных простыней, – и если этот образ вызывал у нее отвращение, мужчина переставал для нее существовать.) Тест неизменно срабатывал, и она всегда старалась держаться подальше от тех,

кто не проходил его, именно затем, чтобы не оказаться в нынешней ситуации. Но на сей раз ее слабость и беспечность ни в коей мере не искупали поведения Стенхэма; нет, когда придет время сводить счеты, она не станет делать скидку на свои промахи.

Она вздремнула, проснулась, снова задремала, сквозь сон прислушиваясь к казавшемуся бесконечным разговору: голоса Стенхэма, Амара и второго мальчика долетали до нее как бы издалека, на фоне сливающейся в общий хор болтовни посетителей, пьющих чай или курящих киф. Завтрашний день представлялся невыносимым со всех точек зрения. Ли не могла без страха думать о том, каким тягостно неловким и тягучим он будет. Она постарается скрыться из Сиди Бухта на первом же автобусе или грузовике, даже если ей придется провести пару дней в грязной комнатухе в гостинице «Амбассад».

Потом она надолго уснула, а, проснувшись, обнаружила, что все трое ушли. «Вот так-то лучше», – мрачно подумала она. Хаос барабанной дроби и выкриков не смолкал; напротив, стал еще громче и яростней, усиленный почти несмолкающей ружейной пальбой. Через час-другой должно рассвети; взойдет заря Аид-эль-Кебира, и в ожидании утренней жертвы люди будут задумчиво проверять большим пальцем, достаточно ли остры загодя наточенные ножи.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

Растянувшись на циновках, Стенхэм, Амар и Мохаммед увлеченно беседовали, разговор затянулся часа на два, не меньше. Стенхэму хотелось поговорить о религии, и Амар, похоже, был доволен, что они обратились к этой теме. Мохаммед же постоянно старался придать всему политическую окраску; похоже, он вообще не воспринимал эти вещи по отдельности. Религию он считал чисто социальным учреждением, а ее практическое применение – государственной задачей. Подобное скудоумие выводило Стенхэма из себя, он не мог понять, зачем Амар вообще пригласил приятеля.

Большинство не спавших мужчин отправились на молитву, встречать зарю. Несколько человек задержались, занятые пустой болтовней, остальные спали. Лежать на здешней земле, подумал Стенхэм, все равно что ехать верхом на замороженной голодом лошади: как ни менял он позу, удобно лечь не удавалось. Казалось, что циновка расстелена на острых камнях. Ли, однако же, лежала неподвижно, только несколько раз в полусне перевернулась с боку на бок. Оба мальчика были встревожены, когда увидели, как она идет, прихрамывая, опершись на руку Стенхэма, но Ли взглянула на них с такой враждебностью, что слова сочувствия замерли у них на устах. Прошло какое-то время, и, заметив, что она не хочет ни с кем разговаривать, Амар сказал Стенхэму, что леди, должно быть, очень расстроена.

– Конечно, ведь ей больно, – ответил Стенхэм.

– Нет, я хотел сказать, что у нее постоянно печальный вид. Она всегда расстроена.

– Почему? – заинтригованно спросил Стенхэм. – Ты знаешь почему?

– Разумеется, знаю, – доверительно сообщил Амар. – Потому что она ничего не смыслит в жизни.

Ответ показался расплывчатым и неясным, и Стенхэм предпочел оставить эту тему. Но на протяжении долгой беседы, когда ему впервые представилась возможность проникнуть в мысли Амара, Стенхэм все больше и больше поражался безошибочному умению мальчика отделять главное от второстепенного. Эта способность не имела ничего общего с живостью ума – скорее, проистекала из необычайно мощного и слаженного механизма нравственных принципов. Такую природную мудрость редко встретишь и у взрослого человека, а в устах совсем еще юного существа, к тому же безграмотного, она казалась невероятной. Стенхэм сидел, не спуская глаз с Амара, пока тот говорил, и чувствовал себя почти как золотоискатель, который после долгих бесплодных поисков, утратив всякую надежду, наталкивается на первый самородок. Он подивился тому, как таинственно связано одно с другим в мире, как такая сентиментальная подробность – бьющаяся в воде стрекоза, вещь, чуждая любому мыслимому толкованию мусульманской догмы, – дала ему возможность, пусть невольно, заподозрить в этом мальчике скрытые сокровища.

Выдержав паузу, он сказал Амару:

– Так, значит, леди ничего не понимает в жизни? А почему ты так решил?

– Nada echouf¹. Она хочет чувствовать себя сильной. И думает, что этой ей удастся, потому что никогда никому по-настоящему не покорялась.

– Покорялась? Что ты имеешь в виду?

– Именно – не покорялась. Каков первый долг человека в этом мире? Покориться. Al Islam! Al Islam!

Он простер руки (рукава после встречи с полицией были все еще выпачканы грязью медины) и склонил голову, медленню припадая к земле. Потом, вернувшись к прерванному

¹ Сразу видно (*араб.*).

разговору, рассказал несколько притч, персонажи которых покорялись или отказывались покориться божественной воле. Проклятые – они же «несчастные» – всегда казались сами себе необычайно важными, в то время как благословенные и исполненные радости осознавали собственное ничтожество, знали, что, сила, которую они обрели, была обусловлена их повиновением неисповедимым законам Аллаха.

Быть счастливым значило ни к чему не стремиться и признать свое бессилие. Ислам – религия повиновения. Стенхэму никогда еще не приходило в голову, что само слово «ислам» означает «подчинение», «покорность».

– Понятно, – произнес он.

– Любой прохожий на улице думает, что его жизнь что-то да значит, – продолжал Амар напряженно, так как его собственная жизнь все еще казалась ему страшно важной, – и не хочет, чтобы она кончалась. Но Аллах предписал, что каждому суждено расстаться с жизнью. О allèche? Почему? Чтобы убедить людей, что жизнь ничего не стоит. Любая жизнь ничего не стоит. Это как ветер.

Ондохнул перед собой и попытался поймать незримое дуновение вытянутой рукой.

– Погоди, – сказал Стенхэм. – Ты говоришь, что...

Но Амара было уже не остановить.

– Для чего вы существуете в мире? – Настоятельно спросил он.

Стенхэм улыбнулся.

– Боюсь, что не смогу ответить на твой вопрос.

– Значит, не знаете? – Печально спросил Амар.

– Нет.

– Я скажу, – откликнулся Мохаммед, преувеличенно широко зевая. – Чтобы ночи напролет болтать, пока на улице расстреливают людей.

Стенхэму показалось, что лицо Амара исказилось от боли, но это было всего лишь на миг, и мальчик продолжал:

– Мы рождаемся на свет только затем, чтобы исполнить предназначенное. Если человеку в жизни не везет, он счастлив, ведь ему только и остается, что возносить хвалы. Но, если человеку везет, это уже куда хуже, ведь если он не очень-очень хороший, он начнет раздумывать, что он сам причастен к своей удаче. Понимаете?

– Да, но, может быть, ему и в самом деле надо как-то ею распорядиться. – (В подобных спорах Стенхэм часто, неожиданно для себя вдруг начинал превозносить буржуазные добродетели.) – Если он порядочный человек и трудится на совесть...

– Ничего подобного! – воскликнул Амар, глаза его горели. – Вы – назарей, христианин. Будь вы мусульманином и скажи такое, вас бы убило или поразило слепотой на этом самом месте. У христиан добрые сердца, но они ничего не смыслят. Они думают, что могут изменить предназначенное. Они боятся умереть, потому что не понимают, зачем существует смерть. А если боишься умереть, ты никогда не узнаешь, зачем была дана тебе жизнь. Как вы вообще можете жить?

– Не знаю, не знаю, не знаю, – дружелюбно пробормотал Стенхэм. – И, наверное, так никогда и не узнаю.

– А когда все-таки узнаете, приходите ко мне и скажите, что хотите стать мусульманином, и мы устроим для вас большой праздник, потому что христианин, ставший мусульманином, дороже Аллаху, чем тот, кто мусульманином родился.

– Спасибо, – ответил Стенхэм со вздохом. Он всегда благодарил собеседника в таких случаях, потому что, затронув тему обращения, тот подтверждал свои истинно дружеские чувства. – Надеюсь, однажды так оно и случится.

– Иншалла.

– Давайте посмотрим пляски, – предложил Стенхэм, которому вдруг захотелось поскорее свернуть разговор. Это был удобный выход, так как грохот барабанов и пение были настолько громкими, что, приблизившись к кругу, разговаривать становилось невозможно. Мальчики тут же вскочили и

проворно надели сандалии. Стенхэм встал, потянулся и, бросив быстрый взгляд на Ли – убедиться, что она спит, взял ботинки и на цыпочках прошел к выходу из шатра.

– Nimchi o nji, я вернусь, – сказал он *кауаджи*.

Настало самое холодное время ночи. Луна скрылась за одной из западных гор, но часть неба над ней не померкла, и дальние уголки округи еще купались в лунном свете. Мальчики притопывали, стучали пятками в ритме импровизированного танца и, двигаясь вприпрыжку, опередили Стенхэма. Когда они прошли еще немного, Стенхэм заметил, что Мохаммед быстро оглянулся, положил руку на плечо Амара и принялся что-то ему нашептывать. Стенхэм смотрел на Амара, стараясь подметить его реакцию, но ничего не заметил: тот лишь что-то коротко ответил. Дойдя до более людного места, мальчики остановились подождать Стенхэма. Он поглядел на восток, ища следы близкой зари, но было еще слишком рано.

«Что они там замышляют?» – думал он с легким беспокойством. Он не мог поверить, чтобы Амар принял участие в какой-нибудь затее, направленной против него, но вот кто такой Мохаммед? Он вполне мог оказаться типичным фесским *харами*¹, а в какой степени он способен повлиять на Амара, Стенхэм не знал.

Казалось, ночь, умирая, делает последние, отчаянные попытки выжить, наводнив мир темнотой. Пламя большинства костров погасло, и казалось, что барабанная дробь, доносившаяся из мрака, стала намного громче. Здесь, внизу, в седловине между двумя холмами, особенно ощущалась ночная прохлада, и почти все, кто был на ногах, накинули капюшоны, так что по главной тропе словно двигалось сумеречное шествие монахов. Дым от угасающих костров валил еще сильнее, повсюду слышался кашель.

¹ Жулик (*араб.*).

Несколько новых небольших кругов образовались с того момента, когда Стенхэм проходил здесь в последний раз. Трудно было сказать, что происходит внутри, за чем следят с таким вниманием люди. Посреди одного стояла, застыв как изваяние, женщина, длинные волосы скрывали ее с головы до пят, она тихо, ритмично постанывала: время от времени казалось, что по телу ее пробегает едва уловимая дрожь, но Стенхэм не мог бы в этом поручиться. Посреди другого старый негр стоял, наклонившись, опершись грудью о воткнутый в землю шест. Рядом с ним над полным углей глиняным горшком лениво вился смрадный дым.

– Что это? – шепотом спросил ошеломленный Стенхэм.

– *Фасух*. Очень хорошо, – ответил Амар. – Его надо насыпать в ботинок, и если перед входом в дом или кафе закопан покойник, это не причинит вам вреда.

– Но почему они его жгут? – настаивал Стенхэм.

– Дурной час, – ответил Амар.

Стенхэм еще раз внимательно поглядел на старика, и ему померещилось в нем что-то непристойное.

– Что он делает? – шепотом спросил он.

– Вспоминает, – так же тихо ответил Амар. Веки негра были полуприкрыты, зрачки закатились, и время от времени дряхлые безвольные губы слабо двигались, сияясь вымолвить какое-то слово, но вместо этого слюна пузырилась и лопалась на них. Перед зрителями на земле сидел еще один чернокожий в пиджаке и шапочке, расшитой белыми ракушками каури. Он погрузился в звуки, вылетающие из слабо натянутого барабана, по которому он ударял лениво; негр вслушивался в них – весь внимание, с закрытыми глазами, склонив голову набок.

– *Nimchou*, – пробормотал Стенхэм, которому хотелось поскорее уйти от жуткого удушливого смрада, исходившего от горшка с углями. В запахе этом чувствовался сладкий аромат смолы и одновременно – жирная вонь горящих волос,

отвратительная смесь. Даже когда они уже далеко отошли от круга, запах все еще проникал в ноздри и глотку вонючей слизи. Стенхэм яростно откашлялся и сплюнул.

– Вам не нравится *фасух*, – обвиняюще произнес Амар. – Это значит, что вы во власти злого духа. Нет! Клянусь Аллахом! – воскликнул он, когда Стенхэм принялся отпучиваться. – Клянусь, это так!

– Ладно, – согласился Стенхэм. – Во мне обитает джинн.

Они подошли к еще одному небольшому кругу. Здесь две девушки молча кружились, не сходя с места, их головы и плечи были полностью скрыты большими лоскутами ткани. В их движениях не было никакого изящества, и здесь не играла музыка. словно двум маленьким девочкам пришло в голову проверить, кто сможет дольше вертеться на месте и не упасть, и люди собрались поглядеть на это странное состязание в выносливости.

– Что это? – поинтересовался Стенхэм.

– *Зуамель*, – негромко ответил Амар. Значит, это вовсе не девушки, просто одежда на них женская.

Они повернули к более ровной части долины, где народ собрался большими группами. Представления вызвали у Стенхэма легкую дурноту. Это сочетание бессмысленности и уродства бередило ему душу. В застывших маленькими кружками людях определенно крылось нечто отталкивающее. Дело было не в длинноволосой женщине, не в старике-негре и, уж конечно, не в зрителях; бездумные взоры, устремленные на то, что, по мнению Стенхэма, должно было происходить под покровом строжайшей тайны – вот что производило гнетущее впечатление. Мир вдруг показался совсем маленьким, холодным и застывшим.

Амар поднял руку и указал на небо над горами.

– Светает, – сказал он. Стенхэм не заметил признаков зари, но Амар утверждал, что она близится. Они пристроились к самому большому на вид кругу. Посреди в отблесках

дотлевающего костра стояла женщина, вся в белом, и пела. Окружавший ее хор мужчин, взявшихся за руки, откликался на финал каждого куплета криком, похожим на громкий всплеск воды, и всякий раз неким чудесным образом он превращался в мелодичное журчанье, ниспадавшее к первой ноте следующего куплета. В этот момент казалось, что хор готов броситься на певицу, смять ее. Опустив головы, как рвущиеся в атаку быки, они делали три широких шага вперед, отдаляясь от зрителей, круг резко сужался; затем, в то время как женщина медленно поворачивалась, точно статуя на вращающемся пьедестале, они, словно одумавшись, вновь расступались. Повторяемость и агрессивность придавали танцу священный, иератический характер. Однако песнь женщины вполне можно было принять и за зов одного путника в горах к другому, на далекой вершине. В отдельных длинных нотах, выпадавших из течения времени, поскольку ритмичные выкрики замирали, крылась безмерная печаль горных сумерек. Красивая песня, подумал Стенхэм, и решил задержаться, поддавшись чарам. Нельзя было сказать, усиливаются они или нет, поскольку все время повторялось одно и то же, так что, заранее зная, что будет дальше, можно было не дослушивать. Но не слушая все до конца, невозможно было понять, как это подействует. Могли пройти десять минут или час, но любое суждение об этой музыке казалось ошибочным. Так он и стоял, не в силах уйти, а ум его был заполнен непривычными, полуоформившимися мыслями. Были моменты, когда музыка позволяла ему обратить взор в себя, и ему удавалось различить черное пятно вечности – по крайней мере, так он определял это ощущение. *Cogito, ergo sum*¹ – чушь, бессмыслица. Я мыслю вопреки тому, что существую, и я существую вопреки тому, что мыслю.

Тьма медленно таяла, неохотно сдавая позиции; поначалу проступивший свет был пасмурным и неприглядным, но

¹ Я мыслю, следовательно существую (*лат.*).

вдруг небо в единый миг разверзлось над головами, прекрасное и новое, и люди начали украдкой переглядываться, стараясь получше разглядеть соседа, а одинокая фигура в центре круга превратилась в обычную живую женщину, но словно чуть менее реальную оттого, что оказалась не просто озаренной огнем красной маской. По мере того как все менялось вокруг, дробь становилась все менее напряженной и тревожной (потому что музыканты, осознав, что настал день, переставали бить в барабаны), а между тем странный новый звук рос со всех сторон навстречу заре – чем-то напоминавший петушиное голошеньё: это были голоса тысяч овец, согнанных в шатры, перекликающихся и приветствующих день, в который им предстояло умереть во славу Аллаха.

Песнь оборвалась, хотя трудно было четко определить начало и конец, поскольку в промежутках барабаны продолжали бессвязно грохотать, связывая между собой отрывки мелодии в единый поток. Женщина невозмутимо вышла из круга мужчин и исчезла. Стенхэм взглянул на Амара, отвернулся и снова внимательно посмотрел. Сомнений быть не могло: лицо мальчика было мокро от слез. Краешком глаза Стенхэм видел, как Амар постепенно приходит в себя, вытирает лицо рукавом, напускает на себя суровый вид, бросает на Мохаммеда быстрый враждебный взгляд – удостовериться, что тот не заметил его слабости, и громко сплевывает.

Стенхэм вздохнул. Даже здесь существовало негласное мнение, что быть растроганным красотой – постыдно; человек обязан изо всех сил не поддаваться ее чарам. Истоковать это иначе было невозможно. Вначале он воспринимал марокканцев как реальную силу, единообразную и монолитную. Все вместе они представляли собой нечто – *вещь*, стоящую одновременно выше и ниже человеческого; каждый из них по отдельности существовал лишь постольку, поскольку являлся безымянной частицей или легко узнаваемым символом этого слитного, неделимого целого. Они были чем-то

таким же первобытным и непреходящим, как солнце или ветер, не подверженным настроениям и порывам, берущим начало в зеркале интеллекта. Они не осознавали сами себя, а просто существовали, единые с самим бытием. Ничто не являлось следствием чьего-то личного желания, поскольку все личности были тождественны. То, чем они были, и то, что происходило с ними, являлось порождением их общих желаний. Но теперь – быть может, потому, что он увидел этого мальчика, – Стенхэм начал сомневаться в правильности своих теоретических построений.

Дело было не в том, что Амар говорил вещи, которые до него никто не высказывал. Скорее уж в том, что он говорил их с такой уверенностью, нисколько не смущаясь представителя другой, рациональной и мертвящей культуры. Стенхэм всегда считал аксиомой, что несовпадение веры и поведения – краеугольный камень мусульманского мира. Оно было заложено слишком глубоко, чтобы именовать его ханжеством, это был просто обычай. Они говорили одно и делали прямо противоположное. Они уверяли в своей приверженности исламу, используя готовые фразы, но вели себя так, словно верили, и ведь действительно верили, во что-то совсем иное. Однако ислам продолжали исповедовать неизменно, и в этом Стенхэму виделось извечное противоречие, делавшее мусульман мусульманами. Но отношение Амара к религии было куда более крепким: он верил в возможность буквально исполнять в жизни все, к чему призывал его Коран. Все заповеди были у него наготове, и он применял их в любой ситуации, в любой момент. Тот факт, что такой человек, как Амар, мог быть порождением подобного общества, вносил путаницу в расчеты Стенхэма. Для Стенхэма исключение обесценивало правило, а вовсе не подтверждало его: если мог появиться один Амар – значит, должны быть и другие. Тогда марокканцы переставали быть заранее известной величиной, неизбежно обусловленной давлением и жесткими рамками

своего общества, а, следовательно, и все его выкладки были неверны, оказывались слишком упрощенными, не предполагавшими индивидуальных вариантов. Но в таком случае марокканцы были очень похожи на всех остальных, и разрушение их теперешней культуры не было слишком серьезной потерей, поскольку общий ее рисунок уступал по ценности совокупности составлявших ее личностей – точно так же, как и в любой западной стране. Стенхэм не мог больше думать об этом; чтобы продолжить мысль, требовалось слишком много усилий, а он за всю ночь ни разу не сомкнул глаз.

Теперь надо было вернуться и посмотреть, как там Ли. Если я ее хоть немного знаю, подумал Стенхэм, она все еще сердится. Она явно не из тех, кто, проснувшись, забывает случившееся накануне.

– Yallah! – отрывисто произнес он, и мальчики последовали за ним. По дороге к кафе он обернулся проверить, не отстали ли они, и снова заметил, как Мохаммед о чем-то тайком переговаривается с Амаром; в том, что они что-то замышляют, не оставалось сомнений, так как, увидев, что Стенхэм обернулся, они тут же сделали вид, что ничего не происходит. Стенхэм остановился, поджидая, пока они догонят его. Мохаммед замедлил шаг, явно рассчитывая, что Стенхэм пойдет дальше, но он по-прежнему стоял и ждал. Амар подошел первым, вид у него был решительный.

– Месье, мы с Мохаммедом хотим вернуться в Фес, – сказал он, не дав Стенхэму и рта раскрыть.

Стенхэм почувствовал облегчение от того, что Амар наконец высказался, однако эта просьба его встревожила.

– Ах вот как, – сказал он. – Вот, значит, о чем вы шептались всю ночь.

– Sa'a, sa'a. И поскорее. Мохаммед говорит, что французы позволили людям приехать сюда, чтобы убить остальных.

Догадавшись, о чем идет речь, Мохаммед стал открыто проявлять нетерпение.

– Я думал, у тебя хоть что-то есть в голове, – ответил Стенхэм Амару с неприязнью. – Сколько людей, по-твоему, приехало из Феса? Человек пятьдесят. Как же остальным выбраться из медины и приехать сюда, раз она закрыта и у ворот стоят солдаты? Скажи-ка мне.

Амар промолчал. Наконец и Мохаммед подошел поближе.

– Что это за выдумки насчет того, чтобы возвращаться в Фес? Зачем вам туда ехать?

Напустив на себя удрученный вид, Мохаммед изложил совершенно неотразимые доводы, почему сегодня им следовало быть в Фесе, а не в горах. Сначала Стенхэм собирался опровергнуть пункт за пунктом, стерев все его аргументы в порошок, но чем больше нелепостей громоздил Мохаммед, тем больше он отчаивался, пока наконец не на шутку разозлился.

– Ладно, – требовательно спросил он под конец, – скажите мне одну единственную вещь. Зачем вы приехали?

Ответить на этот вопрос Мохаммеду не составило особого труда.

– Мой друг пригласил меня, – указал он на Амара.

– Можете возвращаться, если хотите. Меня это не касается.

– Но как же деньги на автобус? – Мохаммед с упреком посмотрел на Амара.

– Это не мое дело. И я не собираюсь покупать вам билеты. Я пригласил вас обоих и привез сюда. Пока я не звал вас обратно в Фес. Когда решу вернуться, я куплю вам билеты. Но не сегодня. Вам повезло, что вы здесь и не попали в беду. Будь у каждого из вас голова на плечах – сами бы все поняли.

Произнося эту речь, Стенхэм следил за Амаром, и выражение лица мальчика еще больше укрепляло его в мысли, что тот с ним согласен и одному Мохаммеду наскучил праздник и он хочет вернуться в город. Сомнений не было: зачинщиком был Мохаммед. Но и речи не могло быть о том, чтобы отправить обратно его одного: он не поедет без Амара, да и Амар

не отпустит его. Подобное поведение было бы верхом позора. Амар пригласил Мохаммеда в Сиди Бу-Хта, Мохаммед был гостем Амара и Амар отвечал за его благополучие и за то, что он будет доволен, пока находится тут. Теперь, поскольку Мохаммед решил вернуться в Фес, Амар должен проводить его до Феса.

– Но если Амар хочет купить тебе билет, пусть покупает.

На Амара, услышавшего это, стало жалко смотреть. Ну вот, наконец, я и стану злым назареем, подумал Стенхэм. Им всегда был нужен такой, я и возьму на себя эту роль. Он повернулся и пошел дальше.

Войдя в кафе, он увидел, что Ли сидит и курит и что вид у нее еще более мрачный и замкнутый, чем он ожидал.

– Доброе утро, – жизнерадостно произнес он.

– Доброе утро, – быстро, как автомат, проговорила она, не глядя на него.

Ярость мгновенно захлестнула Стенхэма, и он уже собирался было с такой же милой задушевностью спросить: «Ну, как поживает наша мученица?» – но, разумеется, ничего не сказал. Появились и мальчики. Сняв сандалии, они сели, все еще вполголоса переговариваясь. Наконец Амар вспомнил о Ли и, взглянув на нее, сказал: «Bon jour, madame». Мохаммед последовал его примеру. Приветствие мальчиков Ли восприняла несколько более благосклонно.

Большинство мужчин в кафе были те же, что накануне, но двое или трое выделялись своим явно городским видом. Не зная, чем заняться, Стенхэм наблюдал за ними, сравнивая их городские повадки с благородным поведением крестьян. Упадок, сплошной упадок, повторял он про себя. Утратив все, они ничего не приобрели взамен. Французы просто привнесли последние штрихи в процесс, начавшийся по меньшей мере пятьсот лет назад. Интуитивные нравственные устремления марокканцев совпадали с идеалами, воплощенными в догмах их религии, но люди уже больше не могли следовать

ни этим глубинными импульсами, ни религиозным идеалам, поскольку между ними встало государство с гнетом своих законов. Уже нельзя было позволить себе быть честным, великодушным и милосердным, ибо никто больше никому не верил; зачастую они больше доверяли христианину, которого встретили впервые в жизни, чем мусульманину, с которым были знакомы много лет.

Взять хотя бы того, с лисьей мордочкой, в потрепанном европейском костюме, подумал Стенхэм, с толстыми губами, густым пушком, пробивающемся на щеках, и фурункулом на шее, о чем-то секретничающего с огромным, как гора, мужчиной, у бедра которого болтался в ножнах кинжал с серебряной рукоятью, – что интересного мог сообщить этот жалкий юнец, поставщик базара человеку, глядевшему на него, точно благосклонный властелин? Что-то жизненно важное, судя по реакциям то и дело широко раскрывавшего глаза мужчины, по испугу, пробежавшему по его лицу. Его молодой собеседник сидел, сощурившись, скреб небритый подбородок, и, привалившись почти вплотную к великану, что-то, не умолкая, ему нашептывал.

Охваченный внезапным подозрением, Стенхэм встал и вышел из шатра. Наугад выбрав другое кафе ниже по склону холма, он вошел и заказал стакан чая, не обращая внимания на подозрительные взгляды. Взгляды эти были давно ему знакомы, и он успел к ним привыкнуть. Кафе мало чем отличалось от предыдущего, разве что было чуть больше и со второй комнатой, носившей, скорее, чисто символический характер: она была отгорожена от главной циновками, прислоненными к воткнутому в землю палкам. В более просторной части, где он устроился, практически ничего не происходило: мужчины курили трубки с кифом и прихлебывали чай. Скоро Стенхэм встал и перешел на другую половину и сел в углу, ожидая, пока ему принесут чай. Здесь он тоже подметил кое-какие неожиданные и странные детали, даже более

поразительные, чем в другом кафе. Некий молодой горожанин, на сей раз в очках, что-то говорил, обращаясь уже не к одному, а сразу к шести важным сельчанам. Стенхэму было отнюдь не легко сохранять маску беспечности, когда, после его появления в маленькой комнате воцарилась тишина и откровенно враждебные взгляды горящих глаз устремились на него. Он решил изображать из себя ничего не подозревавшего туриста в поисках местного колорита; вряд ли присутствующие могли до конца понять придуманную им роль, но он чувствовал, что нечто большее ему сейчас не под силу. Глупо улыбаясь, он произнес:

– Bong jour. Avez-vous kif? Kif foumer bong¹.

Надеясь, я не переигрываю, подумал он. Двое из присутствующих заулыбались, остальные выглядели смущенно. Горожанин ухмыльнулся, ответил презрительно:

– Non, monsieur, on n'a pas de kif². – Затем, обернувшись к одному из горцев, сказал: – Как эта иностранная свинья пробралась в Сиди Бу-Хта? Даже здесь, даже в праздник мы должны терпеть рядом этих сучьих детей.

Один из мужчин, философски улыбнувшись, заметил, что в прошлом году трое французов приходили на *муссем* Мулая Идрисса и делали фотографии.

– Но этот даже не француз, – с отвращением произнес молодой человек. – Какое-то другое отребье – англичанин или швейцарец. – Он снова обжег Стенхэма ненавидящим взглядом, после чего отвернулся и, словно возвещая истины в последней инстанции, возобновил свой монолог, но теперь уже гораздо тише, так что до Стенхэма долетали только отдельные слова и отрывки фраз. Вскоре молодой человек, забывшись, снова заговорил громче, и Стенхэм многое разобрал. Как только принесли чай, он поскорее выпил, не

1 Добрый день. У вас есть киф? Киф карашо (*искаж. фр.*).

2 Нет, месье, кифа нет (*фр.*).

рискуя привлекать к себе внимание, и, неловко попросившись с сидящими в комнате, вышел наружу. Невозможно поверить, что несколько молодых людей из Феса просто так забрели сюда и рассказывают своим друзьям последние новости, но Стенхэму хотелось знать точно, а не впустую строить догадки. Он решил обойти еще несколько кафе, чтобы удостовериться, в каком масштабе ведется кампания. На случай, если кто-нибудь поинтересуется, что он здесь делает, он скажет, что ищет Амара. Так что он заглядывал в одно кафе за другим, словно кого-то разыскивая, и выходил, успев изучить лица присутствующих.

Только в одном месте *кауаджи* спросил у него, что ему нужно. Голос мужчины не понравился Стенхэму, и он поскорее вышел, чтобы его не успели разглядеть. В одном кафе он наткнулся на подозрительного типа, но не смог точно определить, тот ли это, кого он ищет. Зато в остальных четырех случаях сомнений быть не могло. Истиклал направил сюда целый комитет, чтобы провести беседы с шейхами, саидами и другими важными фигурами и отговорить их от жертвоприношений. Более того, они распространяли слух, звучащий вполне убедительно, что французы предоставили десяткам тысяч местных солдат право систематически насиловать женщин и девушек в фесской медине. Дома и лавки, по их словам, разграблены, множество мужчин и юношей убиты, по всему городу начались пожары. Такую информацию он услышал во втором кафе, пока ждал чая, и выражение лиц слушателей повсюду было одинаковым.

Стенхэм стоял в жарких лучах утреннего солнца, прислушиваясь к хору bleющих овец, и, поскольку слишком устал и проголодался, завел с собой внутренний диалог. Ну что, теперь доволен или обойдешь еще десяток кафе? Нет нужды. Теперь ты много знаешь, но что собираешься делать? Ничего. Мне просто хотелось узнать. Думал, что найдешь чистое, ничем не запятнанное место? Доволен?

Но он не хотел возвращаться в кафе, снова увидеть мальчиков и чувствовать, что они его осуждают. Как бы абсурдно это ни звучало, он чувствовал вину при мысли о несходстве их детских надежд и своих собственных, которые трудно было даже сформулировать, настолько негативными они были. Ему не хотелось, чтобы французы удерживали Марокко, но не хотел он и чтобы к власти пришли националисты. Он не мог выбрать, к какой из сторон примкнуть, поскольку часть его сознания, отвечавшая за выбор, уже давно была парализована, остановившись на том, что исключало саму возможность выбора. Быть может, это к лучшему, подумал он: можно держаться подальше от обеих зол, а стало быть, не забывать, что это зло.

Остановившись у лотков, где торговали съестным, он купил половину лепешки и несколько кусков баранины. Потом, жуя на ходу, направился в сторону холма, за которым стояло святилище. В обе стороны – к храму и от него – тек людской поток, но Стенхэм обошел его слева, по козьей тропе. Единственной постройкой в этом краю был маленький *марабут*, возведенный вокруг усыпальницы Сиди Бу-Хта. Когда не было паломничеств, здесь можно было встретить разве что немногочисленных верующих, прибывших исполнить обеты, да порой какой-нибудь пастух забредал сюда со своими козами.

С вершины холма Стенхэм оглядел ярко озаренную солнцем панораму: голые охристые земли, лежащие к югу, гряды гор на севере, а прямо перед ним – лесистые зеленые склоны с лужайками, на которых виднелись тысячи белых фигурок. Высота, с которой он глядел, скрадывала их движения, и они казались неподвижной, неживой частью пейзажа; только пристально вглядываясь, он убедился, что они действительно движутся. Стоя здесь, в жизнерадостных лучах утреннего солнца, он чувствовал себя очень далеким от них и смутно раздумывал, не лучше ли проследить за жертвоприношением отсюда – видеть и в то же время не видеть.

Агенты Истиклала никогда не смогут помешать всему народу закалывать овец; во всяком случае, цель их состояла не в этом. Они вполне удовлетволялись бы, посеяв семена розни, неуверенности и подозрения, разобшив людей и лишив их удовольствия от слаженного ритуала. Такую разрушительную работу следовало тщательно спланировать, затем все начинало действовать само по себе. Если молодым людям удастся их хитроумный замысел, паломники в этом году будут возвращаться из Сиди Бу-Хта недовольными, и многие из них на следующий год уже не вернутся сюда. Один только перерыв, один год без ритуала – и цепь прервется. Молодые люди знали это. Любая перемена в установленном ритме сбивала людей с толку, потому что жизни их сводились к черед ритмических повторов, и несоблюдение предписанного ритуала могло повлечь ужасные последствия, потому что люди перестали бы ощущать благодать Аллаха, а следом, утратив ответственность, стали бы делать все, что им приказывают. Стенхэм подумал, уж не приехали ли все молодые агенты Истиклала на одном автобусе. Если так, то какое счастье, если бы этот автобус перевернулся и сорвался в пропасть! Люди исполняли бы повеления Аллаха с прежней радостью, и счастье и благоденствие воцарились бы в здешних краях еще на целый год. В памяти у него всплыло короткое изречение, которое он когда-то прочитал: «Счастлив тот, кто верит, что счастлив». Да, подумал Стенхэм, и хуже убийцы человек, который пытается разрушить эту веру. Эти несчастные людишки, вечно сующие нос в чужие дела, были поистине чумой человечества, проказой на лице земли. «И вы еще можете сидеть здесь и рассуждать о том, что они счастливы», – сказала ему тогда Ли, и глаза ее сияли убежденностью в собственной правоте. Наверняка, такое же выражение было у интеллигентов, делавших французскую революцию, и у омерзительных молодых людей из Истиклала, и у бесчеловечных деятелей компартии по всему свету.

Даже в устах величайшего мыслителя слова: «Все люди созданы равными» – звучали отвратительно, так как недвусмысленно призывали разрушить иерархию, созданную самой Природой. Но даже его ближайшие друзья, когда он приводил им это соображение, объясняя, отчего мир год от года становится хуже, с улыбкой отвечали ему: «Знаешь, Джон, будь осторожней, а то совсем свихнешься». Ложь слишком глубоко укоренилась в их умах, они не могли усомниться в ней. К тому же меня никогда не тянуло быть спасителем человечества, подумал Стенхэм, ложась на спину, чтобы видеть только небо. Хочется спасти самого себя. А на это и всей жизни не хватит.

Утренний ветерок, подувший с востока, относил в сторону слабые звуки барабанов и с легким свистом проносился сквозь густые заросли. Безмысленная мечтательность постепенно овладела Стенхэмом; пребывая в этом растительном состоянии, он сосредоточился на тепле солнца и прохладе ветра, касавшихся его кожи. Последняя отчетливая мысль, промелькнувшая у него в мозгу, была о том, что еще не раз придется ему лежать так, под широко раскинувшимся небом, ломая голову над этими ничтожными вопросами.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

Полли Берроуз очень долго, спотыкаясь, бродила по неровным тропам своих снов, смутно сознавая, что что-то не так, но не могла понять, что просто неудобно лежать; она вертелась так и сяк, но не могла устроиться на бугристой циновке. Мало-помалу ее сознание мучительно начало пробиваться сквозь туман пыли и арабской речи, звучавшей со всех сторон. Наконец громкий взрыв смеха, донесшийся из угла, где сидел *кауджи*, разбудил ее, и она резко села, чувствуя, как ломит каждый сустав. Несколько мальчишек с любопытством поглядели на нее, поэтому она решила не ложиться снова, хотя именно этого ей больше всего хотелось. Мысль о том, как это было бы сладостно и приятно, заставила ее проникнуться жалостью к себе. Однако она все же вытянула руки, размяла пальцы, зевнула, прикрывая рот, и, почувствовав себя чуть лучше, вспомнила об одержанной победе.

Теперь этот короткий промежуток между двумя снами тоже казался сном. Мальчик, вошедший в шатер со своим приятелем, имел дерзость разбудить ее, и в приступе гнева она впервые увидела его в истинном свете. В истинном в том смысле, что впервые поняла, что видел в нем Стенхэм. (Как это мальчик видел сам себя она и не пыталась догадаться, ей это было неинтересно.) Онемев от ярости, она сидела, уставившись на него. Гладкая смуглая кожа, большие глаза и черные волосы и еще эта, чисто мужская уверенность, хотя вел он себя еще совсем не по-мужски. Вылитый маленький варвар, подумала она, прямая противоположность тому, что она считала достойным восхищения. Глядя на него, она чувствовала, что понимает, какими были люди древности. Словно и не было трехтысячелетней истории, и вот он стоял перед нею – настороженный и хищный недочеловек, гораздо менее похожий на человека, чем голый дикарь, потому что с дикарем еще можно о чем-то договориться, в то время как

это существо, закованное в латы своей застывшей варварской культуры, сознательно отрицало прогресс. И то же самое видел в нем Стенхэм, для него мальчик являлся безукоризненным символом человеческой отсталости и был достоин восхищения именно за свою «чистоту»: в его личность не вмещалось ничего, кроме того, что человечество уже изобрело в глубокой древности. Для Стенхэма он был поистине утешением, живым доказательством недолговечности триумфа современности, в нем олицетворялась наивная, детская мечта Стенхэма, что течение времени еще можно остановить и вернуть человека к его истокам.

Рядом примостился и второй парнишка, – он покусывал веточку и глядел на Ли с невозмутимым любопытством.

– В чем дело? – спокойно обратилась она к Амару, совершенно позабыв о том, что он не понимает ее.

– Он хочет с вами попрощаться, – объяснил приятель Амара. (Ничего, так легко ему не улизнуть, отметила она про себя, имея в виду Стенхэма.)

– *Mohammed, tu ne veux pas faire quelque chose pour moi?*¹

Мальчик выпрямился.

– Не мог бы ты спуститься и купить мне пачку «Каса Спорт»?

Раскрыв сумочку, она достала мелочь. Мохаммед поднялся на ноги, пригнувшись, чтобы не задевать натянутое сверху одеяло. Взяв деньги, он вышел. Ли выждала с полминуты, чтобы убедиться, что он удалился. Потом повернулась к Амару и, не колеблясь, вытащила все деньги, которые лежали в сумочке. Банкноты были сложены аккуратной пачкой.

«Конечно, он ничего не понимает», – подумала она, глядя, как широко раскрылись его глаза при виде денег. И, даже когда она попробовала знаками объяснить ему, в чем дело, Амар пытался вернуть ей деньги.

¹ Мохаммед, ты не мог бы кое-что для меня сделать? (*фр.*)

– Бум, – шепнула ему Ли. – Револьвер, пистолет. – И все равно не была уверена, что он понял. Ли оглянулась. Вроде бы никто не обращал на них внимания. Дав знак Амару следить за ее правой рукой, она подняла ее к лицу и согнула указательный палец, прищулив левый глаз, а другим пальцем изобразив дуло. Потом спустила курок и указала на деньги в его руке.

Слава Богу, подумала она, он понял. Об этом можно было догадаться по изменившемуся выражению его лица. Она нахмурилась и встревоженно показала Амару, чтобы он поскорее спрятал деньги. Он тут же сунул их в карман. Пока все шло хорошо.

Когда Мохаммед вернулся, Ли лежала, заложив руки за голову, и рассеянно глядела вверх. Чтобы не показаться невоспитанной, она немного поговорила с ним, после чего оба мальчика встали и собрались идти. Пожимая Амару руку, Ли значительно взглянула на него, как бы предостерегая от выражений признательности, и просто сказала: «*Vonne chance*»¹. Мальчики вышли, и она снова легла, сама не понимая, отчего ей кажется, что удалось справиться с какой-то невероятно сложной работой.

Внезапно она печально улыбнулась. До сих пор она твердо намеревалась вернуться в Фес на первом же попавшемся автобусе или грузовике. Таким образом, она могла бы избежать встречи со Стенхэмом, если он только не заявится и не заметит, что она собралась уехать. Но теперь ей пришлось в голову, что избавиться от него пока не удастся. Нелепо, конечно, но, сама того не желая, она сделала хотя бы одну их встречу неизбежной. Денег у нее теперь не было, и вряд ли какой-нибудь водитель отвезет ее в город бесплатно, если она даст ему адрес маленькой гостиницы, где оставила багаж. Положение было не просто нелепым, подумала она, но

¹ Удачи (*фр.*).

унизительным. «Что за ерунда мне пришла в голову?» – негодуя и удивленно подумала она.

Она послала помощника *кауаджи* купить несколько шашлыков и расплатилась последней оставшейся мелочью. Потом, снова почувствовав усталость, растянулась на циновке и быстро уснула.

Все это наверняка произошло несколько часов назад. Теперь она сидела, моргая, глядя сквозь дыру, служившую входом в шатер, на стволы олив, залитые ярким горячим светом. По всей видимости, уже за полдень. Ли посмотрела на часы. «Десять минут четвертого», – нервно пробормотала она. Где-то продолжали грохотать невидимые барабаны, ни на минуту не смолкнув с тех пор, как она вышла из автобуса вчера вечером.

И посетители в кафе успели смениться, кругом не было ни одного примелькавшегося лица. С облегчением она заметила, что *кауаджи* остался прежний. Ли подозвала его и спросила, не возвращался ли Стенхэм, но *кауаджи* едва мог связать по-французски пару слов, и только с помощью знаков ему удалось объяснить, что за весь день он ни разу не видел иностранного господина. Ли поблагодарила *кауаджи*, и ей стало еще тревожнее.

Она снова легла, думая, что, может быть, удастся найти прибежище во сне: это был самый удобный способ убивать время. Но уснуть вряд ли удастся, и Ли поняла, что, пожалуй, лучше выйти и пройтись немного. Все тело ныло, нервная дрожь не давала покоя; оставаться лежать – значило бы обрекать себя на дальнейшие муки.

Сухой, пропитанный пылью воздух пах лошадьми и ослами, привязанными между шатрами, а свет солнца, влажно переливавшийся на миллионах серебристых листьев олив, заставил ее с тоской подумать о глотке холодной воды. Внизу, полускрытые завесой белой пыли, виднелись механически двигавшиеся фигурки танцоров и все так же толпившиеся

кругом зрители. Ли повернулась и стала взбираться по холму, ища открытое место.

Как легко было двигаться здесь днем, при свете, и как тяжело это давалось в темноте. Ей удалось забраться намного дальше, чем в прошлый раз; все деревья остались позади, и теперь ее окружали только жесткие, как проволока, низкорослые кусты да большие скалы. Ли почувствовала себя лучше: мышцы почти перестали болеть, а свежий ветерок развеял тревогу. Она прислонилась к большому валуну, сначала тщательно проверив, нет ли на нем скорпионов, и посмотрела поверх долины на холмы на противоположной стороне. Крохотная одинокая фигурка, медленно спускалась по буровато-желтому склону. Быть может, пастух? Ли прищурилась, но ни коз, ни овец не было видно.

Она вглядывалась, и вдруг ей пришло в голову, что это Стенхэм: марокканец не забрел бы так далеко один. Она долго следила за спускавшейся все ниже и ниже фигурой, пока та наконец не скрылась в тени, отбрасываемой вершинами холмов. Она не была окончательно уверена, что это Стенхэм, да это и не заботило ее, но все же что-то подсказывало, что это именно он, и она горела желанием поделиться с ним своим торжеством, дать ему изведать всю горечь поражения. У нее ушло довольно много времени, чтобы добраться до кафе: по пути она то и дело останавливалась передохнуть, сорвать веточку, порой принималась прыгать с камня на камень, а когда увидела первые шатры, даже присела выкурить сигарету.

Заглянув в кафе, она увидела, что Стенхэма нет. Тогда она решила отойти и встать где-нибудь между деревьев, откуда виден вход, чтобы, вернувшись, Стенхэм ее не заметил: это давало ей преимущество внезапности. Пройдя сквозь облако дыма от костра, она свернула налево и, как заговорщица, спряталась за деревом, выглядывая в ожидании Стенхэма. Выходившие из шатров люди удивленно и недоверчиво косились на нее, но, как ей показалось, в их взглядах не было враждебности.

Что-то он задерживается, думала она; наверное, остановился посмотреть на танцы. И тут увидела, что он поднимается по склону к кафе. Когда он вошел, она двинулась следом.

С утра она чувствовала себя раздраженной и необщительной, и теперь ей хотелось чтобы это настроение снова вернулось. С другой стороны, такое поведение мало подходило для исполнения поставленной цели. Она вошла в шатер.

Стенхэм сидел в углу, и вид у него был довольно мрачный. Он увидел Ли, и лицо его прояснилось.

– Привет, – невыразительно произнесла она. – Я ненадолго выходила.

– Как дела? – спросил Стенхэм, глядя на нее снизу вверх, потом подвинулся, освобождая ей место.

– Замечательно, – ответила она, стараясь подделаться под его тон; слишком явное выражение неприязни могло бы окончательно погубить разговор. Стенхэм протянул ей пачку сигарет, но она покачала головой.

– Я уж боялся, что вы уехали, – неопределенно сказал Стенхэм.

– Да, я собиралась. Но так хотелось спать. Кстати, – добавила она, как если бы это только что пришло ей в голову, – у меня не осталось ни гроша. Боюсь, вам придется одолжить мне немного. Все деньги я отдала Амару, чтобы он купил пистолет.

– Что вы сделали? – переспросил Стенхэм, будто Ли вдруг заговорила на языке, который он с трудом понимал.

– Да ничего, просто отдала ему все деньги, что у меня оставались, и сказала, чтобы он купил на них пистолет. Главное, что он их взял. А что он с ними сделает – не важно.

Она уже собиралась было добавить: «Вот вам и ваша невинность», – но вдруг почувствовала, что не уверена в своей правоте. Все, что она успела наговорить, звучало совершенной нелепицей; надо было вести себя совсем по-иному. И она выжидающе замолчала.

Стенхэм поднес ладонь к глазам, словно защищая их от яркого света, и так застыл. Трудно было понять, что он чувствует. Наконец он произнес, медленно выговаривая слова:

– Дайте мне все хорошенько обдумать. – И снова замер, замолчал. Наконец, отняв руку от лица и не глядя на нее, произнес: – Похоже, я чего-то не понимаю, Ли. Для меня это слишком сложно.

– Не глупите, – весело отозвалась она. – Вы сами все усложняете. Если бы в вас было хоть что-то поэтическое, вы бы все поняли. Мальчику хочется действовать. В его возрасте это так понятно. Это переломный момент в его жизни. Он бы никогда себе потом не простил, если бы остался киснуть здесь. Неужели сами не видите?

Стенхэм взглянул на Ли, но так, будто не слышал ее слов. Его задумчивый вид странно контрастировал с яростью, прозвучавшей в его крике:

– Да к черту все это! – Он повернулся к ней. – Я не думаю об Амаре. Он уехал, и кончено. Одной маленькой жизнью больше, одной меньше. Какая разница? – (Она мельком изучающе взглянула на Стенхэма, но так и не поняла, иронизировал он или говорил искренне. Теперь, казалось, он ждет от нее ответа, но она промолчала.) – Кого я действительно не понимаю, так это вас. – Он остановился и задумался. – Не совсем так, на самом деле я все понимаю. Просто хочу услышать это от вас самой. Что, по-вашему, вы сделали? Что, черт побери, заставило вас решиться на такое?

Ли была обескуражена: где же понятный в такой ситуации гнев?

– Я решила на это, чтобы сделать человеку приятно, – осторожно начала она.

– Вот что! – грубо прервал ее Стенхэм. – Для таких дел существует одно грубое слово – догадайтесь сами. Тогда хоть оправдали бы свои расходы.

Чтобы скрыть нервозность, она закурила; руки у нее дрожали. Конечно, подумала она, он и должен был выразить

свой гнев вот так: холодно, абстрактно. Глупо было рассчитывать на нормальную, обычную ссору.

– Напрасно расточаете яд, – ответила она. – Он не достигнет цели. Если уж действительно хотите сказать гадость, подумайте, к кому обращаетесь.

Она думала, что сейчас Стенхэм скажет «Простите», но он молча продолжал смотреть на нее.

– Ничуть не сомневаюсь, что поступила правильно, – продолжала она. – И у вас нет никаких оснований...

– Понятно, – ответил Стенхэм. – В том-то вся и трагедия. Вы лишены чувства нравственной ответственности. Пока вы одержимы вашим проповедническим пылом – все замечательно. Но теперь вам приходится расходовать его на два объекта. Чутьочку Амару, остальное – мне.

– Возможно, – натянуто рассмеялась она. – У меня не такой аналитический склад ума.

Стенхэм взглянул на вход в шатер. Свет снаружи меркнул, барабанная дробь не стихала, и кафе мало-помалу заполнялось пожилыми мужчинами, мирно беседовавшими между собой.

– На что похоже это чувство – распоряжаться жизнью и смертью другого человека? – Неожиданно спросил Стенхэм. – Вы можете описать его?

И, поскольку сейчас он действительно впервые выглядел рассерженным, Ли внутренне вздрогнула, и в сердце у нее зажегся ответный огонек.

– Как тяжело, должно быть, видеть все в декорациях дешевой мелодрамы, – сказала она притворно озабоченным тоном. – У вас, наверное, уйма жизненной силы.

Стенхэм наконец сказал бранное слово, которое не решился произнести раньше, встал и торжественно удалился. Она осталась сидеть, курила, но на душе у нее было беспокойно.

Впрочем, Стенхэм почти тут же вернулся: казалось, на улице он спорил сам с собой, а теперь принял решение, хотя и был слегка смущен; он задумчиво качал головой.

– Черт побери, – сказал он, снова садясь рядом, – почему мы ведем себя как какие-то малолетки? Простите, если я вас обидел.

Теперь он ждал ее ответа.

Она почувствовала, что нервы ее на пределе.

– Если вы имеете в виду то, что произошло только что... – начала она, но тут же замолчала. Она уже собиралась было заговорить о его поведении прошлой ночью, но передумала.

– Ах, это не важно, – само собой вырвалось у нее, причем она почувствовала ничем не оправданное и необъяснимое облегчение, точно эти ее слова решали все.

Вид у Стенхэма был очень серьезный.

– В конце концов, мы с вами вполне ладили, хотя и не во всем соглашались, пока не связались с этим парнем. Почему бы нам не вернуться к прежним отношениям? Ничего ведь не изменилось, не так ли?

– Да, верно, – задумчиво ответила она. Но при этом понимала, что что-то переменялось, и, поскольку не могла точно уловить разницу, решила отложить окончательное согласие на потом.

Потом, с неожиданным пылом, который заставил Стенхэма взглянуть на нее с любопытством, сказала:

– Не знаю. По-моему мальчик тут особо ни при чем. Мне кажется, это место действует на нас угнетающе. Я чувствую, что если придется провести здесь еще одну ночь, я просто сломаюсь, вот и все. Сделайте так, чтобы мы хоть как-то отсюда выбрались.

Она говорила, практически не думая, и теперь ожидала возражений. Но Стенхэм сказал только:

– Это будет нелегко. И не забывайте, что мы приехали сюда, чтобы на день исчезнуть из Феса. А день предстоит длинный.

– Я вовсе не забыла, – возразила она. – Они могут прийти и убить меня в постели, но это будет по крайней мере моя постель, а не груда камней.

Она хлопнула рукой по циновке и быстро взглянула на Стенхэма, чтобы перехватить его взгляд: понял ли он ее или, как всегда, недоволен? («Ничего не изменилось», – сказал он минуту назад.) И теперь, увидев его улыбку, мгновенно поняла, что именно изменилось: улыбка казалась ей глуповатой, но не отвратительной. Пойдя наперекор ему, она стала к нему ближе. Но, видимо, изменилась не она одна, иначе зачем бы ему улыбаться?

– Мы можем даже не просто попытаться, – ответил Стенхэм и, все еще улыбаясь, встал и вышел.

Позже, когда дело с возвращением было улажено – грузовик должен был отправиться примерно через час, – они съели похлебку, хлеб, баранину, выпили чая и решили прогуляться, забравшись на вершину холма, с которой открывалась вся панорама. «Возвращение на место преступления», – подумала Ли, чувствуя, как пальцы Стенхэма крепко сжимают ее руку, пока он вел ее между тусклых кустов, среди темных камней к месту, откуда вся долина с огнями костров и дымом, залитая лунным светом, была видна как на ладони. Там, наверху, они тихо сели рядом, и, когда он привлек ее к себе и поцеловал сначала в лоб, потом в обе щеки и наконец (это было так прекрасно) в губы, она поняла, что все решено, и подумала о том, что, каким бы страстным ни был его любовный порыв, она ожидала его с не меньшим нетерпением.

Она наугад вытянула руку и, коснувшись сначала колючего, щетинистого подбородка, затем гладких губ, успела подумать: «Но почему сейчас, а не раньше?» – и снова привлекла его к себе.

ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ

Автобусы колонной двигались по извилистой дороге, и каждый утопал в клубах пыли, поднятой идущим впереди. В головной машине сидели все молодые люди из Истиклала, которые, сговорившись с водителями остальных автобусов, выработали общую стратегию: в определенном месте, не доезжая до магистрали, колонна остановится и пассажиры пересядут так, чтобы к прибытию в Фес в каждом автобусе оказалось двое или трое членов партии. Разумеется, они собирались въезжать в город не сразу, а с десяти-пятнадцатиминутным интервалом. Как только Амар узнал страшные новости, его тут же начала бить нервная дрожь; сейчас до Феса оставалось примерно полпути, но озноб не унимался. Мальчика преследовало одно и то же видение: он стоит в дверях большой комнаты своего дома, пригвожденная штыком к полу мать, корчась, пыгается подняться, а на подушках в углу какая-то смутная фигура насилует Халиму. Наверняка, отец и Мустафа лежат мертвые во дворе, поэтому Амар их не видел.

Мохаммед сидел рядом, постоянно пытаясь завязать разговор, но Амар не слышал ни слова. Несомненно, это был день окончательного сведения счетов, день отпущения – возможно, его последний день в этом мире! Остальные мужчины в автобусе сидели, угрюмо застыв, молча, некоторые прикрывали лица от пыли. Неожиданно громкий хлопок перекрыл скрип и скрежет рессор. Автобус замедлил ход и остановился, руки потянулись к кинжалам, но дело оказалось всего лишь в лопнувшей шине. Все вышли и разбрелись по обочине, между тем как остальные автобусы один за другим проезжали мимо, вздымая клубы белой пыли. В обычный день пассажиры проезжающих мимо автобусов весело кричали бы и размахивали руками, ведь всегда забавно видеть, как твой знакомый попал в какую-нибудь мелкую передрагу, но сегодня никто не обратил на них внимания. Мохаммеду это не понравилось.

– Сучьи дети! – ворчал он сквозь зубы. – А вдруг нам понадобятся инструменты, чтобы поменять крышку? Кто их даст? Никто! Едут себе мимо, как будто ничего не случилось!

Амар медленно возвращался к реальности после сцен резни. Они с Мохаммедом сидели на валуне, глядя вниз, на автобус; Амар удивился, обнаружив, что грызет подсолнечные семечки. Ему казалось, что Мохаммед говорит вот уже несколько часов подряд, а сам он не вымолвил ни слова. Теперь Мохаммед снова твердил о деньгах, которые, как он считал, Амар должен был ему за велосипед. Вернув велосипед французу, он не смог заплатить за прокат; хорошо еще, что удалось занять у приятеля, работавшего на той же улице на складе лесоматериалов. Но вот настал Аид, и приятель требует вернуть долг, да и потом – по чьей вине они потащились тогда в Айн-Малку и кто обещал заплатить за оба велосипеда?

Амар искренне хотел поскорее с ним расплатиться, но настойчивость Мохаммеда раздражала его, особенно сейчас.

– Кругом люди гибнут, а ты трясешься из-за пары франков! – презрительно сказал он. Назарейка дала ему страшную уйму денег; сколько именно он даже не знал, потому что у него не было возможности хотя бы на минутку уединиться и пересчитать их. Как бы там ни было, теперь он – богач, и мизерная сумма, которую он должен Мохаммеду, его не волновала. И все же Амар считал, что со стороны Мохаммеда некрасиво без конца донимать его этим. Вдруг его внимание привлекли слова Мохаммеда: «Ну, а что до тридцати риалов, в которые мне обошлось лекарство после того, как ты настаивал мне синяков, – можешь про них забыть». Выходит, извинения Амара ничего не стоили, иначе Мохаммед не стал бы напоминать ему про драку. Вот и води дружбу с такими!

– Эх, Мохаммед, – сказал он. – Ты мне не веришь, потому что меряешь всех по себе.

Ему очень хотелось вытащить деньги, отсчитать каждый франк, который он должен Мохаммеду, и покончить с этим,

но, конечно, и речи не могло быть о том, чтобы Мохаммед прознал, сколько у него денег. Мохаммед бросил на него испепеляющий взгляд и сказал сквозь зубы:

– У тебя голова все равно что у совы или скорпиона, а может, вообще булжжик на плечах.

– *Majabekfina*¹, – огрызнулся Амар.

После этого они долго, примерно час, сидели молча, пока покрывушку наконец не сменили и можно было снова тронуться в путь.

Теперь их автобус оказался последним, и водителю пришлось мчаться как ветер, чтобы нагнать остальных. Со страшной скоростью они неслись по самому краю пропасти, тормоза визжали на поворотах, старый мотор ревел, как разъяренный демон. Если бы Аллах не хранил их, подумал Амар, автобус уже наверняка несколько раз сорвался бы в пропасть. Когда они добрались до места, где договаривались остановиться, чтобы люди Истиклала могли пересечь, дорога была пуста. Это был дурной знак, сидевшие в автобусе мужчины недовольно заворчали и принялись качать головами. Им хотелось, чтобы ученые молодые люди были с ними, когда они вернутся в город. В каждом автобусе теперь их сидело поровну, только они по глупости водителя (всю вину за вызванную проколом остановку моментально возложили на него) остались без вожаков. Но, когда они уже подъезжали к шоссе, из-за поворота навстречу выехал доверху груженный арбузами грузовичок; смуглые руки, высунувшиеся с обеих сторон, стали подавать им отчаянные знаки. Водитель автобуса сбавил ход, остановился, и все впились глазами в безумные лица сидевших в грузовике четырех мужчин.

– Братец! Братец! – вопили все четверо в один голос. – Не езди туда! Они их всех схватили! Они убили их! – Они возбужденно подпрыгивали на сиденьях, размахивали руками,

¹ Обо мне не беспокойся (*араб.*)

хлопали друг друга по плечам, а водитель грузовика, сжав кулаки, драматично описал ими в воздухе полукруг, чтобы изобразить стреляющий пулемет. «У железнодорожного переезда!» После подобных известий в автобусе раздались громкие стоны и проклятья вперемешку с именами злосчастных родственников и друзей, покинувших Сиди Бу-Хта на других автобусах. Когда первый всплеск неистовства поутих и люди заговорили чуть спокойнее, выяснилось, что было застрелено всего лишь несколько человек, остальных увезли в тюрьму на военных грузовиках; как только очередной автобус подъезжал, его пассажиров под стражей переводили в грузовики, где сидели французские солдаты, и увозили. Главное теперь, если они хотят добраться до Виль Нувель, кричали все четверо, было объехать место, где произошло несчастье, дальше свернуть на Мекнес и потом еще раз повернуть, остановившись там, где они укажут, поскольку сами только что оттуда.

– Полицейская ловушка, – шепнул Мохаммед Амару, это были первые слова после их ссоры на обочине. – Кто знает? Может, они *чкама*? Может, остальным удалось прорваться?

Амар внимательно всмотрелся в лица сидевших в грузовике, он голову бы дал на отсечение, что их рассказ – чистая правда.

– Ты рехнулся, – ответил он Мохаммеду, подумав при этом, что не доверять никому почти так же глупо, как и доверять всем подряд.

Как бы там ни было, водитель автобуса, казалось, ни на минуту не усомнился в услышанном. Подождав, пока грузовик развернется, он поехал следом. Со всех сторон их окружали круглые голые склоны, солнце пекло, как в аду. Когда они выехали на магистраль, грузовик увеличил скорость, то же сделал и автобус, и внутри стало посвежее. Водитель крикнул, обращаясь к людям, безмолвно сидевшим за его спиной: «Молитесь! Ведь вы едете из Сиди Бу-Хта!» Это была блестящая мысль. Если возле Баб-эль-Гиссы они наткнутся на

полицейский патруль, молитва паломников, возможно, отведет от них подозрения.

*Qua-a-l ach f'n nebbi,
Selliou alih.
Qual'la-a-ah m'selli alih,
Karrasou'llah!*

запели они. Автобус катил по ровному шоссе, переехал через мост, спугнув двух белых аистов в речушке внизу, и стал взбираться по петляющей дороге между зарослей тростника. Вряд ли это был подходящий момент взывать к заступничеству свыше, после того как все в целости и сохранности вернулись с паломничества, и водитель прекрасно это знал; цинизм его предложения заключался в том, что он знал, что вряд ли во всем Фесе найдется пара понимающих это французов, и эти двое точно не полицейские. Марокканцы нередко могли рассчитывать на бестолковость французских блюстителей порядка.

Поскольку слуге всегда удастся разузнать о хозяине больше, чем хозяину – о слуге, марокканцы понимали, что могут позволить себе мелкие оплошности, не боясь быть пойманными за руку, тогда как французы не располагали подобным преимуществом; они, по определению, не могли никого обмануть. Марокканцы, так или иначе общавшиеся с французами, знали, куда ходят их господа, с кем видятся, что говорят, как себя чувствуют, что едят, где и с кем пьют и спят и почему они поступают именно так, в то время как у французов было лишь самое приблизительное, шаблонное и застывшее представление о вкусах, обычаях и повседневной жизни коренных обитателей земли, на которой они обосновались. Если кавалерийский офицер однажды не столь лихо садился в седло, как обычно, то его ординарец подмечал это, начинал раздумывать о причинах и тайком следить за своим командиром. Если чиновник вдруг закуривал

сигарету непривычной марки, мальчишка, чистивший ему ботинки, обращал на это внимание и делился размышлениями по этому поводу со своими приятелями. Если хозяйка дома вместо обычных двух выпивала утром только одну чашку *café au lait*¹, это возбуждало любопытство горничной и она сообщала об этом уборщице и прачке. Сохранить хотя бы иллюзию частной жизни францужены могли только лишь сделав вид, что туземцев не существует вовсе, а это автоматически предоставляло последним огромные преимущества. Вот почему полиция вряд ли заподозрила бы что-нибудь странное в пении паломников, напротив, это могло придать пассажирам автобуса безобидный вид, так как они знали, что, когда речь заходит о религии, францужены предпочитают не вмешиваться.

Куда они ехали и что собирались делать, добравшись до места? Никто из них не мог бы ответить на эти вопросы, да и вопросы эти вряд ли могли прийти им сейчас в голову: они шли вразрез с преобладающим настроением, более подходящим для распевания молитв, чем для составления планов. Они знали, что если бы ангел появился сейчас в небе над фруктовыми садами, мимо которых они проезжали, и предложил им выбор: отказаться от обета отмщения или умереть, они скорее с радостью отдали бы свои жизни здесь и сейчас, чем предали бы своих исламских братьев. Но ангел не появился, а городские стены приближались.

Единственный из всех пассажиров Амар обдумывал план действий: только у него мать и сестра оставались в медине. Понятный интерес, который горцы проявляли к святому городу, пробуждал в них воодушевление, но это воодушевление, охватывающее людей, объединенных решением отстаивать правое дело, не имело ничего общего с отчаянными размышлениями одиночки, попавшего в беду. Семья

¹ Кофе с молоком (*фр.*).

Мохаммеда уехала в Касабланку, чтобы провести Аид вместе с родственниками, а сам он остался с замужней сестрой в Фес-Джедиде, за городскими стенами, так что он мог ходить куда угодно и не беспокоиться, что мать и сестра окажутся в руках берберов. Это объясняло, хотя и не оправдывало то, что он нисколько не интересовался бедой, в которую попал Амар. Мохаммед хотел всего-навсего получить обратно деньги за велосипед, которые Амар готов был вернуть как только представится возможность уединиться и пересчитать купюры; он отдаст их Мохаммеду и распрощается с ним, потому что ему хотелось сперва отделаться от приятеля, а потом приняться за дело.

Автобус приближался к повороту возле Баб-Джамаи, оставляя позади сады и почти вплотную приближаясь к городским стенам, но тут же разворачивалась и углублялась в горы. Несколько сот солдат бродили между палатками, поспешно установленных у стены. Паломники, не глядя на них, продолжали свирепо распевать молитвы, отбивая кулаками такт по стенкам и сиденьям автобуса. Машина взбиралась на вершину холма, и ясные голоса поющих плыли над безлюдными кладбищами. Когда они очутились на вершине, Амар не удержался и бросил украдкой взгляд на лежавшую внизу медину. Но он не увидел столбов дыма, поднимающегося к небу: город выглядел как всегда. Назарей говорил ему, что Истиклал распространяет ложные слухи. Амар знал это: все кругом лгали. Только умный человек мог отличить правду от лжи, и только умный человек умел солгать так, чтобы никто не догадался, что он лжет и не мог назвать его лжецом. Глядя на медину, раскинувшуюся внизу в слепящих лучах солнца, Амар решил было разобраться в том, правду ли они говорили, но это было мимолетное желание. Если сейчас это ложь, скоро она станет правдой. Его задача состояла в том, чтобы добраться до дому, если выйдет – прежде чем будет поздно, но в любом случае – добраться.

Дорога пошла по прямой, грузовичок с арбузами ускорил ход. И снова вдоль стен, между касбой Черрарда и Баб-Сегмой, они увидели палатки. Паломники пели, не умолкая, глядя прямо в удивленные, туповатые лица сенегальских солдат. Никто не попытался остановить автобус, и он промчался дальше на запад по мекнесской дороге.

Они остановились, не доезжая нескольких метров до боковой дороги, скрывавшейся в зарослях высокого тростника. Все быстро вышли. Четверо ехавших в грузовике словно обезумели.

– Скорее! Скорее! – кричали они, внезапно утратив мужество, которое подвигло их отправиться на поиски пропавшего автобуса. Не подумав, они свернули, чтобы показать путь, и теперь, чтобы выбраться, им пришлось дожидаться, когда автобус отъедет. – Поторапливайтесь!

В суматохе какой-то старик упал, ему помогли подняться и сесть, лицо и одежда его были в пыли.

Когда ноги Амар коснулись земли и он почувствовал знакомый речной запах, ему тут же показалось, что он не был дома очень-очень давно, и сжигавшее его изнутри нетерпение удвоилось. Казалось, что все время до сих пор он спал и вдруг проснулся. Его терпению пришел конец; паломники бесцельно бродили вокруг автобуса, моментально сникнув, так как пение смолкло, а они все еще находились в его власти, а ведь в любой момент кто угодно мог проехать по дороге и свернуть на проселок.

– Пошли, – сказал Амар Мохаммеду, и они двинулись обратно к дороге.

– Куда мы идем? – поинтересовался Мохаммед.

– Я хочу повидаться с другом, но пойду один.

– А как же мои деньги?! – воскликнул Мохаммед.

Амар был доволен: именно на такую реакцию он и рассчитывал. Теперь будет несложно расквитаться и пусть себе идет на все четыре стороны.

– Ah, khlass!¹ – сказал он, скривив губы. – Твои деньги! Вижу у тебя одни только деньги на уме. – Он смотрел по сторонам, выискивая стену или изгородь из кактусов, за которой можно ненадолго скрыться; пока не удастся ничего найти, придется завести длинную речь, осуждая скаредность Мохаммеда. Наконец он увидел впереди брошенную хижину. – Подожди тут, – бросил он Мохаммеду, когда они подошли поближе. Амар видел, что Мохаммед старается ни на миг не упускать его из виду, опасаясь, что он удерет, не рассчитавшись, но вряд ли решится последовать за ним в хижину, где Амар якобы собирался справить нужду. Внутри было светло: крыша давно провалилась. Амар вытащил деньги и пересчитал. Щедрость назарейки превзошла все его ожидания: в пачке было восемь тысячефранковых и две пятисотфранковых банкноты. Амар любовно разглядывал деньги. «Мои, – подумал он, но сразу же поправился. – *Jiaoui*. Нисполненные. Так было предначертано». Вот для чего Аллах распорядился, чтобы мужчина забрал его из кафе, накормил и позаботился о нем. Правда, была еще одна сторона вопроса: дружба и то, как мужчина его понимал, но Амару сейчас было трудно разобраться во всем этом, и он решил не раздумывать. Аккуратно сложив деньги, он снова спрятал их в карман. Потом вытащил двести франков из носового платка, в котором были завязаны его собственные сбережения, и положил их в другой карман. Выйдя, он увидел, что Мохаммед стоит там, где он его оставил, тревожно поглядывая на дверь, словно опасаясь, что Амар может попросту раствориться в воздухе. Это была загадка, которую Амару не удалось постичь. Богатым не было стыдно показывать, что они заботятся о своих деньгах. Человек, у которого и было-то всего двадцать риалов, само собой, выложил бы их, чтобы заплатить за всех участников чаепития, но обладатель тысячи

¹ Ах, перестань (*араб.*).

перед уходом из кафе принялся бы шарить по всем карманам, приговаривая вслух: «Ну-ка посмотрим, всего шесть человек, с каждого по пятнадцать франков, то есть восемнадцать риалов. У меня мелочи только пятнадцать франков – как раз моя доля. Пусть уж лучше каждый платит за себя». Для бедняка подобное поведение было немыслимо: после этого он, пристыженный, уже никогда не смог бы смотреть друзьям в глаза. Но богатые не обращали на это внимания. «Все станет иначе, как только уберутся французы», – любил думать Амар. Представление о независимости легко сливалось с представлением о социальном равенстве.

Мальчики быстро пошли вперед; Амар позабыл о монологе, который собирался произнести. Мохаммед, решивший, что Амар снова забыл про деньги, не утерпел и напомнил. Амар остановился, сунул руку в карман и достал двести франков. Ни слова не говоря, он протянул их Мохаммеду. Они пошли дальше.

– Доволен? – спросил Амар, как ему казалось, с тонкой иронией. Мохаммед пристыженно промолчал.

Когда они вышли на проселочную дорогу, уходившую через поля на юг, Амар снова остановился и твердо произнес:

– Как-нибудь увидимся. V'slema.

Мохаммед проводил его взглядом. Так уж устроен мир, думал Амар, шагая по дороге. Он хотел подружиться с Мохаммедом, но у того не хватило ума это понять. Амар дал ему второй шанс, но Мохаммед и им не воспользовался. Хотя на самом деле все складывалось как нельзя лучше: теперь Амар получил полную свободу действий, а присутствие Мохаммеда наверняка сковывало бы его.

Он дважды оглянулся, чтобы увериться, что Мохаммед пошел по другой дороге; в первый раз он заметил, что Мохаммед остановился, словно размышляя, не вернуться ли ему и не потребовать ли еще денег; во второй он уже направлялся к городу и был довольно далеко.

Кругом лежали выжженные солнцем поля, только мертвая желтая стерня покрывала потрескавшуюся землю. Но насекомые жужжали и гудели в окаймлявших дорогу растениях, а если попадалось дерево, то в ветвях его порхали птицы. Когда человек страдает от жажды, птички трели кажутся ему прозрачными ручейками, которые, журча, льются с неба. Об этом говорил ему отец, но теперь Амар не понимал, чем могут помочь ему птицы. А может, и помогали; может, без них его жажда была бы сильнее.

Примерно через час он дошел до места, которое искал: ответвляясь от дороги, тропинка вела между застывших колючих агав прямо через голую равнину к дороге на Айн-Малку. Идти пришлось долго; все, выглядевшее маленьким и близким, на деле оказывалось намного дальше и больше, чем можно было подумать. Солнце уже клонилось к закату, когда Амар подошел к оливковой роще. На этот раз мотоциклист ему не встретился, и он дошел до дома, не нарушая стройного пения цикад, раздававшегося вдоль обочины. Дойдя до двери, он на какое-то время замялся, ему вдруг захотелось стучать. Но, раз уж он явился сюда, другого выхода не было, и, потянув железное кольцо, он дважды ударил в дверь. Звук оказался на удивление громким, но миг спустя вновь воцарилась тишина.

Амар внимательно прислушивался – не раздадутся ли внутри голоса. Пение цикад было слишком громким.

Прошло довольно много времени. Если никто не ответит, Амар решил сесть где-нибудь недалеко от дома в кустах и ждать, пока не вернется Мулай Али. С того места, где он стоял, он оглядел буйно заросший сад, выбирая подходящую позицию для наблюдательного пункта. Позади раздавался щелчок, Амар обернулся. Дверь открылась настолько, что в щель можно было различить часть лица.

– Махмуд? – неуверенно спросил Амар, и голос его прервался, как случалось иногда, когда он не вкладывал в него

достаточно силы. Имя пришло ему в голову в тот самый момент, когда он вымолвил его. Но, кто бы это ни был, дверь тихо закрылась, и Амар снова остался один. На этот раз он прождал еще дольше, но уже зная, что по крайней мере кто-то внутри есть, хотя в доме по-прежнему не слышалось ни единого звука, словно это была необитаемая развалина. Из рощи доносились крики какой-то птицы: две чистые нотки – пауза – две чистые нотки.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ

На этот раз дверь распахнулась очень быстро, высокий человек в сером тарбуше и с бельмом на глазу стоял на пороге, направив ствол большого блестящего револьвера прямо в грудь Амару.

– Добрый день, – произнес мужчина, и, услышав его низкий голос, Амар вспомнил, как его зовут.

– Yah, Lahsen, chkhbarek? Как дела? – начал он, и сразу понял, что, пожалуй, выбрал слишком развязный тон: мрачное лицо высокого мужчины не дрогнуло.

– Входи, – сказал Лахсен, пропуская Амара, но по-прежнему держа его на прицеле. «Интересно, он считает, что я испугался?» – думал Амар. Поднимаясь по лестнице, он услышал, как Лахсен закрывает дверь на задвижку. Дойдя до галереи, они не пошли в большую комнату, где Амар был в первый раз, а двинулись по выщербленным плитам в самый конец – жужжанье пчел не смолкало вокруг, – пока не остановились перед маленькой дверцей.

– Открывай, – сказал Лахсен.

Три ступеньки вели в другую галерею, протянувшуюся под прямым углом к первой. Этот уголок дома был еще более обшарпанным, чем прочие: плиток на полу почти не осталось, ветхие стены потрескались и облупились, а прогнившие стропила нависали так низко, что Амару с Лахсеном то и дело приходилось пригибаться. Ступив вперед, Лахсен открыл дверь справа. Внутри было полутемно, единственное маленькое окошко прикрывала пожелтевшая газета, в воздухе, стылом и жарком, как в любой запертой комнате в летнее время, стоял сухой, затхлый запах медленно скапливающейся пыли. Лахсен закрыл дверь, и Амар, протиснувшись внутрь, слышал его тяжелое дыхание.

Неожиданно в комнату хлынул свет. Дверь прямо перед Амаром распахнулась. Мулай Али в зеленом шелковом хала-

те стоял, держась за дверную ручку. За его спиной уходили вверх ступени узкой деревянной лестницы – прямо в небо, как показалось Амару.

– El aidek mebrouk. Поздравляю с праздником, – ласково произнес Мулай Али без малейшей иронии. – Ступай за мной.

Он повернулся и стал подниматься по лесенке перед Амаром, Лахсен замыкал шествие.

Небо – вот что прежде всего увидел перед собой Амар, небо, которое переполняло комнату, стены которой состояли практически из одних окон. Часть их была открыта, и за ними в угасающем свете дня можно было разглядеть горы, равнину, верхушки олив, а впереди – только крышу дома, возвышавшуюся над комнатой. Амар радостно озирался, все вместе произвело на него сильнейшее впечатление. Мулай Али наблюдал за ним. В комнате были только большой стол да несколько тяжелых кожаных подушек на полу. На столе, с одной стороны, были свалены книги, журналы и газеты, на другом конце стояла пишущая машинка.

– Садись. Ну как, нравится тебе мой кабинет?

– Никогда в жизни не видел такой комнаты, – ответил Амар, оглядываясь на Лахсена, который присел у двери, не выпуская из рук револьвера. Мулай Али перехватил его удивленный взгляд и рассмеялся.

– Сегодня Лахсен – мой телохранитель. Наконец-то человек, которому я могу доверять. – (Лахсен довольно заворчал.) – А все другие пташки разлетелись по своим друзьям.

– Вы имеете в виду полицию? – потрясенно спросил Амар.

Мулай Али изучающе поглядел на него, слегка склонив голову набок.

– Нет, – невозмутимо ответил он. – Но они слишком много болтали, а это почти то же самое. Видишь ли, меня сегодня здесь нет. Ты думаешь, что перед тобой – я, но на самом деле я в Рабате.

Внезапно переменив тон, он спросил, как показалось Амару, с угрозой:

– А откуда все эти мысли о полиции? Зачем кому-то идти в полицию? Почему ты вообще про нее вспомнил? Боюсь, придется тебе объяснить. А то я что-то не понимаю.

Спускались сумерки, и с гор через равнину потянуло свежим ветерком, который, влетев в открытое окно, коснулся щеки Амара. Если бы Мулай Али действительно решил разыгрывать перед ним святую невинность, он вряд ли бы упомянул о Рабате.

– Не знаю, – просто ответил Амар. – Мне кажется, французы хотят вас арестовать. Разве они не готовы схватить всякого, кто борется за свободу?

Мулай Али прищурился.

– Думаю, ты прав, – ответил он, глядя в окно на растянувшуюся кругом равнину. – Думаю, им бы хотелось меня схватить. Поэтому-то я и не говорю людям, где я.

Он повернулся и пристально поглядел на Амара.

Амар молчал, гадая, объяснить ли цель своего появления прямо сейчас или подождать еще немного. Пока мы будем играть в шарады, подумал он, и Мулай Али не прекратит допытываться, что мне известно, а я не перестану гадать, в чем он меня подозревает, все бессмысленно. К тому же его одолевало малоприятное чувство, что пока ситуация остается неясной, с каждой минутой растет опасность, что Мулай Али может принять какое-нибудь непоправимое решение.

– Я видел Бенани, – неожиданно сказал он.

– Понятно, – ответил Мулай Али и выжидающе замолчал. (По крайней мере, не спросил: «А кто такой Бенани?»)

Последовала пауза, после чего Мулай Али невозмутимо спросил:

– А кого еще видел?

– Не знаю, как их зовут, тех, что были с ним.

– Я не о них, – спокойно произнес Мулай Али. – Их я знаю. Я имею в виду, кого еще ты видел, с тех пор как был здесь три дня назад?

Всего три дня, подумал Амар, а как будто прошел целый месяц. В розовых лучах заходящего солнца большая круглая рана на ноге Лахсена, казалось, пылает. Амар вздохнул. Да, это походило на допрос, который учинил ему Бенани; итак, все по новой.

– Я видел родных и Мохаммеда Лалами.

– Кого? – резко переспросил Мулай Али. Амар повторил имя своего приятеля.

– Кто он такой?

– Один *дефри*, который живет в медине. Тот самый, который расквасил мне нос в прошлый раз, – весело добавил он. – С которым мы ездили вместе в Айн-Малку.

– Кого еще? – настойчиво повторил Мулай Али.

Амару даже не пришло в голову упомянуть о двух туристах: они и время, которое он провел с ними, были частью другого, далекого мира, не имевшего ничего общего с миром, где они жили и о котором шла речь сейчас.

– Больше, пожалуй, никого, – сказал он.

– Понятно.

Видеть сейчас лицо Мулая Али было малоприятно. Его черты исказились, точно сведенные судорогой, передернулись, как умирающая змея, затем на долю секунды показалось, что он сейчас разрыдается, но вместо этого он глубоко вздохнул и широко открыл глаза. Амар испугался, потому что сообразил, что Мулай Али вне себя от гнева. Тот яростно взвыл, вскочил на ноги и принялся быстро-быстро говорить.

– Почему в тебе нет ни капельки уважения ко мне?! – крикнул он. – Уважения! Уважения! Простого уважения! Если бы ты хоть чуточку уважал меня, то сообразил бы своей ослиной башкой, что мне врать нельзя. Где ты спал прошлой ночью?

Он, как башня, возвышался над Амаром, по телу его, когда он говорил, пробегала едва заметная дрожь. Амар инстинктивно вскочил и немного отступил, так что теперь их разделяла лежавшая на полу подушка.

– Я вообще не спал, – ответил он с видом оскорбленного достоинства. – Я был в Сиди Бу-Хта, ездил смотреть *фраджа*.

Мулай Али возвел глаза к потолку. У Амара мелькнула мысль, что чем больше он поддавался гневу, тем меньше уважения внушал, потому что становился похож на самого обычного человека.

– Нет, каков лжец! Вы только послушайте его!

Он повернулся и наклонился к Амару.

– Ты провел ночь в полицейском участке. Вот где. Могу подсказать, если у тебя такая плохая память.

Он грубо притянул Амара к себе и стал обшаривать его карманы, пока не наткнулся на деньги, после чего тут же отпустил его и слегка ударил по щеке пачкой банкнот. Конечно, это было не больно, однако большего оскорбления нельзя было придумать. Ни секунды не задумываясь о последствиях, Амар размахнулся и изо всех сил ударил кулаком по пухлому подбородку Мулая Али. Лахсен мигом вскочил, пистолет в его руках неожиданно оказался прямо перед лицом Амара, и в тот же самый момент Мулай Али одним ударом сбил Амара с ног. Амар ползал по полу, стараясь укрыться за подушкой, на которой только что сидел, машинально потирая лицо и не спуская глаз с Лахсена.

Мулай Али пересчитал деньги и бросил их на стол. Платок, в котором были завязаны собственные деньги Амара, он все еще держал в руках и небрежно помахивал им.

– Девять тысяч франков! Вот уж не думал, что они меня так высоко ценят, – саркастически, но уже спокойно сказал он, и на лице его мелькнуло удивление.

Амар вышел из себя. Он ни в чем не виноват, а с ним обращаются как с преступником – этого он не мог стерпеть. Этот человек не был ему отцом, и Амар не чувствовал себя перед ним в долгу. И пусть Лахсен стреляет. Пусть.

– Ты хочешь сказать, что не знал, что они так ценят меня?! – крикнул Мулай Али.

Лахсен угрожающе заворчал, но Мулай Али оттолкнул его обратно к дверям.

– Сядь, – сказал он. – Я и сам справлюсь с этим *уилдом*. Очень интересный экземпляр. Никогда не видел подобной твари.

Он начал расхаживать взад-вперед: пару шагов в одну сторону, потом обратно.

– Много я повидал в своей жизни *чкама*, практически только с ними я и общался. Большинство таких *драфи*, как ты, кончают тем, что становятся доносчиками, в этом нет ничего необычного, – присовокупил он с коротким смешком. – Но, похоже, такого, как ты, мне еще встречать не приходилось.

– Тогда глядите хорошенько, – прервал его Амар, едва сдерживая рыдания от нахлынувших чувств (каких – он и сам не знал), – потому что другого такого уже не увидите. Человек вроде вас, привыкший к кузнецам, не встречается с торговцами пряностями. Пусть Аллах хоть немного вразумит вас. Клянусь, мне вас жаль.

Мулай Али фыркнул и повернулся к Лахсену.

– Нет, ты только послушай! – изумленно воскликнул он. – Ты хоть раз слышал что-нибудь подобное? – И, обернувшись к Амару, сказал: – Надеюсь, что я и без помощи свыше, своим умом обойдусь.

Последние слова Мулая Али были неприкрытым богохульством. Амар посмотрел на него, отвернулся и яростно плюнул. Затем снова повернулся к Мулаю Али и заговорил тихим, напряженным голосом:

– Я шел сюда и радовался, что увижу вас, хотя и знал, что вы не мусульманин.

При этих словах Мулай Али открыл рот и снова закрыл его.

– Я и вправду уважал вас, очень уважал, потому что думал, что у вас есть голова на плечах и вы на стороне мусульман. Но вместо этого вы ткете для нас паутину, *анкабуц*, и пусть Всевышний, который прощает всех, услышит мои слова, потому что это так.

Он всхлипнул, зарылся головой в подушку и зарыдал.

В какой-то момент Мулай Али остановился, изумленно глядя на Амара, теперь он снова принялся расхаживать по комнате, растерянно потирая подбородок. Солнце село, в комнате становилось темно.

– Скажи Махмуду, пусть принесет лампу, – обратился он к Лахсену; тот встал и, прежде чем выйти, отдал ему револьвер. Мулай Али спокойно положил его на стол рядом с машинкой и остановился, наблюдая за Амаром. Взяв деньги, он несколько раз щелкнул по ним ногтем. Потом, явно приняв какое-то решение, подошел к стоявшему на коленях Амару и тронул его за плечо. Амар поднял голову, но тут же спрятав жалкое, заплаканное лицо и ничего не сказал.

– Когда захочешь выговориться, – ласково произнес Мулай Али, – расскажи мне все.

Амар глубоко вздохнул и покачал головой.

– Какая от этого польза? – пробормотал он.

– Это уж мне решать, когда я все узнаю, – ответил Мулай Али уже не так ласково. – Я хочу услышать от тебя все, все, что ты делал с тех пор, как покинул мой дом.

Все еще вздыхая, Амар поднялся с пола и снова сел на подушку. Он рассказал, как добрался до Виль Нувель, о грозе, о заплутавшем автобусе, о ярмарке, об игрушечном матросе и обо всех прочих подробностях того вечера. Раздругой он слышал, как Мулай Али хмыкнул, это приободряло его и заставляло продолжать свою повесть. Встреча с туристами, казалось, крайне заинтересовала его слушателя, он долго расспрашивал о них, но наконец попросил Амара продолжать, начав с того места, когда он шел с туристами и полицейскими по улице и слышал голос Бенани. В эту минуту дверь открылась, и вошел Махмуд с большой масляной лампой, которую он поставил на стол. Он уже хотел было выйти, но Мулай Али остановил его.

Свет лампы падал в лицо Амару.

– Наверное, хочешь перекусить, – сказал Мулай Али, заботливо на него глядя.

Амар, казалось, уже давно позабыл о том, что в мире существуют голод и жажда. И если он согласился, то только лишь из вежливости.

Махмуд вышел.

– Продолжай, – сказал Мулай Али. – Так тебе показалось, что Бенани решил, что тебя арестовали?

– Да, показалось, – ответил Амар и продолжал свой рассказ, слишком усталый, чтобы отличать существенные подробности от второстепенных, а потому просто упоминая все, что приходило ему в голову; резной потолок в гостиничном номере, болтливую леди, толстого француза-официанта, который, всякий раз как хозяин выходил из комнаты, приносил ему, Амару, что-нибудь поесть, а пока он ел, все время щипал его за щеки, как ему удалось уговорить Мохаммеда Лалами поехать вместе в Сиди Бу-Хта, рассказав, что назарейка очень похотлива и переспала с ним прошлой ночью, и как Мохаммед, оставаясь наедине с ней, весь начинал дрожать, и болтал невесть что. «А потом мы ходили смотреть айсауа, и хадауа, и джилала, и хамача, и деркауа, и генауа и все эти мерзости, потому что назарею нравятся танцы». Он скривился при этом воспоминании. «Прямо тошнит смотреть, как все эти люди кривляются и прыгают, точно обезьяны».

– Да, конечно, – согласился Мулай Али. – Ну, а потом?

– Потом я услышал, как они говорят про то, что творится в медине, и мне захотелось домой.

– Но вместо этого оказался у меня. Почему? Может быть, ты понадеялся, что я помогу тебе пробраться в медину?

Амар ответил, что да, и Мулай Али рассмеялся, слегка польщенный его простодушием.

– Друг мой, – сказал он, – если бы я мог помочь тебе пробраться в медину, то я мог бы выставить всех французов из Марокко сегодня же утром. Продолжай.

Но Амар не слышал его. До него только сейчас дошел смысл сказанного Мулаем Али, он с отчаянием посмотрел ему прямо в лицо. Было бессмысленно говорить о своей сестре и матери. Таких сестер и матерей были тысячи. И все же он попытался как-то сказать об этом. Мулай Али только печально улыбнулся в ответ.

На подносе, который принес Махмуд, был хлеб и тарелка супа.

– Bismil'lah, – пробормотал Амар и принялся машинально жевать хлеб. Мулай Али внимательно следил за ним поверх миски, наблюдая за тем, как просыпающийся голод постепенно отвлекает сознание мальчика. Он ничего не сказал, пока Махмуд не вошел со вторым подносом, на котором в большом глиняном горшке был тахин из баранины и баклажанов с лапшой.

– Быть может, я смогу помочь тебе, – сказал он наконец. – У меня есть кое-какие связи. Может, удастся узнать что-нибудь о твоей семье.

Амар удивленно уставился на него. Мысль разузнать что-то о своих домашних, не возвращаясь домой, не приходила ему в голову.

– Ты хотел бы этого? – спросил он. Амар ничего не ответил. Что проку было узнавать что-то о своей семье, если он все равно не мог оказаться сейчас рядом и увидеть их всех собственными глазами? И как он может доверять каким-либо новостям, плохим или хорошим? Но он видел, что Мулай Али изо всех сил старается ему помочь, а потому сказал: «Я буду очень рад, Сиди».

– Посмотрю, что мне удастся. А теперь рассказывай дальше.

Больше почти и нечего рассказывать, сказал Амар. Мохаммед и дама говорили по-французски о боях в медине. Прислушиваясь к их разговору, он очень расстроился. А когда Мохаммед вышел, дама подозвала Амара, раскрыла бумажник и, убедившись, что никто не видит, сунула ему пачку денег.

Когда он стал описывать, какие жесты делала леди, чтобы дать ему понять, что речь идет о пистолете, Мулай Али прервал его, восхищенно воскликнув: «Ай, толковая баба!» Когда же он дошел до поездки на автобусе и того, как всех горцев забрали в тюрьму, Мулай Али, резко помрачнев, сказал: «Что ж, чем хуже, тем лучше». Амар очень удивился, потому что ожидал совсем иной реакции. Возможно, чувствуя это, Мулай Али почти сразу добавил:

– Когда они вернутся в горы, каждый из них, произнося слово «француз», не будет чувствовать ничего кроме ненависти.

Амар задумался на минутку.

– Это верно, – согласился он. – Но некоторых убили.

– Они погибли за свободу, – отрезал Мулай Али. – Помни об этом.

Какое-то время они сидели молча. Через открытые окна крепнущий ночной ветер донес издалека собачий вой. Амар глядел на искаженные отражения их движений в светлых стеклах, за которыми стояла тьма. Махмуд принес большую миску очищенных апельсинов, приправленных корицей и розовой водой. Когда трапеза была закончена. Мулай Али сел прямо, вытер рот салфеткой и сказал:

– Да, они погибли за свободу. И поэтому я не буду просить у тебя прощения за то, что был излишне груб. Это оскорбит их память. Я проявил подозрительность и ошибся, но я был прав, что проявил ее. Понимаешь? Первой моей мыслью было: нет, он не мог пойти к французам, ведь сделай он так, он ни за что бы не вернулся сюда.

– Вот видите, – сказал Амар, довольный.

– Но потом я подумал. Подожди. Они использовали его как проводника, вот почему он один. Сами же поджидают снаружи.

– О! – сказал Амар. Теперь он подумал, что если французы по какому-то ужасному и несчастливому стечению обстоятельств все же нагрянут в дом Мулая Али, тот наверняка

заподозрит, что Амар к этому причастен. Этой мыслью он решил поделиться с Мулаем Али.

– О нет, нет, – ответил тот успокаивающе. – Если бы они пришли с тобой, уже давно ворвались бы в дом. Когда французы научатся терпеть и выжидать, верблюды будут молиться в Каруине.

Слова утешения тут же привели в Амаре в действие множество сил, и от этого ему непреодолимо захотелось закрыть глаза; он почувствовал, что мысли его цепенеют, а тело быстро сковывает неподвижность сна. Мулай Али продолжал говорить, но Амар различал только звук его голоса.

– Вставай, вставай, – произнес громкий голос. – Нельзя же, право, засыпать так.

Мулай Али поднялся и стоял над ним.

– Вставай и иди за мной, – сказал он. С фонариком в руке он провел Амара вниз по лестнице, через душную маленькую комнату на заднюю галерею, где на циновке лежал человек. Увидев Мулая Али, он заворчал и сел.

– Эй, Азиз, – негромко обратился к нему Мулай Али. Они двинулись дальше по неровному полу.

Открылась еще одна дверь, луч фонарика быстро обшарил пол и стены. На полу лежала циновка.

– Теперь, я думаю, ты проспишь до утра, – сказал Мулай Али.

– Иншалла, – ответил Амар. Потом, насколько осталось сил и чувств, поблагодарил Мулая Али и повалился на циновку.

– Lah imsik bekhir¹, – сказал Мулай Али, закрывая дверь. За окном пели цикады.

¹ Спокойной ночи (*араб.*).

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ

Бывают утра, когда глаз едва успевает уловить первый лучик света, а слух – первые нехитрые звуки, а сердце уже уверено, что существует в едином ритме с некоей беззвучной музыкой, знакомой, но забытой, потому что когда-то давно она прервалась, но сегодня вдруг послышалась вновь. Беззвучные мелодии пронизывают сознание, даже не всколыхнув его, как ветер, проходящий сквозь ячейки сети, но вместе с тем мы безошибочно чувствуем, что они здесь – в нас и вокруг. Человека, который никогда не знал подобного утра, его приход погружает в оцепенение.

Проснувшись, Амар услышал клекот гусей, заглушающий нежный щебет птиц, на мгновение прислушался к непривычным звукам, разносившимся по дому, – хлопанью дверей, разговорам слуг и шуму их работы, – и, не открывая глаз, погрузился в меланхоличные, но приятные воспоминания о детстве – иной жизни, завершившейся так давно в Хериб-Джераде. Ему припомнились мелкие происшествия, ни разу не всплывавшие в памяти с тех пор, и одно большое событие: как он подрался со Смаилом, своим единственным другом из окрестных мальчишек, который вместо того, чтобы ударить Амара, вцепился зубами ему в шею и разжал челюсти лишь после того, как подошедший мужчина надавал ему тумаков. До сих пор сохранились следы этих острых белых зубов; если бы парикмахер выбрил Амару волосы на затылке, отметины стали бы видны. В тот вечер старейшины из деревни с фонарями и факелами пришли извиняться перед его отцом и, самое главное, услышать слова прощения от Амара, потому что, откажись Амар, дела для них обернулись бы плохо, пока они не принесли бы подношение молодому Шарифу, которого обидел один из местных. И Амар действительно отказался, так как ему было еще очень больно, поэтому они явились и на следующий день, ведя красивую белую

овцу, которую передали отцу Амара, чтобы их дома и посевы не постиг гнев Аллаха. Помнится, отец очень расстраивался. «Почему ты не хочешь простить Смаила?» – спросил он сына. «Я ненавижу его», – с яростью ответил Амар, и больше об этой истории не было сказано ни слова.

Он вспоминал реку и заводи у ее высоких глинистых берегов, где он играл; нарядную одежду, которую всегда надевал, когда они отправлялись на автобусе в Хериб-Джерад, потому что в те дни у них водились деньги и его мать не стеснялась заказывать Амару накидки, штаны, фуфайки и башмаки у лучших портных и сапожников Феса. Он вспоминал, слушая птиц, певших совсем близко и вдалеке, и ему казалось, что сладкая печаль, которую он испытывал, будет длиться, покуда он жив, потому что она была частью его самого; он перестал быть собою, когда его оторвали от дома. Теперь он был никем, лежал на циновке нигде, и не было нужды что-то делать, кроме как оставаться никем. Ненадолго он задремал, мягко соскальзывая в глубины сна, теряя из виду горизонты бытия, потом снова проснулся. Казалось, он плывет в ласковом океане, следуя воле волн.

Чуть позже дверь тихо отворилась: Мулай Али заглянул к нему по дороге в свой кабинет, но Амар дремал, и Мулай Али закрыл дверь и оставил его в покое. Потом он снова заглянул ближе к полудню, увидел, что Амар все еще не встал и решил разбудить его. Довольно бесцеремонно Мулай Али потряс его за плечо и сказал, что уже очень поздно; выйдя, он кликнул Махмуда, который отвел Амара, еще совсем сонного, в комнату, где стояла кадка с холодной водой и лежал кусок мыла. Тщательно умывшись, Амар окончательно проснулся. Он вышел на галерею, и почти сразу же появился Махмуд: он принес большой медный поднос и поставил его перед Амаром у дверей ванной комнаты.

– Поешь здесь, – сказал Махмуд. – Тут прохладнее.

Пока Амар управлялся с завтраком, на галерее показался Мулай Али. Вид у него был усталый и несчастный.

– Доброе утро. Как спалось? – поинтересовался он и, не дожидаясь ответа, прошел к себе в кабинет. Уже в дверях он обернулся и сказал: – У меня, может, будут для тебя новости, но позже.

Потом пришел Махмуд посмотреть, закончил ли Амар завтрак; но Амар еще ел, и Махмуд стоял, глядя на него.

– Знаешь, тебе нельзя выходить из дома, – неожиданно сказал он.

Известие не удивило Амара и даже не заинтересовало. В любом случае ему нечего было делать вне этих стен, не с кем видеться, некуда пойти: кругом были только оливковые деревья, жаркое солнце и стрекот цикад. Он был вполне доволен, что можно сидеть дома, равнодушно наслаждаясь бездельем, которое принес этот день.

Махмуд явно почувствовал его апатию, так что, поднимая поднос, сказал: «Пошли» и отвел Амара в большую комнату, где он когда-то сидел с другими мальчиками. Сегодня здесь царил еще больший беспорядок: на подушках валялись раскрытые газеты, полные окурков пепельницы стояли по всему полу, а в углу притулился столик с распотрошенным радио: детали были разбросаны вокруг пустого корпуса. На одной из подушек лежало несколько экземпляров египетского иллюстрированного журнала. Амар сел и стал наугад листать: в каждом были фотографии Марокко. Французские полицейские указывали на большой стол, заваленный пистолетами и кинжалами; раненым мусульманам оказывали помощь на улице их соотечественники; ребенок бродил среди развалин взорванного дома; пятеро мусульман лежали в искаженных смертью позах на улицах Касабланки – автобусы и машины проезжали всего в нескольких шагах от мертвых тел, а французский солдат элегантно указывал на них фотографу кончиком ботинка. Непонятно было, отчего эти издания подвергаются такому строгому запрету, тогда как точно такие же фотографии появлялись во французских журналах,

продававшихся в лавках Виль Нувель. Но можно ли вообще постичь придуманные французами законы, если не предположить, что все они изданы с одной лишь целью: сеять тревогу и беспокойство, оскорблять и мучить мусульман? На других страницах были снимки египетских солдат в красивой форме, ведущих танки, проверяющих работу пулеметов, обучающих новичков технике метания гранат, наблюдающих за маневрами армии в пустыне и марширующих в шортах цвета хаки по роскошным улицам Каира. Все выглядели счастливыми и здоровыми; женщины и девушки приветственно махали из окон домов. Амар вновь раскрыл журнал на фотографиях Марокко, испытывая мазохистское наслаждение от контраста между сценами разрушений и смерти и взводами победоносно марширующих солдат.

Амар оглядел комнату, в ней ему почудилась суть печальной заброшенности Марокко. Магриб-аль-Акса – Крайний Запад – таково было название его страны. Да, именно край, дальняя граница ислама, за которой не было ничего, кроме пустынного моря. Жителям Марокко оставалось только с тоской и завистью следить за славными событиями, преобразующими облик других мусульманских стран. Страна их напоминала огромную тюрьму, узники которой почти утратили надежду на свободу, и все же отец Амара помнил ту пору, когда она была самой богатой и прекрасной землей во всем исламском мире. И даже сам Амар помнил грушевые и персиковые деревья, росшие в садах за городскими стенами возле Баб Сиди-бу-Джиды, до того как французы повернули русло реки, направив воду на собственные земли, и деревья засохли под лучами летнего солнца.

В комнату проник резкий запах керосина: кто-то неосторожно пролил его, наполняя лампы. Амар поднялся и стал бесцельно бродить по комнате. Да, она была миниатюрным воплощением Марокко; отсюда даже нельзя было выглянуть наружу, так как окна располагались намного

выше человеческого роста. Подойдя к двери, Амар прислушался к протяжному жужжанию пчел, смутно думая о том, хватит ли силы их яда, чтобы убить человека, если тот попытается разрушить их гнезда.

На пороге появился Мулай Али; он шел по задней галерее и, заметив Амара, подошел к нему и взял за руку.

– Зря ты пришел сюда, – сказал он. – Отпустить я тебя не могу, а сидеть взаперти тебе скоро надоест. – Он завел Амара обратно в комнату и закрыл дверь. – Однако в мире сегодня творится что-то ужасное, просто что-то ужасное. – Сказав это, Мулай Али достал из кармана узелок с деньгами Амара, пачку банкнот, которую дала назарейская дама, и пакетик кифа, купленный в кафе «Беркан» для Мустафы. Потом быстро, почти с отвращением сунул пакетик в руку Амара. – Зачем тебе эта дрянь? – спросил он. – А я-то считал тебя умным парнем.

Амар, который напрочь забыл о пакетике, с ужасом увидел его у себя на ладони.

– Но это не мое! – воскликнул он, глядя на киф.

– Я нашел это у тебя в кармане.

– Это для брата. Я купил для него.

– Если бы ты любил своего брата, то, наверное, не стал бы заковывать его в кандалы?

Амар не нашелся с ответом. Мулай Али ясно высказал то, на что Амар только смутно надеялся: киф станет цепью, которая скует Мустафу. Если изображать невинность, он будет выглядеть безнадежным глупцом в глазах Мулая Али, если сказать правду, он, возможно, покажется ему бесконечно испорченным. Мулай Али стоял, выжидаяще на него глядя.

– Мы с ним не очень-то ладили, – наконец пробормотал Амар.

Выражение на лице Мулая Али быстро менялось.

– Хочешь сказать, – недоверчиво произнес он, – что твоему брату нравится киф и ты специально достаешь его, чтобы подорвать его здоровье и ослабить ум – так, чтобы он ни на что не был годен? Так?

Амар смущенно признал, что именно таков был его план. Раз уж он рассказал Мулаю Али обо всем, можно сказать и об этом.

– Но брат уже и так ни на что не годится, – пояснил он, – и вообще я ему его не давал.

Мулай Али тихо, протяжно присвистнул.

– Ну, мой друг, ты просто молодой сатана. Это все, что я могу сказать. Сатана на все сто. Однако вот твои деньги. Возьми, а то я могу позабыть.

Уже в дверях он повернулся и погрозил Амару пальцем.

– И не вздумай купить на них пистолет, *сатси*? Если, конечно, не хочешь провести остаток дней в Айт-Базе.

Заметив, какой у Амара понуренный вид, он остановился и взглянул на него.

– Сегодня вечером должны прийти несколько друзей, если, конечно, их прежде не убьют или не арестуют. Они споют для тебя песню. Ты слышал песню про Аишу бент-Айссу?

– Нет, – ответил Амар. Известие о появлении новых людей слегка красило день.

– Тебе обязательно нужно услышать эту песню, – сказал Мулай Али, выходя.

Чуть позже неряшливо одетый мальчик принес поднос с фруктами, хлебом и медом, ухмыльнулся, глядя на Амара, и снова вышел. Амар жадно принялся за еду. «Ed dounia mat-zianache, – сказал Мулай Али, – в мире творится что-то ужасное». Вряд ли мир мог сильно измениться к худшему со вчерашнего дня, подумал Амар, но мрачные предчувствия охватили его, и ему стало страшно. Поев, он убрал газеты и журналы с самой удобной циновки, лег, свернувшись калачиком, долго глядел на небесную синь за дальним окном и наконец закрыл глаза. Так он пролежал до вечера, охваченный меланхолией, бороться с которой помогало только воспоминание о словах Мулая Али, что вечером, возможно, заглянут друзья, а стало быть, удастся хоть с кем-то поговорить.

К вечеру, когда свет в небе за квадратами окон померк и жизнь угасла в душной комнате, охватившая Амара печаль стала сильнее, превратилась в головную боль, сжала горло; он почувствовал, что ничто не в силах умерить ее – даже если рыдать дни напролет, даже если умереть. Однажды, давно, когда они с отцом бродили по Зекак аль-Хаджару, где сидят нараспев тянущие свои мольбы нищие, протягивая к прохожим руки в стружьях и демонстрируя увечья, отец сказал Амару: «Когда человек умирает и его хоронят, и ничто уже больше не связывает его с этим миром, его друзья возносят хвалы за то, что он наконец свободен. Но когда влачится по улицам человек, у которого нет друзей, нечем прикрыть свою наготу, негде преклонить голову, нет даже куска хлеба, живой, но уже не совсем живой, мертвый, но еще не умерший, – вот самое страшное наказание Аллаха по эту сторону огненной геенны. Взгляни и ты поймешь, почему раздача милостыни является одним из пяти столпов ислама». Они остановились, и Амар принялся разглядывать нищих, испытывая, впрочем, только смешанное с любопытством отвращение при виде одного из них, чьи губы распухли, превратившись в огромные синевато-красные пузыри, закрывавшие почти все лицо. В его детском уме возникла мысль: что за странное существо Аллах, которое играет с людьми такие шутки.

Теперь ему припомнились слова отца. Такая же жалкая участь вскорости постигнет и его, и всех, но между ними не будет даже порожденной страданием общности, заставляющей нищих помогать друг другу на улицах (когда люди с сучоткой, как больные собаки, ползут впереди, служа поводьями слепцам), потому что каждый будет ненавидеть и бояться ближнего, и никто не будет знать, кто соглядатай, а кто нет, по той простой причине, что каждый, купленный на ту же приманку или подвергнутый той же пытке, будет способен предать ближнего.

Какое-то время предметы в комнате сохраняли четкость очертаний, связанные последними отблесками света, затем контуры их стали более размытыми, предметы теряли цельность, залитые пепельной мутью, и наконец канули во тьму. Амар лежал не шевелясь, преисполненный жалости к себе. Человеку, привыкшему к полной народа медине, не просто сидеть взаперти в загородном доме, но оказаться к тому же в темноте, не имея возможности даже зажечь свет, это было уже чересчур. Но вот на галерее послышались шаги, и миг спустя дверь отворилась. Луч фонарика пробежался по циновкам, выискивая ту, на которой лежал Амар.

– Эй, ты там уснул, что ли?! – послышался удивленный возглас Мулая Али. Амар ответил, что не спит.

– Но что ты делаешь в темноте? И где Махмуд? Почему он не принес лампу?

Амар, для страдающего «я» которого подобная заботливость была истинным бальзамом, объяснил, что не видел Махмуда уже несколько часов – точнее, после завтрака.

– Уж прости его, – сказал Мулай Али, по-прежнему стоя на пороге. – У него сегодня было много дел. Да и все в доме были очень заняты.

– Конечно, – ответил Амар.

Мулай Али предложил ему подняться в кабинет, чтобы проследить за прибытием гостей, которые должны были появиться на проселочной дороге, со стороны Рас-эль-Ма. Пока они, пройдя через пыльную маленькую комнату, поднимались по лестнице, Мулай Али объяснял: «Просто соберутся несколько друзей. Даже когда идет война, человек должен временами веселиться». Впервые Амар услышал, что беды последнего времени называют войной; это слово его вдохновило. Возможно, среди тех, кто придет, окажутся люди, сегодня собственными руками убивавшие французов – герои, которых можно увидеть разве что в журнале или в кино.

Фитиль стоявшей на столе лампы был прикручен так, что она давала только приглушенный желтый свет. Усевшись на подушки, они разговорились, причем Мулай Али то и дело поглядывал в ту сторону, где должны были появиться огни.

– Плохо быть нетерпеливым, – заметил он вскользь, – но сегодня я сам не свой от нетерпения. При такой работе и в такие времена каждый день можно считать за год. Ты знаешь положение с утра, а к вечеру все меняется, и все приходится изучать заново. Но, в конечном счете, побеждает тот, кто сумел лучше других во всем разобраться.

Амар поглядел на холеное лицо Мулая Али. Ясно было, что он так разговорился оттого, что нервничает. Понятно было и то, что он считает себя кем-то вроде генерала в этой борьбе, которую называл войной, и что окружающие воспринимает его именно так. Но генерал не живет в уютном доме со множеством слуг и не проводит время за пишущей машинкой и чтением, продолжал размышлять Амар; на лучшем коне, с самой красивой саблей в руках мчится он впереди своих войск, вдохновляя их отвагу и готовность отдать жизнь. Для этого-то и существуют генералы, они должны подавать пример. Однако, не высказывая своих тайных мыслей вслух, он просто тихо сидел, пока не услышал, как Мулай Али удовлетворенно проворчал: «Ага, наконец-то», – и выпрямился, вглядываясь в ночную тьму. Амар посмотрел в том же направлении, ничего не увидел, но продолжал внимательно наблюдать, пока наконец не различил несколько огоньков, передвигавшихся неравномерно, то исчезающих, то появлявшихся вновь, с каждым разом все ближе.

– Но это не машина, – удивленно сказал он.

– Разумеется, нет, – ответил Мулай Али. – Они едут на ослах. Дорога слишком узкая. – Он встал. – Извини, я на минутку. Они вот-вот приедут. Надо посмотреть, готова ли большая комната.

Сидя один, в полутьме, Амар почувствовал, что сомнения его крепнут. Мулай Али, наверное, был очень хорошим человеком, но он не был мусульманином. Он никогда не говорил «иншалла» и «бисмилла», пил вино, почти наверняка не молился, и Амар ничуть не удивился бы, узнай он о том, что Мулай Али ест свинину и не соблюдает Рамадан. И как такой человек решился возглавить мусульман в их борьбе с бесчинствами неверных?

Пока он думал так, появилось смутное воспоминание о другом человеке; это было всего лишь предчувствие, намек, тень, указание на то, что кто-то был рядом с ним и таинственным образом остается рядом, и, невольно сравнив эту ауру с той, что окружала Мулая Али, Амар решил, что она лучше. Все это происходило в потемках его души, сам же он признавал только некое беспокойное чувство, источник которого и не пытался определить. Но как запах дыма может предупредить об опасности человека, погребенного в глубинах сна, так же и это незримое присутствие кого-то, которое он ощущал как некое внутреннее беспокойство, нашептывало ему о близкой опасности – какой именно, он не знал.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Ужин удался на славу. Компания расположилась на циновках, положенных вдоль стен большой комнаты; все говорили и смеялись. Всего собралось десять человек, включая Лахсена, который запоздал, потому что ехал по шоссе на велосипеде. В самом начале трапезы, когда один из гостей, студент медресе Бу-Анания, попытался заговорить о политике, Мулай Али повернулся к нему и громко заявил, что хочет хоть ненадолго позабыть о работе и невзгодах, так что неплохо бы оставить в стороне злободневные вопросы, пока не закончится ужин. Все шумно поддержали это предложение; в результате студент напустил на себя обиженный вид и демонстративно не произносил ни слова до конца трапезы. Несколько бутылок вина уже опустели, другие ждали своей очереди.

– Эта лампа, – внезапно обратился Мулай Али к Амару. – Подкрути ее, что-то коптит. – Как только появились гости, он обращался к нему точно к адъютанту – роль, которая вовсе не была неприятна Амару, так как предполагала определенную степень близости между ними. Чуть позже он заметил, что это раздражает Лахсена, и весьма обрадовался, поскольку не питал к этому здоровяку дружеских чувств, после того как тот прошлой ночью размахивал пистолетом перед его носом. Лахсен то и дело сурово на него поглядывал, всем видом давая понять, что не одобряет игру, затеянную Мулаем Али. Помня об обвинениях, которыми Амар осыпал его кумира, он раз и навсегда решил, что мальчишка – враг и что крайне неосмотрительно со стороны Мулая Али держать его в доме; с его неизощренной точки зрения для поведения Амара не было никаких смягчающих обстоятельств.

В какой-то момент, словно все договорились заранее, наступила тишина; в паузу, возникшую в шумной беседе, проникла враждебно обступившая их ночь, слышен был лишь обманчиво успокоительный стрекот цикад. Тут же кто-то заговорил

о чем-то, не имевшем ни малейшего отношения к предыдущей теме – так, лишь бы заговорить, нарушить тишину, – и слова его были восприняты всеми с воодушевлением, совершенно не соответствующем интересу, который они представляли.

Появился Махмуд с подносом, уставленным бутылками, в основном пивными. Но среди них был и графин с шартрезом, из которого Амара уже однажды угощали. Мулай Али протянул ему бутылку пива. Когда Амар отказался, он предложил ему ликера. Амар хотел было сказать: «Я мусульманин», – но ответил только: «Я не пью».

– Но ты уже пробовал это однажды, – с удивлением взглянул на него Мулай Али.

– Это по ошибке, – ответил Амар.

Когда Махмуд обошел всех гостей, Мулай Али наклонился к Амару и шепнул ему:

– Новости, которые я обещал раздобыть для тебя – хорошие.

Сердце Амара забилося.

– Не говори об этом, – продолжал Мулай Али. – Я не хочу, чтобы кто-нибудь слышал. У тебя есть старшая сестра? – И, не давая Амару ответить, продолжил: – Твоя мать и младшая сестра три дня назад уехали в Мекнес к ней и ее мужу. Это все, что мне известно. – Затем, уже громко, он через всю комнату обратился к худощавому невысокому мужчине в очках, с тонкими усиками: – Eh! Monsieur le docteur¹ – (Амар в ужасе поглядел на него при звуках ненавистного языка.) – Присаживайтесь. Я хочу у вас кое-что спросить. – Амару же он сказал: – Ты не мог бы немного подвинуться?

Амар прошел на другой конец комнаты и одиноко сел на пухлую подушку лицом ко всему собранию. Двое молодых людей, сидевших ближе всего к нему, на краю циновки, потягивали пиво и обсуждали новости из партийной газеты.

¹ Эй, месье доктор! (*фр.*)

Один из них громко обратился к Мулаю Али:

– Поздравляю, учитель! Я слышал, ваша история о бубонной чуме появилась на плакатах студентов во время вчерашней демонстрации в Рабате. «Марокканцы умирают в концентрационных лагерях не так быстро, как хотелось бы французам. Есть верное средство! Заразить заключенных бубонной чумой – появятся места для новых пленников». Передаю дословно. Скандал был жуткий.

– Я не сомневался, что это сработает, – улыбнулся Мулай Али.

Амар не обращал внимания на разговор, становившийся все громче. Он не уставал возносить хвалы Аллаху за спасение матери и Халимы. Снова прислушавшись к звучащим вокруг словам, он догадался, что на этот раз Мулай Али, должно быть, сказал своим друзьям, что в присутствии Амара они могут чувствовать себя в полной безопасности и говорить все, что вздумается. Теперь, когда напряжение спало, Амара это не могло не порадовать. Три дня назад, сказал Мулай Али. Это был тот самый день, когда он встретил в кафе двух назареев, тот самый день, когда он вышел из дому прогуляться и мать сказала: «Я боюсь». Наверное, они уехали сразу после него, чтобы выбраться из медины, прежде чем ее закрыли после перестрелки. Что могло заставить отца решиться на столь внезапный отъезд? Наверное, Аллах послал ему весть.

– Возможность переговоров полностью отпадает, – говорил между тем доктор. – Они могут присылать нового представителя из Парижа хоть каждый день. Это все равно ни к чему не приведет. Еще на прошлой неделе это было возможно. Даже, пожалуй, вчера. Теперь – ни за что. – Казалось, доктор обращается ко всем присутствующим, и, действительно, все внимательно слушали. – Это был мастерский маневр – взять всех разом.

– Но будет ли для людей это таким жестоким ударом, как нам представляется? – Быстро, высоким голосом спросил

молодой человек в синем деловом костюме. – Так ли уж важен для них *хорм*? Вот что действительно необходимо знать.

– Sksé huwa, – коротко ответил Мулай Али, указывая на Амара. – Вот перед вами ваш народ. Спросите его.

Все, кроме Лахсена, повернулись к Амару и посмотрели на него с напряженным интересом, даже, как ему показалось, с какой-то жадностью, точно он был новым блюдом, которое они собирались отведать. Мулай Али только улыбался, жмурясь, как довольный кот.

– Ты знаешь, что случилось сегодня в медине? – спросил доктор.

– Нет, *sidi*, – ответил Амар, чувствуя, как внутри снова шевельнулся страх.

– Французы поклялись, что посадят за решетку всех улемов мечети Каруин.

– Они не могут, – сказал Амар. – Улемы – святые люди.

– Да нет же! Они смогли бы, если бы только захотели!

Но улемы укрылись в *хорме* мечети Мулая Идриса.

Амар против воли почувствовал облегчение.

– Hamdoull'lah, – радостно произнес он. Собравшиеся глядели на него как замороженные.

– Но французы ворвались в *хорм*, избили их и вытащили наружу. Теперь все они в Рабате.

– Kifach!¹ – воскликнул Амар. Глаза его загорелись. Все молчали. – Но что же дальше? Неужели никто после этого не поджег Виль Нувель?²

– Пока нет, – сказал Мулай Али. – Мы сделаем это.

– Но ждать нельзя!

– Не забудь, что единственные, кому вообще разрешено передвигаться, это те, кто живет в Фес-Джедиде. Все остальные заперты по домам. Помни об этом.

Он снова повернулся к доктору.

¹ Как же это? (*араб.*)

– Предложение Брахима было бы неплохим, не будь оно с самого начала чистой фантазией. Такие вещи требуют времени.

Разговор продолжался, но Амар снова углубился в собственные мысли, и в душу ему закралось подозрение, что его разыграли. Дело даже не в том, что он не поверил словам доктора – ему было неприятно, что все с таким нетерпением ждут, как он воспримет трагические известия; похоже было, что все они смотрят на происходящее со стороны, что оно их ничуть не касается.

– *B'sif*, – говорил между тем чернобородый. – Чем раньше вы начнете, тем лучше. И не надо останавливаться на достигнутом. Надо продолжать – во что бы то ни стало. Америка уже дала Франции двести миллиардов франков. И даст еще сто. Франция хотела бы уйти из Марокко, но Америка настаивает, чтобы она не уходила – из-за баз. Без американской поддержки Франции пришел бы конец. И так далее. Сахель, сахель. Самый верный путь – атаковать американские базы. Это не так уж сложно. А ты как думаешь, Ахмед?

Мужчина повернулся к студенту, который дулся на всех за ужином.

– Я думаю, это будет несложно организовать: по крайней мере, среди студентов. – Было видно, что молодой человек настроен против Мулая Али.

– Даже если французы будут травить вас собаками, а американцы повсюду устроят засады? – С чуть заметным пренебрежением спросил Мулай Али. – *Soyez réaliste, monsieur*¹.

– Не все из нас *джебала*, деревенщина неотесанная, – выскомерно произнес юноша.

– А если произойдет несколько несчастных случаев, прямо затрагивающих жизни американцев или их имущество, то они хотя бы узнают, что есть на свете такая страна – Марокко, – продолжал чернобородый Брахим. – Пока они еще

¹ Будьте реалистом, месье (*фр.*).

путают Марокко с Сенегалом. Вы все здесь можете твердить, что это фантазии. Но держу пари, что через год таково будет официальное распоряжение. Мишенью станут уже не французы, а американцы.

Никто ничего не ответил, слова Брахима явно повергли всех в замешательство. «Рии-рии-рии», – пели цикады.

– Даже если проделать такое только в целях пропаганды, – не унимался Брахим, воодушевленный покорным молчанием присутствующих и разгоряченный вином, – все равно это будет полезно. Но верно и то, что это в большей степени пропаганда.

– Ценность пропаганды никак не связана с тем, правда это или нет, – произнес молодой человек в синем деловом костюме, наливая себе еще стакан пива. – Только с тем, насколько ей верят люди, которым она адресована.

Мулай Али украдкой взглянул на доктора и выразительно поднял брови; тот подмигнул в ответ. Брахим, чтобы не потерять уверенности в себе, предпочел это не заметить.

– Правда то, что Америка снабжает Францию деньгами, и часть этих денег идет на оружие, которое используют против нас. Возможно, как пропаганда, большого впечатления это не произведет... не знаю. Но это правда.

Амар прислушивался; тут было что-то новое. Он не знал о том, что американцы втайне подличают. Ну и, разумеется, помимо этого была масса вещей, которые он слышал впервые. Взять хотя бы слово «пропаганда», которое все без конца повторяли. Он никогда не слышал его раньше, но явно оно обозначало что-то очень важное. Рассказ о злых американцах заморозил его, и ему страшно захотелось увидеть хотя бы одного, узнать, как они выглядят, какого цвета у них кожа, на каком языке они говорят, но, так как каждому из собравшихся все это было прекрасно известно, спрашивать было неловко. Теперь, похоже, присутствующие разделились на три группы, каждая из которых говорила о

своим, некоторые возбужденно кричали. Из-за поднявшегося гама комната казалась меньше. Отгеснив доктора, толстяк уселся рядом с Мулаем Али, читая ему газетные вырезки. Мулай Али полулежал, закрыв глаза, и лишь время от времени открывал их и выдувал кольцо дыма, следя за тем, как оно тает в воздухе. Он, один из всех, казалось, еще был в состоянии сохранять внешнее спокойствие. Но даже он, печально подумал Амар, немусульманин, а посему на него нельзя положиться как на человека, который может повести за собой народ. Наполовину опорожненный стакан пива стоял у него в ногах – вот сейчас он нагнется и возьмет его.

Постепенно Амар впал в полудрему, просто сидел и смотрел, как люди медленно напиваются. Голоса становились все громче, и они уже не умолкали, чтобы хоть ненадолго послушать цикад за окном. Тишина покинула их мир. Каждый говорил, чтобы подавить собеседника умом и эрудицией. Даже Лахсен затеял спор с худым, лысым человеком, который явно не хотел с ним разговаривать и пытался поддержать беседу с сидящими напротив. Эти люди не понимали и не любили ни Аллаха, ни народ, в помощники которому набивались. Все, что они смогут возвести, будет недолговечно. Аллах позаботится об этом, ибо они строят без Его руководства.

Амар чувствовал себя совершенно одиноким; казалось, он глядит на всех с вершины горы и видит издали, как они копошатся у ее подножья. Грехов больше нет, сказал ему гончар. Вот во что верили теперь люди, и поэтому все вокруг было грехом. Ибо, если люди осмеливались взять на себя право решать, что есть грех, а что нет – то, что один лишь Аллах в Своей мудрости мог разрешить, – они совершали самый ужасный, самый великий грех: пытались подменить Его собой. Все это виделось Амару очень ясно, и он знал, почему его не покидает чувство, что все они прокляты, без малейшей надежды на искупление.

Неожиданно Мулай Али извлек из-за сваленных кучей в углу подушек уд, перебрал его доктору, который снял очки и принялся настраивать инструмент. Чуть погодя он нерешительно прошелся по струнам, словно не желая петь, пока разговоры не утихнут хотя бы немного. Но этого не произошло, почти все продолжали говорить. Наконец Мулай Али нетерпеливо хлопнул в ладоши, призывая к тишине, и мало-помалу голоса затихли.

– Аиша бент-Айсса, – объявил Мулай Али. – Теперь слушай внимательно, Амар. Это для тебя. Он жаждет великих свершений, – с жизнерадостной улыбкой поведал он остальным. – Я обещал ему эту песню.

Неправда, подумал Амар. Ничего он не жаждет. Ни великих свершений во имя Партии, ни музыки, ни разговоров. Он чувствовал себя абсолютно одиноким в этой комнате, в этом чуждом мире мусульман, которые только прикидывались мусульманами, но ему пришлось сидеть и слушать, так как песня началась. У нее была простая мелодия и простые слова, и, как сперва показалось Амару, это была простая история о женщине, сыну которой исполнилось шестнадцать и который состоял в Партии. Когда пришел его черед исполнить свой долг и совершить убийство, и за ним пришли и постучали в дверь, мать попросила пришедших на минутку зайти в дом. Они вошли, и она сказала: «Где пистолет?» И они дали ей пистолет. Тогда она застрелила сына. Услышав о таком жестоком и неожиданном поступке, Амар перестал воспринимать песню. Он по-прежнему слушал, но песня поразила его настолько, что дальнейшее утратило всякий смысл. А затем, пел доктор, она вернула пистолет со словами: «Мужчина, а не мальчик нужен вам для вашей работы». На этом, собственно, все и кончалось.

– Знаешь, она действительно существует, – шепнул Амару студент. – Она живет в Касабланке, и все точь-в-точь так и было.

Лахсен, глубоко растроганный, шмыгал носом и тер рукавом глаза. «Он плачет, когда слышит песню, – презрительно подумал Амар, – но, если бы при нем женщина застрелила сына, он и глазом бы не моргнул».

– Ну как? – крикнул Мулай Али Амару. – Что ты об этом думаешь?

Амар молчал, не зная, чего от него хотят. Но, видя, что Мулай Али ждет ответа, он, в конце концов, искренне ответил:

– Я не понимаю, почему она убила сына.

Мулай Али торжествовал.

– Так и знал, что ты не поймешь. Поэтому-то я и хотел, чтобы ты послушал. Она застрелила его, потому что знала, что он не готов, а Партия была дороже ее сердцу, чем собственный сын. – (Виду Амара был смущенный.) – Она понимала, что, если французы схватят его, он не сможет умереть как мужчина, и, сколько бы он ни стискивал зубы, все равно рано или поздно расплакался бы как ребенок и рассказал все, что ему было известно. Вот почему она застрелила его, друг мой.

Теперь Амар понял, но никак не мог поверить в правдивость истории.

– Так, значит, такая женщина была на самом деле?

Все разом заговорили о своих знакомых, которые заверяли, что знали легендарную Аишу бент-Айссу. Некоторые заявляли, что она живет в Федале, доктор настаивал, что у нее бакалейная лавка в квартале Айн-Бузия, а лысеющий юноша склонялся к мысли, что ее сделали одним из лидеров Партии и отправили на работу то ли в Буджад, то ли в Сеттат, то ли еще куда-то. Так или иначе все решительно утверждали, что это персонаж не вымышленный. Все кроме, пожалуй, Мулая Али, который сказал только:

– В Партию брали много мальчишек. Больше так не будет, кроме исключительных случаев, и во многом новая политика обязана этой песне.

На этот раз Махмуд вошел с подносом, на котором стояли маленькие рюмки и две только что откупоренные бутылки коньяка. Некоторые из гостей приветствовали его появление сдержанными аплодисментами, для Амара уже одно это послужило доказательством, если таковое вообще требовалось, что они не вполне трезвы. Доктор спел еще несколько песен, но внимание аудитории постепенно ослабевало, так что под конец он пел и тихонько перебирал струны исключительно для собственного удовольствия. Амар долго наблюдал за гостями, никак не участвуя в их шутках и спорах и чувствуя себя все более и более одиноким и жалким. В какой-то момент Мулай Али обратился к нему:

– Zduq, Амар, кажется тебе придется еще немного задержаться со мной.

Амар слабо улыбнулся, надеясь, что Мулай Али не заподозрит, какая мысль мелькнула у него, когда он услышал эти слова: это было сознательное решение бежать – так или иначе. Лучше уж оказаться без крыши над головой, чем сидеть взаперти в этом доме. Теперь у него были деньги, и хотя и не знал адреса сестры в Мекнесе, он был уверен, что как-нибудь да отыщет ее. Он сунул руку в карман и пощупал деньги, это прикосновение взволновало его. Пожалуй, надо купить настоящие ботинки и несколько пар брюк. Впервые он подумал, что на эти деньги можно много всего купить. Но где же достать ботинки? Разве что в Мекнесе, иншалла. Очень хотелось спать, с трудом удавалось держать глаза открытыми. Сидя рядом с дверью, Амар ждал, и когда Махмуд опять появился с новыми бутылками и стаканами, он, улучив момент, выскользнул из комнаты. На галерее было темно, однако двор ярко освещала луна. До Амара еще доносился пронзительный смех и треньканье *уда*, но, как только он добрался до задней галереи, его обступила полная тишина, нарушаемая лишь пением бесчисленных цикад. Осторожно нащупывая путь, он добрался до комнаты, где спал накануне, вошел

и произнес длинную молитву, чтобы отпугнуть темноту. Потом лег и мгновенно уснул.

Сон унес его далеко, и ему не хотелось возвращаться, но тут он почувствовал, что свет бьет ему в лицо. Он открыл глаза. Над ним стояло чудовище. Амар вскочил, воскликнув: «Ах!» – но потерял равновесие и снова повалился на циновку и, только падая, понял, что перед ним всего лишь Мулай Али с фонарем в руке. Но падавший снизу свет делал его похожим на жирного белого дьявола, глаза на лице которого зияли, как две черные дыры. Амар виновато рассмеялся и сказал:

– Khalatini! Вы меня напугали.

Мулай Али не обратил внимания на его слова, но поднял лампу выше и шепнул: «Идем». Торопливость, с какой было произнесено это слово, поразила Амара не сразу, только когда он поднялся на ноги; затем облегчение, которое он испытал после первого приступа страха, сменилось новым тревожным ощущением, более рациональным, но тоже очень неприятным. «Он пьян», – подумал Амар, пока они шли по галерее, а тени их, скрепящаяся на полуразрушенной стене, следовали за ними. Потом до него донеслись голоса гостей, звучащие как гвалт сборища безумцев. Кто-то перешептывался, кто-то смеялся бессмысленно, и этот смех лишь по созвучию напоминал настоящий, кто-то вел с кем-то бессвязный разговор. «Да, замечательно», «Я решил, что если она скажет, что это так, мы поедem», «Вам нравятся сигареты?», «О да, я курильщик. Люблю курить», «Наверху было бы лучше, если бы вы только знали то, что нужно», «Мы вернулись, и... и... в общем было очень жарко». Что-то неправильное было в интонациях и ритме этой путаной речи, и Амару показалось, что если спросить любого, что он только что сказал, тот не сможет ответить, потому что слова были первыми пришедшими в голову. Потом кто-то – видимо, доктор – начал играть на *уде*, и эти хрупкие звуки, складываясь в узнаваемую мелодию, чудесным образом придали сцене, которую он наблюдал, подобие смысла.

Когда они дошли до двери в большую комнату, Амар увидел, что все гости стоят.

– Мои друзья уже собрались уезжать, – пояснил Мулай Али. (Куда? Так поздно? Да еще верхом на ослах? – подумал Амар, но только мельком.) – Но я сказал, что ты играешь на флейте, и они захотели тебя послушать.

– О! – только и мог воскликнуть Амар, застигнутый врасплох.

– Всего одну вещь, – бархатным голосом попросил Мулай Али, ущипнув Амара за руку. Амар уставился на него: вид у Мулая Али был по-прежнему престранный, и даже при ярком свете глаза выглядели как две большие черные дыры. Он оглядел столпившихся в комнате людей, во всех тоже было нечто очень странное. И снова Амар подумал, что, быть может, это результат действия алкоголя или кифа, но ему приходилось видеть много людей в таком состоянии, и поведение их было совершенно иным. У него мелькнула мысль, что Мулай Али на самом деле вовсе не приходил и не будил его. Тогда, значит, он все еще лежит в уютной темноте маленькой комнаты; это был один из тех снов, где все: люди, дома и деревья, небо и земля – изначально обречены кануть в один гигантский разрушительный водоворот. Обречены с самого начала, но, даже если спящий будет настороже, он может не понять, что происходит, ибо этот вихрь начинает вращаться далеко не сразу, давая о себе знать когда ему заблагорассудится. В конце концов, вполне вероятно, что все вокруг начнет понемногу кружиться, взаимопревращаясь, и всех их, безмолвно вопиющих, цепляющихся друг за друга с учтивой изысканностью, огромная воронка утянет в пустоту. Однако пока Амару приходилось притворяться, что он бодрствует.

– У меня нет с собой *мфаха*, – сказал он, уверенный, что Мулай Али в любое мгновение достанет инструмент из-за подушки, на которой сидит. Так оно и произошло.

– Но я играю очень плохо. Только чуть-чуть, – запротестовал он. Мулай Али ласково, проникновенно погладил его по руке. «Baraka'llahoufik! Baraka'llahoufik!»¹ Был ли это действительно Мулай Али и оставались ли все остальные теми, кем были прежде? Или сам Амар настолько изменился за время своего сна, что все казалось ему теперь совершенно иным?

– Я сыграю, – сказал Мулай Али. Он поднес маленькую тростниковую флейту к губам. И тут же воцарилась полнейшая тишина; бессмысленные слова, неестественный, пустой смех, произносимые горячечным шепотом междометия, которые из всех звуков казались единственно наделенными смыслом, – все мгновенно смолкло, уступив место воздушному голосу флейты. Мулай Али исполнил несколько вступительных фраз, а затем, выйдя один на галерею, стал играть, нельзя сказать чтобы очень виртуозно, слегка измененную мелодию песни «Танджа Алиа». Амар наблюдал за гостями: все они смотрели прямо перед собой, точно не слушали, а лишь представляли, как должны были выглядеть, если бы действительно слушали. «Yah latif!»² – подумал он. – Да они все заколдованы». Так вот почему они выглядят так странно; по крайней мере, более разумной гипотезы Амару в то мгновение в голову не пришло. За минуту до того они мельтешили и беспорядочно толклись. Теперь же стояли, застыв, внимательно прислушиваясь к звукам флейты, которые, несмотря на свою слабость, заполняли пустоту ночи. Мулай Али только закончил и даже еще не появился в дверях, а они снова принялись бродить взад-вперед, теснясь, словно боялись даже подумать о том, чтобы отойти друг от друга на расстоянии вытянутой руки.

– Вот, – сказал Мулай Али, передавая Амару флейту. – Теперь твой черед. Давай. – Он подвел мальчика к подушкам, на которых они сидели за ужином. – Ну-ка, устаивайся поудобнее и покажи мне, как ты играешь «Танджа Алиа».

1 Благодарю! Благодарю! (*араб.*)

2 Боже мой! (*араб.*)

Чем скорее он согласится, подумал Амар, тем скорее сможет вернуться в постель. Он откинулся на подушки, скрестил ноги и начал играть. Немного погодя, Мулай Али натянуто улыбнулся, сказал: «Хорошо. Прекрасно», – и вернулся в другой конец комнаты. Гости потянулись на галерею. Набирая воздуха, чтобы продолжать, Амар расслышал, как Мулай Али шепчет им: «Послушайте оттуда». Мгновение спустя, он услышал, как Мулай Али шепнул еще что-то, еще что-то действительно очень любопытное, если, конечно, он не ослышался. То, что, как ему показалось, он расслышал сквозь пронзительные звуки флейты, было: «Это Чемси, не забывайте. Я знаю его походку. Не забывайте».

Всякий раз, открывая глаза, Амар замечал фигуру Мулая Али, который стоял рядом с дверью, слушая. Ему было приятно, что Мулай Али хочет, чтобы он играл, хотя он предпочел бы играть для него одного, чем для всех остальных тоже.

«Чемси? Кто это Чемси?» – думал Амар, пока длинная, медленно нисходящая каденция, трепетно дрожа, попыталась было снова взмыться в высоту и наконец сникла в тишине. Ну, конечно, Чемси – так звали мальчика, которому Мулай Али передал газетные вырезки в то первое далекое, безвозвратно утерянное утро. Но Амара вовсе не интересовал Чемси или чье там имя он расслышал несколько минут назад; он изо всех сил старался извлечь из флейты самые прекрасные мелодии, которые только можно представить. Иногда Аллах помогал ему в этом, иногда – нет. Сегодня ночью Амар чувствовал, что это возможно. Когда он сливался с музыкой воедино, так что его уже не было здесь, потому что весь он обращался в кончик длинной нити, которую мелодия протягивала через вечность, наступал момент, когда музыка становилась мостом, переброшенным от его сердца к сердцам других людей, а вновь становясь собой, он знал, что Аллах на секунду вознес его над миром и что в этот краткий миг он обладал *хдия*, даром.

Он играл, пока не затерялся один в дальних далях. Аллах не помог ему, но это было не важно. Одиночество, которым было полно его сердце, страстное желание встретить кого-то, кто бы его понял, – об этом пели хрупкие нити звука, которые он создавал своим дыханием и пальцами. Ни о чем не думая, он продолжал играть, и постепенно человек, для которого он играл, переставал быть маячащим в дверях силуэтом, становясь тем, другим, чье присутствие померещилось ему в башне ранним вечером, кем-то, чье существование в мире означало возможность надежды. На мгновение он прекратил играть, и как неотделимую частицу счастья, вызволенного мыслью о другом существе, услышал отголосок другой музыки – подобной пению, доносившемуся с далекого, залитого солнечным светом берега, бесконечно милому и невыразимо нежному, подобной песне, столь неуловимо тонкой, что она могла звучать только в памяти человека, слышавшего ее во сне. Амар застыл, боясь перевести дыхание, чтобы не разрушить эту мелодию – быть может, навсегда. Она шла не от Аллаха, это была земная музыка, но он знал, что во всем мире нет ничего столь же драгоценного. Когда же ему пришлось вдохнуть и другая музыка смолкла, как и должна была – в эту секунду, словно именно о нем он и думал все это время, перед его внутренним взором предстал назарей с удивительной улыбкой на губах, точно как в гостиничном номере в тот первый вечер.

В любую минуту Мулай Али мог сказать: «Продолжай» или «Спасибо», а Амару хотелось думать о назарее. Он был другом; быть может, со временем они даже научились бы читать друг у друга в сердцах. А Амар бросил его, украдкой сбежал из Сиди Бу-Хта, даже не попрощавшись. Он открыл глаза и посмотрел в дальний конец комнаты. Темная фигура по-прежнему стояла там, неподвижная. Амар резко приподнялся и еще раз взглянул на нее. Это был пиджак, висевший на гвозде в тени за дверью.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Брошенный *лифак* скатился между двух подушек. Амар мгновенно вскочил с циновки и уже стоял в дверях, оглядывая безлюдную галерею. Теперь он точно знал, что случилось, и снова и снова прокручивал все в уме, проверяя по пунктам. Он знал и что произойдет дальше, если только ему не выпадет невероятная удача. И в погоне за этой удачей он промчался через душную прихожую и дальше, вверх по залитым лунным светом ступеням, в комнату в башне, где сейчас не было никого – только лишь ночной ветер задувал в открытые окна. Его интересовала только одна сторона башни – та, с которой открывался вид на крышу; к счастью, одно из окон тут было приоткрыто, и не было риска, что раздастся шум, если его толкнуть. Амар посмотрел вниз, измеряя расстояние до верхушки фронтона – непростая задача при лунном свете, – когда мгновение спустя он приземлился, оно действительно оказалось меньше, чем казалось. Сандалии он сунул в карман, и босые ступни бесшумно опустились на крышу.

Тут было негде спрятаться, если луч фонарика направят снизу или с башни – в этом он убедился очень быстро. Однако больше всего его интересовала сама башня, которую он никогда не видел со стороны – точнее, плоская ли у нее крыша или купол; теперь, слава Богу, он удостоверился, что она плоская. Сейчас главной задачей было забраться обратно на подоконник, а оттуда наверх, попутно прикрыв окно, чтобы сбить их со следа. В первую очередь, конечно, они будут искать Мулая Али, полного, немолодого и отнюдь не атлетического сложения человека, от которого вряд ли можно ожидать, что он выберется через окно и ухитрится залезть на башню. В самом деле, подумал Амар, вряд ли многим мальчишкам его возраста удалось бы проделать подобное. Для того, чтобы успешно выполнить последнюю часть рискованной затеи, необходима было убедиться, что тонкий бетонный карниз, за который

цеплялись его пальцы, выдержит вес тела. Взявшись наверх, Амар прикрыл окно, но не до конца, так как единственная ручка была внутри. Но и так получилось неплохо, если только сильный порыв западного ветра не распахнет его.

Забравшись на самый верх, Амар дополз до середины и перевернулся на спину, так что теперь полная круглая луна светила ему прямо в лицо. Если лежать тут, луч фонарика до него не доберется. Амар замер, думая о том, сколько полицейских привел с собой Чемси, сколько они ему заплатили и смог ли Чемси, прячась в кустах вместе с французами и слушая звуки флейты, отличить его игру от игры Мулая Али. Скорей всего, нет – иначе на дом напали бы сразу; полицейские догадались бы, что произошла подмена и Мулай Али решил скрыться. Амар представлял, как Чемси стоит там, внизу, охваченный ужасом, затаив против Мулая Али какую-нибудь мелкую обиду, которая одним разом свела на нет всю связывавшую их еще несколько дней назад дружбу, как он шепчет французам: «Вот, это Мулай Али играет! Он всегда играет эту песню, когда напьется». И те несколько минут, которые Мулай Али заставил французов потратить на приготовления, драгоценных минут, которые спасли его (и это наверняка, поскольку снизу не было слышно ни звука, а беззвучным захват быть не мог), подарил ему Амар, когда, как осел, лежал, выделявая фиоритуры в надежде, что они приведут Мулая Али в восхищение. Он улыбнулся, повертел головой, стараясь разглядеть кролика на луне и одновременно думая о том, почему он не злится на Мулая Али, который обвел его вокруг пальца, а восхищается психологическим расчетом и непринужденностью, с какими все было задумано и проделано. Это была мудрость, свойственная только настоящим фесцам. Амар даже немного пожалел Мулая Али – ведь рано или поздно его обязательно схватят, а это была не очень-то приятная участь. Даже если нынешние беспорядки утихнут, французы не успокоятся до тех пор, пока не схватят его. Мысль о том, что за

тобой охотятся днем и ночью, что у тебя нет ни минуты покоя, привела его в ужас. А Чемси! Вот уж на чьем месте Амар не хотел бы оказаться ни за что на свете. «Не забудьте!» – говорил Мулай Али, уходя, на случай, если кого-нибудь не схватят во время бегства. Всякий, кому повезет остаться на свободе или удастся передать весточку на волю, должен был позаботиться, чтобы Чемси получил по заслугам. Истиклал был особенно изобретателен по части уничтожения отступников. В конце концов, они его разыщут, в этом Амар ничуть не сомневался. Французы будут защищать его только символически: все же они были достаточно человечны, чтобы презирать осведомителей, хотя бы просто потому, что стукачей было слишком много (и, кроме того, было гораздо удобнее убирать старых и нанимать новых, находившихся вне всяких подозрений). Вряд ли Чемси доживет до праздника Мулуд.

Луна светила так ярко, что звезд практически не было видно. Теплый ветерок доносил слабый запах летних цветов, раскрывающихся по ночам. Казалось, только лишь стрекот цикад нарушает тишину. Амар прислушался повнимательнее: снизу, с другой стороны дома послышались какие-то неясные звуки. Прошло немного времени – сомнений не оставалось: снизу доносился тихий скрежет, потом – на сей раз совершенно отчетливо – прозвучал голос. Мгновение спустя много голосов: в дом вошли. Амар улыбнулся, представив, как, должно быть, разъярились французы, обнаружив, что добыча улизнула. Они будут метаться по дому, как муравьи, заглядывая на галереи и в комнаты, бегая вверх и вниз по лестницам, выкрикивая приказы и проклятия, вспарывая тюфяки и подушки, переворачивая столы, но аккуратно собирая все бумаги. Впрочем, от этого им будет мало проку, подумал Амар; Мулай Али был не таким человеком, чтобы беспечно относиться ко всему, что могло скомпрометировать Истиклал. Будь я членом Партии, подумал он с легкой завистью, он бы никогда не поступил со мной так.

Они переключались на своем грубом, ненавистном языке, хлопали дверьми, громко топотали. Теперь они наверняка нашли Махмуда и других слуг и орала на них, как им казалось, по-арабски: «Через какую дверь он вышел?», – прорычал какой-то голос и мгновение спустя, передразнивая неслышимый ответ, продолжал: «Не знаю, месье!» «Ничего, попадешь в комиссариат, все узнаешь!» Амар лежал, не шевелясь, прислушиваясь к каждому звуку, пытаясь представить, как далеко успел уйти Мулай Али со своими друзьями. Его не очень беспокоило, поймут их или всем удастся скрыться. Для Марокко не было большой разницы, что с ними случится, не важно было, сколько других, таких как Мулай Али, найдется в стране, успешно ли они будут действовать или провалятся. Живя рядом с христианами, они свернули с пути истинного. Они перестали быть мусульманами, и какая разница, что они делают, если делают это не во имя Аллаха, а ради самих себя. Правительство и законы, которые они создадут, будут всего лишь паутиной, сотканной на одну ночь. Отец говорил ему, что мир политики – это мир лжи, а он в своем невежестве и упрямстве делал вид, что соглашается, а сам шел вперед, не разбирая дороги, уверенный, что его старик, как и все прочие старики, просто утратил ощущение сегодняшнего дня. При мысли об отце он едва не расплакался; чтобы удержаться, пришлось сжать кулаки и стиснуть зубы.

Крики и грохот звучали уже совсем близко. Амар услышал, как они взбираются по лестнице, ведущей в башню, он мог уловить даже негромкие удовлетворенные возгласы. Неожиданно ему показалось, что теперь они наверняка обнаружат его, и, забыв об осторожности, перевернулся на бок и прижал ухо к бетонной крыше. Во французской речи то и дело звучало слово «*machine*». Речь шла о пишущей машинке – находке, которая их так обрадовала. Амар посмотрел в ту сторону, откуда, по его расчетам, должны были появиться полицейские. Сначала толстая рука, белая в лунном свете,

появится, нащупывая край крыши, потом другая, и наконец – голова и глядящие на него в упор глаза.

Разом начали бить окна. Одно за другим вылетали стекла. Осколки, мелодично позвякивая, падали на землю. Амар подумал, слышит ли еще Мулай Али, что творится в его доме, а если слышит, то что он при этом чувствует. Решит ли он, что Амара схватили и тот сопротивляется? Но главное, решит ли он, что Амар расскажет полиции все те – в общем, безобидные – факты, которые были ему известны? Но потом он облегченно вздохнул: конечно, Мулай Али уже слишком далеко, чтобы что-нибудь слышать. Дребезжанье бьющихся стекол стихнет, прежде чем ночной ветерок донесет его до оливковой рощи.

Только теперь он, сам себе удивляясь, понял: несмотря на то, что полиция всего в трех-четыре метрах под ним, ему абсолютно безразлично, найдут его или нет. На какой-то миг у него даже возникло безумное желание забарабанить по крыше и завопить: «Я здесь, вы, сукины дети!» Они полезут на крышу, чтобы схватить его, а он будет лежать неподвижно, просто наблюдая за тем, что происходит. Когда же они, наконец, доберутся до него, то сначала изобьют, а потом отвезут в пыточную камеру полицейского участка, где к его *калауи* подсоединят электроды и боль будет еще невообразимой, но он только покрепче стиснет зубы и будет держать рот на замке. Все это, разумеется, будет ни к чему, единственное, что это сможет дать ему – упоительное чувство причастности к борьбе. Возможно, будь у него какой-нибудь секрет, который следует хранить, искушение заявить о своем присутствии перебило бы. Но он ничего не знал, так что получится просто глупая игра. И тут ему пришло в голову, что если кому-то и важно, существует ли некий Амар или нет, если это вообще может заботить кого-то, кроме его семьи, то вовсе не потому, что он – это он, а потому что, слепо двигаясь по орбите своей жизни, он узнал горстку каких-то сведений.

Он снова прислушался: вот они спустились, потом прошли обратно по галереям, через весь дом и вышли. Должно быть, они оставили свои джипы где-то далеко в полях, потому что прошла целая вечность, прежде чем до Амара донеслись слабые звуки: хлопали дверцы и заводились моторы. Когда они уехали, Амар перевернулся на живот и несколько раз всхлипнул – от облегчения или от одиночества, он не знал. Лежа на этой холодной бетонной крыше, он чувствовал себя брошенным всеми на свете, с необычайной остротой сознавая свою слабость и незначительность.

Его дар ничего не значил; теперь Амар даже не был уверен, что он у него когда-то был. Мир оказался иным, чем ему представлялось. Он оказался ближе, но, став ближе, уменьшился. Казалось, огромная часть великой головоломки неожиданно встала на место, закрыв от него далекие прекрасные пейзажи, точно их никогда и не было; смутно Амар сознавал, что, когда все окончательно встанет на свои места, не останется ничего, кроме завершенной головоломки – черной стены неопровержимой уверенности. Он получит знание, но все вокруг утратит смысл, потому что знание и было смыслом; больше ему нечего будет узнавать.

Прождав еще довольно долго, Амар ползком добрался до края и спустился обратно в башню, надев сандалии, чтобы не порезаться об острые осколки стекла, поблескивавшие в лунном свете. Он беззвучно прошел по темному дому, но ему даже не было страшно, только бесконечно грустно, ибо отныне дом полностью принадлежал тому, что когда-то было, но уже не вернется. Он прошел к взломанной входной двери и шагнул через порог. Кругом не было слышно ни звука. Ночь достигла своего пика: цикады смолкли в траве, ночные птицы притихли на ветвях деревьев. Пройдет время, и наступит пока еще очень далекая зоря. Еще не успев дойти до рощи, Амар услышал за собой печальный крик первого петуха.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ

И вот он уже в Виль Нувель, а утро в самом разгаре. Солнце обрушилось на мостовые, сковавшие землю, и жалкие деревца, призванные разрастись и давать тень прохожим, медленно чахли в его лучах. Амар держался тихих окраинных улиц, где было меньше народа. День выдался мучительно жарким. Навстречу ему шла старая француженка, вся в черном, неся домой с рынка полную продуктов сумку. Она подозрительно оглядела его и, прежде чем они поравнялись, медленно перешла на другую сторону, словно чтобы не встречаться с ним. Не видно было играющих детей, транспорт не ходил, все радиоприемники молчали: возможно, электричество по-прежнему было отключено. Город казался вымершим, но Амар знал, что из-за штор на окнах тысячи глаз смотрят на безлюдные улицы, следя за всяким, кто осмеливался по ним пройти. Все это были недобрые знаки: когда французы напуганы, неизвестно, что им взбредет в голову.

За маленьким парком с железной эстрадой начиналась улица, которая вела к гостинице, куда он заходил вместе с мужчиной-назареем и женщиной. Амар не знал, как ему повидаться с мужчиной (ему даже не приходило в голову, что тот мог еще не вернуться из Сиди Бу-Хта или вообще уехать); он знал только, что должен увидеть его, все с ним обсудить, слушать, как он говорит на искаженном, хотя и ученом арабском и, быть может, услышать слова, которые как-то утешат его горе.

Он обошел парк, не решаясь его пересечь: по дорожкам частенько бродили полицейские. В конце длинного проспекта, справа от него стояло несколько машин, но людей не было; мостовая блестела под солнцем, как каменистая пустыня. Когда он подходил к отелю, мимо медленно проехал грузовик с полным кузовом ржавой жести. Сидевший за рулем светловолосый француз с любопытством покосился на него и зевнул. Глядя на серый фасад гостиницы, можно было

подумать, что здание давно заколочено и брошено. Шесть окон с закрытыми ставнями были точно глаза спящего.

– Bismil'lah rahman er rahim, – громко произнес он и дернул за ручку звонка.

Женщина, открывшая дверь, видела его в тот день, когда он появился вместе с двумя туристами и помогал им выгружать багаж, но теперь, казалось, не узнала. Лицо ее словно окаменело, когда она стала расспрашивать его по-французски, что ему нужно. В нескольких шагах за ней стоял высокий мужчина с налитым кровью лицом и угрожающе глядел поверх ее плеча. Когда женщина поняла, что Амар не говорит по-французски, она уже готова была хлопнуть перед ним дверь, но вдруг что-то в ее лице изменилось, и, хотя смотрела она по-прежнему недружелюбно, он понял, что она вспомнила его. Она что-то сказала мужчине и пронзительно крикнула: «Фатима!» На крик вышла девушка-мусульманка, волочившая за собой метлу, и спросила его: «В чем дело?» Француженка, казалось, заранее знала, что он ответит, и, ничего не сказав, прошла к стене, на которой висело несколько ключей. Она оглядела их, обменялась парой слов с мужчиной, потом обратилась к девушке, которая сказала Амару: «Подожди минутку», – и закрыла дверь. Он отошел к краю тротуара и сел. Колени его дрожали.

Спустя некоторое время, он услышал, как дверь за его спиной отворилась. Он быстро встал, и голова у него закружилась – слишком долгим был путь в жару, слишком долго он ничего не ел. Он увидел в дверях своего друга, рука его была поднята в приветственном жесте; затем солнце на мгновение словно подернулось пеленой, а улица погрузилась во тьму. Он прислонился к одному из засохших деревьев, чтобы не упасть. Словно издалека до него донесся голос француженки, которая что-то бранчливо кричала – ему или туристу, он так и не понял. Но назарей уже был рядом, он провел Амара в прохладный полумрак гостиницы, и, хотя Амар и

чувствовал себя очень слабым и больным, он был счастлив. Все было уже не важно, ничего ужасного не могло случиться с ним теперь, когда этот мужчина заботился о нем.

Мужчина усадил его в кресло и мгновенно обмотал ему голову мокрым холодным полотенцем.

– Rhir egress, – сказал он. – Посиди спокойно.

Амар сел, тяжело дыша. В комнате сладко пахло цветами – так же, как всегда пахло от платья женщины. Он открыл глаза и слегка выпрямился, ожидая увидеть ее, но женщины в комнате не было. Мужчина сидел рядом на кровати и курил. Увидев, что Амар открыл глаза, он улыбнулся.

– Как ты? – спросил он.

Прежде чем Амар успел ответить, в дверь постучали. Это была Фатима, с подносом. Поставив его на стол, она вышла. Мужчина налил ему кофе с молоком и передал тарелку с двумя булочками, намазанными маслом. Пока Амар ел, пил и разглядывал полутемную комнату с закрытыми ставнями, мужчина расхаживал взад-вперед и наконец остановился возле него. Тогда Амар рассказал ему о своих приключениях. Мужчина слушал, но вид у него был обеспокоенный, рассеянный, и он дважды взглянул на часы. Рассказ Амара подошел к концу.

– И, слава Аллаху, вы оказались здесь, – добавил он пылко. – Теперь все хорошо.

Мужчина посмотрел на него с любопытством и спросил:

– А ты? Чем я тебе могу помочь?

– Ничем, – улыбнулся Амар. – Просто теперь я счастлив.

Мужчина подошел к одному из окон, будто собирался открыть его, потом передумал и перешел к другому. Быстро посмотрел сквозь щель в ставнях.

– Тебе повезло, что полиция не заметила тебя сегодня здесь, в Виль Нувель, – неожиданно сказал он. – Стоит мусульманину выйти на улицу, и его мигом отправляют за решетку. Тут были серьезные неприятности.

– Хуже, чем раньше?

– Хуже.

Мужчина подошел к двери.

– Обожди минутку, – сказал он. – Я сейчас вернусь.

Он вышел. Сначала Амар застыл в кресле. Потом встал и подошел к кровати, внимательно осмотрел наволочки. Даже в полутьме они были видны, эти пятна красной помады, которой шлюхи и христианки мажут себе губы, и тяжелый цветочный запах невидимым облаком повис над постелью. Амар снова сел в кресло.

Дверь открылась, вошел мужчина. Только теперь Амар заметил стоявшие возле двери чемоданы.

– Что ж, я рад, что ты пришел.

– Я тоже.

– Если б ты немного опоздал, мы бы уже не увиделись.

Мы уезжаем в Касабланку.

Все было в порядке, потому что мужчина все еще стоял перед ним, и Амар не мог до конца поверить, что, едва отыскав его, так скоро потеряет. Если Аллаху было угодно снова свести их, то не для того же, чтобы, поговорив пять минут, они снова расстались. На тихой улице с громким стуком хлопнула дверца машины.

– Вот и такси, – нервно произнес мужчина, даже не посмотрев сквозь ставни. – Амар, поверь, мне очень неприятно об этом просить, но не сможешь ли ты нам еще раз перенести вещи? В последний раз.

Амар вскочил. О чем бы мужчина ни попросил его, он всегда будет счастлив повиноваться, в этом не могло быть сомнений.

Пока он один за другим сносил вниз чемоданы, француженка и здоровяк наблюдали за ним через маленькое окошко своей комнаты, храня враждебное молчание. Когда вещи уложили в машину и Амар, у которого от усилий снова немного кружилась голова, стоял рядом с женщиной у края тротуара, в

дверях показалась женщина – Амар раньше не замечал, что она так красива, – и направилась к ним. Улыбнувшись Амару, она сделала вид, что со страхом глядит по сторонам, потом указала на него. Широко улыбнувшись в ответ, Амар показал, что ничего не боится.

– Может, подбросить тебя куда-нибудь? – спросил мужчина. – Мы поедem по мекнесской дороге. Не думаю, что тебе это очень поможет...

– Да! – сказал Амар.

– Хочешь? – удивленно переспросил мужчина. – *Mezziane*. Садись вперед.

Амар уселся рядом с шофером, евреем из меллаха.

Женщина уже сидела сзади, мужчина устроился рядом. Когда они доехали до конца авеню де Франс, мужчина спросил:

– Хочешь, высадим тебя здесь?

– Нет! – ответил Амар.

Они поехали дальше, миновав заправочную станцию, по длинной дороге, ведущей к магистрали. Высокие эвкалипты быстро мелькали по сторонам, и насекомые жужжали на все лады. Мужчина с женщиной сидели молча. В маленьком зеркальце, чуть выше уровня его глаз, Амар видел, как мужчина ласково гладит руку женщины, безвольно лежащую на колене.

Когда они были уже недалеко от магистрали, мужчина наклонился к шоферу и велел ему остановиться. Амар не двинулся с места. Воздух в машине успел нагреться, и даже в открытые окна не тянуло прохладой. Мужчина тронул его за плечо.

– *El hassil, b'slemah*, Амар, – сказал он, протягивая руку, так что она оказалась прямо перед лицом Амара. Амар медленно потянулся, крепко схватил руку мужчины и, обернувшись, пристально посмотрел на него. Про себя он держал наготове фразу: «*Иншалла, rahman er rahim*».

– Я хочу поехать в Мекнес, – тихо сказал он.

– О, нет, нет! – воскликнул мужчина, весело смеясь и тряса руку Амара. – Нет, Амар, так не пойдет. Даже отсюда тебе далеко возвращаться, сам знаешь.

– Возвращаться куда? – спросил Амар, не повышая голоса, по-прежнему глядя мужчине прямо в глаза и не выпуская его руки, которую тот отчаянно тряс, стараясь вырваться. Выражение его лица изменилось: оно выглядело смущенным, раздраженным, почти сердитым.

– До свидания, Амар, – твердо сказал он. – Я не могу отвезти тебя в Мекнес. Нет времени.

Если бы он сказал: «Я не могу взять тебя с собой», Амар бы понял.

Мотор молчал, и бесконечный стрекот цикад звучал очень громко.

– Моя мать там, – пробормотал Амар, не зная, что еще сказать.

Женщина, которая, казалось, не понимала, что происходит, улыбнулась ему, подняла руки, словно целясь, и воскликнула: «Бух! Бах!» Затем, как бы заняв позицию за воображаемым пулеметом, быстро протарахтела: «Тра-та-та-та!» – и, закончив свою пантомиму, ткнула указательным пальцем в Амара. Мужчина слегка подтолкнул ее и покосился на шофера. Потом он что-то сказал ему, шофер перегнулся через Амара и распахнул дверцу, выжидаяще на него глядя.

Амар отпустил руку мужчины и вышел из такси, понуриив голову. Он посмотрел на свои сандалии, впечатавшиеся в раскаленный липкий гудрон, и услышал, как сзади хлопнула дверца.

– B'slemah! – крикнул мужчина, но Амар был не в силах на него взглянуть.

– B'slemah! – эхом откликнулась женщина, но Амар по-прежнему не мог поднять глаз. Заурчал мотор.

– Амар! – крикнул мужчина.

Машина тронулась с места, сначала неуверенно, но все быстрее набирая скорость. Амар знал, что они глядят на него

через заднее окно и машут ему на прощанье, но он стоял, все так же опустив голову, видя только свои сандалии и черный гудрон вокруг них. Шофер свернул на магистраль, сменил скорость.

Амар побежал за машиной. Она все еще маячила впереди, стремительно удаляясь. Ему было никогда не догнать ее, но он бежал, потому что ничего не оставалось делать. Сандалии его жутко шлепали по жесткому полотну дороги, он скинул их и побежал бесшумно и легко. На какой-то миг им овладело ликующее чувство, что он летит по воздуху вслед за машиной. Она не могла не остановиться. Он видел две головы в прямоугольнике окна, и ему показалось, что они оглянулись.

Доехав до поворота, машина скрылась из виду. Амар продолжал бежать. Когда он добежал до поворота, дорога была пуста.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	5
Пролог	8
Книга первая. УЧИТЕЛЬ МУДРОСТИ	20
Книга вторая. ГРЕХОВ БОЛЬШЕ НЕТ	67
Книга третья. ВРЕМЯ ЛАСТОЧЕК	162
Книга четвертая. ВОСХОДЯЩИЕ СТУПЕНИ	308

Пол Боулз ДОМ ПАУКА

Перевод Владимира Симонова



Книги издательств «МИТИН ЖУРНАЛ», «KOLONNA publications» можно купить

в московских магазинах:

«Проект ОГИ», Потаповский пер., дом 8/12, стр. 2 • «Пирог на Дмитровке», ул. Б.Дмитровка, дом 12, стр.1 • «Ад Маргинем», 1-й Новокузнецкий пер., 5/7 • «Фаланстер», Малый Гнездииковский переулок д.12/27 • «Книжная лавка при Литинституте им. А.М.Горького», Тверской бульвар, дом 25 • «У Кентавра», ул. Чайнова, дом 15 • «Молодая гвардия», ул. Б.Полянка, дом 28 • «Московский Дом Книги», ул. Новый Арбат, дом 8 • «БУКБЕРИ», Сеть книжных супермаркетов • «Москва», ул.Тверская, дом 8 • «Индиго», ул. Петровка, дом 17, строение 2

в Интернет:

- «Ozon» – www.ozon.ru
- «Межкнига» – www.mkniga.ru
- «Лавка Я+Я» – www.shop.gay.ru/books/

По вопросу

оптовых продаж

книг издательств

«МИТИН ЖУРНАЛ»,

«KOLONNA publications»

обращаться в ООО «БЕРРОУНЗ»,

телефон 095-104-68-36

Для заказа книг по почте

наложенным платежом

редакция просит обращаться

по адресу:

170024, г.Тверь, а/я 2448

в интернет:

www.mitin.com

K O L O N N A P u b l i c a t i o n s :
Россия, 170024 Тверь, а/я 24048
Формат 84X108/32, объем 29,5 п.л., подписано в
печать 16.03.2006 г. Гарнитура NewBaskerville.
Тираж 1000 экз. Заказ № 6331. Отпечатано с
готовых диапозитивов издательства.
ОАО «Тверской полиграфический комбинат»,
г.Тверь, пр-т Ленина, 5. Телефон (0822) 44-42-15.
Интернет/ Home page - www.tverpk.ru.
Электронная почта (Email) - sales@tverpk.ru.

